5.1978

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДЖАКОМО Манцу. Италия.
Партизан

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5 1978 МАЙ

Содержание

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ — Стихи разных лет *(Переводы с польского Давида Самойлова, В. Британишского, Бориса Слуцкого. Вступление В. Британишского)* 3

ПАУЛ ДЖОРДЖЕСКУ — Перед молчанием... *(Повесть. Перевод с румынского И. Огородниковой)* 12

МАНУЭЛЬ ВИСЕНТЕ МАГАЛЬЯНЕС — Из книги «Мечта в зените» *(Любовная лирика. Перевод с испанского Н. Горской)* 108

АЛЬФРЕД АНДЕРШ — Винтерспельт (Роман. *Перевод с немецкого И. Млечиной)* 112

Критика

И. МЛЕЧИНА — Прошлое не умирает (Заметки о творчестве Альфреда Андерша) 192

Идеологическая борьба и литература

ГЕННАДИЙ ГЕРАСИМОВ — Среди кривых зеркал 201

ВАСИЛ КОЛЕВСКИ — Под флагом академизма 205

Сопоставляя точки зрения

РОДЖЕР МАК-ХЬЮ — Шон О'Кейси — художественность или идейность? 208

АЛЛА САРУХАНЯН — Шон О'Кейси — идейность и художественность 211

Культура и современность

Заметки на полях

С. Б.— «Символ новой эры» 216

Публицистика

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ — Преображая время... (Литература ГДР: портрет в диалогах) 221

Антирубрика

ВУДИ АЛЛЕН — Смерть стучится в дверь. Если бы импрессионисты были стоматологами... *(Перевод с английского Юрия Зараховича)* 250

АЛЬФОНС АЛЛЕ — Рассказы *(Перевод с французского Елены Бабайцевой)* 257

Наши гости

К. Старосельская — Вацлав Садковский, Александр Навроцкий (Польша) 260

Н. Литвинец — Мнхаэль Шаранг (Австрия) 261

Среди книг

Издано в СССР

Олег Малевич — Раздумья о неизвестных ✦ Овидий Горчаков — О гладиаторах от политики ✦ В. Пронин — Цена веры 263

Издано за рубежом

Роже Шатонё — Противоречия времени ✦ И. Левидова — Живое и властное прошлое ✦ С. Прожогина — «Инеем покрытые ростки надежды...» 268

Из месяца в месяц 275

Авторы этого номера 286

На обложке: ДЖАКОМО МАНЦУ. Партизан. Деталь

На стр. 11, 215, 220, 249 воспроизведены гравюры финского художника ТАПИО ТАПИОВААРА

© «Иностранная литература», 1978.

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ

Стихи разных лет

■

С польского

Тадеуш Ружевич — поэт, прозаик и драматург, и все-таки он остается прежде всего поэтом. О его поэзии в Польше не перестают говорить и писать вот уже 30 лет. Среди последних польских статей, появившихся после выхода его «Собрания стихотворений» (1971, переизд. 1976), одни прослеживают весь его творческий путь другие возвращаются к его истокам — первым двум книгам стихов («Беспокойство», 1947; «Красная перчатка», 1948), уже ставшим классикой современной польской поэзии.

Голос Ружевича был расслышан сразу. После первой книги он был признан как выразитель душевного опыта поколения, как поэт военной биографии, военной темы. В нескольких стихотворениях первой книги, таких, как представленный здесь «Привал», перед нами проходят как бы снятые с натуры кадры партизанской биографии поэта. Поколению его сверстников, «поколению уцелевших» (как их назвали по стихотворению Ружевича «Уцелевший» из его первой книги), пришлось пережить многое. Крах буржуазного польского государства в сентябре 1939 г., крах тех понятий и идеалов, в которых воспитывали недавних подростков классическая гимназия и католическая церковь. Оккупация, фашистский террор, необходимость быть беспощадными в борьбе с беспощадным и бесчеловечным врагом, гибель товарищей, друзей, близких (старший брат Тадеуша Ружевича, тоже партизан и тоже поэт, успевший опубликовать перед войной несколько стихотворений, был расстрелян в 1944 г. гестаповцами). Слово «ламентация» и в польском и в русском языке означает: «жалоба, сетование». Но стихотворение Ружевича «Ламентация» — это скорее крик. Оно заканчивается тройным «не верю»: иллюзии христианского милосердия не выдержали испытания войной.

Память о погибших, о «непорочных юных героях», заставляет Ружевича быть нетерпимым к любым формам мещанства, благополучия, самодовольства, стяжательства (см., например, стихотворение «Расчет»). Из молодого, чисто эмоционального неприятия и отвращения к мещанству в первых книгах стихов эта тема выросла у Ружевича до глубокой и всесторонней критики современной буржуазной цивилизации. Таковы некоторые его драмы, такова его итальянская поэма 1961 г. и примыкающие к ней стихи 60-х гг., созданные в зарубежных поездках. Среди них — стихотворение «Банковский сейф». Раньше о богачах говорили: «денежный мешок». Ружевич создает современную метафору:

Это банковский сейф
гладкая стальная спина
стенки как зеркала...

На наших глазах этот предмет начинает вдруг обрастать человеческими признаками: одна рука, два глаза, щель рта и скважины ноздрей, уши, вторая рука. Наконец, оказывается, что этот полуробот наделен даром речи, а также набором готовых, запрограммированных оценок и высказываний («волшебный закат», «великолепное море»). Любопытно сравнить этот гротеск Ружевича с его лирическим стихотворением о чете старых людей. Действие происходит в тех же «декорациях» средиземноморского побережья, но изображены в нем не «банковские сейфы», а люди. Поэтому и окружающий мир предстает здесь как «мясистый розовый арбуз жизни», как стихия, вечно порождающая богиню любви Афродиту.

Именно потому, что фашизм пытался унизить и оподлить человека, Ружевич неустанно повторяет, что «человека нужно любить»:

Днем и ночью я учил,
что человека нужно любить.
Что нужно любить?
Я отвечал: человека...

(Перевод Бориса Слуцкого)

Именно потому, что фашизм пытался уничтожить культуру, Ружевич с первых же послевоенных лет борется за восстановление и спасение культуры. Символично его стихотворение об алтаре Вита Ствоша. Национальное сокровище поляков — резной готический алтарь XV в., созданный Ствошем для Мариацкого костела в Кракове, был вывезен оккупантами в Германию. В 1946 г. он был найден и возвращен и после четырехлетней реставрации (во время которой с полихромных фигур алтаря были сняты позднейшие красочные слои) вновь находится на прежнем месте. В годы восстановления Польши, ее городов и памятников, это событие вдохновило не одного Ружевича: тогда же написал К. И. Галчинский свою поэму «Вит Ствош». Давид Самойлов, лет десять назад воссоздавший по-русски поэму Галчинского, а недавно написавший свою поэму о краковском мастере, перевел теперь и стихи Ружевича о Ствоше.

В 1945 г., едва выйдя из партизанских лесов и сдав экзамен на аттестат зрелости на курсах для взрослых, Ружевич поступил на отделение истории искусства Ягеллонского университета в Кракове. Вскоре, однако, целиком отдавшись литературе, Ружевич поселился в шахтерском городе Гливице. Сейчас он живет во Вроцлаве, одном из крупнейших, быстро растущих центров промышленности, науки и культуры новой Польши. Ружевич бывал во многих странах Европы, многие его вещи написаны по зарубежным впечатлениям, но центром творчества польского поэта осталась Польша. Обдумывая композицию своего «Собрания стихотворений», объединившего стихи и поэмы из 16 книг, Ружевич завершил его новым стихотворением «образ родины...», которым мы заканчиваем эту небольшую подборку.

Ружевич редко пользуется знаками пунктуации: запятые расставлены лишь в нескольких, наиболее традиционных по форме его стихотворениях (в том числе «Привал»), не всегда стоят точки. Нет точки и в конце стихотворения «образ родины...», а тем самым — и в конце «Собрания стихотворений» Ружевича. Точки и не должно быть. Поэт продолжает работать.

В. БРИТАНИШСКИЙ

ИЗ КНИГ 40—50-х ГОДОВ

Привал

Малышка, круглая, как спелый яблок,
переваливается на куцых ножках,
подносит воды в кувшине,
поглядывает лукаво.

Из кувшина, медного обрубка,
студеная хлещет струя,
стекает потоком,
словно проселок, спаленный в пепел.

Пчеловод несет золотые соты,
в бороде, застряв, серчает пчела.
Капрал Медведь
причмокивает со вкусом.

Командир ориентируется по карте,
по значкам, по топографическим знакам,
в небе плывут необозначенные тучки,
жаворонок трепещет на высочайшей башне,
возносит ее, возводит воздушно и стройно,
прядает вниз
и звенит в руках пастушонка
на ивовой ветке.

В саду поворотился подсолнечник.
Девчонка, подвижная, как юла,
отворачивается, отводит глаза.
Капрал Медведь
облизал большой обслаженный палец
и громыхает ворчливо:
стройся... стройся.

Перевод ДАВИДА САМОЙЛОВА

Ламентация

К вам обращаюсь ксендзы
учителя художники судьи
сапожники врачи фармацевты
и к тебе отец мой
Выслушайте меня

Я не молод
пусть вас не введут в заблужденье
гибкость моего тела
нежная белизна моей шеи
ясность открытого лба
мальчишеский пух над губой
ангельский смех
легкость походки

я не молод
пусть вас не умиляют
моя невинность
моя наивность
хрупкость и слабость
чистота

двадцатилетний
я был убийцей
орудьем смерти
слепым
как меч палача
я убил человека
и красными пальцами
гладил белые груди женщин

Искалеченный я не видел
ни неба ни розы
ни дерева ни гнезда ни птицы
ни святого Франциска
ни Гектора ни Ахилла
Все шесть лет
из ноздрей вырывался кровавый огонь

Не верую в претворенье воды в вино
Не верую в отпущенье грехов
Не верую в воскресение мертвых

Расчет

Четыре дамочки
в розовых чулочках
зеленая шляпка
с малиновым перышком
четыре дамочки клюют пирожное
пирожное весьма порочное
в такой ноябрьский национальный день
господин за столиком петушится
гребнем своим золотым трясет
официант получите
восходит свет
среди серебряных жирандолей
резвятся птички божьи
которые не сеют не жнут.
Я бывший партизан
пришел сюда поразмыслить
и выпить (я не Савонарола[1])
однако: эта революция
ласкова как лебединая шея.
Залитые ликерами глотки
темновельможных панов
светятся как трубки с неоном.
Павшие на поле брани
непорочные юные герои
так мне вас страшно жаль
так страшно жаль.
Елочки как зеленые звезды
всходят на ваших могилах
Четыре дамочки клюют пирожное
розовое пирожное весьма порочное.

Светит луна

Светит луна
пустынная улица
светит луна
человек убегает

светит луна
человек упал
человек погас
светит луна

светит луна
пустынная улица
лицо умершего
лужа воды

[1] Джироламо Савонарола (1452—1498) — итальянский религиозно-политический деятель; Ружевич имеет в виду проповеди Савонаролы и его борьбу против богатства и роскоши.

Вижу безумных

Вижу безумных
тех что ходили по морю
верили не усумнившись
и утонули

они и теперь накреняют
мою ненадежную лодку
жестоко живой я отталкиваю
их руки мертвые каменные

отталкиваю год за годом

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

Возвращение

Внезапно хлопнет оконница
и мать позовет
пора возвращаться

расступятся стены
взойду на небо в грязных ботинках

присяду к столу и раздраженно
отвечу на вопросы

У меня все в порядке оставьте
меня в покое Сжимая руками голову
сижу и сижу вот эдак Как же
им рассказать о долгой
и путаной дороге

Здесь на небе матери вяжут
на спицах зеленые шарфики

жужжат мухи

отец дремлет у печки
после шести дней работы

Нет — я не в силах
сказать им что человека
человек хватает за глотку.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

Открытие первоначальных красок в алтаре Вита Ствоша

Он был занесен илом
красок которые не содержали
света и жизни

Из глубины веков проступили
первоначальные краски
такие живые
словно подручные мастера
только что вынесли алтарь
на весеннее солнце

Выделились фигуры
блеснули рубин смарагд злато
и кровь оживила румянцем
лица апостолов

Перевод ДАВИДА САМОЙЛОВА

ИЗ КНИГ 60—70-х ГОДОВ

Доброжелательство

Земля шевелилась
ворочалась как огромный крот
полна
живьем погребенных

я слушаю твои слова
воспоминанья

я смотрю на живот
твоей женщины
в котором шевельнулся
ребенок

сорвавшиеся с петли
мы улыбаемся друг другу
приветливо и добродушно

Банковский сейф

Это банковский сейф
гладкая стальная спина
стенки как зеркала
спереди груди
с левого боку рука

два
отверстия глаз
длинная шель рта
две скважины
ноздри
губы между
губами зубки
отверстие побольше
язык

две дырки
прикрытые ракушками
уши
ногти на ноге
нос на лице
с правого боку рука
это банковский сейф
гладкий
с волосами
там и сям
с волосками
с волосами на голове
с пучками волос под мышками
еще отверстие крашенное
зеленой краской
белые груди
прикрывает рукой глаза
говорит
волшебный закат
великолепное море
укладывается на боку
на морском берегу
на песке

Перевод В. БРИТАНИШСКОГО

Марс

Комната

в ней семья
состоящая
из пяти или шести человек

кто читает книгу
кто разглядывает фотографии
кто вспоминает войну
кто засыпает кто уходит
кто потихоньку умирает
кто пьет воду
кто ломает хлеб
Янек выводит букву А
рисует рыцаря с голубой шпорой
кто собирается на луну
кто приносит розу птицу рыбу
падает снег
звонит колокол

приходит Марс
его меч
наполняет огнем
комнату

Снятие ноши

Пришел к вам
и говорит

вы не отвечаете
ни за мир ни за его гибель
с ваших плеч снимается ноша
будьте же как птицы и дети
забавляйтесь

и забавляются

забывают
что современная поэзия
это борьба за право дышать

▪ ▪ ▪

Чета
стариков
ступает неуверенно осторожно

из пены
выпрыгивает
нагая
вся сияющая
безрукая безголовая
богиня любви
Афродита

черная
косточка
в мясистом
розовом
арбузе жизни

мужчина и женщина
медленно погружают
изношенную до прозрачности кожу
в море

они выходят на берег
по-прежнему держа друг друга
за руки

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

▪ ▪ ▪

образ родины

родина край детства
место рождения
это малая самая близкая
родина

город село селенье
улица дом усадьба
первое чувство
лес на горизонте
могилы

познаются в детстве
цветы травы злаки
звери
луга нивы
слова плоды

улыбается родина

сперва расположена родина
в округе
протянутой руки

только потом вырастает
кровоточит
болит

Перевод ДАВИДА САМОЙЛОВА

■

ТАПИО ТАПИОВААРА. Вечер в Чёнере. Гравюра на дереве

ПАУЛ ДЖОРДЖЕСКУ

Перед молчанием...

ПОВЕСТЬ

Перевод с румынского И. ОГОРОДНИКОВОЙ

Усну, завалит снегом
. . . . . .
Я не согну колени, моля о снисхожденье,
Хочу, чтоб ты исторгла проклятья и презренье [1].

М. Эминеску

Моим друзьям
Корнелу и Юстину

Ясно, сегодня наступил иной, высший этап моего существования — все признаки налицо. Не в первый раз меня швыряет на новый рубеж; ведь из постоянной смены этапов в конечном счете и состоит жизнь. Только раньше зто случалось при других обстоятельствах. скачок ощущался менее отчетливо, переход совершался медленно, незаметно, на ощупь, теперь же вдруг за один день и ночь решительно все изменилось. Во-первых, я получил квартиру — точнее, просто комнату,— но если сравнить с тем, в каких условиях я находился совсем недавно (темный, сырой полуподвал), то и это очень много, тем более мы там были в тесноте и мне никогда не удавалось остаться наедине с самим собой, что, сколь бы ни были дороги те, кто тебя окружает, подчас обременительно. Здесь же я совершенно один. Комната, правда, не очень просторная и светлая, не совсем в центре, и все-таки, если учесть, что я живу впервые один, немалое значение приобретает то, что она тихая и чистая что мне никто не мешает, а зто весьма важно: жизнь, которую я вел в последнее время — исключительно нервная,— несколько утомила меня, я выдохся и нуждаюсь в покое, в медитации и, честно говоря, хотя бы в минимуме комфорта.

Как славно иметь собственную комнату, где можно расслабиться, где ты ничем не занят и все свое время можешь истратить на то, чтобы помечтать, привести в порядок мысли, вспомнить о других, о тех, кто формировал твою личность, о тех, кого ты видел вблизи, но кто исчез из твоей жизни, о тех немногих, кто остался, о тех, с кем ты познакомился недавно, и о стольких других. Правда, мы никогда не бываем одни, даже если какое-то время живем уединенно; и в зтом случае наше так называемое одиночество населено лицами, улыбками, голосами, взглядами, чувствами, событиями и происшествиями; мое нынеш-

[1] Эпиграф дан в переводе Ю. Кожевникова.

нее одиночество столь богато, что я даже не знаю, с чего начать свои воспоминания и раздумья, испытываю странное чувство, будто голодный человек, попавший за слишком роскошный стол, где его ошеломляет разнообразие яств; нет сил от чего-то отказаться, но и невозможно насладиться всем сразу. Среди этого комфорта, этого изобилия лишь одно огорчает меня — необходимость выбрать и тем самым все-таки от чего-то отказаться, а это особенно трудно, когда не знаешь, с чего начать. Когда нет времени для всего, для всех. У меня нет времени. Одиноким я себя не чувствую нисколько, хотя на свете есть и люди действительно одинокие, замурованные в себе индивидуумы, неспособные в шумном житейском хороводе с кем-то сблизиться, кого-то понять, жалкие в своем бессилии, раздражении или упорном отрицании, не знаю уж, в чем там именно, но существа ущербные, нищие духом; и каким бы богатством или властью ни наделила их судьба, каким бы положением или связями они ни обладали, каждый заперт в каменном мешке, из которого никто и никогда их не освободит.

А я свободен, опьянен свободой, которой никто и никогда не сможет меня лишить. Рядом лежит объемистая, еще неначатая тетрадь, она манит, волнует, лицемерно-простодушно предлагает себя, сулит всяческие похождения, но и таит ловушки, грозящие позором бессилия, даже бесчестия, внезапным жестоким поражением. Но пока она не тронута, пока я—в начале начал, она видится мне как совокупность возможностей, открывает путь сладостным и мучительным поискам в надежде обрести высшее избавление. Да и невозможно было бы начать новую жизнь, не имея этой большой неначатой тетради, ибо начать новую тетрадь — все равно что отправиться к земле обетованной. К тому же чистая тетрадь, данная в мое распоряжение,— не единственное преимущество или примета того, что моя жизнь вступила в новую фазу: я получил удобную одежду, еду мне подают прямо в постель, и, что особенно важно, я ложусь спать, когда захочу, сплю, сколько хочу, никто не морочит мне больше голову; а для меня это очень важно, я люблю ложиться поздно, очень поздно, и всю жизнь меня терроризировали и стыдили за эту мою привычку, которая, в сущности, никому не причиняет вреда. Наконец, у меня вдоволь сигарет, и никто мне не докучает, не говорит, что я слишком много курю и тем подрываю свое здоровье. Короче, у меня есть все, что нужно для хорошего самочувствия.

И более того, помимо материальных признаков, которые я перечисляю с нескрываемым удовольствием, есть и другие, назовем их — да, назовем духовными, которые также подтверждают мой переход на новый этап. Я покидаю свою комнату редко и ненадолго, но все-таки покидаю, и тогда те, кто меня знает, смотрят на меня со своеобразным уважением, даже некоторой симпатией, тогда как совсем недавно кое-кто из них проявлял ко мне величайшую ненависть, совершенно, думается мне, несоразмерную моей, более чем скромной, особе. И хотя личности тех, кто третировал меня с утробной ненавистью, не кажутся мне привлекательными и не вызывают во мне ни малейшего уважения, тем не менее кому приятно, когда его встречают с такой враждебностью, таким презрением, так что перелом, наступивший в их отношении ко мне, приносит мне известное удовлетворение.

Друзья — их немного, зато настоящие — всегда относились ко мне хорошо, но, с тех пор как я оказался в нынешнем своем положении, они проявляют столь большую предупредительность, что она даже чуть-чуть стесняет меня, тем более что по отношению к ним я вел себя далеко не безупречно. Правду сказать, дружба неизменно представлялась мне одной из главных ценностей, и, если я, случалось, бывал ироничен или излишне суров с кем-либо из товарищей, это про-

истекало именно от преувеличенного значения, которое я придавал дружбе, от острой потребности уважать своих друзей. Может быть, я требовал от них слишком много, но не для себя, а только для них же самих, требовал подчас непосильно много, мне хотелось видеть их рыцарями без страха и упрека, во всеоружии всех мыслимых достоинств, самим совершенством; может быть, именно поэтому я терял иногда чувство меры, бывал чересчур резок. Но несмотря на это их взгляды и жесты выражают теперь глубокое понимание и даже нежность, разве что слегка стесненную нашими новыми взаимоотношениями.

И взгляд их помогает мне, дает силы и спокойствие. Жаль, конечно, что здесь нет библиотеки, хотя, в общем, оно и к лучшему: я снова зарылся бы в книги, они — моя порочная страсть, а это дало бы мне возможность бежать от самого себя, я хочу сказать — от очной ставки с самим собой, столь трудной, но столь неотложной и необходимой. Благодаря книгам мы можем жить более насыщенно, не одной, а многими жизнями, не в одной, а во многих эпохах, и это, несомненно, содействует расширению наших горизонтов и возможностей, но нельзя обойтись без того, чтобы не погрузиться иногда в себя, не встретиться лицом к лицу со своей сущностью, не выйти на суровый, беспощадный поединок с самим собой. Сейчас я как раз испытываю потребность подвести итоги, увидеть, что преходяще, а что способно выдержать испытание временем, и, как я сказал, у меня есть для этого и все необходимые условия. Хотя я уже истратился вконец, нужно выяснить, какие силы во мне еще остались и как именно следует их применить, чтобы суметь достойно преодолеть этот этап и перейти к следующему — ведь нас всегда подстерегает следующий.

Я выразился неточно: если бы я не тратил себя так страстно, что бы у меня теперь осталось? — слишком мало. Я остался только с тем, что растратил, прочее не в счет, оно потеряно навсегда. Получил же я много, многое, но не все равноценно, не все прочно, и теперь, раз в жизни взявшись за перо, я должен выверить надежность всех вещей, подвергнуть сомнению все и вся, начиная с себя самого, и оставить только то, что прочно и неизменно. Пора начать и довести до конца этот неумолимый допрос. Опасность заключается, конечно, в неспособности сосредоточиться, в искушении спрятаться от себя, затеряться в мелочах, в описании незначительных, забавных происшествий, в том, что я могу разнюниться, бежать в слова, прежде всего в просторные, чрезмерно воздушные, неясные и пустые. Пышные, пряные, скользящие слова способны заманивать и уводить за собой, могут приукрасить и исказить твою сущность, они уносят, как река, но без слов невозможно, без слов нам не дано мыслить, и я постараюсь быть с ними построже, как бы мне ни хотелось иногда дать им волю. Как хорошо, что у меня есть эта тетрадь, я могу держать свои мысли в узде. Писать — так естественно, а в моем положении и так необходимо! Правда, я уже устал, и мне бы хотелось отдохнуть; но другие, гнетущие образы обступают меня, так что лучшим и единственным укрытием оказывается все та же тетрадь.

Вначале я, пожалуй, излишне хвастался моей новой комнатой, новым положением, следовало бы отметить и некоторые, менее приятные, на мой взгляд, детали. Окно, например, расположено слишком высоко, и я не могу смотреть на улицу. Но я себе сказал: это поможет сосредоточиться, не стоит попусту дразнить воображение, да и что там увидишь? Поблекшие, полуразвалившиеся дома, дурацкие глухие стены, скаты и гребни крыш на неказистых, криво поставленных домишках, кроваво-красные кровли и спешащих, спешащих, спешащих людей.

Аллюр — рысь или галоп — для многих стал формой существования, формой свободы, бегущей от самой себя. Подаренная мне тетрадь — большая и очень соблазнительная, бумага, слегка пожелтевшая, — высокого качества, однако на обложке имеется надпись: «Бактериология», и она переносит меня в микрокосм мух, клопов, вшей и белых червей — такими мне видятся бактерии в их скрытом от взора мире. Тетрадь, как я уже сказал, совершенно пустая, только на одной странице даритель четко вывел: «Формула крови» — и заполнил эту страницу до конца; всего одна запись, но, признаться, сейчас я бы предпочел иную тему. Тетрадь большая и заманчивая, но теперь, когда я пишу, я знаю, что где-то в засаде меня ждет эта окровавленная страница, лучше бы уж она осталась позади. Приятно было бы иметь стол и стул, но, как я убедился, можно писать и полулежа, опершись спиной о стену. В этом случае красноватый свет от лампочки под потолком падает прямо на бумагу. В общем, здесь неплохо, и права была мама, когда наставляла меня: не будь разборчивым! Но настало время определиться в пространстве и, в роли любезного хозяина, показать свою квартиру.

Это не трудно. Моя комната представляет собой прямоугольник, слева и справа — стены несколько короче. Такая перспектива, конечно, субъективна, эгоцентрична, определяется моим собственным положением в пространстве — я пишу полулежа, опершись спиной о стену. Справа от меня — массивная кованая дверь с глазком, в который я могу наблюдать за коридором и видеть того, кто подойдет к двери, таким образом врасплох они меня не застанут. Недостаток же состоит в том, что через глазок можно наблюдать из коридора и за мной; незваному гостю легко проверить, на месте ли я и чем занимаюсь, хотя ничем особенным я бы и не смог заняться, но незваные, они такие — хотят знать, что мы делаем даже тогда, когда мы ничего особенного не делаем. Несколько часов назад, заглянув в это отверстие, я наткнулся на огромный глаз, разглядывавший меня, и испугался: я никогда не видел глаза так близко. Отдельного глаза, глаза, так сказать, самого по себе. Этот — огромный, влажный, недреманный — изучал меня с пристальным, я бы даже сказал научным, интересом, и я сразу ощутил себя под микроскопом. От удара в зрачок я отшатнулся, но напрасно, так как все равно остался под наблюдением. Чего хотел глаз?

Как бы то ни было, дверь сделана на совесть, она защищает меня от воров и злоумышленников. Слева — окно, как я уже сказал, расположенное слишком высоко и напоминающее церковное. Днем сверху струится свет, но косой, жидкий, скупой, почти неприметный. Счастье, что под потолком лампочка, которая горит всегда: ее взор денно и нощно прикован ко мне; выключатель не здесь, он где-то в другом месте, у кого-то другого, у кого именно — неизвестно, но этот кто-то может погасить ее по своей воле или по указанию свыше. Длинная стена ничем не примечательна, впритык к ней мое ложе, суровое, как того требует современная медицина, которая считает, что человеку противопоказано спать в удобной, мягкой постели; строгость кровати — под стать духу нашего времени, времени суровой казарменности, эпохи войны. С этой стороны стена чуть длиннее кровати. Стена напротив похожа на ту, что сзади, хотя имеет некоторые детали, пожалуй, малоприятные. Пол цементный, серый, как дохлая крыса. Но бывает ли идеальное жилище? От койки до противоположной стены расстояние в один средний шаг. Отмечу, что снизу вдоль стен идет широкая полоса, густо выкрашенная масляной красновато-каштановой, цвета раздавленного клопа краской — с эстетической точки зрения это не совсем в моем вкусе, но, как говорит моя мама, не надо быть разборчивым.

Если встать лицом к стене, полоса оказывается чуть ниже моей груди, ее граница приблизительно на уровне солнечного сплетения; эта полоса бежит вдоль всех четырех стен, так что цветовая гармония не нарушается ни одной архитектурной деталью другого тона; я имел в виду не полосу, когда упоминал о неприятных деталях стены, что напротив меня, она маячит прямо перед глазами, и отрываясь от своих записей, я волей-неволей смотрю на нее.

Я бы предпочел обойти описание этой стены, но чтобы понять ситуацию, всегда лучше предварительно описать ее как можно точнее. Посмотрим фактам в лицо: то обстоятельство, что лампочка горит круглые сутки и ее нельзя погасить в моей комнате, можно было бы отнести, скажем, к обычаям этого дома; то обстоятельство, что массивная железная дверь открывается также только извне, можно было бы счесть просто-напросто конструктивной особенностью; но малоприятные детали стены, которая теперь, когда я лежу на кровати, опершись спиной о стену, и пишу, торчит прямо передо мной,— эти детали совершенно иного свойства.

Пол в моей комнате, как я уже говорил, цементный. У основания антипатичной мне стены цемент сбегает вниз, образуя прогиб, продольно срезанный этой самой стеной так, что получается усеченная ложбинка, маленькая канавка, глубиной в одну вертикально опущенную ладонь и шириной в две вытянутые ладони. Глубина и ширина канавки, однако, не всюду одинаковы: начиная от двери, где размеры нам уже известны, канавка плавно расширяется и углубляется, у стены с окном она уже довольно большая, глубиной приблизительно в две вертикально опущенные ладони и шириной в четыре; от двери к окну ложбинка идет, таким образом, выраженно и довольно резко под уклон. О, отсутствие естественно научного мышления, чрезмерная гуманитарность: в чем все-таки подлинный смысл того, что от кровати до противоположной стены всего один средний шаг, что клопиного цвета полоса на стене доходит мне до солнечного сплетения; что это за размеры, которые исчисляются ладонью в длину, ладонью в ширину, ладонью в глубину, каковы размеры ладони человека, среднего шага, каков рост человека — может ли вообще человек служить мерой вещей? Но за неимением лучшего я пользуюсь этой мерой, то есть самим собой, хотя могу ли я служить мерой человека? Разумеется, нет, но ничем лучшим я не располагаю.

Я устал, надо немного передохнуть. Но сначала все-таки следует завершить описание этой стены, вернее, ее малоприятных деталей. У двери, все в той же зоне, вымазанной жирной масляной краской,— кран, который, вероятно, открывается только специальными клещами — если вообще открывается,— и то, должно быть, с немалым трудом, так что я не могу им пользоваться, как не могу ни потушить свет, ни открыть железную дверь. Существует, возможно, связь между краном и цементным стоком — это тем более правдоподобно, что в конце канавки у окна есть маленькая, едва приметная железная дверца, открывающаяся, безусловно, только особым ключом, так же как и кран, и инструменты эти хранятся у определенного лица, который пользуется ими только в строго определенных случаях. Железная дверца выкрашена в тот же клопиный цвет, что и полоса, идущая вдоль стен, так что не сразу заметишь, но при более внимательном взгляде ее можно различить — и тогда уже невозможно отвязаться от мысли о ней. Размеры пробитой в стене маленькой железной двери позволяют удалить из помещения тело, распростертое в цементном желобе; я лег, примерился и понял, что меня можно протащить в проем дверцы, если кто-то будет толкать мое тело за плечи, а кто-то с той стороны тащить его за ноги.

Наиболее характерной особенностью стены являются пятна на масляной полосе, приблизительно на середине промежутка между дверью и окном. Некоторые из них — углубления грязно-белого цвета, из-за того, что краска облезла. Стена пробита до кости, то есть до кирпича. Кратеры в известке чуть шире ногтя на большом пальце и довольно глубоки; их немного, я насчитал шесть. Остальные темнее и на ощупь, наоборот, выпуклы. Если моя гипотеза верна, они того же вулканического происхождения, только впоследствии замазаны и закрашены, поэтому чуть бледнее всей полосы, и внимательному глазу ничего не стоит их обнаружить. Таких я насчитал семь. А всего тринадцать, я не люблю это число. Примечательно, что те и другие расположены по три, близко друг от друга, чтоб уж наверняка, хотя и одного было бы вполне достаточно; и только в одном месте — зачем? — их четыре. Вначале я недоумевал, почему, если взять за единицу измерения человека — а за неимением кого-либо более подходящего я использую в этом качестве самого себя,— получается, что линия, по которой расположены маленькие кратеры, проходит чуть выше моих колен Желая проверить еще одну гипотезу, я проделал эксперимент: встал на колени лицом к стене и убедился, что ямки оказались теперь на уровне горла, затылка или темени — ведь люди бывают разного роста,— а в этом уже есть определенный смысл. Признаться, я никогда не любил стоять на коленях — ни в школе, ни в церкви, ни буквально, ни фигурально, а тем более здесь, в несколько специфической обстановке.

Я бы предпочел — во весь рост, спиной к стене, отказавшись от повязки, гневно и яростно выкрикивать благородные слова, как на картине Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.». Вокруг — толпа, сочувствие. Но вот так, в камере, где тебя швырнут на колени, ткнут лицом к стене столь омерзительного цвета, спустят по сточному каналу, выпихнут в дверцу, протащат сквозь стену, выволокут за ноги, небрежно, кое-как... Впрочем, главное в жизни, твердила всегда моя мать,— это умение приспособиться. Попытаюсь, следовательно, приспособиться и я. Сознаюсь, прежде чем встать на колени лицом к стене и примериться, я заколебался, мне было стыдно делать это под взглядом неизвестного за дверью, но любопытство взяло верх, и потом, сказал я себе, он, конечно, привык к подобным зрелищам, пресытился, ведь я убежден, что мои предшественники делали то же самое, как же иначе? Отвратительное и ужасное обладают своеобразной притягательной силой.

Быть может, увидев мою смиренную иноческую позу, наблюдатель за дверью решил, что мне страшно, и проникся собственным могуществом. Есть люди, черпающие силу лишь в ужасе и покорности других, для самоутверждения им необходима атмосфера чужого страха; это особенно распространено среди мелких безымянных должностных лиц, состоящих при службе страха, существ трусливых и жалких, которые сами по себе не могут устрашить кого бы то ни было. И потом, почему мой поступок обязательно расценивать как трусость, а не как мужество? Я понял, почему предусмотрена именно эта поза, понял, для чего предназначены кран, сток и железная дверца, и попытался понять тех, кто проталкивает по канавке, тащит за ноги, открывает кран и, орудуя метлой, старательно отмывает цемент, плотно закрывает кран, потом железную дверцу,— я попытался понять, что чувствуют эти люди, мне подобные, и не смог. Я не могу их понять. Они добывают хлеб свой насущный, у них семьи, верно, времена сейчас тяжелые, бесспорно, но... В известном смысле они не виноваты, не они тут правят бал, заплечных дел мастера, мелкие исполнители на нищенском жалованье, и все-таки, все-таки... Но это теперь неважно.

А что теперь важно? Думаю, не следует больше таращиться на эту стену с ее деталями; но я то и дело отрываю глаза от тетради и невольно смотрю туда. Я досадую на себя за эту слабость, так как понимаю — а это оказалось вовсе не трудно,— что они для того и поместили меня сюда, потому и откладывают казнь, чтобы, оставленный один на один с пустотой, с неизбежностью насильственной смерти, я сдался бы, упал на четвереньки и завыл от ужаса. Это принесло бы им огромное удовлетворение, позволило бы почувствовать себя могущественными, мужчинами из касты господ. Но этому не бывать. А пока не следует больше туда смотреть.

Мне очень жаль, я уже говорил, что предшествующие мои описания столь приблизительны; в самом деле, что значит — глубиной в ладонь, длиной или шириной в ладонь, выше колен, выше затылка, прямо против сердца — etc? Все это относительно, весьма относительно. Вот если бы у меня был метр с делениями, тогда другое дело. Я же взял за единицу измерения человека, древнюю эллинскую меру, и единственное, что у меня было,— самого себя. Знаю, я не подхожу для подобной роли, здесь нужен кто-то более значительный, сильный, человек со стальными нервами, способный противостоять сверхчеловеку на жалованье, знаю — non sum dignus intrare[1], не соответствую роли, так или иначе требующей от человека качеств исключительных, то есть именно тех, каких я лишен. Я обыкновенный молодой человек. Я не самоуверен, даже просто недостаточно уверен в себе, во мне нет стихийной смелости, я невынослив к лишениям и физическим страданиям и, что еще хуже, предпочитаю ответам вопросы — словом, ситуация сильнее меня.

Единственное мое оружие — ирония — в этих обстоятельствах не годится. Разве бывают ироничные герои? Итак, я беру за меру себя самого отнюдь не из-за самодовольства, этот выбор уже породил и еще сулит одни осложнения и недоразумения, но я пришел к такому решению, так как у меня нет другого выбора, другого, более соответствующего этому положению эталона,— впрочем, само понятие человека как меры всех вещей вообще очень спорно в такой сомнительной, двусмысленной, возможно, даже подозрительной ситуации. Наблюдение за людьми с экспериментальной целью, как правило, вызывает у исследователя естественное чувство собственного превосходства; я же могу наблюдать только за самим собой, а в подобном случае и в столь специфической обстановке довольно трудно быть хорошим наблюдателем, тем более испытывать чувство превосходства.

Но разве жест доброго доктора, подарившего мне тетрадь (у меня даже нет надежды отблагодарить его в будущем), не вызван чисто научным интересом к эксперименту? Ведь не думает же он, что я идиот и расскажу здесь то, о чем молчал под пытками, и оба мы понимаем, что бесстрастный глаз, этот направленный на меня объектив кинокамеры, давно просигналил куда следует, что я делаю какие-то записи в тетради, так что мои убийцы заранее благословили этот подарок. Добрый доктор, который готовит трактат о страхе, знает — опыт у него есть,— что поначалу я буду храбриться, попытаюсь вести себя спокойно, невозмутимо и даже геройски, но у него достаточно терпения, он ждет, покуда с меня слетит спесь, ему известно, что я «не тяну», он считает меня слабодушным — настоящие герои в подобных случаях дневников не ведут, во всяком случае не занимаются самоанализом,— он подоэревает во мне героя мнимого, который в конце концов «расколется» прямо на страницах этой тетради, чем будет способствовать продвижению науки еще на шаг вперед, он даже выступит

[1] Недостоин *(лат.)*.

с докладом и, очень возможно, получит высокую оценку в компетентных кругах.

Правда, экспериментируют надо мной и те, что держат меня здесь, откладывая казнь до тех пор, пока страх не снесет возведенную мной плотину и я не захлебнусь в нем; но, спешу оговориться, к доброму доктору это не относится, нет, не относится: при всей любви к науке он не стал бы убивать человека, даже в порядке эксперимента — он проводит опыты только над крысами,— но, коль скоро другие создали эту ситуацию, почему бы и ему (и науке) не воспользоваться. Мои палачи — те другое дело, тем было очень важно, чтобы я у них «запел», и не только потому, что каждое успешно проведенное следствие приносит прибавку к жалованью, а это всегда кстати, ведь у них семьи, но еще и от чисто психологической потребности убедить себя в том, что все люди трусливы, ничтожны, и, следовательно, они не хуже других, они как все. И только добрый доктор, который будет посещать меня ежедневно (по крайней мере он так обещал), врачует мои раны, дабы они не нагноились — ведь приговоренный к смерти не должен умереть от ушибов или ран, это было бы нарушением судебного приговора,— добрый доктор говорит себе, что раз уж перед ним подопытный смертник (чью судьбу он изменить не властен), то почему бы и не обогатить науку, а заодно почему бы и не облегчить мне мою участь, ведь когда я пишу, я забываю о стене, о казни, а даже если и не забываю, то думаю не так навязчиво, не так неотступно — не правда ли? В сущности, он тоже уверен, что я «не тяну», что от этой стены с малоприятными деталями никуда не уйдешь, и я со своей совершенно неуместной иронией, я, заурядный студент исторического факультета, не выдержу и задам представление на радость науке.

К тому же я кажусь ему заведомо ненормальным, ведь нет никакого смысла в том, говорит он, чтобы двадцатилетний юноша отказывался от жизни, тем более ради чего-то, что нельзя потрогать, разглядеть хотя бы под микроскопом, испытать на действие кислоты, ради чего-то весьма неопределенного, именуемого принципами. Но и мне, в свою очередь, непонятно, почему он считает реальность раз навсегда данной, неизменной и вечной, почему не думает о том, что завтра все может быть подвергнуто переоценке, а тот факт, что столькие до меня уже «тянули», нисколько не поколебал его убежденности относительно меры человеческих возможностей, убежденности, которая владела семью живодерами, истязавшими меня всеми доступными им способами. Надеюсь, что хоть эта страница его покоробит, в то время как моя душа верхом на облачке будет с интересом и не без злорадства наблюдать, какую рожу скорчит добрый доктор, если, конечно, у него не будет причин для более серьезных эмоций, ведь даже самые невозмутимые люди попадают иногда в трудное положение, и тогда они, невозмутимые, испытывают жестокий страх. Да я и не хочу, чтобы эта тетрадь послужила ему завтра алиби — это ни к чему. Подумать только, чем я озабочен — посмертными впечатлениями! Правда, очень трудно представить себя как пустоту, ничто — это известно. Да, дорогой доктор, я знаю, вы не ошиблись, вы правильно угадали — мне страшно.

Лучше все-таки писать, чем пытаться отдохнуть; как я ни сопротивляюсь, стена властно притягивает меня, хотя знаю отлично, она того не стоит. Права была мама: ты не умеешь приспосабливаться. Итак, это — мое пространство; оно устроено по размерам человека, согласно весьма определенной концепции человека; но несмотря на это устройство (или благодаря ему), здесь человек может определить свои размеры, и здесь же, в соответствии с совершенно другой кон-

цепцией человека, он обязан определить свой человеческий масштаб. Конечно, их концепция прямо противоположна эллинской, она призвана доказать, что человек слаб и безволен и что проще простого заставить его потерять человеческий облик. Остаться человеком означает здесь выдержать испытание, превосходящее человеческие силы. Здесь решается вопрос: кто кого? Поединок концепций. Мое пространство — сцена, на которой мне предстоит сыграть, а роль свою я знаю. Я исполню ее, это неотвратимо, вот только как? Где бы ни был человек, если он представляет идею, в игре не частное лицо — люди могут быть самые разные,— в игре идея, именно она проходит проверку. Но я не могу не видеть в их сценарии стремления высмеять, надругаться, то есть стремления превратить трагедию (смерть человека всегда трагедия) в фарс, а меня в шута. Приговорить к смерти и привести приговор в исполнение — вот что такое казнь. Но посадить в камеру перед зловещей стеной и оставить в полном неведении относительно дня (а точнее, ночи) расстрела — значит оставить человека с глазу на глаз с его отрицанием, его небытием и развлекаться, наблюдая за тем, какие формы примет его страх.

Бывают, несомненно, и прирожденные герои, но этих убивают сразу. Со мной же они, конечно, хотят позабавиться именно потому, что я на героя не похож,— да и вправду я не герой. Более того, во всем этом есть какая-то иррациональность, ибо те, у кого полиция, пулеметы и пушки, могут меня убить когда угодно, где угодно и как угодно. Но тогда почему не на задах казармы, у стены, в лесу, в канаве или вообще где попало? От их инсценировки несет дурацкой мистикой сверхчеловека, и я не представляю себе, чтобы подобное зародилось в мозгу у румына. В такой иррациональности помимо жестокости есть что-то тревожное и нечеловеческое. Сегодняшние победители не довольствуются тем, что убивают — убивают и на войне, это неоригинально; но, стремясь театрализовать мир, они превращают убийство в спектакль, в комедию.

Все эти аргументы призваны, конечно, помочь мне сохранить самообладание, человеческое достоинство; палачи не дождутся шутовского дивертисмента; на моей стороне хорошие и надежные принципы, банальные в «нормальное время», но живые и энергичные, когда человечество потрясено в самых своих основах; тем, кто безмятежно существует в мирные времена, бесполезно говорить о свободе выбора, о достоинстве поведения, о том, чтобы отринуть навязанное зло, потому что они только пожмут плечами: конечно, само собой, и что из этого? Утешительно одно: когда эти банальности отменяются и правонарушение становится нормой, эти так называемые расхожие пошлости снова наливаются силой, возвращают себе былое могущество, побуждают целые массы людей рисковать жизнью, противостоять смерти и опрокидывать тупую силу вопреки ее количественному перевесу, осуществляя то, что любому здравомыслящему человеку представлялось бы невыполнимым. Мера человеческих возможностей, древняя эллинская мера, не театральна, в ней нет ничего устрашающего, ничего смертоносного, она кажется естественной, привычной, если не тривиальной, но стоит начать ее отрицать, как она вырывается на волю с поразительным упорством и силой, такой, что историки после не могут найти ей объяснения.

Потому-то и характерно, что я совсем не герой; герои во все времена и при всех обстоятельствах ведут себя героически, а мир никогда не бывает настолько спокойным, чтобы так или иначе не нуждаться в их прирожденном естественном героизме; но, когда человек как мера вещей упраздняется, эти древние понятия, привычные, изношенные и обессилевшие, становятся столь мощными, что именно они рож-

дают колоссальную энергию, придают силы весьма заурядным, невоинственным, сугубо штатским людям и посылают их в неравный бой. Между тем победители, разбившие армии, поправшие человека — меру всех вещей, любители всего ужасного, колоссального, грандиозного и театрального, принадлежащие к касте господ, они всегда забывают о силе слабых, о боеспособности штатских, о ярости мирных и относятся с полным презрением к сопротивлению масс. Но когда эти люди поднимаются против силы и не колеблясь идут на смерть, то фараонская мощь обречена и ничто ее не спасет.

Вы поймете это, дорогой доктор, только тогда, когда будет слишком поздно, уже бесполезно. Не говорите, что вы всего лишь исполняете свои профессиональные обязанности, потому что ваша профессия не в том, чтобы наблюдать за тем, как именно убивают людей, а в том, чтобы вырывать их из рук смерти; истинные виновники — не профессиональные убийцы, эти столь странные существа, которых я понять не могу, так же как и они не могут постичь тех, кто без нужды идет на смерть, между палачами и жертвами существует абсолютная несовместимость, полная невозможность представить себе друг друга,— истинные виновники те, кто помогает из равнодушия, выставляя себя простыми исполнителями, те, кто смотрит на вещи трезво и здраво и потому мирится с кошмаром, ведь «сейчас ничего нельзя сделать», существа, живущие минутой, будто она и есть действительность, люди, которых всегда обгоняет и неизменно повергает наземь движущаяся реальность и которые не знают, что настоящее — всего лишь мертвое отражение прошлого, что подлинным настоящим является только будущее.

Следовательно, именно то, что я не герой ни по рождению, ни по темпераменту, придает мне ценность, делает из меня представителя эпохи, которая останется в коллективной памяти не только благодаря кошмарам и немыслимым зверствам, нет, ее будут представлять не только те, кто совершал зверства, не только те, кто их перенес, сам не зная, как и почему, нет, ее будут представлять и те мирные, штатские люди, поглощенные иными загадками мира, которые могли бы жить спокойно, не мешать развитию событий, но почувствовали себя по-человечески обязанными восстать, вступить в смертельную борьбу, да, и они будут представителями эпохи. Идея по-настоящему могуча тогда, когда она поднимает на борьбу мирных людей, обычных, благополучных и непосредственно незатронутых. В наш век имя ей — коммунизм.

Я знаю, господин доктор, что вы скажете, когда дочитаете до этого места,— и тогда я уже не смогу вам ответить,— вы скажете: наконец-то, парень, в твоем монологе зазвучали патетические ноты, ты становишься в героическую позу, тебе страшно! Ну что ж, господин доктор, мне действительно страшно, может быть, поэтому я говорю так, но, видите ли, это же естественно, я хочу сказать нормально, что мне страшно, повторяю: я не герой, вопрос лишь в том, смогу я быть сильнее, чем мой страх, или нет. Вот в чем вопрос. Знаю, конечно, что насильственное одиночество, заключение в эту камеру — сила, работающая против меня, как знаю и то, что наличие этой стены — жестокий и изощренный способ пытки, особенно для молодого человека с чрезмерно развитым воображением, и что свойственное молодости жизнелюбие также обернется против меня, против моего сознания, типичного для взбунтовавшегося штатского. Знаю и другое. Я обещал, когда вы мне давали тетрадь, что буду искренен, что ж, я сдержу свое слово.

Спектакль, в котором по вашим расчетам мне суждено сыграть, в значительной степени бессмыслен, иррационален, и я задаюсь вопро-

сом, к чему сопротивляться собственному страху? На следствии, на суде, о, да, там другое дело, было бы подлостью выдать своих друзей, это значило бы нанести удар по движению, в котором я состою,— тогда надо было выстоять любой ценой, надо было молчать. Но здесь? Но теперь? Кто? Да, кто бы имел право осудить меня? Только тот, кто сам пережил это. Однако все они умерли или умрут. Да и кто узнает? Мои убийцы завтра будут лишены права слова, а вас (не обижайтесь) привлекут по обвинению в оскорблении памяти героя, если только вы заикнетесь, что, умирая, я выл от страха.

Никто никогда не узнает, как я умирал, а моя исповедь в этой тетради, если я дам волю страху, вообще не состоится. И кому, да, кому пойдет на пользу то, что я вел себя с достоинством перед тем, как меня умертвили, раз все равно никто ничего не узнает? Искушение велико, не так ли, господин доктор? Я убежден, вы подумали и об этом, вы, который не верит в силу абстракции, банальностей, утопий, как вы сами поспешили мне сообщить при первом же посещении, правда, после того как убедились, что я не мертв и что у меня не поврежден ни один жизненно важный орган; такое заключение вы сделали сразу, в их присутствии, что побудило их (и ведь вы это знаете) возобновить пытки, хотя (будем справедливы) только через сутки, потому что вы сказали: полегче с ним, ребята, не очень-то он выносливый; как так не очень, господин врач, возмутились они, мы его утюжим, а он знай молчит. Да еще и издевается над нами, оскорбленно проворчал один из них. Почему их так задевала моя ирония? Так вот, после того как вы привели меня в чувство какими-то уколами и пилюлями (чтобы я не умер? чтобы они продолжали делать свое дело?), вы меня укоряли, вытирая кровь, сочившуюся из моих ран, говорили о несознательной молодежи, об общих понятиях, банальностях, утопиях.

Я тогда еще мало что соображал, меня переполняла боль, но это я услышал и запомнил. Я сразу понял: вы человек, для которого будущее не существует, нам двоим вовек не понять друг друга, вы реагируете только на то, что с вами случается вот сейчас, в данную минуту, и называете это реальностью, все иное для вас сокрыто. Одно время мне, как старому картезианцу, казалось, что если кому-то что-то вразумительно объяснить, он в конце концов поймет, но нет, пока вам выгодно не понимать, пока вы из своего непонимания извлекаете для себя пользу, вы будете всячески его защищать. Знаете ли вы, что вы трус? Вы поймете это в свое время. Знаете ли, что вы авантюрист, потому что из-за своей жадности и любви к комфорту дали втянуть себя в авантюру? Я сожалею, что действую вам на нервы, лучше оставим этот бессмысленный разговор. По правде говоря, я и сам не могу объяснить, почему отказываюсь поддаться страху, рухнуть на четвереньки и завыть от ужаса. Впрочем, я не ломаю голову, чтобы понять, почему отказываюсь. Так будем считать, что это выше моих сил, что не могу, non possumus, и сменим тему.

Мое пространство определено — и его я описал,— но мое время лишено всякой определенности, так как будущего у меня нет. Настоящее скудно, тоненькая полоска, кое-какие наблюдения, остается одно — прошлое. А если, скажем, мне было бы пятьдесят и я был бы обречен, но по чисто физиологическим причинам, неужели все было бы иначе, неужели я не подводил бы итоги, не думал о прошлом? И разве вообще условия человеческой жизни не таковы, что рано или поздно ты оказываешься на пороге небытия? Воспринимает ли человек в пятьдесят лет неизбежность смерти по-другому, как нечто принципиально иное? Легче ли ему, обреченному бесследно исчезнуть, от того, что он прожил на тридцать лет дольше, чем я, и легче ли мне,

что я прожил на пятнадцать лет дольше одного из моих двоюродных братьев, умершего пяти лет?.. По существу, у меня отняли не только время, но и пространство, не мыслимое как нечто замкнутое, мое же настолько обусловлено, настолько ограничено, что практически его нет. Но тот, кто не знает, во имя чего расстается с жизнью, не знает и зачем жил, а что может быть ничтожнее жизни, которой сам не находишь оправдания? И все-таки я ощущаю себя неотделимым от завтрашнего дня. Я дышу, я сохраняю спокойствие и продолжаю рассказ.

Улица бессмысленно петляла. В этот полуденный час мостовая была раскалена, и я ступал по мягкому асфальту. Мне нравилось ходить днем по знойному городу, нравилось шагать ночью по бульварам, почти пустым, выдыхавшим накопленный жар; редкие прохожие выглядели тогда возбужденными и взволнованными картиной опустевшей и разгоряченной столицы. Но сейчас я был раздражен; улица петляла бессмысленно и в лучах нещадного солнца напоминала пышущую жаром стальную ленту. Мне надо было повернуть, медленно, очень медленно пройти по улице, пересечь другую — Принчипате, неторопливо двигаться дальше, внимательно присматриваясь решительно ко всему, затем снова повернуть налево, нырнуть в оживленную улицу с желтыми сумасшедшими трамваями, а через пять минут вернуться и раствориться в толпе на большой базарной площади, в хаотичных и мощных течениях пешеходов и транспорта. При известной ловкости здесь можно было затеряться сразу, уйти от слежки. Я имел обыкновение перед каждой встречей, за несколько часов до условленного срока, пройти по намеченной улице, присмотреться к ее особенностям, домам, перекресткам, предусмотреть возможности скрыться, вскочив на ходу в трамвай, схватив такси или смешавшись с людским потоком. В данном случае это было совершенно излишне, так хорошо я знал каждый двор, каждое окно, представлял себе все возможности скрыться; я шел не то по привычке, не то в предчувствии какой-то беды.

Я понимал, что совершаю глупость, и все же шел; накануне, соглашаясь на встречу именно здесь, понимал, что соглашаться не надо, и это тревожило меня. Если риск действительно был, зачем я его удваивал? И все-таки я шел дальше, хотя еще не поздно было вернуться. Но как я мог отменить встречу? Времени, чтобы сообщить об этом тому, другому, практически не оставалось, поздно было менять улицу, назначать — ему и мне — новое место встречи, все это потребовало бы не менее недели, так как Ликэ, я его назвал так, хотя понятия не имел, как его звали в действительности, этот основательный, энергичный парень, отвечавший взвешенно и размеренно на любой вопрос — даже если я его спрашивал просто, который час, он и то отвечал не сразу,— должен был немедленно покинуть нашу подпольную организацию, скорее всего даже город, так что не мог лично передать меня кому-то другому в тех необычных условиях, в которых вообще происходила «передача».

Я шел медленно, как можно медленнее, внутренне сжавшись, но стараясь быть предельно внимательным,— я наблюдал только за тем, что находилось в поле моего зрения, не поворачивая головы, осматривал каждый дом, окно, двор, улицу, лежавшую впереди и млевшую в горячих испарениях. Если бы я пошел быстрее, риска было бы меньше, но — то ли по инерции, то ли из упрямства — я не прибавил шагу. Дома были здесь одноэтажные и несколько двухэтажных. Со стороны улицы они выглядели солидными, но небольшими, на самом же деле, я знал, они тянулись вглубь и были очень вместительными, им просто не хотелось быть на виду. Их владельцами были люди богатые, рассудительные, спокойные, хозяйственные, замкнутые, подозри-

тельные. В этом месте, как раз в начале улицы, было несколько дворов, отличных от остальных: те же дома, вытянутые в глубину, но поставленные лицом друг к другу, по два в каждом дворе. Здесь комнаты сдавались внаем, жильцов было много, жили тесно, бедно, но со своеобразным достоинством нищих. Там же, где во дворе было только одно строение, хозяева ничего не сдавали, им нравилось жить обособленно за высокой железной оградой. Солнце палило, и я шел медленно. Обычно, когда я ходил по жаре, по раскаленным улицам, как бы я ни был расстроен, я постепенно успокаивался, чувствовал себя бодрым, энергичным; на этот раз солнцу не удалось меня успокоить. Я чувствовал, что делаю глупость, но не мог остановиться.

Впрочем, мне было трудно объяснить Ликэ, почему, собственно, мне не нравилась эта улица. Выслушав мои невразумительные доводы, он подумал, а потом удивленно спросил: а чем тебе не нравится эта улица, парень? Он был примерно моего возраста, может быть, на два-три года старше, но говорил мне «парень» и имел на это право, будучи куда более зрелым,— ясно, он много чего изведал. Чем она тебе не нравится? — повторил он. Тихая, чистая (чистой называлась улица, за которой не велось постоянного полицейского наблюдения), между людными проспектами, там легко скрыться... я не понимаю, нет, не понимаю, что тебя не устраивает... Мне нечего было возразить, я подурацки рассмеялся: старая любовь. А-а, сказал он, понятно — и перевел разговор. Я и теперь не могу объяснить, почему был к нему так привязан; говорил он мало и только конкретно: к делу, останавливал он меня, когда я отклонялся и начинал «разводить теории». Ну, хватит, довольно, к делу. Возможно, он мне нравился тем, что не походил на меня, был таким, каким я бы не мог стать никогда, хотя очень этого хотел,— не знаю, во всяком случае, он мне казался корректным, внимательным и сдержанным. Когда я допускал оплошность и он видел, что я расстроен, он говорил тихо и серьезно: поначалу так бывает... А потом, как всегда: к делу. Когда они меня били, то вдруг начали расспрашивать, кто такой Ликэ. (Я очень удивился, ведь только я называл его так — как же они могли узнать об этом...) Я засмеялся, потому что в таком случае действительно ничего о нем не знал. Они разъярились (нет у них чувства юмора, очень они закомплексованы, эти бандиты), и тогда мне захотелось знать, кто он, где живет, знать и молчать, как бы меня ни пытали. Я убежден, что, если бы Ликэ мог меня слышать, он бы немного подумал и сказал своим ровным голосом: в данном случае это просто глупость. Он прав, как всегда.

Раньше здесь была бакалея, теперь она закрыта, осталась безжизненная вывеска да в окнах старые покоробившиеся от солнца газеты. Впечатление грустное. В квартале нет магазинов, нет даже табачных лавок, наверное, из-за того, что площадь совсем рядом, и это хорошо, потому что многие владельцы лавок связаны с ними, это их глаза и уши, бывает даже, что какой-нибудь шпик часами торчит в лавке, болтая всякий вздор, а сам в это время пристально наблюдает за тем, что происходит вокруг. Я неспешно перехожу улицу Принчипате, внимательно оглядываюсь, улица пуста, только усталые, серые от пыли деревья, деревья из цемента. Теперь я уже на другой стороне, меня тянет оглянуться, но нельзя, я должен идти вперед, если кто-то висит у меня на хвосте, у него будет преимущество, так как до самого сквера на углу, где расходятся сразу несколько улиц, мне деваться некуда. Может, если бы Ликэ не ушел столь внезапно, я бы успел ему объяснить, почему меня тяготит необходимость идти на встречу именно по этой улице, хотя я не уверен, что даже в этом случае я бы ему сказал. Да, здесь жила одна девушка, на той стороне, в нескольких шагах отсюда. Я приходил к ней, открывал железную калитку, шел мимо

множества окон в ее комнату, последнюю в этом бесконечном доме. Сначала никто не обращал на меня внимания — сюда, в этот богатый дом, приходило много молодежи,— но однажды меня засек наметанный глаз отца: я уже не был простым «посетителем», речь шла о чем-то более серьезном.

Отец был начеку. Большой, толстый, смуглый, потный, потрясающе активный, он занимался тем, что делал деньги: делать-то он их делал, но ему все было мало — такие механизмы обычно останавливаются только тогда, когда выходят из строя. Он захотел со мной познакомиться, не мог же я ему отказать. Меня пригласили к обеду — проверить, какие у меня манеры, умею ли я держаться за столом: не чавкаю ли, не хлюпаю и все такое прочее. И она и я — мы оба нервничали, хотя старались шутить, у стариков-де свои причуды, но их можно провести, притворись, что принимаешь их всерьез, и в конце концов, что общего между этим экзаменом и нашими чувствами, правда? Я прохожу мимо окна, дом кажется пустым, мне не надо бы смотреть, но я смотрю, не видно никого, хотя там, за занавеской... Комнаты были темноватые, летом прохладные, забитые мебелью, потрепанной, но подавляющей своей солидностью, и она, удивительно проворная и веселая среди этих старых людей и вещей. У меня подкатывается ком к горлу, пересыхает во рту, я скован, хочу ускорить шаг, но не делаю этого, я прохожу мимо ее окна — когда-то я ей читал стихи: «Окно, ожидания мера, / Когда одна судьба склоняется к другой»,— опасность еще не миновала, теперь она может мне угрожать и с этой стороны: как ты здесь очутился? Ты шел ко мне? Девушка могла бы и вечером увидеть меня, остановить, и как было бы тогда с назначенной встречей, с тем, кого я ждал?.. Что это, мучительная тоска по ней? Не знаю, я скован, во рту пересохло, в горле ком.

После обеда грузный папаша позвал меня в свой кабинет, поговорить «по-мужски» — противное выражение, отвратительная ситуация,— что поделаешь, надо пройти и через это. Я предчувствовал, что провалюсь на экзамене, предчувствовал, не знаю почему, что не понравлюсь, и я ему действительно не понравился.

Здесь улица кончается, я должен повернуть налево, но прежде окину взором маленький сквер, несколько серых спекшихся на солнце скамеек, улицу, уходящую под углом вправо, и улицу, простирающуюся прямо передо мной; все пусто, слишком жарко. Раскаленный сквер дремлет под пылью, похожей на золу. Резко поворачиваюсь и смотрю назад, на пышущую жаром стальную ленту, струящийся вверх горячий воздух; пусто, никого. Это, впрочем, ничего не значит, возможно, что шпик, если он и вправду за мной идет, свернул налево, на улицу Принчипате, очень оживленную, и будет меня ждать чуть выше, против церкви, так как он уверен, что я выйду на трамвайную линию, и зачем же ему тогда тащиться за мной по совершенно пустой улице? А если мне повернуть направо, именно поэтому?.. Нет, лучше это выяснить сейчас, до встречи, очень важно, чтобы я не привел за собой «хвост».

Перехожу на другую сторону и сворачиваю налево. Продолжаю двигаться медленно, хотя в этом уже нет необходимости, чувствую себя очень подавленным: тоскую ли я по ней, грущу ли, что, может быть, никогда больше не увижу Ликэ? Я говорил себе: если останусь в живых, после Победы непременно захочу постоянно видеться с Ликэ. Хотя он будет, конечно, очень занят, постоянно занят, я останусь одним из тех, кто вырос под его руководством, он будет растить все новые и новые молодые кадры... У него было обо мне объективное мнение — возможности, достоинства, недостатки, с которыми необходимо бороться,— он изложит это в двух-трех хорошо взвешенных

фразах тому, другому, который через несколько часов должен меня «получить»; но он будет вспоминать обо мне; при расставании он был задумчив: то ли жалел, что мы больше, возможно, никогда не увидимся, то ли был слишком озабочен новым заданием. Я его ни о чем не спросил, он бы мне ничего не сказал, мог бы даже осудить за любопытство, не знаю. Он только пожал мне руку, пожелал «удачи и... и...» — больше ничего не добавил, только неловко усмехнулся; сказать «до свидания» значило бы, что мы оба доживем до Победы, а мы предпочитали не касаться этого вопроса; думаю, он был тоже взволнован, но умел лучше скрывать свои чувства, на том мы и расстались. Как много значил для меня этот человек, о котором я не знаю ровно ничего, даже его настоящего имени, или, быть может, знаю только одно — главное.

Человек, формирующий других, постоянно рискующий жизнью, он спит где придется, ест от случая к случаю, не имеет ничего своего, кроме одежды, может в любой момент получить новое задание, уехать в другой город, где надо разобраться в других проблемах и других людях, которым необходимо отвечать точно, конкретно, «по делу», не допустить ошибки, быть готовым к аресту, пыткам — и выдержать. Если бы у меня было время, я бы ему сказал, почему мне так не хотелось встречаться на этой улице; он бы меня внимательно выслушал и ответил что-нибудь продуманное и здравое. Он был бы прав и на этот раз. То, что он всегда прав, нравилось мне, мое доверие к нему росло, он был человек, не имевший права ошибаться.

Тучный папаша налил в два наперсточка ликер, поставил на место бутылку и щелкнул ключом. Он, видимо, любил, чтобы все было под запором. Пить я не стал, терпеть не могу ликер. Он подверг меня форменному допросу (с какого-то времени я вступил в полосу допросов, из которой выбрался только теперь). Он сказал, что знает мою семью, тут все было в порядке. про остальное я отвечал довольно неопределенно, как ему показалось, иронически — и что это они так не любят иронии, есть же этому какое-то объяснение,— а результат беседы был, несомненно, отрицательным, что он мне и заявил по-мужски.

Я дошел до угла, немного задержался у школы, теперь следует быть особенно внимательным, я выйду на трамвайную линию, на бойкую улицу, узкую и кривую, и должен мгновенно определить: кто стоит напротив церкви, кто идет мне навстречу теперь, когда я двигаюсь в обратном направлении, кто на противоположном тротуаре? Должен, но на улице слишком много народу. И я отказываюсь от этой мысли. Я фиксирую лица выборочно: женщин, детей, стариков исключаю сразу, меня интересуют только мужчины и только одиночки. В Германии тоньше работают: привлекают женщин, подростков — мужской пол в дефиците. Заворачиваю за угол, мне важно, кто у церкви. Но как раз проезжает трамвай... Проклятье! На стене школы плакат, портрет Антонеску и лозунг, наверняка грозный, желтый трамвай дребезжит, делаю вид, что читаю лозунг, нигде трамвай так не дребезжит, как здесь, он подпрыгивает, пляшет, да что с ним, черт побери, такое; спокойно, если я не вижу того, кто у церкви, то и он еще не может меня заметить. Резко поворачиваю, трамвай проехал, у церкви старуха в черном, рядом никого. Двигаюсь дальше, то есть возвращаюсь назад, к площади, иду быстрее, все мое внимание сосредоточилось в зрачках: грузные женщины, ребятишки, оборванный небритый человек читает газету. Может быть, это он и есть?.. Прохожу мимо, запоминаю его, снова вперед. Опять трамвай, я бы мог вскочить на ходу, но нельзя, я должен быть уверен, за тем сюда и пришел. Хочу обернуться, но здесь это бессмысленно — слишком много людей, я

все равно его не увижу. Впереди толстяк с огромным арбузом, он пыхтит, обливается потом, он счастлив. Счастье можно понимать и так.

Умираю от жажды, во рту пересохло. Я напряжен, но скованность прошла. Теперь я выхожу на улицу Принчипате, смотрю налево — ни души. Седые от пыли деревья словно из цемента. Тоскую ли я по ней? Вероятно. Скорее, испытываю чувство вины. Перед ней? Перед самим собой? Сейчас я шагаю быстро, смотрю по сторонам уже не так внимательно. Уродливые, темные, тесно поставленные лавчонки, прямо с улицы лесенки в три ступеньки, он может меня подкараулить в любой из этих дурно пахнущих дыр. Вполне возможно. Улица заворачивает, я резко останавливаюсь, прижимаюсь к стене, жду. Если он идет следом, ему меня не миновать. Смотрю на часы, сколько же прошло, неужели только десять минут? Глаза широко открыты, ладони влажны, я весь ожидание. Выпить бы чего-нибудь холодного. Выкурить сигарету. Сорваться бы с места и шагать быстро-быстро, не останавливаясь; но я обязан стоять неподвижно и смотреть. Три девицы громко, вызывающе смеются. Над чем? Крестьянин в зелено-коричневой фуфайке и черной старой шляпе, худой, небритый, с испитым лицом. Две краснолицые, плотные женщины, сгорбленная старуха, немолодой офицер с черным портфелем, потный, тощий, усталый, должно быть мобилизованный штатский, два прыщавых гимназиста, две изможденные, растерянные женщины в трауре. Я выждал достаточно, можно уходить. Нет. Вот здоровый смуглый парень, довольно упитанный, но плохо одетый. Он? Провожаю его глазами, теперь он возле бензоколонки, исчез, растворился в толпе. На всякий случай я его запомнил. Спохватившись, вздрагиваю: пока я разглядывал этого брюнета, я отвлекся от тех, кто проходил мимо меня. Смотрю им вдогонку, интересных спин нет. Если бы кто-то был, он бы уже появился, это точно.

Значит, никого нет? А если он прошел по противоположной стороне? Тогда я его просто не видел. Смотрю на часы: еще десять минут. Думаю о том, что на предстоящую встречу я обязан явиться без «хвоста», с гарантией безопасности, в противном случае под угрозой крупный активист, вся организация, они ухватятся за ниточку, ведущую очень высоко,— я не должен давать ее им в руки. Ни в коем случае. Но до встречи еще есть время, я вновь и вновь все проверю, не буду заходить ни к кому, даже домой, кто-то может следить за моей квартирой. Ждать дольше нет смысла, я отделяюсь от стены, шагаю широко, иду с удовольствием, теряюсь на этой огромной базарной площади, полной цветов, фруктов, народа, солнца, лета. Мне хорошо среди такого разнообразия людей, это самый пестрый квартал города.

Базар предстает красочным переливающимся калейдоскопом: снуют подпрыгивая желтые трамваи с красной полосой, мелькают потрепанные черные пролетки, покачиваясь в ритме вальса, несутся, словно спасаясь бегством, автомобили; течет многоцветный человеческий поток со своими воронками и стремнинами. Люди продают, покупают, кричат, прогуливаются, смеются, спешат. Коричневые цыганки с цветами, полнотелые потные женщины с тяжелыми сумками: крупные помидоры, мясистый перец, синие баклажаны, капуста; служанки важно идут с рынка, несут кровавые куски мяса, крестьяне группами устремляются в мрачную улочку Базака, которую образуют два ряда крохотных лавчонок; там, в полуподвалах, торговцы умудряются приткнуть прилавок с никуда не годным, но заманчивым товаром и громко зазывают покупателей; высокомерные барыни невозмутимо шествуют к центру, молоденькие служанки хихикают и шушукаются с галантными денщиками, лузгают семечки, тротуар усыпан серо-белой шелухой; мальчишки крутятся возле лотков с мороже-

ным, лимонадом, яркими витыми леденцами; плетутся изнывающие от жары дельцы в темных костюмах и модных галстуках; спекулянты, притворяясь крестьянами, торгуют овощами и фруктами, которые на рассвете скупают у городской заставы за сущие гроши; сухонький старичок продает граммофон с большой трубой и ветхий костюм, в этот знойный час по пути из одного в другой конец города здесь проходит весь Бухарест, люди останавливаются, чтобы посмотреть, спросить, сторговаться, прицениться,— сотни людей, которым доставляет удовольствие громко разговаривать, жестикулировать, шутить, оживленно смотреть по сторонам, и я жадно впитываю пестроту, гомон толкучки, горячее солнце.

Полный беспорядок, каждый стоит где ему заблагорассудится, идет куда хочет, торгует где и чем попало, покупает никчемные, смешные вещи; элегантные люди пересекают площадь быстро, в пролетке или легковом автомобиле — здесь встречается окраина города и село, дети, прислуга и влюбленные, в атмосфере народного карнавала, полного солнца, веселья и шума.

Мне удалось уснуть с большим трудом — то ли потому, что это первая ночь в новом помещении, не сразу привыкнешь... то ли потому, что она могла оказаться — ведь так? — последней, а может быть, из-за ран и ожогов (не бог весть что, но они болят) мне все чудилось, что неприятная стена валится на меня. Естественно, я лежал к ней спиной, но она придвинулась к койке, я почти физически ощущал ее, казалось, она вот-вот обрушится на меня. Не исключено, что я спал и днем — ведь я лихорадочно писал, а устав, ложился навзничь,— но как здесь отличить день от ночи, все та же лампочка, все тот же тусклый красноватый свет, разве что еда, которую мне приносят дважды в сутки, обозначает течение времени так, как это делают луна и солнце... там. Вообще говоря, ночью здесь более шумно, работа ведется интенсивнее, заключенных приводят, уводят, слышится грохот ботинок, нередко — вопли. Ночью страх сильнее. Ночью человеку приходят в голову дурацкие мысли, которые мучат его, днем ему странно, что он терзался по таким пустякам. Так, например, я очень озабочен, что, если утром меня убьют, останутся заметки — господи, чего только я вчера не написал! — из которых следует, что я изнывал от тоски по какой-то девице. Вот что значит писать: стоит накропать несколько страниц в тетради, обреченной на сожжение, и уже заботит посмертная репутация.

Ерунда, конечно, но ведь довольно неестественно, чтобы человек, теряющий в двадцать лет все, серьезно относился к собственному образу, который останется в памяти немногих, быстро тускнеющий образ, и только Однако речь идет не лично обо мне, а о том, что я представляю, о той силе, что будет продолжать жить, а вместе с ней и я. Да и было-то все несколько иначе — я говорю о любви. Я вышел на набережную и направился в сторону суда, здания в классическом стиле, с насквозь прокоптелыми стенами, зашел в закусочную попить газированной воды, так как умирал от жажды. Я говорил себе, что у меня еще будет время подумать об этой девушке, с которой я поступил действительно дурно, но другого выхода не было. После того как я провалился на экзамене у Эдипа, началось все, что полагается в таких случаях: слезы мамаши, громы и молнии смуглого тучного папаши, отчаянные протесты Антигоны, которая отстаивала свое право на счастье, ее безутешные рыдания, сочувствие разжалобившейся матери, и опять все сначала: старики обладают чудовищной энергией. Но мы, конечно, продолжали встречаться в парках, ходить в кино, гулять по набережной, пока у меня не пересыхало горло от пыли,— как все.

Неприятности пришли, следовательно, не от Эдипа, как можно было бы предположить, а от меня самого или, вернее, от обстоятельств. Она бы так и гуляла со мной вечерами, ходила бы в кино или — как она говорила — в кинотеатр; понятно, ей этого хотелось, целовалась бы, ну, конечно, все так делают, и я бы себя так вел, вот только... да, дело именно в этом, у меня были собрания, встречи, задания, почти всегда по вечерам, особенно задания, нельзя же в самом деле расклеивать листовки днем. Об одних встречах мне сообщали заранее, о других я узнавал в последний момент и не имел возможности ее предупредить, зайти к ней я не мог, в телефонную трубку рычал Эдип, а кроме того, многое вообще приводило ее в недоумение: почему ты не можешь завтра вечером? Что я мог ей ответить: договорились пить пиво с товарищами... Но ты и вчера пил... А почему, когда ты со мной, ты никогда не пьешь?.. Я читал ей стихи: «Разве можно сейчас любить? / Все сердца стали кровью и пеплом» Нет, она не понимала. Да и чем, собственно, мог быть так занят парень моих лет, который к тому же действительно был влюблен... Неглупая девушка могла прийти только к одному выводу, за которым следовали ревность и слезы. Еще в самом начале, когда я заходил к ней домой, ей показалось забавным, что, не успев сесть, я снимал с руки часы и клал их перед собой. У тебя что, какое-нибудь свидание? Да, свидание. Это слово имело совершенно разный смысл для каждого из нас. В первый раз я смутился и снова надел часы: ремешок маловат... Но в следующий раз опять снял часы: у меня не было времени. Я жил в бешеном ритме, я задыхался. Жил с циферблатом перед глазами. Я ей не объяснил, почему не мог жить иначе. Но что было ей сказать?

В заключение нашего «мужского» разговора Эдип без обиняков заявил: послушайте, молодой человек, одни делают деньги, добиваются положения, другие витают в облаках. При слове «витают» он сморщился от отвращения. Все было ясно, но он тем не менее продолжал: поверьте мне, я ничего не имею против мечтателей, но пока я жив (тут он бросил на меня взгляд, не оставляющий сомнений)... пока я жив, моя дочь не выйдет замуж за мечтателя. На этот раз «мечтатель» прозвучало угрожающе. Если же она за вас не выйдет, а она не выйдет, то зачем, спрашивается, все это? Я возразил смеясь: вовсе я не мечтатель. Было самое время сказать: мы — мечтатели, только в совершенно определенном смысле; но я смолчал. Он отбросил мои слова резким жестом короткой толстой руки, словно скинул их со стола. На самом деле со мной разговаривал не просто человек, не отец, а представитель определенного класса. Люди гораздо менее индивидуализированы, чем им хотелось бы думать. Он снова заговорил: и дело не во мне, не в моих вкусах, а в ней. Я знаю свою дочь, молодой человек, пыхтел он, уверяю вас она презирает деньги, но ей необходимо все, что можно на них приобрести. Ей хочется быть элегантной, путешествовать, ведь кончится же когда-нибудь эта война, обзавестись красивым домом и автомобилем, а все это стоит денег, молодой человек, и немалых... Лоснясь от пота, он внушал: не надо смеяться, юноша, я знаю, что говорю, у меня большой опыт, так было и так будет, пока мир стоит, пока существуют люди: одни стараются накопить, приумножить, занять прочное положение, укрепиться, другие только языком болтают, строят воздушные замки и остаются у разбитого корыта. Он был неумолим.

Не знаю, была ли она такой, как уверял ее отец, ничего особенного в ее поведении я не заметил: ей было семнадцать, хотелось погулять с любимым, развлечься, потанцевать — это естественно, совершенно естественно, даже если мир сотрясается от войны, даже если гибнут люди, это ее не касалось. А я... у меня не было времени, я не

всегда мог прийти на свидание, девушке приходилось ждать — иногда из вечера в вечер, она сердилась и была по-своему права. Но как было ей сказать? Я посоветовался с Ликэ. Он выслушал меня серьезно, внимательно, подумал и степенно ответил. Я ожидал такого ответа, другого и быть не могло. Я как огня боялся беседовать с ней о политике, под этим она понимала и будущее, и наше собственное существование, и литературу, и вообще все. Судьбы мира ее не интересовали. Вполне искренне. Если бы она что-нибудь почувствовала, то, конечно, взволновалась бы, тут же поделилась со своей маменькой, сухонькой, большеносой и слезливой, которая начинала все более походить на старые вещи в сумрачных комнатах, а к вечеру все было бы уже известно грозному Эдипу, то-то вышла бы история...

Нет, это было бессмысленно и опасно. Ликэ посоветовал мне подыскать подругу, которая прекрасно бы поняла, что такое жизнь подпольщика. Да, все так, но я-то любил именно эту девушку — легкую, веселую, своенравную. Почему, не знаю, но любил. Может быть, именно поэтому.

В иных условиях я бы постарался переделать ее, вдруг бы это оказалось возможным, а так что я мог ей предложить: опасности, волнения, муки, смерть? И зачем ей лишаться своих привилегий, которые она считала вполне естественными? Она была не виновата, и я был не виноват, но я совершил другую ошибку и понял это после той тягостной сцены около казармы на Раду-Водэ, когда наговорил ей много несправедливого, чтобы оскорбить ее, чтобы от гнева и возмущения она порвала со мной; я кричал на нее, потому что сердился на себя, потому что она не должна была страдать, не должна была чувствовать себя брошенной. Чтобы она не страдала впоследствии, я заявил, что люблю другую, что никаких чувств на самом деле к ней никогда не питал, потому что она глупая, необразованная, себялюбивая и легкомысленная, чего только я тогда не наговорил, сердясь на нее за то, что она плачет, на себя за то, что я груб, что приходится порывать с девушкой, которую любишь, сердясь на то, что сержусь — тягостная сцена,— и все это время, пока мы ходили взад-вперед по набережной, я кричал, а она плакала, все это время меня преследовало начало песни, кажется Антона Панна[1]: «Под церковный звон на Раду-Водэ /Мы вели с голубкой разговоры...»

Может быть, мы все равно бы расстались, уж очень мы были разные, просто в какой-то момент я ощутил потребность влюбиться, именно тогда я с ней и познакомился у каких-то случайных приятелей, потребность в любви приняла ее облик, а она как раз искала флирта, я употребил точное слово, я понравился ей, потому что ее полюбил. Вероятно, мое чувство было более сложным, но сейчас у меня нет времени разбираться, в чем состояла сложность; а там, в закусочной, где худой как жердь, замотанный официант смотрел на меня крайне недружелюбно, потому что я пил только газированную воду, там, в этом шуме и гаме, мне никак не удавалось сосредоточиться, чтобы как следует подумать об истинной природе своего чувства к девушке, которую я унизил и довел до слез, чтобы избавить ее от страданий.

Закусочная была большая, выходила на три узкие улицы, и стены, вдоль которых тянулись тротуары, были из стекла; летом стекла поднимали, так что ты оказывался в непосредственной близости с человеческим потоком, который катился мимо многочисленных столиков, тесно поставленных, людных и шумных. Я лишь перешел базарную площадь, сделал всего несколько шагов, миновал гостиницу «Траян» и попал в другой мир; здесь пересекалось сразу несколько узких, сдав-

[1] Панн Антон (1796—1854) — румынский писатель, композитор и фольклорист.

ленных, кривых улочек, мощеных дорожек с плохо освещенными магазинчиками, где прилавки ломились от товаров; эти узкие каналы между улицами Виктория и Липскань выплескивали на набережную волны людей, возбужденных, багровых, нагруженных пакетами; после изнурительной беготни и упорного торга, держа в руках добычу, здесь они замедляли шаг, чтобы выпить пива, обсудить мелкие покупки и перевести дух на бойком месте, в заведении под названием «Подкова», полном шума и дыма. Это были приехавшие в столицу провинциалы, которые спускали все, что упорно откладывали месяцами, заглядывали они и в богатые магазины, но ни к чему там не притрагивались, они толпились и гудели здесь, на улочках с крохотными лавчонками, люди, которые два дня метались как угорелые, чтобы сделать свои дела, повидать родственников, купить, что нужно, и малость поразвлечься; домой они возвращались вымотанные вконец, ошеломленные бешеным ритмом, в котором проводят свои дни жители Бухареста, не понимая того, что обитателям столицы не приходится проворачивать все за двое суток, у них есть для этого и другие дни; измученные провинциалы будут потом в восторге, что им все так хорошо удалось, а пока они «делают привал», выпивают и закусывают, громко разговаривают, все время держась стайками, чтобы не заблудиться, не потеряться в Бухаресте — этой огромной пустыне.

Мне было одиноко среди шумного веселья, дешевого, мимолетного, лоскутного, скроенного из стольких невзгод и лишений, на этом кутеже обездоленных, у которых стоптаны и башмаки и души, но в каком-то смысле даже хорошо, что я был одинок и тосковал в одиночестве. Подавленное состояние, в котором я шел по ее улице, раскаленной и пустынной, вновь охватило меня, может быть, только чуть иначе. Я неотвязно думал, что по-настоящему виноват перед ней не в том, что устроил ей безобразную сцену на Раду-Водэ, где когда-то был монастырь, а теперь казарма, а в том, что вообще довел до этого, допустил, чтобы дело зашло так далеко, хотя с самого начала предчувствовал, что разрыв неизбежен, но позволил ей привязаться к себе, делал все для этого, с тем чтобы бросить ее именно тогда, когда она привязалась, когда начала меня любить, несмотря на то что я вел себя странно и непонятно, а может быть, именно поэтому. Единственное оправдание, что я был не в силах с ней расстаться, да, но почему же все-таки у меня достало сил с ней порвать? И, однако, я чувствовал, что не эти забытые укоры совести угнетали меня, не только они, и тогда я внезапно осознал, что за этой любовью и отказом от нее стояло столкновение иного рода, другой — бесповоротный — отказ.

Я порядком разволновался, на месте не сиделось, я расплатился, вышел и снова направился к базарной площади; шел быстро, широким шагом, опустив голову, один на шумной и пестрой набережной Дымбовицы, свернул на улицу Кэлэраши, поднялся по ней к бедному и людному кварталу, где церковь Сфынта Винерь. Дома здесь почти сплошь одноэтажные, обшарпанные, словно прокаженные, и только в самом конце улицы несколько больших магазинов: один — мебельный, вечно пустой, на углу аптека, прямо с тротуара — три каменные ступеньки, ателье по изготовлению постельных принадлежностей, где на всеобщее обозрение вывалены красные, синие, розовые стеганые одеяла; а на паперти нищие, калеки, паралитики, скачущие на руках безногие мужчины, чудовищные живые скелеты, слепцы с губными гармошками, немые с шарманками и облезлыми попугаями. Чуть подальше маленькие, замурзанные, покосившиеся домишки, желтозеленые от старости и усталости, там и сям чайные, бубличные и лавочки колбасников; как попало одетые люди, с бледными, восковыми

лицами, двигались быстро, оживленно жестикулировали и громко разговаривали, не то что у нас, в фешенебельном и чопорном квартале.

Я шел очень быстро, стараясь не упустить пронзившую меня мысль, которая тем не менее норовила ускользнуть. С тех пор как началась война, я не выпил ни капли спиртного, ни разу не был в кафе, даже чтобы только съесть мороженое. Ликэ справедливо распекал меня: что за мелкобуржуазные замашки, что за аскетизм, ведь организм в твоем возрасте своего требует, в частности, сахара. Он был прав, мой аскетизм был, конечно, типично буржуазным, ведь я и сам происходил из буржуазной семьи, но презирал страсть к обогащению, к обеспеченному образу жизни и именно потому, что был из этой среды, чувствовал потребность порвать со всем, что хотя бы отдаленно напоминало мир моего детства и юности. Это была идея навязчивая, согласен, но это была и потребность, почти физиологическая. Мне казались непристойными любые развлечения, когда столько людей страдает на фронтах или в тюрьмах: «Умирает кто-то. На меня он смотрит». Однажды я страшно поссорился с Ликэ, и он наконец вышел из терпения. И в этом вопросе, признаться, он был прав, но я не мог жить иначе и не изменил свою точку зрения... вернее, убеждение, но, чтобы не ссориться с другими, держал его при себе.

Я считал, что в атмосфере, насыщенной смертью, когда весь мир засыпан военными сводками, когда к стереотипным идиотским формулам сводят гибель сотен и тысяч людей на фронте или под авиационными бомбами в мирных городах, когда мы сами вовлечены в деятельность, которая в любую минуту может обернуться смертью любого из нас, я должен приучить себя к вероятности трагического исхода путем постепенного отказа от всяких радостей и удовольствий, отказа от всего, из чего обычно состоит жизнь. Если я останусь в живых, казалось мне, совсем нетрудно будет снова начать жить полной жизнью, в моем возрасте это не проблема, но если мне придется столкнуться лицом к лицу со смертью неподготовленным, то я могу смалодушничать, наделать массу глупостей. Зачем же мне было развивать в себе жажду жизни, усиливать то, что и так рвалось из меня, из моего юного тела. Когда Ликэ услышал об этом, он пришел в ярость и прочел мне нотацию с горячностью, какой я в нем не подозревал. Он был абсолютно прав, да, может быть, я просто боялся струсить и хотел приучить себя к тому, что бесследно исчезну, хотя мне сейчас двадцать лет и все во мне протестовало против такого конца. Живое существо, естественно, отвергает небытие, пытается избежать его, и надо было преодолеть слепую жажду бытия или хотя бы приглушить ее. Значит, вот от чего ты отказываешься, от пива и мороженого, мистицизм сбрендившего монаха, сердито ворчал Ликэ — мы были на улице, иначе он бы орал на меня.

Нет, монахи отвергают жизнь, потому что ненавидят ее, я же, напротив, был жаден до жизни, до интенсивного биения мысли, прелести бесед, радости дружбы, жаден до любви... Любви, да, в этом все дело. Глупой была моя идея, это верно, сегодня я знаю, что выдержал пытки и ужас смерти благодаря презрению, а не постепенному отвыканию от радостей, смирению плотских желаний, хотя, кто знает... Было бы у меня время (но его нет), я бы рассказал о моих скромных тренировках, это любопытно. Во всяком случае, инстинкту самосохранения можно противопоставить только другой, того же ряда и реальный импульс, а не абстрактные суждения; при определенной интенсивности и остроте боли умозрения рушатся, лопаются, требуется что-то другое — ярость, ожесточение, чувство солидарности, отчаянная надежда. Во всяком случае, тогда я был таким, и, думается, было бы ошибкой говорить, что в этом состояла моя идея — глупая или

нет,— скорее, это можно назвать глубокой потребностью порвать со всем, что составляло прежде мою жизнь, ненавистью и отвращением ко всему, что о ней напоминало.

Тут я, признаться, перегибаю, но когда рвешь с буржуазией и идешь в Революцию, то должно отбросить все, отречься от всего, даже от того, что выглядит совершенно безобидным, от того, что много позже может оказаться полезным, потому что никакой класс не вырабатывает только отрицательные привычки, но в момент резкого перехода рождается мощная волна, которая несет тебя с бешеной силой и, конечно, в этот момент ты многому придаешь преувеличенное значение, иначе нельзя, и Ликз был прав, когда усмотрел в моем поведении черты буржуазности, потому что для пролетария путь в Революцию — нечто абсолютно естественное, сознательное, принятие на себя ответственности в определенной ситуации, тогда как для выходца из буржуазной среды необходим разрыв со своим классом, внутренний взрыв, ярость и презрение, именно это и дает силы отмежеваться от одного мира и примкнуть к другому, прекрасному, светлому, но который пока что требует всей твоей энергии, предлагая взамен лишь страдания, даже возможную гибель, и я мог противопоставить тем, на чьей стороне еще находилась сила, только ярость и презрение.

Я миновал церковь и мчался теперь по трамвайной линии, все вперед и вперед — если за мной охотился шпик, думаю, ему пришлось попыхтеть как следует,— засевшая в голове мысль казалась пронзительной, но при этом парадоксальным образом ускользала от меня. Я старался вернуть себе состояние подавленности, сожаления и тревоги, ощущение непоправимости, которое владело мной недавно,— и вот, после того как я сделал этот длинный, бессмысленный конец, пошел медленно, настороженно, наблюдая других и находясь под их наблюдением, двигаясь наперекор смутной, но неумолимой силе по этой пустынной улице, серо-сизой, дымящейся раскаленной сталью,— это состояние тревожной напряженности, щемящей грусти, которое побудило меня уйти из шумной и душной закусочной и броситься, не разбирая пути, вдоль осевших желтушных домов, плохо переносивших резкий дневной свет, наконец вернулось ко мне, и я силился проникнуть в его смысл, а он, несомненно, был, но тонул в каких-то абстрактных соображениях. Во всяком случае, я уже понимал, что виноват перед ней главным образом в том, что тянул время, хотя сознавал давно, чем все это кончится, и вместо того, чтобы легко прекратить легкие отношения, дал им окрепнуть, более того, всячески старался, чтобы они стали ей жизненно необходимыми, так что разрыв произошел резко и болезненно; я понимал теперь, что мое странное поведение совершенно необязательно должно было привести к разрыву, поскольку девушка, не понимая его и страдая от этого — я ведь ничего не мог ей объяснить,— не собиралась, по крайней мере в то время, расставаться со мной, но я сам, уверенный в том, что рано или поздно она меня бросит, испугался, что тогда у меня уже не будет сил; вот почему я так грубо бросил ее на набережной Раду-Водэ.

И, наконец, я понял, что я не настолько любил ее, чтобы грусть, сожаление и угрызения совести — конечно, я переживал все это — породили бы такое оцепенение и тоску, ощущение непоправимости, и что истинный мотив, заставивший меня порвать с ней пока не поздно, вероятно, другой: стремление ослабить жажду жизни, особенно сильную в моем возрасте, не быть целиком в плену у бытия, с которым, возможно, мне вообще предстояло расстаться; и, шагая по пустынной, раскаленной старой улице, я уяснил себе, что на самом деле разорвал не с девушкой, а с жизнью, и бесповоротно, вот почему я испытывал теперь такую смертную тоску. Это был разрыв с собой,

жадным до жизни, слабым и отринутым мной. Но это же низость, малодушие, вскричал я и остановился.

Погоня за ускользавшей мыслью завела меня в район улицы Дудешти, потом я свернул на Траяна, дошел до улицы Табаку, проскочил параллельную проспекту Кэлэраши улицу Лабиринт в направлении Мынтулясы, откуда доносились звонки трамваев, и уже добрался до улицы Колумбе, не длинной, но с двумя поворотами, небезопасными для меня, спохватился только после второго, машинально прижался к стене высокого, серого дома. Я немного устал. Вынув не спеша сигареты, я собрался было закурить, как вдруг прямо против меня притормозил мчавшийся во весь опор жирный лысый уродец. Заметив меня, он вздрогнул, по инерции пролетел еще несколько шагов вперед, чуть не споткнулся, а потом, тяжело и натужно пыхтя, вытаращил глаза и перешел на прогулочный шаг. Мимо как раз проезжало такси, я его остановил, назвал домашний адрес и попросил ехать побыстрее. Человек, уже ушедший вперед, повернулся, бросился было к машине, но она уже тронулась, и он досадливо махнул рукой — или все это мне почудилось? Не знаю, я действовал механически, не задумываясь, так же как не задумываясь, по привычке дал адрес своего дома. Порой, если на улице я наблюдаю за всем слишком напряженно, мне начинает мерещиться бог знает что, любой прохожий вызывает подозрение. Когда делаешься мнительным, и не без оснований, неизвестно, где остановиться, кому поверить. Готов ко всему.

Я взял себя в руки, сказал себе, что ни в коем случае нельзя ехать домой, именно туда, нет, нет, и дал другой адрес, поближе, на улицу Аустру, к тете. Подумал, что все это просто наваждение, я ведь все время проверял, не преследуют ли меня на этой пустынной улице, и потом, как он мог угнаться за мной, я молодой и худощавый, у меня широкий шаг, и я почти бежал, а этот коротышка толстый и старый; правда, когда я еще до того, как выйти на площадь, проверял, нет ли за мной слежки, я не посмотрел на противоположную сторону, и позже, когда колесил по улицам, я не оглядывался, поглощенный сложными переживаниями; толстые-то толстые, но у них большой охотничий стаж, у легавых, они умеют травить зверя; и как тогда понять пируэт лысого уродца? Ну, а если все-таки мне померещилось? Может быть, он просто удивился, что я бежал, бежал, а потом вдруг остановился и прижался к стене... Может, я даже напугал этого недоростка. Разве нормальные люди так ходят? Во всяком случае, я должен быть очень внимателен. Я выбросил из головы мысли о собственной трусости, о том, что, отказавшись от девушки, я отказался от самого притягательного в жизни, и задался вопросом, не взбредет ли в голову этому сыщику, если он действительно сыщик и шел за мной по улице не случайно, вернуться туда же во второй половине дня, специально для того, чтобы караулить там до вечера и застукать нас обоих — меня-то ладно, но еще и нового связного; а вот этого не должно было случиться. Было бы лучше туда больше не возвращаться, сообщить — но кому и как потом восстановить связь? А если я потеряю связь — как мне удастся скрыться, где я достану документы, квартиру и т. д.?

И наконец, даже если допустить, что здесь что-то нечисто, хотя уверенности не было никакой,— как мог этот сыщик угадать, что у меня, рыскавшего по стольким улицам, непрерывно менявшего направления, через несколько часов предстоит встреча, именно здесь, на одной из множества улиц, по которым я сегодня носился. Абсурд. Неужели я просто струсил? Но если шпик был мало-мальски опытен, он, вероятно, мог определить ту самую, искомую улицу, ведь по ней я шел иначе, совершенно иначе... Одним словом, пойти на встречу было абсолютно необходимо, надо все сообщить новому связному,

сказать быстро — на одном дыхании, и пусть решает сам. Он найдет выход! Кому-то же было поручено заботиться обо мне, кому-то, о ком я даже понятия не имел, но кто знал, что делать, кто подумает и решит за меня. Я почувствовал облегчение.

Машина остановилась на улице Аустру у перекрестка, шофер не должен был видеть, в какой дом я войду, хватит того, что он знал улицу, а это было плохо, очень плохо, хотя ничего особенного во мне он заметить не мог,— молодой человек сел в такси, вот и все. Я протянул деньги шоферу, и он неожиданно сказал: вам повезло, что я там проезжал, а то бы вас сцапали. Кто? — возмутился я. Человек немолодой он понимающе усмехнулся: с нашим-то опытом, мы всегда видим, у кого деловая встреча, у кого любовное свидание, у кого... ну, вот как у вас. Как же вы это видите? — вздрогнул я. А так, по тому, как человек ведет себя в машине, улыбается ли он, волнуется, признаков много... Не понимаю, о чем вы говорите, оборвал я его холодно, и дал на чай. Открыл дверцу. Он открыл свою и широко улыбнулся: у вас я на чай не возьму, но мне хотелось бы пожать вам руку. Меня захлестнула жаркая волна благодарности, я чуть не обнял его, но удержался. Что вам нужно, не понимаю,— я хлопнул дверцей, не пожал его руки и неторопливым шагом удалился. Должно быть, это был сочувствующий — член партии так себя вести не мог,— а я оскорбил его. Но ведь могло быть и иначе, попадались и такие, редко, но попадались, и ни к чему было признаваться в том, о чем он только догадывался. Я действовал правильно, и все-таки мне было тяжело.

Я должен войти в дом только тогда, когда такси проедет мимо меня и исчезнет за углом. Сзади никаких звуков. Впереди еще несколько домов... Несколько секунд. Но вот послышался шум мотора, машина тронулась, проехала мимо, завернула за угол. Я находился рядом с нужной мне дверью. Надо было как-то договориться с тетей, что я у нее сегодня переночую, домой идти было нельзя. У тети не было политического чутья, самое большее — она заподозрила бы пирушку с приятелями или свидание с девушкой... кроме того, она была мне теткой по отцовской линии, отношений с мамой не поддерживала, они терпеть не могли друг друга, так что она все равно ничего бы ей не сказала. Дом мне не понравился сразу. Я его знал, но на этот раз он мне не понравился: несколько пятиэтажных корпусов, расположенных в глубине, на улицу выходит высокая стена, между стеной и корпусами узкая асфальтированная дорожка, которую все называют аллеей. Квартира в самом дальнем корпусе, это было некстати — нечто вроде мышеловки. Я ступил на аллею с тяжелой душой. Сегодня, как никогда, мне было не по себе. Если бы я рассказал об этом Ликэ, он бы надо мной посмеялся, но я не смогу ему рассказать ни сегодня, ни в другой раз. Скорей всего, я был не в своей тарелке именно потому, что лишился его: я привык — он думает и решает за меня.

Итак, я отказался от всего во имя идеи, но человек так устроен, что испытывает потребность в персонификации, а так как я не доверял обществу, его институтам, собственным родителям, то целиком доверился этому незнакомому мне человеку без имени, без прошлого, с другим, чем мое, будущим, который пришел ко мне сквозь непроглядную тьму; мы шли плечом к плечу, и он мне помогал понять тех, с кем я работал и о ком он знал только то, что я ему сообщал, помогал мне справляться с конкретными задачами, с проблемами, слишком сложными для меня,— я был очень молод и неопытен,— помогал бороться с привычками, сложившимися в совершенно другой среде, старался научить меня сводить к оптимальному решению мои споры с самим собой. Это было очень своеобразное, даже странное

отношение, состоявшее целиком из доверия и превратившее другие чувства — к друзьям, к девушке — в строгую отеческую нежность.

После того как я уже убедил в правоте нашего дела кого-то, кого можно было привлечь в нашу организацию, возникал вопрос, сможет ли этот юноша переступить порог теоретических дискуссий и окунуться в практическую деятельность, то есть подвергнуть себя опасности. И здесь тебя подстерегали разные неожиданности, которые мог преподнести кто угодно, даже ты сам. Высокий сильный парень Антон, который на протяжении нескольких месяцев твердил мне о своей готовности и, казалось, был рожден для борьбы, в тот день, когда ему было предложено впервые выйти на связь, ответил отказом, заявив, что... он не согласен с принципом равенства между мужчиной и женщиной, первая попавшаяся отговорка, которая пришла в его крупную белокурую голову. Он, обычно такой румяный, побледнел и покрылся потом. Дорел, вернувшись с задания — ему первый раз поручили распространить листовки,— сказал, что не может отказаться от искусства: он играл, вернее, нещадно пиликал на скрипке в тех редких случаях, когда ему представлялась возможность этим заниматься. Не более чем предлог, это было видно по кривой, кислой усмешке, с которой он сообщил мне свою мелкую ложь. Помню, я ему сказал: не стыдно тебе, Дорел? Он стоял опустив голову, очень бледный и криво улыбался. Толстяк Раду, увлеченный и погруженный в мир идей, обожавший теоретические дискуссии, когда ему дали листовки, чтобы он их расклеил по городу, вернулся домой вместе со всеми листовками и сжег их, а затем уехал из Бухареста, обосновался в Яссах, там поступил в университет, потому что боялся встретиться даже с нами, его товарищами. Вскоре после того, как меня приняли в Союз Коммунистической Молодежи, я получил первое ответственное поручение и отправился на первое организационное собрание ученической ячейки. Один из нас вдруг страшно побледнел, выскочил из комнаты, заперся в уборной и ни за что не хотел выходить; мы с большим трудом наконец его оттуда вытащили.

Но нельзя легко судить кого-то, кто охвачен паникой, не может сдержать себя и совершает нелепый, подчас даже низкий поступок. Страх внезапно обрушивается на сознание, затопляет его, и человек становится невменяемым, до того он теряет власть над собой. Это самозащитная реакция организма, и было бы несправедливым отождествлять самого человека, в принципе мужественного, с его состоянием когда он во власти страха; но если с ним это случится в минуту опасности он рискует поставить под угрозу жизнь многих. И все-таки разве можно судить тех, кто отступил, испугавшись возможной опасности, строже, чем тех, кто вообще не намерен участвовать в борьбе? Когда наступало время рекомендовать кого-нибудь, с кем уже, казалось все было переговорено, и ты сообщал наверх, что он согласен стать членом организации, Ликэ очень серьезно спрашивал: ну, а если?.. И я всегда терялся; от моего ответа, возможно, зависели теперь жизни многих, ведь как бы хорошо ты ни знал товарища, разве можно ручаться за то, что с ним произойдет в самый ответственный момент, не струсит ли он, сколь непреодолимым может оказаться его физиологический страх перед пытками, сколь велико стремление истерзанного тела избегнуть дальнейших мучений, и все-таки приходилось этот ответ давать, давать за кого-то другого, хотя неимоверно трудно было поручиться даже за самого себя. Я отвечал за судьбу брата своего.

Когда я входил в квартиру тети, у меня почему-то мелькнула мысль, что Ликэ, передавая нашу организацию и дойдя до меня, на вопрос своего преемника, с которым мне предстояло встретиться че-

рез несколько часов: а если?.. — ответил серьезно и неторопливо: э-э-э... кто его знает, думаю, да, и это короткое «да», которое я словно услышал, меня успокоило. Я понимал: мое смятение в тот день было вызвано тем, что я больше никогда не увижу Ликэ, неизвестного, пользовавшегося полным моим доверием, значившего для меня больше, чем отец, брат, друг, хотя он не был никем из них, и теперь в моей жизни возникает другой незнакомец, так что мне предстоит полностью переключить на него свое доверие, необходимое в практической работе, а это требовало времени. Пока же я чувствовал себя совершенно беззащитным. Было, конечно, полное доверие к Партии, но ее конкретным воплощением являлся для меня один-единственный человек, и вот теперь он ушел, и потому я был так не уверен в себе, так уязвим. Хотя — видит бог — я не искал себе в отрочестве духовного наставника, скорее наоборот, моя юность была полным отрицанием всякого авторитета, противостоянием любой попытке с любой стороны меня формировать, руководить мной или указывать мне. Первое мое сражение было с Карлой-Шарлотой. И какое!

Я устал. Я так стремительно писал, что теперь задыхаюсь, словно кто-то гнался за мной. Но чем еще мне заняться здесь, где нет ни дня, ни ночи, ни времени,— неужто глядеть на эту стену с ее отвратительными особенностями? Пишу, следовательно, существую, но говорить о себе я могу уже только в прошлом.

Затем последовал «врачебный обход», значит, наступил третий день, мне сменили повязки, я должен умереть здоровым. Доктор удивленно присвистнул, когда я ему показал, сколько мною написано. Не думаю, сказал он, чтобы романист написал больше, сидя все это время за своим рабочим столом. И еще: мне было бы очень интересно прочитать... Я поморщился: имейте хоть каплю терпения, какого черта. Он покраснел и стал уверять, что не думал о... что просто... э-э-э... Так о чем же он думал?! Потом он шепотом сообщил, что за меня хлопочут весьма влиятельные лица, общая ситуация такова, что... не надо терять надежду — и ушел. Я надежду не теряю, надеюсь, но это не связано с вопросом о помиловании. Я почувствовал раздражение!

Почему эти люди не могут понять, как нелегко приучить себя к мысли о казни — близкой, через несколько часов или дней,— и едва удалось тебе как-то освоиться с этой мыслью, как является кто-то и тянет тебя назад; затея пустая, возврат обманный — ведь ты снова упираешься взглядом в стену, снова один на один с абсолютным ничто, со своим небытием. Когда Монтень писал о бесстрашии перед лицом смерти, то делал различие между мгновенной смертью — несчастный случай, гибель на войне — и смертью медленной, самой трудной. Быть самим собой у последней черты удается, лишь если умозрительное отрицание небытия претворяется в состояние духа. И все же, как говорил Шекспир, опасно слишком долго смотреть в эту дымящуюся бездну. Мало стать сильным духом, нужно уметь сохранить в себе эту силу, опасно слишком часто искушать свое мужество.

Так о чем же я говорил? Ах да, я вспомнил сражение с Карлой-Шарлотой. Поразительная женщина. Неправдоподобная. Если бы я не знал ее лично, я бы сказал, что ее выдумали. К сожалению, не выдумали, к несчастью, она моя мать. Кроме того, все с нее и началось; ведь еще до столкновения с обществом каждый подросток вступает в единоборство со взрослым из числа его близких, в котором для юноши воплощается все то, что позже он отвергает. Это инстинктивная предварительная тренировка, без нее личность вообще не может состояться. Но, пожалуй, самой трудной, самой болезненной борьбой, какую только может вести подросток, является борьба с собственной матерью. Это и самая неравная борьба. Ореста, трагичнейшего героя,

трактовали неправильно: в действительности — да, именно так,— убив Эгиста, он не смог поднять руку на мать, и тогда Клитемнестра кликнула дворцовую стражу, и он был арестован и убит.

Пришлось остановиться: сердце. Конечно, в двадцать лет ты еще не сердечник, но позади ведь два тяжелых месяца. Теперь случаются головокружения, сердце бьется то слишком часто, то слишком медленно. Ничего, держись, дружище, осталось недолго. Я сказал, что госпожа Карла-Шарлота Асан — женщина потрясающая (свое имя пишет она как Шарлотта Ассан, но я не доставлю ей этого удовольствия). Высокая, довольно худощавая, но кажется плотной, может быть, из-за походки или манеры держаться, у нее, что называется, величественная осанка. Она ходит не спеша, твердо ступает, выпятив грудь, с гордо поднятой головой. Никогда не делает лишних жестов, ее движения не вялы и не суетливы, все взвешено, ничего не упущено, без ненужной торопливости, без неоправданной медлительности, все точно, все вовремя. Когда она поднимается со стула, важно и с достоинством, сразу понимаешь: она хорошо знает, куда идет и зачем, она сделает то, что наметила. Уже в тот момент, когда Карла-Шарлота встала со стула, по тому, как именно она встала, можно с уверенностью сказать: она прекрасно знает не только то, что ей надо сделать сейчас, но продумала и всю логику последующих действий и выполнит все, что наметила, так же точно, как представила, вставая со стула. По ее четкому шагу, твердой поступи, выпяченной груди и поднятой голове очевидно, сколь она уверена в правильности того, что делает в данный момент, сделает вскоре, через год или через десять лет: ее уверенность незыблема и внушительна, усомниться невозможно, все будет так, как она решила. И дело тут не в манере держаться, а как она сама говорит, в складе ума. И даже когда она не делает какого-то дела или прекратила его делать, это не значит, что она забыла, поленилась или просто отложила, ни в коем случае не значит, что у нее возникли сомнения по поводу его необходимости — сомнения ей методологически неведомы,— это значит, она так решила, это тоже сознательный волевой поступок. Умение Карлы-Шарлоты себя поставить зиждется не только на походке, впечатляющей и запоминающейся, но и на том, как она держится — несгибаемо, прямо, с высоко поднятой головой, как смотрит поверх других, как весомо, отчетливо, сурово молчит, как не-за-бы-ва-е-мо говорит — так, что впечатление, которое она производит на окружающих, не случайно и складывается не само по себе, нет, оно обдумано, взвешено, выверено. Ее молчание — тоже действие, она слушает, находясь как бы вне пределов твоей досягаемости, будь уверен, она не склонна тебя понять, согласиться с тобой, заведомо ясно: ее не уговоришь, и она ответит как отрубит — сухо и окончательно. Когда ты ей что-то говоришь, понимаешь: говорить бесполезно, она уже знает, что ты ей скажешь, какие приведешь доводы, и в тот момент, когда ты открыл рот, приговор уже вынесен, но, как водится при абсолютной, однако просвещенной монархии, тебе дано право высказаться — пустая формальность. Карла-Шарлота вела себя по отношению к людям много старше точно так же, как и по отношению ко мне — ее так называемому сыну; поэтому очевидно, что она не умела или не желала ничего обсуждать, за иератическим молчанием следовал вердикт, холодный и безжалостный; причем самое удивительное, что от людей, и весьма влиятельных, отбою не было в ее так называемом салоне; они толпились шумными группками или стояли поодиночке в томительном ожидании аудиенции.

Она напоминала, то есть напоминает, заводную восковую куклу, неправдоподобно идеальную, непогрешимую, невозмутимую, и это

делало, то есть делает, ее немыслимой, невероятной. Ее лицо не выражает ни гнева, ни страха, ни радости, ни любопытства, всего человеческого она лишена. Правильные черты, высокий лоб, крупный прямой нос, большой тонкогубый рот, все как надо, кроме кожи; пергаментная, бледная, неестественная, постоянно намазанная чудодейственными кремами; да, желтушная, пергаментная кожа старит ее, в остальном все как надо, кроме взгляда, устремленного на что-то, недоступное глазу, мимо тебя, кроме неподвижной маски, из-за которой Карла-Шарлота и кажется восковой. Очевидно, она хотела производить впечатление мудрой и спокойной, но в том, как она ходит или просто стоит, нельзя не почувствовать всегдашнего напряжения, скрытой настороженности; само ее присутствие, ее молчание утомляет всех.

Ее ледяная невозмутимость создана усилием воли; избранная роль утомляет, в общем-то, и ее самое, но тут начинает действовать, срабатывает мистико-гигиенический образ жизни, предмет ее гордости: она охраняет часы расслабленности, часы бессилия, когда внутреннее напряжение спадает, когда исчезает потребность блистать на подиуме. Тут необходимы кое-какие предварительные пояснения. Квартира — в остальном ничем не примечательная, в заурядном доме — имеет некоторое своеобразие. В ней маленькая прихожая, куда выходит просторная комната для приемов — попросту говоря, гостиная; слева — моя небольшая комната, напротив — комната, где жил мой отец, а потом сменивший его долговязый Муци. Комната, где обитал Муци, имеет выход в коридор, там расположены кухня и прочие места общего пользования. У Карлы-Шарлоты, естественно, отдельная комната, она находится между комнатой Муци и моей. Вот тутто и обнаруживается особенность квартиры: дверь из прихожей ведет не прямо к ней в спальню, а в другую прихожую, довольно маленькую, хотя и вмещающую эзотерический шкаф; по левую руку — большая ванная с умывальником и унитазом и, наконец, прямо — ее комната.

Таким образом, когда Карла-Шарлота удаляется к себе и запирает дверь в прихожую на ключ, она оказывается в крохотной собственной квартирке, где может провести не только ночь, но и — если она запаслась достаточным количеством провианта — даже несколько дней, что бывает очень часто. Тогда отдается приказ ни при каких обстоятельствах не мешать ее медитациям; разумеется, все его истово выполняют, даже Мария, сумасшедшая баба, которая топает, пыхтит, старается изо всех сил и вообще безупречная прислуга, если не считать того, что раза два в году она бесследно пропадает на несколько дней или недель и возвращается вся в синяках, но с таким видом, будто ничего не произошло. В своей герметической изоляции Карла-Шарлота предается медитациям, через посредство астрального тела сообщается с Великими Посвященными и восстанавливает свои оккультные силы. Но осмелюсь думать, на самом деле она просто спит как убитая, ибо не может допустить, чтобы кто-нибудь видел ее обессилевшей, опустошенной, с ввалившимися глазами.

Только эти ее фазы, свидетельства слабостей человеческих, слишком человеческих, были мне понятны, делали ее более близкой, вызывали сочувствие, она мне была тогда дорога именно тем, что беззащитна, подавлена, растеряна. Ясно, она уединялась из гордости, когда теряла обличье жрицы, холодной, суровой, несгибаемой, напряженной в кажущемся спокойствии; она предполагала, вероятно, что мы любили бы ее больше именно в эти минуты слабости и растерянности, а она не хотела любви и сочувствия, и, возможно, опасалась, как бы ее не увидели такой незащищенной, прежде всего

Муци, который был намного моложе ее, и вообще она предпочитала, чтобы ее уважали, боялись, а любить — нет, не надо; она презирала людей: эти звери, говорила она, бросаются на слабого,— и держала себя с близкими и знакомыми, особенно с Муци, как дрессировщица со львами или пантерами.

В каком-то смысле ее можно было пожалеть, совершенно одинокую, всегда настороженную; периоды, которые она проводила в уединении, говорили о том, что эта холодная, надменная, высокомерная женщина боялась всех тех, кому бросала вызов, боялась своих близких, и когда мне чудилось, что она в опасности, то есть когда она отсутствовала, она делалась для меня менее далекой, более понятной: дни, которые она проводила взаперти, представлялись мне совершенно ужасными, хотя, может быть, мне так только казалось, я ведь искал предлога полюбить ее; к сожалению, когда она выходила из своей фараоновой пирамиды, все такая же надменная, холодная, суровая и непогрешимая, то сразу же пресекала мой непосредственный порыв, порыв существа, лишенного ласки, останавливала его так точно и быстро, что я немедленно вновь превращался в вышколенного мальчика, прекрасно воспитанного и безликого, становился таким, каким она хотела меня видеть, и образ страдающей матери — которая нуждается в моей поддержке, в моей привязанности,— таял, исчезал. К тому же этот образ постепенно стирался. Если чувства не проявляются, они умирают.

Общее впечатление от Карлы-Шарлоты усугублялось ее манерой говорить, похожей на ровный рабочий ритм машины — ни громче, ни тише, ни быстрее, ни медленнее как все, что она делала. Оттого ли, что она воспитывалась в немецком пансионе, хорошо владела четырьмя языками, подолгу жила за границей — но все-таки скорее это свойство ее характера,— она говорила по-румынски, разумеется, правильно но как какая-нибудь шведская лингвистка, выучившая этот язык в Упсале, конечно, безукоризненно, безупречно, но совсем не как бухарестская жительница, претенциозная и темпераментная, так что речь Карлы-Шарлоты походила скорее на синтетический продукт, изготовленный в лабораторных условиях. Это бы еще ничего, но она произносила все слова так холодно, жестко, отчетливо, раздельно и ровно, будто обращалась к дряхлому, глухому, но несметно богатому старику, который может оставить ей наследство, или к совершенно свихнувшейся высокопоставленной особе. К тому же каждую вещь она объясняла так нудно, назидательно и примитивно, что можно было подумать: ее и вправду окружают только умственно отсталые люди.

Я не слышал, чтобы кто-нибудь так произносил слова: ее здоровье было пре-вос-ход-но. Она говорила прислуге: Ма-ри-я, при-неси мне, по-жа-луй-ста, ста-кан хо-лод-ной во-ды. Она говорила: бес-ко-неч-но, каждый слог раздельно и четко, никакие эмоциональные акценты не возникали в ее речи и тогда, когда она отказывалась принять не-у-мест-ных про-си-те-лей или не-же-ла-тель-ных особ. Она давала указание Муци: будь лю-бе-зен, пре-кра-ти э-тот у-жас-ный шум. Так она говорила с прислугой, со мной, с моим отцом, с почетными или надоедливыми гостями, за утренним завтраком, за обедом и поздним вечером, говорила без единой ошибки, и при звуке ее голоса хотелось выть, как королю джунглей Тарзану. Ее манера все объяснять терпеливо и подробно усиливала впечатление, что она считает тебя идиотом.

Конечно, Карла-Шарлота презирала всех, считала существами ни к чему не годными, то есть не-при-год-ными, и относилась к нам с откровенной холодной брезгливостью. И только в ее назиданиях звуча-

ла трагическая нота. Терпела она нас подле себя не из нежных чувств, просто время от времени мы могли пригодиться, а эта женщина всегда нуждалась во множестве услуг, множестве людей, и поразительно, она их всегда находила, более того, эти бедняги, которым она непрерывно что-то поручала — в свойственной ей манере говорить безличными оборотами и по складам,— они еще приходили в восторг от оказанной им чести, хотя все это были важные дамы и господа, можно сказать, бомонд. Она знала какой-то секрет и вертела нами, как хотела, а хотела она многого.

Конечно, она презирала нас, но ее манера обращаться к нам ровным голосом, говоря по складам, по-моему, объясняется не только неуважением, с которым она относилась ко всем, эта манера хорошо дорисовывала цельность избранного ею образа. Но она с таким совершенством играла свою роль, что походила иногда на автомат, а это, по словам одного философа, должно вызывать смех. Несмотря на это, ей удалось навязать окружению не только свое странное имя, свой несколько шокирующий образ жизни, но и внушить уважение, подчас боязливое. Долговязый Муци, страшно суеверный, пугливо озираясь, шепотом говорил: она на все способна, у нее нечеловеческие силы.

В обществе, где видимость принято считать за сущность, ее принимали за то, чем она казалась: воплощением воли, энергии, ума, человеком, который все знает и независимо от того, просят его об этом или нет, дает ценные практические советы, основанные на знании оккультных наук,— в этой падкой до сенсаций среде оккультизм производил фурор. Стоило кому-нибудь забыться и увидеть в Карле-Шарлоте всего лишь механизм, заводной и потому немного смешной, как окольным и отнюдь не оккультным путем она ставила забывчивого на место, отбивая всякую охоту смеяться. Не постигла ли та же участь и родного сына?

Кажется, сейчас уже ночь, хотя трудно ориентироваться во времени, когда неизменный кровавый свет лампочки под потолком заменяет тебе солнце, луну и другие небесные тела; я вытянулся на постели, закрыв глаза, как мне предстоит вскоре лежать вечно, уже не ощущая своего присутствия в мире. Несмотря на усталость, возбуждение не проходит. Вспомнив о Карле-Шарлоте, я подумал, что мне было бы гораздо труднее умирать, если бы в свое время она захотела моей привязанности, моей любви. Но она считала меня основной неудачей своей педагогической методы, хотя ни с Вали, ни с Муци не достигла больших успехов; я даже спрашиваю себя, действительно ли она хотела воспитать нас или только низвести, подчинить себе, использовать в личных целях.

Впрочем, вообще невозможно формировать чей-нибудь характер извне, силком, по чуждой ему мерке, а только помогая развиться врожденным качествам, помогая, но не мешая, что предполагает хорошее знание человека; Карла-Шарлота не делала усилий, чтобы понять меня или других; наши обязанности при ней были распределены, каждый имел свою функцию, каждый должен был быть тем, что ей было нужно в данный момент.

Применяя столь агрессивный метод, можно сломать духовную структуру, уничтожить индивидуальность, но можно натолкнуться и на более прочную внутреннюю основу, и тогда неизбежен взрыв — как это было в случае со мной.

Мне никак не удается заснуть, я словно под током; забавно, в каком-то смысле я ее произведение, разумеется, не такое, как ей бы хотелось, и все-таки я сложился под мощным ее воздействием, отталкиваясь от него.

Первое, что я узнал и что она внушила мне с методичностью автомата,— я не должен ни делать, ни говорить того, что хочу, а всегда что-то другое, чуждое мне, согласно строжайшим правилам, впрочем, зависящим от обстоятельств; должен не быть самим собой, а вечно казаться кем-то в глазах других. В результате всех этих «должен», чувствуя настоятельную потребность что-то сказать или сделать, я начинал анализировать, почему я этого хочу и что собой представляет тот, кто это ощущает, иными словами, что собой представляет тот, кто отказывается выполнять предписание и во имя чего он отказывается. Я научился не только сдерживаться, но и отказываться и, что самое главное, принимать на себя ответственность за последствие такого отказа, привык прислушиваться к своим порывам — еще не ставшим тогда осознанной необходимостью — и заглядывать в собственную душу. Карла-Шарлота толкала меня к самопознанию именно потому, что постичь меня сама отказывалась, а позже все это привело меня к бунту против враждебной власти, у которой была одна цель — успех.

Если бы она все время находилась со мной, занималась бы моим воспитанием со свойственным ей чудовищным упорством, ей, может, и удалось бы превратить меня в лишенную сущности покорную видимость, в лучепроводящую гладкую поверхность, хранящую только ее отражение; к счастью, было иначе. К счастью — как странно это звучит, ведь через несколько часов они могут ворваться сюда и изрешетить меня, они это сделают наверняка, не сейчас, так через несколько дней,— и все же, хоть нить моей жизни оборвется у этой крутой, как дымящаяся пропасть, стены, я повторяю: да, к счастью.

Они не убили меня и этой ночью; хорошо ли, что у меня есть еще день жизни? Странно: я спал без просыпу, без сновидений — реакция молодого организма на переутомление. Я писал много, слишком много, торопясь, задыхаясь, но в этом мое единственное спасение, возможность не смотреть на противоположную стену с ее особенностями. Надо сказать, Карла-Шарлота одно время сильно занимала меня, мне хотелось понять, почему она так невероятна, неправдоподобна. Не раз я себя спрашивал, как она стала такой, под влиянием каких обстоятельств превратилась в твердокаменное существо, неизменное, неестественное, лишенное каких бы то ни было — кроме гордыни — чувств, ведь не родилась же она такой, вооруженной до зубов и с опущенным забралом, плодом чистого практицизма. Какие-то врожденные склонности — высокомерие, своеволие, властность — у нее, конечно, были, не могли не быть, но я искал какую-нибудь травму которая изменила ход ее жизни, искал сначала в стремлении оправдать ее, потом просто из любопытства.

Трудно поверить, но я имел представление о том, как она жила, только на протяжении последних пяти лет, а все, что мне удалось узнать о предшествовавшем периоде, было довольно туманным; складывалось впечатление, что она и тогда была надменной и независимой, умела отделываться от всего, что ее об-ре-ме-ня-ло, даже в тех случаях, когда... Годы детства и юность были в каком-то смысле нелегкими, холодными, гнетущими. Ее отец, личность по-своему яркая, по фамилии Асан, вероятно, румын македонского происхождения, сделал себе состояние некоторым образом волшебное, я хочу сказать, никто толком не знал его источников и размеров. Ненасытный скряга, достойный преемник процентщиков — темных фигур старого города, немногословный и безжалостный, персонаж, сошедший со страниц романа Филимона[1], он прижил троих детей — двух мальчиков и

[1] Филимон Николае (1819—1885) — румынский писатель, автор романа «Старые и новые мироеды».

одну девочку — со своей прислугой, несчастной деревенской девушкой, на которой не женился; к тому же, она вскоре умерла. Детей отдали в немецкие пансионы, открытые у нас в стране; воспитание там было поставлено очень строго, было суровым и гигиеничным. Дома дети не бывали даже на каникулах, хозяин не выносил малейшего шума. Где они росли до школы, где проводили каникулы — не знаю, я этим не интересовался, должно быть, у каких-нибудь деревенских родственников, родственники в деревне всегда найдутся. Известно только, что братья получили образование в Германии, высшее юридическое, а мама — в объеме пансиона. Когда молодые люди стали обладателями дипломов, а мама еще училась, отец выделил каждому «раз и навсегда» энную сумму (кажется, весьма скромную сравнительно с его состоянием), и с тех пор они жили надеждами на наследство, надеждами, которые все не сбывались.

Помимо энной «суммы» и имени — Асан удочерил маму — она получила еще и квартиру, о которой уже шла речь. Поселившись в этом доме, молодая Карла-Шарлота вела неприметную, малоинтересную жизнь, пока не уехала за границу. По слухам, она уехала с каким-то мужчиной (кто он, я не знаю), который во время лодочной прогулки по озеру выбросил ее за борт (они поссорились). Не знаю уж, почему Карла-Шарлота тогда не утонула и кто ее спас, только со своим вспыльчивым другом она рассталась. И отправилась в Швейцарию, так как — по официальной версии — страдала болезнью легких. На родину она вернулась вконец разоренной. На что она рассчитывала, сказать трудно — братья отказывались комментировать поведение сестры; то ли она надеялась найти там состоятельного жениха, то ли верила, что старик помрет, на худой конец даст новое приданое,— только явилась она без средств, без специальности, без всяких возможностей, с пустыми руками, но с тягой к роскоши и светскому образу жизни. Потом она познакомилась с Валентином, моим отцом. Красивый, обаятельный, он легко зарабатывал и еще легче тратил, был ленив, изнежен, капризен, и она тщетно старалась сделать его более деловым и солидным. После многочисленных и бурных ссор красавец Валентин, за которого она так и не вышла замуж, ушел от нее более или менее по-английски. Любопытно, она не пыталась использовать наличие сына как оружие в борьбе за Валентина (что обычно делают женщины), то есть не брала меня домой — вначале шесть лет держала у старшего бездетного брата, потом переправила к другому, куда более симпатичному,— изредка я приходил к ней в гости, где еще реже заставал Вали; я был с ним в сущности не знаком или что-то в этом роде, пока не принял решение навестить его, но это позже, много позже и уже совсем другая история.

Какое-то время спустя (точно не знаю, так как не знаю, когда ушел Валентин) она все-таки забрала меня в свой дом, где я и пребывал, правда с перерывами, более или менее короткими и, по крайней мере для меня, всегда неожиданными; в этих случаях меня снова отправляли к кому-нибудь из ее братьев. Ясно, что с самого начала, как только я появился на свет, она не обрадовалась, она так никогда и не примирилась с фактом моего существования. В один прекрасный день у нее обосновался Муци, долговязый симпатяга с ленцой, которого она пристроила к делу; о, с ним это ей удалось. Итак, из неточных и далеко не полных сведений видно, что Карла-Шарлота смолоду была независима и предприимчива скорее в силу обстоятельств: сама впутывалась в отчаянные ситуации, сама из них и выпутывалась. Может быть, сыграло свою роль отсутствие семьи, холодный интернат, тамошнее ханжество и педантизм; может быть, ее чувства умерли с уходом Вали, который бросил ее совсем молоденькой, как гово-

рится, с ребенком на руках (на самом деле она никогда меня на руки не брала); я мало что знаю, братья Карлы-Шарлоты не поддерживали моего интереса к ее молодости — отчасти из приличия, отчасти потому, что в детстве росли с нею врозь, а потом она надолго уехала за границу, спустя года два-три после их возвращения из Германии.

Самый беглый обзор ее личной жизни (некоторых, совсем уж недостоверных эпизодов я здесь не касаюсь) показывает, что она была достаточно бурной, неожиданно бурной для столь холодной и расчетливой женщины. С ней говорить об этом, естественно, было невозможно. Иногда я подозревал, что ее твердокаменная выдержка призвана компенсировать поражения и унижения, в которых она не хотела признаваться. По мере того как я расшифровывал — урывками, неточно — ее характер, мне все больше казалось, что ее личная жизнь совершенно не вяжется с образом непреклонной женщины-автомата, какой я знал Карлу-Шарлоту. Правда, я убеждал себя, что эта сфера ее жизни была для меня подобна обратной стороне луны, ведь я не участвовал, как обычные дети, в ее семейной жизни, не был свидетелем повседневных отношений между женщиной и мужчиной; я говорил себе, что ее инстинкт материнства (как таковой просто не реализованный) принял совершенно иные формы, ее материнско-покровительственное отношение к Муци могло быть реакцией женщины, пережившей много душевных потрясений, привыкшей владеть собой и повелевать другими любой ценой, а в данном случае использовавшей для этого даже единственное преимущество — внушительную разницу лет.

С другой стороны, я не мог удержаться от гипотезы, возникшей значительно позже, согласно которой ее так называемая чувственная жизнь была всего лишь проявлением честолюбия, стремлением господствовать над мужчиной, точнее даже, при помощи того мужчины, кто бы мог обеспечить ей социальное положение, необходимое для того, чтобы манипулировать людьми, привлеченными престижем ее мужа; а когда становилось ясно, что он неспособен создать ей такое положение, она избавлялась от него без сожаления, ведь он был всего лишь не-при-год-ным инструментом. Впрочем, возможно, что она любила Вали и стала такой с годами... Так я искал вслепую и не мог понять, да и сейчас не понимаю упорства, с каким Карла-Шарлота хранила ледяное спокойствие.

Иногда любовь женщины оборачивается ненавистью к тому, кого она любила когда-то, и, может быть, бушевавшие в Карле-Шарлоте страсти, отвергнутые, растоптанные, оскорбленные, переплавились в одержимость, холодную, сугубо светскую, рассчитанную и устремленную к одной цели — успеху, для нее — мере всех вещей. Карла-Шарлота превратила успех — сиюминутный, очень конкретный — в критерий личности, в мистическую силу, а теософию в догму. Когда я думаю, с какой холодной рассудочностью она строила отношения, как точно угадывала социальный вес тех, с кем их устанавливала, и особенно, с какой жестокостью отвергала потерпевших фиаско, я вспоминаю одну историю, которую прочитал когда-то: по большой африканской реке плывет лодка с туземцами; вдруг один из гребцов делает неловкое движение и падает в воду; ему удается ухватиться за борт, вот-вот он влезет обратно, но остальные колотят беднягу чем и куда попало и снова сбрасывают в реку, на съедение крокодилам. Туземцы не были жестокими, но верили в то, что неудачника потребовал в жертву бог воды, и испугались мести означенного бога за отнятую собственность: что, если бог перевернет лодку и погубит их всех, хоть это и не входило в его первоначальный замысел?..

Карла-Шарлота думала точно так же, она методически внушала, что человек, потерпевший не-у-да-чу, должен быть изъ-ят из общества; невезение — все равно что за-раз-ная бо-лезнь: оно передается. Если неудачник вновь поднимался на ноги, она вновь принимала его в своем са-ло-не, ибо теперь, когда он здоров, он может быть принят обратно; как переболевший скар-ла-ти-ной — отбыв карантинный срок, он снова полноправный член семьи. Поразительно, но все принимали теорию, выработанную племенем с берегов Конго. Все! Вообще говоря, за вычетом одного пункта это явление было достаточно тривиальным для буржуазных домов, что и неудивительно: коль скоро понятие дружбы отсутствовало, а существовали лишь деловые отношения, измеряемые их утилитарностью, то когда коэффициент утилитарной полезности «икса» падал, уменьшался и смысл поддерживать с ним отношения, и наоборот; так что я не думаю, будто прагматическая формула Карлы-Шарлоты: не-ве-зе-ние есть болезнь за-раз-ная — была сама по себе столь потрясающе убедительна, что покоряла всех сразу; просто она во всеуслышанье формулировала то, что все делали, но в чем не признавались. Забавный парадокс не стоил бы внимания, если бы не его, так сказать, неприятное своеобразие — жесткий педантизм, с каким приговор приводился в исполнение. Это своеобразие позволяет понять — в самых общих чертах — психологию Карлы-Шарлоты.

Если господин Женикэ лишался министерского портфеля и имел при этом бес-такт-ность звонить ей по телефону, Карла-Шарлота отвечала ледяным тоном: из-ви-ни-те, лю-без-ный, я очень за-ня-та; если же недогадливый кретин вновь напоминал о себе, а он напоминал, Карла-Шарлота незамедлительно, сухо и безапелляционно излагала ему свою теорию: Же-ни-кэ, ми-лый, вы всту-пи-ли в по-ло-су не-у-дач, вам не ве-зет, а не-ве-зе-ние — бо-лезнь за-раз-ная (трудно даже написать фразу в таком духе, не то что произнести, как это делала наша Минерва постоянно, ни разу не сбившись!), не мо-гу же я при-ни-мать че-ло-ве-ка, боль-но-го скар-ла-ти-ной.

Как я уже говорил, так вели себя все, во всех буржуазных домах, но тоньше и обходительнее. И деликатность тут ни при чем, что характерно. Их поведение было обусловлено постоянной нестабильностью, постоянной игрой на понижение, но непременно и на новое повышение, которая шла на бирже делового успеха. И если, скажем, господин Женикэ лишался портфеля министра, а господину Мишу приходилось оставить газету, в которой он раньше задавал тон,— было вполне вероятно, что Женикэ раздобудет новый портфель, а Мишу начнет издавать новый орган печати, вернув себе таким образом всеобщее признание; в этом не было ничего случайного, именно так вершились дела в стабильно-лабильном обществе, где тасовалась одна и та же колода карт, а ставкой был только успех; сами правила игры обязывали буржуазных амфитрионов к осторожности, нюансы в отношении к ос-ту-пив-шим-ся, конечно, менялись, но безопасности ради никогда не сжигались мосты, ведь они еще не раз могли пригодиться. Разумеется, Карла-Шарлота тоже понимала, что не-ве-зе-ние вещь преходящая, как, впрочем, и успех, и она даже сообщала об этом потерпевшему: когда скар-ла-ти-на у те-бя прой-дет, ты мне поз-во-ни. Это не было грубой бестактностью или неосторожностью, это было абсолютное тождество, знак равенства между текущим моментом и успехом.

Я бы сказал, что для Карлы-Шарлоты не было ни прошлого, ни будущего, хотя бы гипотетически; она целиком была во власти настоящего. Такое отношение ко времени не является исключительным, оно свойственно людям, живущим минутой, которые неизменно по-

ступают так, словно будущее вообще не существует; любые рассуждения по поводу более чем трехмесячной перспективы относят к области утопии — и ничто не может так рассмешить этих «людей минуты», как утопия, то есть вероятность того, что будущее станет настоящим. Прикидывая возможности, связанные с моментом, они делают это как эрудиты, и очень тонкие, но стоит кому-нибудь из них бросить фразу по поводу будущего (в редчайших случаях!), как обнаруживается их вопиющая наивность, непостижимая даже в том случае, если они черпают информацию только из газет, то есть практически неинформированы; живя непрерывными изменениями, они верят в неизменность шаткого равновесия, это так, но самоуравновешиваются при этом в строго определенных неподвижных рамках; благодаря такой структуре мышления события тридцать девятого и все последующие [1] застигли их врасплох, от неожиданности они разинули рты, онемели, оцепенели.

Но речь сейчас не об этом; я просто хотел отметить, что образ действия Карлы-Шарлоты не был отклонением от нормы, он вписывался в контекст общепринятого, но с одной оговоркой: в отличие от других Карла-Шарлота действовала с неумолимой точностью. Тем самым она рисковала страшно обозлить того, кто мог бы, окажись он снова у власти, жестоко напомнить ей о своей обиде. Но нет, ничего подобного не случалось. Меня удивляло, как при ее несомненной уравновешенности и рассудительности она вела себя столь вызывающе. По существу, ее воззрения и обычаи были порождением ее буржуазной среды, но бросалась в глаза утрированная, почти назидательная манера, с какой она делала все то, что другие старались скрыть, сохраняя видимость приличия. Провозгласив свое право на счастье высшим принципом жизни (под счастьем она подразумевала успех), она взяла за правило менять мужей и знакомых в зависимости от того, как они в данный момент котировались, распоряжаясь и командуя каждым, хотя никакого права на это не имела, давая подробные указания мужьям, как им себя вести в деловой жизни, и все это с вопиющей ледяной беззастенчивостью.

Так как я не верю, чтобы на свете было хотя бы одно человеческое существо, которое бы полностью игнорировало наличие будущего, его возможности стать настоящим, я полагаю, что она представляла себе будущее как непрерывное продолжение тождественного самому себе настоящего, представление, надо сказать, довольно распространенное· но когда я пытаюсь увязать это представление с ее прошлым, как-никак полным треволнений, с ее тогдашней способностью без оглядки кидаться или давать себя втягивать в почти безвыходные ситуации, из которых она тем не менее благополучно выбиралась, мне приходит на ум сравнение с дрессировщицей тигров, опирающейся на точный расчет сил, и я думаю об убежденности, вероятно очень твердой, Карлы-Шарлоты в том, что все люди глупы, трусливы и забывчивы; но как и любой дрессировщице тигров, ей было известно — для того чтобы осуществлять свое превосходство, нужно выглядеть в глазах других уверенной, спокойной, бесстрастной и, самое главное, не обнаруживать ни перед кем жалких слабостей — иначе ее растерзают. Чтобы управлять другими, нужно прежде всего управлять самим собой, отсюда и вся ее манера держаться, ее выдержка; беспощадность же по отношению к не-удач-ни-кам была ей необходима: не имея ни мужа, ни состояния, ни профессии,

---

[1] Имеются в виду частые смены правительства, приход к власти фашизма и вступление буржуазной Румынии в войну на стороне гитлеровских агрессоров.

она могла уповать и полагалась только на свою, как она считала, мистическую силу.

Раз уж я опять вернулся к этой теме, мне бы хотелось поподробнее остановиться на ее салоне, чтобы не сложилось впечатление, будто Карла-Шарлота черпала свою силу — как она любила утверждать — в каких-то невероятных оккультных познаниях. Салон Карлы-Шарлоты!

Я думаю о том, что если мне все-таки хватает сил быть лицом к лицу со стеной, символизирующей тотальное отрицание меня как живого существа, то это силы ненависти, которую я питаю к тем, кто решил меня убить, а понимать и презирать их я научился в салоне чудовища, моей матери. Даже прокурора, который потребовал моей головы — это его слова,— и того я видел среди ее гостей, до неучтивости холодного, со стеклянным взглядом, высокомерного, оживлявшегося, только когда кто-нибудь отпускал двусмысленную, непристойную шутку, и тогда он похотливо хихикал и трясся. Насквозь прогнившее общество. Того, кого презирают, не боятся. Поэтому те, кто нас допрашивал и пытал, кто может убить и убьет меня, выли от бешенства, когда я иронизировал, я, связанный и беззащитный,— кто иронизирует, не боится,— им же, трусливым и запуганным, было необходимо знать: все люди трусы, страх может сделать с человеком все что угодно, все, даже прямо противоположное его сущности, превратить в загнанное, воющее от ужаса животное. Презрение — сила, способная перевернуть мир...

Салон Карлы-Шарлоты: комната чуть больше обычной, почти пустая, разрозненные стулья, стол, два кресла, в глубине — диван, а рядом маленький столик с ночником — вот. собственно, и все. Но прием гостей был определенным образом обставлен, у Карлы-Шарлоты был свой ритуал. По утрам, приблизительно с одиннадцати до двух, она принимала только женщин, из числа тех, кто не принадлежит к избранному обществу, но в силу ли родственных связей или по другим причинам вращается в представляющих интерес домах и, щебеча и злословя, несет ворох новостей в салон, где их взвешивает, отсеивает, отбирает опытная рука. Бывало, приходила и знатная госпожа, тогда, разумеется, под знаком теософии шла беседа о переселении душ, о телепатических контактах; Карла-Шарлота гадала ей на кофейной гуще, предсказывала судьбу по линии руки, а гостья между делом проговаривалась о том, что у нее не ладилось — с мужем, с родственниками, с карьерой, открываясь перед ворожеей, внимательной и строго хранившей тайны исповеди. Так Карла-Шарлота, редко появляясь в свете, была в курсе всего, что происходит там, куда ее не очень-то приглашают, разве что одну, в те часы, когда нет других гостей. Дополняя и уточняя информацию вездесущих кумушек за счет признаний встревоженных высокопоставленных дам, гадалка стала лицом весьма осведомленным, а это ценилось высоко.

Когда у кого-нибудь из ее знакомых появлялась новая приятельница, молоденькая и неопытная, она приглашала девушку и та, смущенная, приходила. Ее встречала дама, величественная, но умеющая слушать — это льстило — и, главное, умеющая задавать вопросы. Девица уносила с собой кучу советов, от косметических рецептов, адресов гадалок и гомеопатов до мудрых соображений по поводу особей мужского пола. Хозяйка делилась с нею некоторыми психологическими наблюдениями над интересующим ее мужчиной — очень точными, дающими ключ к пониманию его характера,— и это приводило в восхищение посетительницу; она покидала салон в убеждении, что отныне у нее есть опытный друг, он будет наблюдать за поведением возлюбленного, держать ее в курсе каждого его неверного шага, а

если понадобится, эта мудрая женщина употребит весь свой авторитет, даже свою магическую силу на то, чтобы его вернуть. В одних случаях Карлу-Шарлоту устраивала новая подруга ее знакомого и она хвалила ее заинтересованному лицу, объясняя, «какой подход к ней нужен»; она была уверена — для того чтобы властвовать над людьми, необходимо знать их уязвимые места; в других — особенно если ей казалось, что молодая особа излишне независима и своевольна — она стремилась убедить стороны, каждого, естественно, в отдельности, что они друг другу не под-хо-дят, что их отношения принесут им только не-при-ят-нос-ти, и ей зачастую удавалось их разлучить.

Молодые женщины интересовали ее тоже в чисто информационных целях: болтая о любви, об избраннике сердца, они выдавали ей, сами того не подозревая, много чего, и в нужный момент Карла-Шарлота все это умело использовала. Посетительницы приходили в восторг от ее колдовского дара, ее умения угадывать их будущее и замирали в восхищении, когда слышался скрип и Карла-Шарлота спокойно, раздельно говорила: не пу-гай-тесь, ми-лоч-ка, ни-чего особен-но-го, обык-но-вен-ный до-маш-ний дух, в до-мах те-о-со-фов их мно-го, но все они под-власт-ны нам. Выуживать секреты у болтливых дамочек труда не представляло — это делали, в сущности, почти все госпожи из высшего света; присущая только Карле-Шарлоте особенность состояла в том, чтобы своевременно и с выгодой использовать эти секреты.

Мужчины приходили обычно одни. Иногда это были приятели, коллеги, компаньоны ее мужа; но не только они. Я теперь думаю — раньше все это казалось мне естественным,— что ей, женщине без состояния, без серьезного положения в обществе, нужна была незаурядная сноровка, чтобы собрать у себя весь цвет Бухареста: политиков, дельцов и журналистов. Ей нравилось быть «в окружении» звезд, знаменитостей, финансовых тузов, власть имущих — это понятно,— но как ей это удавалось? Конечно, она хотела, чтобы ее муж был человеком известным, занимал высокое положение в обществе и — излюбленный конек! — имел успех. В каком-то смысле она добивалась своего, хотя это же холодное упорство приводило к тому, что мужья спасались бегством; но будем справедливы: не они притягивали к ее дому козырных тузов, напротив, она сама окружала их нужными людьми, чтобы сделать карьеру лоботрясам, впрочем, не лишенным способностей, и тут чутье ее не обманывало,— но это уже другая история.

Как же все-таки ей удавалось собрать такое общество, держать при себе всех этих именитых господ, позволять себе даже, как я уже говорил, давать им отставку и вновь приближать в зависимости от их акций на бирже успеха, да так, чтобы они слушались ее, не сердились, подчинялись?.. Она была статная, с яркими чертами лица, это верно, но красивая — по крайней мере, в том возрасте, когда я уже мог об этом судить,— она не была, во всяком случае, не настолько, чтобы этим можно было объяснить ее притягательность, а ее бесспорный ум, холодный, практичный, острый, был недостаточно весомым аргументом в глазах всех этих избалованных, а подчас и пресыщенных вниманием людей; их озабоченность касательно семи магических тел или «умной молитвы» была тоже весьма и весьма относительной, не то чтобы они были против теософии, просто у них вызывала тоску любая теория как таковая. Они предпочитали ориентироваться, держа нос по ветру.

Главным ее талантом, общепризнанным и высоко ценимым, полагаю, было умение правильно отбирать людей, приемлемых или нужных друг другу. Благодаря своей информированности она точно зна-

ла, с кем на самом деле хотел бы повидаться именно на этой неделе господин Женикэ, вернее, кто ему был сейчас нужен и с кем, несмотря на давние и широко афишируемые дружеские отношения, не желает, ну никак не желает, встретиться господин Мишу. Конечно, существовало немало элегантных и солидных салонов, где бывал все тот же круг людей, но — поди ж ты — Женикэ необходимо потолковать с влиятельным журналистом Форцоагэ, который облил его грязью в семи фельетонах кряду; так вот, именно Форцоагэ — грязную личность — не пригласят в салоны, которые посещает господин Женикэ, ни под каким видом хозяин дома не допустит столь непростительную оплошность — позвать этого негодяя, который вел себя по отношению к его другу как последняя свинья; а вот Карла-Шарлота знала не только, что Женикэ и Форцоагэ на самом деле хотят помириться, она знала и какая сервировка должна приличествовать этой встрече; если бы они встретились только вдвоем, мог бы разразиться дикий скандал, и, следовательно, необходимо было создать определенную, очень продуманную обстановку: старый политический соратник Мишу не должен был знать о встрече, нежелательно и присутствие каких-нибудь журналистов, они могут растрезвонить о ней на весь свет, нет, нужно было другое — какой-нибудь художник, музыкант, эти безобидны и прекрасно подходят в качестве хорошего гарнира, сделка может состояться успешно в обстановке, где царит высокое искусство. Что и говорить, она была мастером своего дела. Примирения по ее рецепту удавались безупречно; правда, такие ситуации возникали не каждый день, и строить на них устойчивое процветание салона было нельзя. Но у некоторых особ зачастую появлялась необходимость просто обсудить кое-какие проблемы в узком кругу, и, хотя фешенебельные салоны были открыты только для своих, любой из постоянных посетителей мог прийти без предупреждения, когда ему заблагорассудится, и в этом было известное неудобство.

Люди в этом обществе часто переходили из одного лагеря в другой, поэтому ясно, сколь полезна бывала встреча как бы случайная, в нужный момент и с нужным человеком; остаться незамеченной такая встреча могла только у Карлы-Шарлоты. И наконец, светские салоны были открыты и для женщин, тогда как здесь они бывали только по утрам, для беседы с глазу на глаз; их присутствие на рауте было далеко не всегда желательным, поскольку, как известно, они распространяют информацию со скоростью, превышающей возможности телеграфа; зато Карле-Шарлоте можно было довериться, она умела молчать — конечно, когда сама этого хотела, ибо хранительница стольких тайн имеет возможность при случае нанести большой вред, так что означенные господа заходили к ней и без всякого дела, просто с визитом, иначе она могла бы рассердиться, а это было небезопасно.

Поэтому она обладала определенным влиянием и жила в окружении людей, к миру которых официально не принадлежала ни по положению, ни по средствам, в сущности, весьма скромным. Во всяком случае ей приходилось нелегко, ее образ жизни постоянно требовал максимального внимания, напряжения, готовности — и она, любившая повелевать и комбинировать, запутывать и распутывать, была вынуждена вновь и вновь завоевывать положение, которое другим достается даром; а кроме того, у нее наверняка бывали материальные затруднения, которые она старалась преодолеть незаметно для окружающих; в мире, где она жила, такие вещи не прощаются, от нее разбежались бы все, если бы узнали, что она бедствует, от нее сразу же отвернулись бы, подобно тому как и она отворачивалась от тех, у кого были не-при-ят-но-сти. Я хочу сказать, что ее железная

выдержка, постоянный самоконтроль были в известном смысле оружием самозащиты, и, когда она чувствовала, что выдохлась, обессилела и не может совладать с охватившим ее страхом, она удалялась в свою фараонову пирамиду, скрывая от чужих глаз озабоченность и тревогу.

Холодная, взвешивающая каждый свой шаг, одержимая манией успеха, она держала людей в повиновении не только благодаря уму и воле, но взяв на вооружение заумную и агрессивную теософию, модную доктрину из чудовищной смеси буддизма и христианства, системо-техники и магии, паранойи и гомеопатии, переселения душ и гадания на кофейной гуще; и все это в воинственном, почти военном духе. Оккультизм всегда отражает дух кастовости, стремление принадлежать к кругу посвященных, избранных, желание отличаться от других, но я просто поражаюсь, какими болтунами были эти герметики, как громко кричали о своих таинствах, как легко выдавали свои секреты за чашкой кофе, не дожидаясь, пока их попросят, каким жалким было их тайноведение со всей его магией чисел, скошенного треугольником глаза, символом куриного яйца, аллегориями для детей дошкольного возраста и прочей тарабарщиной. Ошалев от сверхобильного обеда, рафинированный Сильвиу, директор табачной фабрики, поспешно ретировался, говоря, что торопится домой, чтобы погрузиться в медитации, так как через час ему предстоит встреча в Гималаях с одиннадцатью посвященными, он сам — двенадцатый; Василе, всегда носивший зеленую рубашку [1], чтобы подчеркнуть, каких политических взглядов он придерживается, в сотый раз объяснив, что «Братья Карамазовы» — это роман, построенный по принципу креста, рыгал, дышал в ритме 6—10—12—10 (больше он не выдерживал) и бормотал: om ma-ne pad-me hum [2], ик...

Карла-Шарлота превратила мистическую догму в рациональный и полезный эмпиризм; божество при этом было чем-то вроде ссудного банка. Существование духов, которых она, разумеется, тоже пустила в ход, основывалось на эволюционной теории Дарвина: ведь если существует эволюция от неорганической материи к органической, от растения к животному, закономерно предположить, что она не остановилась на стадии возникновения человека. К тому же духи имеют и телесную оболочку — седьмой или десятой степени, это верно, но имеют,— тео-со-фы их ви-дят, как, например, ученые, которые — в микроскоп или телескоп — наблюдают ведь за телами, невидимыми для простого глаза. Божественное, духи и т. д. обладают заря-да-ми энер-гии, как элек-три-чест-во, а оккультизм призван вооружить человека способностью черпать сверх-чувст-вен-ные силы, то есть энер-гию; накопить энергию — вот чем она, бедняжка, была озабочена, ей это было так нужно... Духи и энергия имели свою иерархию, из этих-то двух элементов — энергии и иерархии — она и сотворила свою социологию. «Тайная наука» Рудольфа Штейнера в ее представлении была чем-то вроде практического пособия типа «Как добиться жизненного успеха» Карнеги.

Дочь баснословно богатого человека, живущая среди людей с положением, преуспевающих, процветающих, она искала обоснования социального неравенства в иерархии энер-гий природы и космоса; но так как сама была небогата, всего добивалась своими силами, а среда, где она вращалась, состояла из людей предприимчивых, проделывавших чудеса эквилибристики, дабы не сойти с круга,— она

[1] Зеленые рубашки носили члены фашистской террористической организации «Железная гвардия».

[2] «Будь славен, Бодисатва, восседающий на лотосе...» — из буддистского заклинания *(санскрит)*.

приписывала существующий порядок закону передачи энергии, ее свойствам переходить от одних к другим, и этим объясняла социальную иерархию, якобы отражающую иерархию энергий в масштабе космоса.

При помощи воли и технических приемов (известных ей) некоторые люди (но не все) могут значительно приумножить данную им энергию и подняться, соответственно, на несколько ступенек вверх по социальной лестнице, тогда как другие или те же рискуют (осторожно!) растратить энергию зря, на пустяки. Дочь ростовщика, она питала отвращение к любого рода тратам, и если с женщинами делилась только познаниями по части магических притираний, то мужчинам, поставив теософию на службу борьбы за существование, преподавала практические уроки: как аккумулировать энергию, как экономить ее,— уроки, которым эти подонки внимали внешне довольно скептически, старательно пряча лихорадочную заинтересованность; все они были наделены страстью к деньгам, движимому имуществу, но, увы, лишены энергии.

Как и добродетели первых лютеран, магические силы прошли проверку и получили полное признание благодаря достигнутым с их помощью по-ра-зи-тель-ным деловым успехам; а не-ве-зе-ние, как было научно доказано, есть результат по-те-ри сил, которые ис-тра-че-ны на любовные утехи, то есть на женщин, и Карла-Шарлота настойчиво внушала (мужчинам, разумеется), что женщины пожирают ог-ром-ное ко-ли-чест-во муж-ской энер-гии и в этом смысле являются форменным бед-стви-ем! Ей доставляли великое наслаждение наукообразные объяснения того, как действуют сверхчувственные силы. Так, например, сравнивая человека с ра-дио-ап-па-ра-том, который передает, принимает, улавливает вол-ны не-ви-ди-мы-е, но направ-ля-е-мые, она могла часами говорить о передаче энергии на расстояние, об ее ис-то-ще-нии и т. д., не забывая при этом, что обращается к аудитории, жаждущей успеха, измученной вечным страхом лишиться влияния; если для представителей определенных кругов политическая власть и общественный престиж были следствием их имущественного положения, то для ее друзей, наоборот, политический престиж был источником обогащения и залогом благополучия — правда, довольно шаткого. Господа слушать слушали, но к ее магическому оккультизму относились скептически, и все-таки он, то есть оккультизм, если и не принес Карле-Шарлоте ни денег, ни прочного положения, то тем не менее придал ей несомненное своеобразие; наряду с иератической манерой держаться, величественно ходить, сидеть, стоять, холодно и равнодушно смотреть, говорить резко и отчетливо, оккультизм способствовал тому, что ее знали и признавали, можно даже сказать, что она заняла определенное место в обществе, у нее был свой статус, пусть не слишком привилегированный, но совершенно особый статус, в котором она по вышеизложенным причинам очень нуждалась.

Конечно, мое представление об этой женщине односторонне — я ее знаю только в одной ипостаси — и, вероятно, стремился познакомиться с Валентином, чтобы понять, какой она виделась мужчине, с которым прожила столько лет и которого любила, по крайней мере вначале; позже она потеряла способность к каким бы то ни было чувствам, кроме, естественно, страсти к успеху.

Страх. Внезапно. Пылающий лоб в испарине, я взмок, на носу и щеках капли пота. Руки холодные, влажные. Вытираю лицо платком, еще и еще раз, тщетно, пот заливает глаза, течет в рот, руки сырые, липкие. Внезапно? Так мощная река давит на плотину, вода все выше, выше, она давит, пока под ее напором не разверзнется

незаметная прежде трещина в бетоне и река не снесет плотину, не хлынет со стремительной, долго сдерживаемой силой, не затопит все вокруг. Рассуждая о чем попало, я заглушал свой страх, обходил стороной все, что могло его пробудить, я говорил себе: успеешь... а тем временем он рос, давил на плотину, и я чувствовал его неослабный напор, но бодрился, храбрился, пока вдруг... Мозг пульсирует, он бьется судорожно, как загнанное сердце, в ушах шумит красная стремительная река, клокочет возмущенная кровь, в висках бьют барабаны, желудок стиснут в кулак, как для решительного отпора, категорического «нет»; а там, где солнечное сплетение, гудит, гудит мотор, посылает ток в руки, в икры ног, гонит по всему телу, шлет отчаянные сигналы: «нет! нет!»

Охваченный ужасом, я пишу о своем ужасе, пишу торопливо, задыхаясь, мои попытки унять его безуспешны, ведь сильный страх не сотрешь платком, как пот; ужас — это когда давит в висках, желудок сводит в кулак, под ложечкой лихорадочно стучит мотор, который шлет импульсы, похожие на молнии: у меня подрыгивает нога, дергается рука; ужас — это отказ, крик, леденящий вопль тканей и клеток человеческих. Меня учили, что эмоции, подвергнутые анализу, тускнеют, тают, рассеиваются; я оглох, не мог бы слова вымолвить, но пишу, чтобы рассеять страх, которому дела нет до моих писаний. Странно, моего рассудка страх не коснулся; рассудок спокойно увещевает страх, но тот не внемлет, он глух, он недосягаем для слов, а мое тело свела судорога, и бессильна мысль: да, брат, мы умрем, мы исчезнем с лица земли, но через это пройдут все, слышишь, все, и рано или поздно мы все равно оказались бы у той же стены, на пороге того же небытия, поэтому теперь важно одно — принять неотвратимость с достоинством, помня, во имя чего...

Не бойся, пытки и боль — позади, теперь все будет быстро и безболезненно, три пули в затылок — ты даже не почувствуешь. Я цитирую ему, скорчившемуся от страха телу, изречения философов, стихи поэтов, но нет, оно не слышит; я даже не вою, у меня нет желания бежать, молить о пощаде, кататься по полу, все чувства молчат; я жалкий, потный, желудок мучительно сдавлен, под ложечкой гудит мотор, шумит в ушах красная река, это каннибальские тамтамы зовут на ритуальную пляску смерти, мозг затоплен кровью; я то и дело испытываю потребность помочиться, по пути к параше меня качает, думаю, идти я бы не смог — чисто физиологические процессы, ничего интересного, доктор, зря надеялись, ничего особенного, смертельно испуганное животное, вот и все; страх нивелирует, перед страхом все равны, анализ бессилен, страх неуязвим, он не слышит, не видит, его даже нельзя передать словами, что-то ускользает, это что-то — сам страх... и все-таки его волны не накрыли меня с головой, с трудом выгребаю, цепляюсь за мысли, слова, какая-то часть моего «я» уцелела и наблюдает, описывает, не тонет, не дает себя затопить страху, крови и поту.

Может быть, самое ужасное — когда тебе страшно или когда пытают — ощущение, что этому не будет конца, ощущение крепнет, растет, хотя ты чувствуешь, что достиг предела, что больше нельзя, невозможно, но оно продолжает расти. Не боль как таковая невыносима, а мысль о том, что она будет длиться вечно, бесконечная боль, безграничный страх.

Внезапный приступ страха, хочу заглянуть ему в глаза, тянусь к стене, не мигая таращусь на ее приспособления, вижу — меня толкают к ней, ставят на колени, вокруг — отвратительные типы, вот один достает револьвер, слышу — он стреляет, смотрю — я падаю; делаю усилие, чтобы вновь мысленно прокрутить эту сцену, слишком

долго я уклонялся; пускаю ее в замедленном темпе, но похоже, подобная очная ставка впечатления на мой страх не произвела, как будто ее и не было; я не боюсь чего-то конкретного, в частности всего этого, я боюсь просто так,— конечно, это выражение не передает моего душевного состояния, но никакое другое на ум не приходит,— я гонюсь за своим страхом, преследую его, сердце колотится сильно, слишком сильно, нечем дышать, справа в груди словно сжимается когтистая лапа (да, но сердце же не справа...), задыхаюсь, в мозгу стучит, сердце сжимают когти, справа, от обезумевшего солнечного сплетения, из-под ложечки, бьет током, расходятся волны страха, я покрыт испариной, ловлю воздух пересохшим ртом, теперь хлынула пена, словно я наелся мыла; не теряй достоинства, стыдно, не теряй достоинства.

Сколько можно? Боль не бывает вечной, страх — да. Вечность, до краев полная страха. И все-таки я откладываю тетрадь, вытягиваюсь на койке, стараюсь дышать глубоко и ровно; сначала я вообще не мог вдохнуть, легкие тоже сжались, сморщились, но я себя заставил сказать страху «нет». Я отказываюсь бояться. Вы раздели меня, повалили и голому, связанному плевали и мочились в лицо, исполосовали бритвой икры ног и посыпали солью порезы, тушили сигареты о грудь и бедра, обрекли на смерть и, конечно, расстреляете, это в ваших силах, но одолеть, запугать меня вы бессильны. Я прихожу в ярость. И споря с Библией, говорю себе: солнце да зайдет во гневе нашем [1]. Но страх не проходит. Тогда я беззвучно кричу: «нет!» И вот страх тускнеет, рассеивается как туман. Страх и ярость несовместимы. Откуда все-таки этот приступ, такой внезапный?

Один раз так уже было, вскоре после ареста. Меня подняли чуть свет, увезли на машине за площадь Росетти, в массивное желтое трехэтажное здание. Коридор, темная лестница, комната... Три самых обычных рабочих стола, пишущая машинка, пепельница с окурками; за окном звон трамваев — смотреть я туда не стал, ну что смотреть... Охранник куда-то вышел, появилась бабка с метлой, непрерывно ворча, подмела помещение, протерла паркет, макая тряпку в ведро с черной от грязи водой, выбросила в то же ведро окурки и скрылась; потом возникла девица в зеленом свитере с ярко накрашенными губами, с обвислым бюстом, прошлась по клавишам машинки, сладко зевнула, позвонила какой-то Мими — а ты что делала? — на меня даже не взглянула, словно меня там и не было; потом ввалилось сразу несколько человек, довольно помятых, с землистыми лицами, явно невыспавшиеся, с сигаретами в зубах; они говорили о бегах, венерических болезнях, об авансе в счет жалованья, лениво пережевывали и выплевывали слова, словно семечки, меня они тоже не замечали, ничтожные заплечных дел мастера; потом вернулся мой ангел-охранитель: шеф прибыл.

Меня ввели к нему в кабинет: светлый деревянный стол, темный шаткий стул, ему лет сорок с небольшим, но он грузный, одутловатый, под глазами круги, вид совершенно заспанный. Шеф потребовал кофе, зевнул, закурил сигарету и начал: я молод, из хорошей семьи, неутешная мать, загубленная карьера, свойственный молодежи идеализм (в молодости он сам был демократом, даже симпатизировал социалистам, но жизнь есть жизнь...) — новый зевок — а бессовестные люди пользуются вашим идеализмом и... словом, полный набор. Дела мои плохи, очень плохи, но может быть, ему удастся меня спасти... Путем натурального обмена: я называю имена вожаков, меня оставляют в покое; значит, так: имена вожаков и... всех остальных. Ему было

[1] Библейское: «Солнце да не зайдет во гневе вашем».

скучно, одолевала зевота, он вызвал машинистку, наорал на нее: и это называется кофе, пусть принесет нормальный. В преисподней дьяволам скучно, черти зевают. Он говорил вяло, понимая всю бесполезность этой методы; перешел к сути дела, задал несколько вопросов, рявкнул, снова умилился, до чего же я молод, грубо выругался, эта часть проводилась им откровенно для проформы, но что поделаешь, долг превыше всего. А я спокойно молчал; потом он стал кричать — я человеческого языка не понимаю, я его еще попомню, он-то хотел со мной побеседовать как интеллигент с интеллигентом, но теперь вынужден отдать в руки полицейских, жаль — еще зевок,— иногда они излишне грубы.

Я был спокоен, он томился от скуки. Потом меня вытолкали, провели через несколько комнат — обыкновенные рабочие помещения — и оставили в одной из них, а охранник вернулся к шефу Тафлару за указаниями. Я опустился в кресло. Я знал: в канцеляриях не бьют. Помещение, где я ждал, было темное, без окон, кажется, без стола, стояло только два кресла, пахло пылью, затхлостью. Значит, вот какое оно, это здание — комнаты, машинистки, подмастерья страха, пыток и преступлений. Однажды я уже проходил процедуру ареста, сценарий мне был известен: «знакомство», беседы «по душам» — психологически примитивны и относиться к ним серьезно не надо; им тоже все это надоело, свою роль они играли формально, в общем, садясь в кресло, я был спокоен.

Но вдруг, совершенно неожиданно, меня страшно зазнобило, задрожали ноги, застучали зубы... Я сжал челюсти, попытался овладеть ногами и руками, безуспешно, по телу бежал электрический ток, так что я вибрировал, словно включенный в сеть. Меня поразило это острое, новое ощущение: оно меня застигло врасплох; я не испытывал страха, реакция была чисто физиологическая, электрическая, что ли, я боялся, как бы не появился конвоир и не увидел, в каком я состоянии,— единственное, чего я действительно боялся; усилием воли я попытался унять дрожь, но меня продолжало колотить по-прежнему, как вдруг прибыл мой ангел-охранитель в черных солнечных очках, с прилипшим к губе окурком, и процедил: ну ты, давай.

Я поднялся на ноги и мгновение так постоял, потом шагнул: дрожь унялась. Все прошло так же внезапно, как началось. Я проследовал вдоль рабочих столов, по ничем не примечательным, мирным и мерзким учрежденческим комнатам, спустился по лестнице, предполагая, что меня ведут в подвал и, значит, «началось»,— и все-таки был спокоен: я ведь знал, почему нахожусь здесь; ангел-охранитель вывел меня на улицу, по тротуару шла женщина, она возвращалась с рынка и была тяжело нагружена; толстая, ко всему безразличная, она не обратила на нас внимания, у нее были свои заботы, вероятно, она даже не знала, что это за желтое здание, во всяком случае, это ее не интересовало; я влез в машину с охранявшим меня типом, а на одной из улиц, у светофора, машина остановилась, и я увидел ее, девушку, с которой расстался у Раду-Водэ, она смотрела на меня пристально, напряженно, машина тронулась; должно быть, произошла какая-то ошибка, меня вернули на «перевалочную базу» и только через двое суток снова повезли на допрос.

Такого рода приступы больше не повторялись, вплоть до сегодняшнего утра, хотя, похоже, на этот раз было иначе. Скорее всего это физиологический процесс, науке, вероятно, хорошо известный,— по мере сил я стараюсь быть вам полезным, доктор, но не знаю, насколько успешно. Почему оба раза это со мной случалось без видимой причины, без прямого повода? Должно быть, в часы, когда меня пытали, я имел перед собой конкретных носителей зла и был полон яро-

сти, а теперь кого мне ненавидеть? стену? Вы мне сказали, доктор, что все это юношеский идеализм, достойное лучшего применения благородство, свойственная молодым экзальтированность,— что ж, допустим, что поначалу были только благородные порывы, юношеская восторженность, хорошо, допустим, но уверяю вас, доктор, что после первого же физического испытания обо всем этом не может быть и речи; если хотите — проверьте и вы убедитесь сами, после этого человек в полной мере осознает все.

Разве не странно испытывать свою верность идее на пыточном столе? Странно, конечно, но что поделаешь. Один мой знакомый, студент, под пытками начал кричать: меня обманули, мне говорили об идеях, о диалектике, а это же совсем другое, что общего между идеями и болью. Его тут же, конечно, развязали, дали ему сигарет, коньяку, и он написал все, что знал — хорошо, что знал он мало,— его больше не мучили, хотя свои пятнадцать лет тюрьмы он получил, ясно, полный срок ему отбывать не придется, но я себя спрашиваю: как он сам себя выдерживает? не замучил ли его стыд? Я ему не завидую. Даже у этой стены, даже здесь я ему не завидую. Разве есть что-нибудь общее между идеями и болью? Оказывается, есть.

Имеет ли ценность идея, ради которой ты не рискуешь ничем, не теряешь ничего, не страдаешь никак? Возможно, спустя годы в мире, где не будет войн, станут рассуждать иначе, хорошо, если это будет возможно, но, проживи я хоть сто лет, я бы все равно чувствовал то же самое и каждый раз, слушая чьи-либо разглагольствования, говорил бы себе: такой, да чтобы выдержал? Чем и как долго он способен рисковать ради идей, которые провозглашает своими? Наверно, я слегка деформирован, но каждая эпоха деформирует или, скажем, формирует по-своему. Как вы мне говорили, эти ублюдки считают, что я держался смело,— вероятно, потому и откладывают казнь, хотят посмотреть, как я буду держаться под этой, новой пыткой, пыткой воображением,— но, честно говоря, это не было смелостью, это было странным отсутствием страха. Не знаю, как это объяснить, но за исключением тех двух, описанных мною случаев, страха я не испытывал. С тех пор как я здесь, один, он воровато шевелится, почти неслышно плещется где-то очень глубоко, пытаясь найти трещинку в фундаменте, но я все время настороже, я не дам ему пробиться, и это главное.

Как-то ночью меня разбудили, затолкали в машину и отвезли в здание со специально оборудованными помещениями, какое-то время продержали в ожидании, а потом — снова в машину, снова на «базу»: психологический прием. Вам как специалисту он должен быть известен. Но по дороге обратно — и это я хочу рассказать, может быть, это вас заинтересует, идея случайно не ваша? — они меня высадили, где-то в начале улицы Плевны, там, где мусорная свалка — вы ее знаете,— и сказали: иди, сейчас мы отправим тебя на тот свет... при попытке к бегству. Щелкнули курки револьверов. Наверняка психологический трюк; но они слишком часто прибегали к такой формулировке, нельзя быть абсолютно уверенным. Чтобы пули не застигли меня врасплох — я отверг это предложение. Я не хотел умирать в дурацком перепуге.

Я сделал несколько шагов, и так как тело у меня одеревенело от неподвижности, идти было приятно. Кругом мусор, отбросы. Небо темное, мутное, покрытое серыми, очень низкими облаками. И вдруг я почувствовал себя свободным. Я обрел свободу, которая не зависит от других, которой нельзя отнять, а смерть стала просто небытием. Еще секунда, минута, вечность, безразлично. я уже чувствовал себя в вечности, они могли меня убить — не сейчас, так в следующий раз,—

но большего они уже не могли, и я был свободен, свободен, как никогда. Свобода — это когда ничего не боишься. Но не испытывать страха — это еще не смелость. Смелость — это значит испытывать и преодолевать его.

...Дело было под утро, допрос шел к концу, мы были одни — я и прокурор, который так и не подал виду, что знал меня по салону Карлы-Шарлоты и женат на моей крестной: он держался очень сурово, сражался, быть может, даже не со мной, а с самим собой, каким мог бы стать, с собственной юностью,— кто не был молод, какое, пусть самое последнее, ничтожество однажды в жизни не мечтало о чем-нибудь высоком!.. Допрос проходил без применения силы, в других он участия не принимал и как бы не подозревал об их существовании, таковы правила игры; он предъявлял мне вещественные доказательства, улики, чьи-то свидетельские показания и т. д., я все отрицал, и он знал, что я буду отрицать, но по тем же правилам полагался протокол допроса, проведенного, так сказать, по всей форме. Прокурор был серо-зеленый от усталости, лицо подергивалось в нервном тике. Закончив допрос, он встал не сразу — может быть, не было сил — и сказал, не глядя на меня, было не очень даже понятно, к кому он обращается: ваша ошибка в том, что вы смешиваете... да, путаете два разных плана: идеи и жизнь. Он закурил сигарету и теперь внимательно разглядывал почти невидимые струйки дыма. Истина, справедливость, красота, несомненно, кто же спорит, все эти понятия близки и дороги нашему сердцу, само собой, и... кто будет возражать, каждому человеку, я имею в виду культурного человека, приятно послушать хорошую музыку, полюбоваться прекрасной картиной (у него было много полотен Лукиана[1], собственность жены, картины хранились под замком: «что ни говорите, это капитал»), прочесть хорошую книгу, но что общего между этими моментами расслабленности и... действительностью, что общего у литературы с нашей жизнью, а она у нас такая, какая есть. Философские произведения... еще бы, я тоже читал, теперь-то мне некогда, но чтобы путать... какая страшная, какая роковая ошибка. Идеи... Идеалы... Безусловно. Вот только кто эти идеи видел? Я усмехнулся, но он на меня не смотрел, он разговаривал сам с собой. Чего только я на своем веку не встречал: скупость, карьеризм, трусость, лицемерие... ненависть, чего только не было, но идеи? И сердито, ультимативно прикрикнул: покажите мне их, где они, ваши идеи? Я ничего не ответил, было бессмысленно. Он еще посидел какое-то время молча, неподвижно, потом загасил окурок в переполненной пепельнице: впрочем, слишком поздно; встал и ушел. Слишком поздно — относилось ли это к тому, что уже занимался день, или к моему делу, исход которого был предрешен, или к нему самому, к его жизни, или к нашей с ним очной ставке? Хотя ему, вероятно, и в голову не приходило, что мы — я и он — олицетворяем собой противостояние двух идей в обнаженной, схематической, основополагающей форме.

Меня снова отвезли на «перевалочную базу»; по дороге я думал о том, как часто мне приходилось сталкиваться с подобным взглядом на жизнь: что общего между идеями и реальностью, между идеалами и жизнью как она есть; причем все, кто это говорил, были интеллигентами, знали вдоль и поперек Дон Кихота, так что я его, бедного, чуть не возненавидел, и все они возмущались, волновались, когда кто-то пытался привести в соответствие свои идеи и образ жизни, все тут же вспоминали, что и они, разумеется, в юности... но жизнь заставила, вы понимаете... Откровенно банальную точку зрения они защищали с подозрительной горячностью, им было просто необходимо, чтобы

[1] Лукиан Штефан (1868—1916) — румынский художник.

малейшее отклонение от этого правила немедленно уничтожалось, а то и расстреливалось, дабы не оставалось сомнения, в первую очередь у них самих, что иначе невозможно, никак невозможно. Даже Карла-Шарлота, которая видела духов в телесной оболочке до седьмой и даже до десятой степени,— даже ей не было дано видеть идеи. И надо же, именно их прагматизм, их пресловутое чувство реальности, умение приспособиться и все прочие спасительные качества оборачивались против них, сокрушая их драгоценный здравый смысл.

Я снова возвращаюсь к ним, к их миру, который меня убьет; я его презираю и отлично знаю, именно это знание придало мне силы; ни Тафлар, начальник второго отдела, ни прокурор не были для меня силой неведомой, а потому грозной; я знал их, прокурора даже лично, знал их слабости, знал, что они в вечном страхе перед реальностью, которая опрокидывает вверх тормашками их расчеты. Вот почему Тафлара, сонного и грубого, который получал удовлетворение лишь тогда, когда имел возможность убедиться, что другие такие же трусы, как он сам,— я не боялся, ни его, ни этих жалких ублюдков, зато в той комнате, где было темно и пахло пылью, сидя в кресле, один, я был охвачен сильнейшим страхом, трясся и стучал зубами, пока не появился грязный, заспанный охранник, ангел смерти; покупая для меня еду на мои деньги, он половину из них оставлял себе, а его любимым выражением было: мы ничего не имеем против коммунистов, но мы — технические исполнители, нам прикажут, мы сделаем; он считал себя техническим исполнителем, как и вы, доктор, вы, автор будущего трактата о страхе.

Страх возникает под влиянием смутной тревоги, надвигающейся неведомой беды, чего-то неопределенного, но зловещего, что вот-вот должно случиться. Очная ставка с опасностью, поединок требуют всей твоей энергии, рождают ярость и презрение, пересиливают страх, но если ты один, ждешь чего-то ужасного — и чем оно неопределеннее, тем ужаснее, — чего-то, что может как в кошмаре принять любые формы, страх может довести тебя до безумия. Вы это знаете, доктор, потому и изобрели специальную камеру, специальные, рассчитанные на психологический эффект приспособления, эту гипнотизирующую стену, потому и переносите казнь, чтобы посмотреть, как много и сколь долго я выдержу,— возможно, я несправедлив в том, что касается казни, допускаю, ее переносят по не зависящим от вас причинам, вы только пользуетесь благоприятными обстоятельствами,— но вы ошибаетесь в главном: в отличие от вас я не один; в вашем случае это действительно непоправимо. Страх затрудняет и всякое общение; вообразите, что вы запуганы, что отчаянно хотите избежать возможной таинственной угрозы, спастись любой ценой; но здесь, в камере, угроза уже не может быть ни предполагаемой, ни таинственной, она неотвратима и определенна, конкретна, как эта стена; она требует всей моей энергии, рождает ярость и презрение, но не страх. Вы скажете: а все-таки тебе было страшно! Да, было: живая природа отказывается признать отрицание самой себя. Страх навалился на мое сознание, но я отринул его Я и сейчас не чувствую себя спокойным, я возбужден и взволнован, но я возьму себя в руки, это вопрос собственного достоинства, вы не одержите победу, доктор, потому что совершенно одиноки, а я нет.

Вы мне сказали: к жизни надо относиться с уважением, в первую очередь к своей собственной. Вы так думаете? Уважать жизнь — значит отказаться жить кое-как. Я отказался от желания выжить во что бы то ни стало. Желание? Нет, в такие игры со страхом я не играю. Чтобы одержать верх в этом поединке, я не буду бороться с физиологическим страхом, это трудно, я буду бороться с желанием, кото-

рое влечет за собой страх. Посмотрим, сделаю все, что смогу. Вы ведь знаете, бывают очень тяжелые моменты. Прежде всего давайте сменим тему — она только выглядит абстрактной, в действительности же это конкретная и весьма скользкая тема.

Я собирался рассказать, как познакомился с отцом, как однажды явился к нему в надежде узнать, кто он, что собой представляет. Это так естественно. Дети, растущие без отца или вдали от него, обычно страдают разного рода комплексами, выправляются с трудом, и то не всегда. Со мной было иначе: Карла-Шарлота с лихвой заменила мне отца. Он лишь дал мне свое имя. И соответственно, я отправился к нему не столько для того, чтобы узнать поближе его обольстительную, двойственную личность, сколько с целью попытаться увидеть свою мать глазами другого мужчины, в иной ипостаси, мне самому недоступной. Я говорил себе, что люди на самом деле совсем не так просты и понятны, как кажутся: мне хотелось найти в ее прошлом что-то, что причинило ей острую боль, жестоко травмировало и теперь помогло бы мне ее понять, возможно, даже полюбить. Ведь все-таки ей удалось — и это факт — сделать из меня пусть не то, что она хотела, но и не то, чем бы я стал, если бы рос и воспитывался по-другому. Если бы, если бы!.. Карла-Шарлота несомненно не намеревалась превратить меня в революционера, ясное дело, она вообще принимала дейст-ви-тель-ность как она есть — старалась при-спо-собить-ся; вот только ее безапелляционная властность, холодная, твердая и педантичная, породила, а вернее, усилила во мне реакцию самозащиты, которая в другом историческом контексте, возможно, и не привела бы к столь серьезным последствиям. А может, и привела бы. Мне не нужен был никакой отец, никто не был бы более властным, чем она,— и уж во всяком случае не Вали,— никто не смог бы перещеголять ее в суровости, быть более правдоподобным олицетворением идеи узаконенной силы, более похожим на крейсер, пикирующий бомбардировщик или тайную полицию. Когда однажды — мне было четырнадцать — я ослушался ее в чем-то серьезном, она швырнула в меня, не теряя всегдашней ледяной надменности, тяжелыми садовыми ножницами, и они врезались в стену у самой моей головы — если бы я не отскочил, они убили бы меня или по крайней мере искалечили. М-да.

Очаровательный Валентин... Я имел о нем самое смутное представление. Высокий, изящный, веселый, обаятельный, человек, которого я видел только мельком и который полностью меня игнорировал; я не должен был даже попадаться ему на глаза, это его раздражало, он дал мне свое имя, иногда приносил игрушки, но вручал мне их не он, а только Карла-Шарлота, предваряя подарок столь суровой проповедью, что у меня пропадало все удовольствие и, вместо того чтобы играть, я их тут же ломал. Он давно покинул салон Карлы-Шарлоты, нисколько не заботясь о моей судьбе, пока однажды, будучи уже зрелым юношей, я не свалился ему на голову. Он жил на улице Казармы, круто сбегающей вниз, с одноэтажными и редко двухэтажными домами; старые, потрепанные временем, увитые плющом, они тонули в зелени разросшихся деревьев и были битком набиты квартирантами. Я поднялся по стертым ступенькам невысокой лесенки, скрипучую дверь открыла увядшая, плоская от непосильного труда, неряшливая женщина — засаленный халат, домашние туфли на босу ногу, голова повязана косынкой,— ни о чем не спросила, никакого неудовольствия не выказала, жестом пригласила меня в просторную, полупустую комнату, где пахло пылью и жизненным крушением. На полу лежал старенький половик. Отсюда дверь вела в его комнату (вероятно, существовала еще одна, общая, скорее всего,

спальня), которая выглядела несколько иначе: массивные книжные шкафы, маленький элегантный столик, несколько картин — подлинники — и множество других вещей и вещиц, создающих общее впечатление тесноты и загроможденности.

В низком кресле лицом к двери полулежал Валентин, и его облик произвел на меня оглушительное впечатление. Вытянутые ноги укутаны фиолетовым пледом, горло замотано кашне, на голове зеленый шерстяной колпак, явно ручной вязки, ничего подобного в продаже не увидишь; он читал газету, сдвинув очки по-стариковски на нос; небритый, с уже пробивающейся сединой. Женщина громко захлопнула за мной дверь. Вали опустил газету, посмотрел на меня поверх очков и, нисколько не удивившись, так, будто мы не виделись всего несколько дней, сказал слабым, стонущим голосом: пришел посмотреть на своего старого родителя... мило, очень мило. Садись. Я поискал глазами стул, но ничего похожего не обнаружил. Тогда он кивнул на кипу газет, под которыми был погребен маленький, весьма ненадежный на вид стульчик. Я осторожно присел. Мне было трудно прийти в себя от изумления. Вместо обворожительного, уверенного в своих чарах мужчины передо мной был старый, помятый, больной человек, безропотно покорившийся немощи. Я не знал, я забыл, сколько ему лет, в то время для меня все, что больше сорока, означало глубокую старость, после этого предела возраст никакого значения для меня уже не имел; меня поразил контраст между сохранившимся в моей памяти образом и нынешним обликом отца: уронив газету на плед, покрывавший больные ноги, с очками на кончике носа, он смотрел на меня потухшим взором.

Я грешник, сын мой, произнес он тихим, замирающим голосом, словно прощался со мной перед смертью, да, да, я совершил великий грех, бросил тебя в колыбели, оставил несчастную Карлу-Шарлоту, бедная покинутая женщина, я — скопище всех мыслимых пороков, нечестивец, который несет теперь заслуженную кару. Я — жертва собственного распутства, и да наставит тебя на путь истинный мой печальный пример. Ступай, сын мой, и вознеси молитву за презренного грешника, который не заслуживает того, чтобы называться твоим отцом, он судорожно закашлялся. В изнеможении закрыл глаза и трудно дышал. Повторяю, я был взволнован, но не настолько, чтобы забыть, что пришел сюда по делу. Поэтому упрямо выпалил, что в мои намерения не входило судить кого бы то ни было, что его поступки — это его личное дело, я же, прожив какое-то время с матерью, имею о ней определенное представление, к сожалению, довольно одностороннее, и хотел бы знать, какой она предстает или представала в глазах мужчины, которого, по крайней мере вначале, любила; все остальное, то есть что он мой отец, что я ношу его имя, имеет для меня второстепенное значение. Услышав эти слова, полные мальчишеского запала, Вали приоткрыл глаза, бросив на меня короткий, холодный, недоверчивый взгляд, который я про себя отметил. Я был целиком сосредоточен на своей идее, и Валентин меня мало интересовал, он совершенно не был для меня новым Версиловым, я не старался понять его загадочную натуру, я даже не думал, есть ли в нем что-нибудь загадочное. И я сказал с самоуверенностью юности: что же касается нас двоих, то у каждого своя дорога.

Именно потому, что на тему о вновь обретенном отце написано более чем достаточно, я хотел бы еще раз подчеркнуть: я не был, по крайней мере тогда, хоть сколько-нибудь заинтересован в том, чтобы открыть его для себя, познакомиться с тем, что составляло его подлинную сущность, и еще того меньше, обрести в качестве отца; меня занимал только и исключительно мужчина, которого моя мать когда-

то любила, и даже не он как таковой, а опять-таки она, именно ее я хотел открыть для себя, но сквозь призму чужого опыта, иных отношений, в другом возрасте. Вали снова тяжело закашлялся, отхаркивая мокроту, сосредоточенно вытер рот носовым платком сомнительной свежести, в него же высморкался, но так как я продолжал смотреть на него в упор, испустил глубокий вздох и голосом, как бы идущим с того света, изрек: твоя мать праведница, почитай ее, сын мой, как святыню. Святыню... как это понять? Я потребовал разъяснений. Она ангел, снова выдохнул он, по-прежнему с закрытыми глазами. Я не разбираюсь в ангелах, заявил я, такое сравнение мне ничего не дает. Ну, скажем... великомученица, прошелестел он уже совсем бессильно, женщина, которую я всячески терзал, каким только мукам, каким унижениям не подвергал, твоим невинным ушам не пристало даже слышать. Ступай, сын мой, я человек конченый, ступай и чти мать свою, как святыню.

Ясно, он хотел от меня избавиться, но я явился сюда не просто так, поэтому прирос к стулу и упорно гнул свою линию. Святая, ангел, мученица, возразил я, это все голые, пустые метафоры, и меня, повторяю, не интересует, что вы ей сделали или чего не сделали, я хочу знать, какой была эта женщина, с которой вы прожили столько лет, вернее, какой она вам... вам... тебе кажется (какого черта я ему говорю «вы»?). Он снова бросил на меня короткий, холодный, подозрительный взгляд: женщина, если ты хочешь придерживаться этой... земной терминологии, прямая, честная, добрая... безукоризненно нравственная... Я взорвался: оставим в покое нравственность. Я сюда пришел не судить, но не надо же все-таки забывать, что вы оба не можете служить образцами нравственности, так что ангелы и мученики тут ни при чем. Прямая — пожалуй, честная — смотря что вкладывать в это понятие, добрая — что-то не заметил, думаю, меньше всего ей присуще именно это качество. Трагическим жестом сорвав очки, закинув в благородном гневе голову, задыхаясь, он выдавил: как ты смеешь говорить так о своей матери, ты, ребенок, ее дитя... Чистейшей воды плеоназм, заметил я, если она — моя мать, ясно, я — ее дитя... И потом, я давно уже не дитя, ты это знаешь прекрасно. А коль скоро это так, я имею право и обязан иметь свое мнение о ком и о чем угодно... Он поднял кверху указательный палец правой руки: только в том случае, если знаешь все обстоятельства. Вот именно! — воскликнул я, об этом и речь, за тем я сюда и пришел. Чтобы знать все обстоятельства. У него начался очередной приступ кашля. После чего замогильный голос сообщил: не смею даже помыслить о ней — и снова кашель, явно нарочитый. Дверь открылась, и упомянутая мадам принялась заклинать его: Валентин, дорогой ты же знаешь, тебе нельзя утомляться, доктор запретил тебе всякие перегрузки... И грозно в мой адрес: а вы что же, не видите, в каком он состоянии? Я ответил: в состоянии без состояния. Он закрыл глаза, взмахнул правой рукой и чуть слышно прошептал: ступай, мой милый, и не сбейся с пути. Я что-то буркнул и в сопровождении мадам покинул помещение.

Когда я вышел на улицу, я еще был очень зол, но через несколько часов все это выветрилось у меня из головы. Больше я его не вспоминал, даже то, что он больной и старый. Неопытность не знает жалости, ибо не обладает воображением. Через некоторое время, как гром среди ясного неба, мой бывший отец объявился именно тогда, когда я меньше всего этого ожидал: я был в гимназии, звонок возвестил конец перемены, и я собирался идти в класс, это был последний урок, как вдруг на меня налетел очаровательный Валентин, высокий, подтянутый, свежий и весьма деловито настроенный: ах, дорогой, ка-

кая тут неразбериха, я тебя еле нашел, живо, вместе пообедаем. Я был в замешательстве: во-первых, его появление для меня было полной неожиданностью, и, во-вторых, он был так не похож на ту хрипящую развалину, какой я его застал в глубоком кресле; он был снова элегантным красавцем, как когда-то, в дни моего детства, и эти два совершенно разных образа смешивались и путались у меня в голове; все-таки я из себя выдавил: да, но... у меня еще один урок. Чепуха, засмеялся он, беря меня за руку, при чем тут урок, я говорил с директором и все уладил. Я больше не спорил и покорно двинулся за ним; мне очень не нравилось, что по коридорам и лестницам пустой гимназии — урок уже начался — Валентин тащил меня за руку как маленького. Я вспомнил, что уже слышал, и не раз, эту фразу, обладавшую магической силой: чепуха, я говорил с директором и все уладил. Она была мне знакома по салону Карлы-Шарлоты. У нас в стране было множество законов и правил, хватило бы не то что на одно, на три государства; иногда они были чертовски запутанными, малейший шаг, каким бы законным он ни был, казался совершенно невозможным; но стоило раздаться чудодейственному «Сезам, откройся» — «чепуха, я говорил с директором и все уладил»,— как и вправду все улаживалось, будь то по закону или нет.

Хоть я был несколько ошарашен его появлением, заставшим меня врасплох, и озабочен тем, чтобы не отставать от него, двигавшегося стремительным, упругим шагом, я все-таки успел заметить, что он одет изысканно, во все новое. Когда мы сели в лимузин — это была машина какого-то учреждения,— он, развалясь на сиденье и кряхтя — то ли от удовольствия, то ли, что вероятнее, от усталости,— повернулся ко мне, внимательно посмотрел и скорчил недовольную гримасу: фи, в гимназической форме! Глянул на часы: поздно. К тому же, мое партикулярное платье было ничуть не лучше. Задумчиво: н-да, тебе пора сшить приличный костюм, уж очень ты смахиваешь на молодого пролетария, хоть и с образованием. Я занял выжидательную позицию. Прошлый раз наступал я, но понес тяжелые потери и вынужден был отступить; теперь инициатива была в его руках, я понятия не имел, чего он хочет и хочет ли чего-нибудь. Я замкнулся в молчании: никаких вопросов, никакого удивления, никакого любопытства. Да и он, закурив, молча уставился в окно.

Ералаш в моей голове от несовместимости обеих его ипостасей, конечно, был — особенно вначале, в машине, когда мы оказались рядом; но надо признаться, я даже не спрашивал себя, какая связь существует между ними, если они вообще что-нибудь означали; я принимал его как есть — человек-сюрприз, мне было совершенно неинтересно докапываться до разгадки его тайны, если вообще была какая-то тайна, неинтересно познакомиться с ним как следует, я не притворялся, мне было совершенно безразлично, я больше ничего от него не ждал, даже того, что он заговорит о Карле-Шарлоте.

Шофер не спросил, куда нас везти — он получил указание раньше,— и остановил машину на обочине маленькой улицы, возле парка Чишмиджиу. Я предполагал, что Валентин везет меня в ресторан, но место, где мы вышли из машины, мне совсем не понравилось. Кривая, не очень чистая улочка, почти без тротуара, довольно непрезентабельный одноэтажный дом, и — верх безобразия — вход в него через подозрительную подворотню. Вот увидишь, он сумасшедший, он ведет тебя в бордель, тревожно сказал я себе, решив, что в отместку разорву у него хотя бы галстук, солнечно-желтый в голубую искорку. По левую руку оказалось что-то вроде трактира с большим прилавком, навстречу кинулся толстый человечек, Валентин даже не взглянул в его сторону — впрочем, он и на меня не смотрел, он величест-

венно плыл ровным пружинистым шагом. Мы двигались по коридору мимо совершенно обычных комнат, разве что без дверей, и в каждой стояло по два-три столика. В одной из них никого не было, и мы вошли в нее.

В комнате было сыровато и довольно темно. Толстячок зажег свет, мы сели за стол, и Валентин торжественно спросил: ну, что ты скажешь? Трактир как трактир, буркнул я в ответ. Он был готов к чему-то подобному, потому что тут же, запрокинув голову, театрально расхохотался; немного погодя: здесь, сынок, лучшая в Бухаресте кухня; с горделивой улыбкой: и самая дорогая. Это же «Гельвеция»! И правда, на карточке меню золотыми псевдоготическими литерами значилось: «Гельвеция». Я промолчал, прекрасно понимая, что ему хочется услышать от меня ахи и охи, и решил, что закажу себе мамалыгу с брынзой — пусть позлится,— но какого черта ему вообще от меня нужно: ошеломить? помириться с Карлой-Шарлотой? выведать — неизвестно зачем — подробности ее жизни? Может, ему просто захотелось побыть в роли отца и повысить себе цену таким способом — мама в жизни не водила меня по ресторанам,— но я со своей стороны не собирался ему подыгрывать.

Я взглянул исподтишка: очаровательный Валентин с глубочайшим вниманием изучал меню. Что же ему все-таки надо? Я перебрал в уме все возможные варианты. Но ничего из того, что я предполагал, не произошло. Правда, я вообще мало что тогда о нем знал. Валентин был из семьи, как говорится, ни то ни се, то есть имел самое что ни на есть неудачное происхождение; это значило, что его родители были людьми достаточно состоятельными, чтобы в своем городке на берегу Дуная слыть зажиточными, сходить за именитых — такое оставляет плохой отпечаток на всю жизнь,— и при этом настолько малоимущими и незначительными, чтобы, потерявшись в большом городе, приобрести репутацию сирых и убогих. К тому же господь наградил их целым выводком безобразных, тупых, нерадивых и чванливых дочерей, и все пошло прахом, в результате их брат остался только при университетском дипломе, с которым было не очень-то понятно как и поступать; тогда, после войны — разумеется той, другой — адвокатов было хоть пруд пруди.

Его неустроенная юность, с ее надеждами и лишениями, была довольно типичной, многими тогда владели смелые мечты: неугомонные, самоуверенные молодые люди стремились наверх, к власти и славе. И вот Валентин — секретарь одного крупного адвоката, хлопочет, добиваясь каких-то разрешений и собирая какие-то документы; вот он листает книги в поисках подходящей цитаты для маэстро, вот, позже, с блеском и страстью самостоятельно ведет дело за делом; Вали пишет дерзкие статьи, яркие и темпераментные — кое-что в этих статьях вызвало интерес, так некоторым из начинающих иногда выпадало счастье привлечь к себе внимание — пусть скептическое, но пристальное — людей, которые преуспели в жизни, хотя и не столь давно, чтобы заплыть жиром. Однако важно было не только привлечь к себе внимание на этом пиру успеха, но и удержать его как можно дольше, что Валентину не удалось, по крайней мере до тех пор, пока не началась его связь с Карлой-Шарлотой. Успехи были по преимуществу эфемерны, и без того шаткое положение Валентина усугублялось тем, что у него был сангвинический темперамент, неровный и сложный характер (иногда ему приходилось делать немалые усилия, чтобы доказать, на что он способен, иногда вдруг это получалось само собой), и, главное, у него был несомненный талант разбазаривать время, деньги и душевные силы.

Если молодые люди, рожденные в нищете и добравшиеся до подступов к успеху, прекрасно знали цену пути наверх, каждой его ступеньки, куда они вползали на брюхе, умели копить тяжело доставшиеся медяки и минуты, отношения и чувства, то стоило Вали — как и всем, кто был избалован в детстве, кого в молодости обуревало слишком много идей,— стоило ему создать себе какое-никакое положение, как он тут же терял его. Похоже, что Карла-Шарлота положила немало труда на то, чтобы его стабилизовать, создать благоприятное окружение, в котором ценились бы остроумие и интеллект; она это обставляла очень тонко и умело; с целью, как любили тогда говорить, сделать ему положение; в какой-то мере это ей удалось, хотя многие поговаривали, что изворотливости она во многом научилась именно у Вали, чье искусство было врожденным и неисчерпаемым, Карла-Шарлота лишь ловко заимствовала сей полезный дар и, как гласила молва, преобразовала в мощную двигательную силу; говорили даже, что они хорошо распределили между собой роли и действовали сообща даже тогда, когда ссорились или расходились: во всяком случае, забегая вперед, я хочу отметить, что он никогда не пытался защищаться, более того, даже предварял ее жалобы на то, что безволен и изнежен, что по прихоти или из желания эпатировать может пустить под откос завидное положение, ради красного словца испортить отношения с влиятельным приятелем и что любимое его занятие — бить баклуши, то есть читать идиотские книжки, над которыми он смеялся до слез, как никогда не смеялся над остроумными, они почему-то казались ему пресными; к тому же порой на него нападала безысходная тоска, охватывало отвращение ко всем, в том числе к себе самому, и тогда он бросал все и бежал куда глаза глядят, где-то скрывался, мотивируя свое отсутствие новой пассией, хотя и проповедовал, что любви на свете нет.

Но понять что-нибудь определенное из того, что он говорил, было трудно, версии менялись, он обожал выдумывать, играть, то устремит вдаль отсутствующий, тоскующий взгляд и выдает его только блуждающая на губах чувственная и ироничная улыбка, то сидит грустный, осунувшийся, говорит каким-то не своим голосом, а по контрасту в глазах вспыхивают веселые, насмешливые искорки. Его красивое, подвижное, умное лицо, весь его облик всегда несли на себе отпечаток противоречивости: насмешливый взгляд и печальная улыбка, мягкий, дружеский, задушевный тон и сквозивший в глазах сарказм. Каким он был на самом деле, что было подлинной его сущностью, неизвестно; порой он бывал ко всему равнодушен, порой же, наоборот, терял голову, рвался к успеху, жаждал иметь деньги, красивых женщин, кутить; его не понимали даже те, кто знал близко, думаю, даже он сам, а может быть, все это было не что иное, как непрерывная смена ролей, игра с самим собой, алчность желаний и издевка над их ненасытностью, постоянная раздвоенность, побуждавшая его смеяться над собственным «я», иронизировать по поводу того, чем бы ему хотелось заниматься и чем он занимается на самом деле, усталость от иронии, которая разъедала все. Скептицизм, говорил он,— лучший трон для тирании. И мечтательно: составлю сборник своих изречений — они короткие, достойны запоминания и пишутся легко. Презрительно: но таким способом деньги не делают. Пылко: сочиню танго «Люблю тебя». Успех будет грандиозный.

У него бывали вспышки энергии, но они быстро гасли, превращаясь в струйки меланхолической иронии. Я не могу принимать себя всерьез, сказал он однажды, стоит мне задуматься над чем-то важным или впасть в патетику, как я фыркаю от смеха, а потом сам же переживаю, что так легко поддался сарказму. Кто знает, мой маль-

чик, может быть, мне все давалось слишком легко. В другой раз: подлинная ценность, оказавшись среди мнимых, теряет свою подлинность. Я тебе приведу пример: как-то мне попали в руки секретные статистические данные, и я написал серию статей об истинном положении крестьянства, написал страстно, в уверенности, что потрясу умы и воображение многих, на худой конец вызову хоть небольшой скандал; ничего подобного, меня все поздравляли, директор газеты удвоил мне ставку, министр сельского хозяйства наградил орденом. Я чуть не плакал от обиды, понимаешь — и он весело рассмеялся. После этого я написал о домах терпимости, опять успех, на этот раз без орденов, и мне опротивела журналистика, некоторое время я просто слышать о ней не мог.

Занялся адвокатской практикой, мне подвернулся такой случай: у несметно богатого старого развратника была молоденькая любовница, совсем девчонка, и он ее садистски убил. История яснее ясного. Ну так вот, я повел это дело, запутал свидетелей, вызвал слезы у присяжных и... его оправдали. Громкий успех, поздравления со всех сторон, какой талант! — словом, свинство, просто-напросто свинство. Мне отвалили кучу денег, я махнул в Париж, где промотал все, мне казалось — я преступник, я должен покончить с собой, но прежде решил позаботиться о духовном завещании и начал писать открытое письмо, составленное в очень решительных выражениях и адресованное всему человечеству; я писал с отчаяньем, скорбью, писал и писал... время шло, я забыл о самоубийстве и послал свой прощальный крик души в один литературный журнал, шумный успех, получил я и какие-то деньги, которые пришлись очень кстати; патетическое заключение: меня преследует успех, сын мой,— а в глазах насмешливые искорки. Циничный? Ленивый? Определения слишком простые.

Он был обаятельным, любил нравиться — ему это было нужно как воздух,— нравиться даже тем, кого презирал, но его ирония задевала людей, он старался загладить вину, его прощали, он снова нравился и презирал за это себя. В нем жила подлинная неудовлетворенность, иногда она бурно взрывалась, у него был ясный, саркастический ум, разивший остро и глубоко, но каждый выпад дорого обходился общительному сангвинику, он вызывал ненависть потерпевших, приходилось всячески их ублажать; кроме того, он сам не выносил напряженности в отношениях, старался снять ее легкой иронией, нотками мягкой грусти в голосе, словом, всем, чем мог. Он брался за многое, но ему быстро все приедалось; в тот день, когда он меня притащил в «Гельвецию», у него были деньги, он хотел немедленно начать выпуск боевой газеты, заявить в полный голос о том, что творится, кричал, что больше так продолжаться не может. Здесь у него была назначена встреча с будущим компаньоном, на меня он не обращал никакого внимания — зачем, спрашивается, он меня привел? — а из проекта ничего не вышло, уж не знаю почему. Иногда он и позже виделся со мной, сам искал встречи, но бывало, что и избегал меня, не очень понятно, зачем и почему.

Со взрослыми я был начеку, потому что каждый обязательно хотел меня наставить, приобщить, просветить относительно того, каков мир на самом деле, как он порочен и какого подхода требует. Мне не хотелось учиться у этих людей, я видел, что они из себя представляют, отнесся я подозрительно и к обаятельному Валентину, не мог же он не иметь, думалось мне, связанных со мной широких планов, а когда мне не удалось выяснить его намерений, я не на шутку встревожился, вообразив бог знает что; трудно ведь предположить, что ты встретил взрослого человека, к тому же родного отца, у кото-

рого нет ни малейших поползновений стать вторым Песталоцци; но через некоторое время мне пришлось признать, что Вали не собирается навязывать мне свои убеждения, да у него и не было убеждений, слишком неуверенный в себе, он нуждался в моей близости, с тем чтобы нравиться, и, уж во всяком случае, не собирался ни в чем оправдываться, наоборот, судил себя с подозрительной суровостью, хотя глаза его при этом выдавали пренебрежительное и снисходительное отношение ко мне, к миру, в котором он живет, к себе самому, игравшему комедию раскаявшегося грешника, беспечно забавляясь своим комедиантством. Он любил лицедействовать, но не годился для актерского ремесла, потому что не верил роли, которую играл, и в результате сам себя пародировал.

По слабости характера он был добр, по слабости же причинял зло, и это зло приводило его в отчаянье, а он не выносил отчаяния Мне бы хотелось написать о нем поподробнее, рассказать хотя бы кое-что о наших беседах и встречах, на каждую из которых он являлся другим, новым, играя роль другого персонажа, но я должен спешить, у меня нет времени, мне столько надо еще сказать, а о событиях, характерных для нашего времени, я ничего еще не написал хотя одна из его особенностей состоит как раз в том, что оно, время, окрасило все, даже существование тех людей, которые хотели только одного — остаться в стороне от событий, на обочине истории, спокойно и не без выгоды плыть по течению или в крайнем случае погрузиться в сумеречную, сонную бедность.

В наших отношениях с Вали — и на этом я заканчиваю эту тему — мы как бы поменялись местами, почти сразу, с первых же встреч: я был человеком зрелым, ответственным, принимал все всерьез, осуждал его за странную мешанину из поэзии и игры, которую считал просто легкомысленной, пытался понудить заняться настоящим делом и незаметно для себя — но не для него — перенял роль Карлы-Шарлоты. Под впечатлением его рассказов я сделал конструктивное предложение: почему ты все это не напишешь, так обидно, ты ведь знал множество людей, написал бы мемуары. Он просиял и, устремив вдаль гордый взор, воскликнул: напишу мемуары... как королева Мария! Деловито: я знаю одного студента, который подыхает с голоду, дам ему несколько сотен и засажу писать мои воспоминания. Торжественно: посвящу «моей маме». Это всегда производит хорошее впечатление.

В роли отца, наоборот, любил произвести благоприятное впечатление, тогда он вел себя как экзальтированный подросток, то есть так, как, учитывая возраст и характер отношений, должен был бы вести себя я; он вынуждал меня к отеческой снисходительности и требовательности, его это очень забавляло. Ему хотелось во что бы то ни стало оставаться подростком. Но одному я все-таки у него научился — поскольку все остальное, то есть умение просто радоваться жизни как таковой, было мне чуждо,— я научился понимать, что большинство тех, кого я знал и без разбора причислял к идиотам, невеждам и негодяям, были когда-то, в молодости, людьми идейными, пеклись о благе народном, тянулись к духовным и интеллектуальным ценностям, но интегрированные бездушным механизмом власти, попав в железные сцепления, именуемые полезными связями, стали жесткими и циничными; заодно я понял, что и все особенности Вали нельзя приписывать только его избалованности, что его манера поведения являлась своеобразной самозащитой, формой протеста против необходимости стать жестким и циничным, таким же, как остальные, отказаться от права на юмор, фантазию, размышления. Если взять каждого в отдельности, внушал Вали, то окажется, он жа-

леет о том, что загубил в себе способность легко и свободно думать, переживает, что дела в стране идут все хуже и хуже, возмущается, что ничего не делается, что нет никого, кто бы... Воздев руки к небесам: Кто-то — вот оно, вот что нас губит, все ждут Кого-то... Этот механизм, говорил он, перемалывает тех, кто не пожелал или не сумел приспособиться, при такой системе извращается любое доброе намерение.

Чем привлек Карлу-Шарлоту очаровательный Валентин, догадаться, в общем-то, нетрудно, она чуяла в нем многообразные таланты, считала его, что называется, перспективным, но на ее беду он оказался норовистым и упрямым, а его лень намного превышала ее энергию. Господин Мюллер, весело рассказывал он очередную байку, воскресным днем отправился с рюкзаком и семейством в горы, где набрел на лужайку, по которой протекал ручеек: он был в восторге от красот природы и, когда вернулся домой, решил поставить там, на лужайке, мельницу — нельзя же допустить, чтобы ручеек тек просто так, без пользы. Он сказал это в связи с чем-то другим, но притча как нельзя более соответствовала маминым чувствам к нему. Ну, а Валентин? Что он нашел в этой холодной, жесткой, чересчур трезвой женщине? Ведь даже тончайшему мастерству светскости обучил ее он, а не она его, он открыл ей, какую выгоду лично она могла бы извлечь из этих светских отношений. Вероятно, порой его неудержимо тянуло к миру роскоши и наслаждений, без которого он не мог обойтись, он отдавал себе отчет в том, как ему не хватает терпения и настойчивости, понимал, что, находясь рядом с ней, прекрасно вписался бы в картину жизни класса, к которому тяготел и в значительной мере принадлежал; альтернативой для него было деклассироваться, слиться с богемой; он сознавал, что Карла-Шарлота олицетворяла собой равновесие, стабильность, которых ему так недоставало; вот почему уходы от нее, возвращения и снова уходы совпадали по времени с отталкиванием, притяжением, с новым отталкиванием, которое он попеременно испытывал на себе со стороны высшего света, где царили богатство и власть; это были «перебои души», диаграмма его взаимоотношений с кастой, которая его привлекала, но неизменным членом которой он состоять не хотел; другой альтернативы он не видел.

Какое-то время спустя Штефан, младший из моих дядей, сказал мне: между прочим, Вали был далеко не таким отчаянным ловеласом, как думали и как он сам любил изображать; у него бывали моменты, дни... ну, скажем, неудовлетворенности, черной меланхолии, когда он убегал, прятался, никого не хотел видеть... По возвращении, чтобы не объяснять истинные причины своего отсутствия — его бы все равно никто не понял,— он рассказывал выдуманную любовную историю, это понимали все. И мне припомнился первый визит к Валентину, когда я застал его постаревшим, опустившимся, разочарованным и он старался выпроводить меня как можно быстрее (хотя и тогда не удержался от того, чтобы не попаясничать), и я мысленно сравнил эту картину с тем, что мне доводилось видеть дома, когда Карла-Шарлота на целые дни запиралась в своей пирамиде; людям трудно выносить собственные роли.

Валентин презирал глупость, охотно над нею посмеивался, делал это тонко, с оттенком своеобразного удивления и среди коллег адвокатов, журналистов, а то и просто в кафе веселился до упаду: ох уж эти легионеры, эти «посланцы вещие судьбы великой», «хранители огня святой отчизны», «рожденные из пламени и крови», «благословенные землей самою», «твердыня нерушимая, испытанная в дни невзгод», «стальные ястребы в навек покорном небе», «первопроход-

цы, открывающие мир», хотя и «сотворенные для дел земных, не для бессмертия пустого», однако же «трубящие в нетленной славы рог», ему казались уморительными эти и подобные дурацкие метафоры, мутным потоком захлестнувшие очумелых железногвардейцев. Валентин не раз получал грозные уведомления о «приговоре к смертной казни» и весело комментировал их с приятелями. Но когда по прихоти истории эти фигляры стали вершить судьбу народа и люди начали погибать уже не только на поле брани, но и от руки убийцы, «циркулярные вердикты» ни у кого больше не вызывали смеха; и вот однажды, в начале зимы, нежданно-негаданно в квартире Карлы-Шарлоты объявился Валентин, ироничный, благодушный, непринужденный, и в свойственной ему ленивой манере попросил у мамы... убежища — всего на несколько дней: «блажь ведь быстро проходит, важно не попадаться им под руку». Знаешь, дорога-ая, объяснял он, развалясь на диване, они такие кретины, что ведь и убить могут. Надо же отколоть такую бездарную штуку, улыбнулся он, превратить меня в мученика. Право, это никогда не было моим призванием, нет, ей-богу, они совершенно лишены вкуса, у них нет никакого чувства юмора. Карла-Шарлота сидела, прямая и неподвижная, на своем стуле с высокой спинкой: Ва-лен-тин, ес-ли у те-бя хо-ле-ра, не по-сещай до-ма дру-гих лю-дей — и выпроводила его, в полном соответствии с требованиями гигиены.

Я был встревожен, помочь ничем не мог, но мне не приходило в голову, что, при всем своем безумии, они способны кого-то убить за вполне невинные шутки, к тому же у них были враги посерьезнее. Вали вернулся домой. Может быть, кто-то его бы и приютил, а может, и нет, все были перепуганы насмерть, или ему только казалось, что он в опасности, или начался очередной приступ меланхолии,— так или иначе, он вернулся восвояси. Он жил тогда на улице Ларскэра Катарджиу в большом доме, на втором этаже. «Посланцы вещие судьбы великой» явились ночью, при своих неизменных револьверах. Вали вскочил с кровати и как был, в одной пижаме, выпрыгнул в окно на задний двор, что-то вроде глухого каменного колодца, единственная калитка оказалась на замке, и он умер под градом пуль. Валентин не был создан для такой смерти — она абсолютно не вязалась с его натурой. Зато была очень характерной для своего времени. Время накладывало отпечаток на судьбу каждого; вполне возможно — убийцы знали, что делали, когда стреляли по разуму, ищущему быть свободным, по мысли, изреченной слишком остро и вольно. Они хотели, чтоб было молчание. Но разве под силу страху убить иронию?

Еще тогда, когда провалилась моя первая попытка познакомиться с Вали, я отправился к одной из его сестер, самой серьезной, устроенной лучше других,— она была женой бухгалтера,— которая все никак не могла забыть, что они были не из последних и «отец приезжал за ними на вокзал в кабриолете». Худая, костлявая, высушенная нелепым тщеславием, с манией чистоты, в остальном она была вполне добропорядочной и благопристойной. Никогда ни на что не жаловалась, воображала, что ей живется хорошо, хвасталась по каждому поводу, любую мелочь воспринимала как необыкновенную удачу, все, что с ней случалось, всегда было к лучшему; я вполне мог бы поверить, что она удовлетворена своей жизнью, если бы не одно обстоятельство — она никогда не выходила в город, не бывала даже в соседней бакалее, все покупал «супруг», она сидела как в монастыре, и это наводило меня на размышления. Ничего общего с Вали. Да и узнал я о нем только то, что в детстве он был умницей, а теперь им может гордиться страна. Она ни о ком не отзывалась дурно

и даже о моей маме, которую терпеть не могла, сдержанно говорила: она существо гораздо более холодное. Практически никаких отношений друг с другом они не поддерживали. Тетушка виделась лишь с теми, кто изредка приезжал из ее родного городка, и за три десятка лет умудрилась не завести новых знакомых в столице, хотя ее муж был человеком веселым, открытым и гостеприимным.

В тот самый день, когда к вечеру мне предстояла важная встреча, я пошел в обеденное время к ней, к моей родной тете Марioape, чтобы не дай бог не привести на встречу из дома нежелательный «хвост»; а так как утром на улице Колумбе за мной увязался шпик, я рассудил, что разумнее будет и ночь провести не дома у мамы; я опасался, как бы им не пришло в голову искать меня именно в эту ночь, что было бы особенно некстати; я предполагал, что новый связной даст мне, как это обычно бывало, какой-нибудь материал, с которым я должен буду ознакомиться или его распространить. Я сказал геге, что хотел бы переночевать у нее,— меня пригласили на вечеринку, мама же, сами знаете, этого не любит; она согласилась сдержанно, в своей обычной манере и, когда я уходил, дала мне ключ. Она и раньше питала ко мне известное уважение, потому, говорила она, что я ношу их имя, а особенно теперь, после смерти брата. Место мне не нравилось: несколько многоэтажных домов, поставленных впритык друг к другу и расположенных вглубь, под углом к улице, на которую выходила глухая стена; между домами и стеной — узенькая мощеная дорожка; из этого тупика на улицу вели только одни ворота. Но выбирать не приходилось, к тому же, возвращаясь сюда после встречи, я сменил несколько трамваев самых разных маршрутов, прыгая на ходу, так что сам Фантомас не определил бы, в каком направлении я скрылся, да и не заподозрил бы, что я спрятался у этой женщины, не имеющей никаких контактов с внешним миром. Если на следующую ночь меня не будут искать у Карлы-Шарлоты, значит, все в порядке, я могу спокойно идти домой и там ждать ответа. Утром я собирался позвонить Карле-Шарлоте, в расчете на то, что она как женщина ловкая сумеет дать мне понять, если что-нибудь неблагополучно. Вероятно, такое решение было все-таки опрометчивым. Новый связной настоятельно советовал мне не рисковать и побыть день-другой у никому не известной тети. Он плохо представлял себе Карлу-Шарлоту; о том, что я пропал, она была способна сообщить в газету и дать им не просто текст, а еще и фото.

В квартире было три комнаты; та, в которую меня поместили, находилась рядом со столовой, а не со спальней, так что я зажег свет и собрался читать, не боясь потревожить тетю и дядю. Спать совершенно не хотелось, но, как ни странно, читать я не мог, что со мной случалось крайне редко. Я привык читать где и когда придется, читал ночи напролет и утром не чувствовал себя усталым. Если попадалась особенно интересная книга, я брал школьный портфель, но шел не в гимназию, где в последние годы мне делать, собственно, было нечего, а в парк, где и проводил за чтением целый день. Я научился читать в трамвае, порой даже на улице, а уж если никак иначе не выходило — какую-нибудь книжку я всегда носил с собой — урывал хоть несколько минут, чтобы прочитать одно-два стихотворения. Когда мы читаем, мы живем не одной, а многими жизнями в разных эпохах и странах; я говорю «живем», потому что только живые, выстраданные идеи способны увлечь, породить энергию и радость, в противном случае они все равно что купленная вещь, старая мебель, например, с которой не очень-то понятно, что и делать.

В этой провинциальной комнате я чувствовал себя словно в далеком маленьком городке, еще до первой войны, в другой эпохе, дру-

гом пространстве, очень ограниченном, будто инородное тело в самом сердце столицы; я размышлял о тех — и таких много,— кто, казалось бы, живет среди нас, но на самом деле принадлежит другой эпохе, другой — исчезнувшей — цивилизации; о том, что они прихватили с собой из прошлого не только старую мебель, коврики и фотографии, но и главным образом старые привычки, тогдашнее мироощущение, образ жизни и мышления, которые в иные времена, в ином месте имели смысл, право на существование, но здесь и теперь никакой реальности не представляют. Мы живем среди призраков, делающих вид, что они подобны нам, но они — всего лишь тени исчезнувших миров и ждут не дождутся, когда снова попадут в царство своих мертвецов.

Это они — подлинные консерваторы, подземные силы, неспособные расстаться со своим детством, инфантильные в раннем маразме; они тащат у себя на хребте выживших из ума предков, несут с собой смутные, склеротические образы, изъеденные молью представления о мире. Когда начинаются большие войны или революции, они опускаются на дно, молчат как рыбы, а потом всплывают и, используя чудовищную силу инерции, стараются повернуть время вспять, хотя бы на два-три поколения. И этой ночью, волей судьбы оказавшись в комнате образца тысяча восемьсот девяностого года, я себя чувствовал бодрым, готовым к борьбе со всеми инерциями мира. Вот только читать мне почему-то совсем не хотелось.

Я думал о Ликэ, о том, как заботливо он воспитывал меня и других; как будет, конечно, готовить новые кадры, пока не рассеется и с ними и не начнет все сначала. Мне бы не хотелось идеализировать его, потому что его сила была ему передана, он лишь передает ее дальше. Но такие люди у нас еще редки, и в том, что он один из первых,— его личная заслуга. Он умеет видеть каждого, знает, что ему нужно, чего не хватает, в каком качестве он может быть использован. Когда я его встретил, я был полон идей, энтузиазма, гнева; мысли прыгали, я не говорил, а кричал, совершенно не умел слушать и был настроен со всеми спорить. Мною владел дух противоречия, неразборчивая горячность. Он научил меня не орать, не махать руками, думать и владеть собой; мы встречались на улицах, встречи были очень опасны: смотри, ты говоришь слишком возбужденно, привлекаешь внимание, а кругом шпики. Он научил меня быть кратким, не разглагольствовать: у нас нет времени, переходи к делу, говори по порядку, ты рассказывал о другом, не отклоняйся от темы. Научил слушать, видеть, быть внимательным на улице, присматриваться к людям. Я ловил каждое его слово, учился быстро, напряженно, понимал, что любая оплошность может стоить жизни, и не только нашей, что от каждого моего жеста зависит судьба многих, это была солидарность с людьми, которых, случалось, я даже не знал.

Когда в портфеле у Ликэ лежали листовки и он советовал: не кричи, не размахивай руками, не привлекай внимания, это было принципиально иное воспитание выдержки, чем в салоне у Карлы-Шарлоты; он не преследовал цели превратить меня в чопорного светского господина, умело маскирующего постыдные страсти. За хладнокровием Ликэ витал призрак смертельной опасности. Я его звал Ликэ, в этом имени, прямо скажем, не было ничего героического, но он не обижался: что ж, парень, пусть будет Ликэ, было бы дело сделано. И не надо так жестикулировать, шпики заметят. Если меня он сдерживал, помогая моему характеру устояться, то в других вливал энергию, волю, мужество, его метод учитывал особенности каждого из нас.

Он научился быть человеком, живущим для других и поэтому обязанным обладать качествами, которых другим не хватает, сочетать смелость с целесообразностью. Ты ему говоришь об обстановке на фронте, а ему это как будто совершенно не интересно: у нас свои заботы, чисто практические, давай ближе к делу. Он был прав, отведенные на встречу десять минут пролетали быстро, а следовало многое уточнить, ошибка могла привести к провалу целой организации, созданной с таким трудом; у нас не было времени обсуждать проблемы, волновавшие всех, в том числе, несомненно, и самого Ликэ, но их решение от нас не зависело: оставь разговоры о танковой битве, лучше скажи, как обстоят дела с печатным станком? Я начинал подробно объяснять — в моем распоряжении пять минут, ближе к делу. Благодаря Ликэ я понял, что энергия проявляется не только в поступках, жестах, словах, но и в умении владеть собой.

В нем не было ничего романтического, никакой экзальтированности, он делал все осмысленно, взвешивал каждый шаг и говорил: не думай все время о смелости, оставь ее в покое, не будь таким одержимым, знай меру. Нельзя злоупотреблять смелостью, не то она, бедная, иссякнет, важно пользоваться ею вовремя. Я как-то слышал от Санду, что к нему привязались трое, но Ликэ быстро расправился с ними и пошел своей дорогой, а они остались лежать на земле. Как это удалось? Он пожал плечами: откуда я знаю как? И что было делать? Потом, с улыбкой: к тому же, видишь ли, какое дело, я шел на очень важную встречу, пропустить ее было нельзя. Его смелость была естественной, он не любил рассуждать о страхе: видишь ли, человек боится, когда не знает, что ему делать. Пока колеблется, пока не принял окончательного решения. Вероятно, ему не понравилось бы то, что я здесь пишу: ты слишком много думаешь о страхе, перестань. Он был, конечно, личностью незаурядной, но этой бессонной ночью я понял, что человек нового типа формируется исподволь, в неравной борьбе, вот почему Ликэ был именно таким.

Слишком долго люди только вздыхали по справедливости, а те, что принадлежали к новому типу, понимали, что справедливость завоевывается медленно и трудно, что необходимы выдержка и смелость, что справедливый порядок нужно устанавливать и для этого следует прежде всего воспитать самих себя; они формировали себя напряжением всех душевных сил, учились тому, что молчание должно быть щедрым, слово — ответственным, солидарность — действенной. Суровая школа, может быть даже жестокая, но слишком опасным был их путь; школа выдержки и внимания; те немногие, кого манили приключения, азарт, кого переполнял избыток жизненных сил, свойственный молодости, должны были в корне перестроиться или погибнуть; авантюрам здесь было не место, мы взрослели, мужали так стремительно, под давлением такой беспощадной действительности, что искатели приключений оказывались опаснее полицейских.

Я всегда считал вполне естественным то, как Ликэ понимал жизнь, как жил, мне казалось, что это очень просто. У него было белое, с чуть заметным румянцем лицо, волосы светлые, волнистые, кончик носа чуть вздернут, словно в дерзком вызове. Он обладал воображением, ведь он должен был сразу найти правильное решение. Правильное: единственно возможное, эффективное. Воображение: практических пособий по его роду деятельности нет, нужно каждый раз думать самому, каждый раз заново, представить себе еще не существующее, возможное решение. Он должен был доходить до всего своим умом, делая при этом поправку на характер каждого из нас, смотреть объективно, со стороны, предвидеть, как поступят «они»,— и предупредить угрозу. Позже, будучи уже здесь,

я узнал, что он был приговорен заочно к смертной казни. Это не сделало его ни более осторожным, ни более смелым, у него был большой опыт конспиративной работы, он отвечал за жизнь других, и для него действовать правильно (такой новый, такой нужный термин) означало проявлять солидарность. Быть солидарным — это отвечать за жизнь людей, иногда незнакомых, и осознавать, что ты сам, твоя жизнь зависят от ума, реакции и силы воли людей, которых ты не знаешь. Когда ты совершаешь поступок, ты отдаешь себе отчет в том, что он выражает тебя, но в то же время чреват последствиями для многих; ошибка влечет за собой страдания, кровь и смерть людей, ближе которых (знакомы они тебе или нет) быть не может.

Узнав Ликэ, я понял, почему наши активисты с таким отвращением относились к любителям приключений, азарта, острых ощущений. Эти авантюристы подвергали риску не только свое существование (право каждого, в конце концов, распоряжаться своей судьбой), но существование других, что было уже преступно. Во власти собственного темперамента, жадные до сенсаций, они не умели оценивать свои поступки со стороны, постоянно учитывать чреватую опасностью изменчивую действительность,— нет, им не хватало чувства ответственности по отношению к другим, чувства солидарности, поэтому они были всегда одиноки, всем недовольны, суетливы, думали только о себе, о своих ощущениях, они приукрашивали свои биографии, иногда даже подделывали их. Они были одиноки и безответственны, не признавали солидарности, упивались острым ощущением возможной опасности, но при столкновении с нею не выдерживали, им не хватало той самой силы, какую дает солидарность. В остальном далеко не трусы, они были тщеславны, а потому пасовали при первом же испытании болью, ведь человеческое «я» может покорить только то, что сильнее его самого. Почему я употребляю множественное число — ведь я знал только одного такого субъекта.

Ликэ обладал, то есть обладает, необыкновенной открытостью миру, способностью вступать в контакты, работать в тесном сотрудничестве с самыми разными людьми, умением держать эту способность под контролем так, чтобы никакая неожиданность не застигла его врасплох, чтобы единолично принятое решение оказалось правильным и эффективным; он научился слушать, угадывать по тону душевное состояние собеседника, быстро схватывать обстановку, видеть улицу со всеми ее развилками и перекрестками, с ее трамваями, полупустую или оживленную и таким образом оценивать ее преимущества или недостатки для встречи или распространения листовок. Внимательно слушая, обдуманно отвечая на вопросы, он в то же время держал улицу под наблюдением, отмечая про себя все, что на ней происходит. Внимание ко всему, что было вокруг, стало для него привычным рефлексом.

Между моим вопросом и своим ответом он всегда оставлял небольшую паузу для размышления, она была следствием его неуверенности в том, что он может с ходу ответить правильно, его опасения поддаться врожденной склонности к немедленному ответу, его привычки держать под контролем свои реакции. Он понимал также, что его ответ имеет большое значение, и тщательно его взвешивал. Где-то выше я уже говорил о нашем возмужании, нашей ранней зрелости. Но зрелость приходит обычно в результате долгого накопления опыта и требует времени, у нас же времени нет. История не дает нам времени для ошибок и уроков, мы не имеем права ошибаться — это стоит слишком дорого. И его возмужание проистекало от зрелой убежденности, от его способности видеть себя со стороны, действовать в строгом соответствии с собственным практическим

знанием обстановки на каждый день, чутко улавливать позывные действительности и, наконец, свято верить в то, что люди, за чью жизнь он отвечает,— все вместе и каждый в отдельности — важнее, чем его особа, чем его собственное «я». Его зрелость заключалась в способности преодолеть это «я», и это не только способность, но и результат постоянных усилий, самоотречения, которое окупается чувством живой, активной солидарности, сознанием того, что ты вырвался из одиночества. Потребность в чувстве локтя, сознание, что оно есть, это тоже определяет масштабы личности. Важен был не я и не он, важно было одержать победу: как будем действовать?

В эту бессонную ночь я чувствовал, что становлюсь кем-то другим, кем-то, кто думает иначе, иначе видит мир, иначе себя в нем ощущает; перемена произошла в глубоких тайниках сознания, была радикальной и делала невозможной любую связь с тем миром, из которого я вышел; не было больше моего одинокого «я», с чьей смертью должен был наступить конец света, потому что теперь я представлял собой нечто гораздо большее чем просто собственное «я». Ликэ помог мне даже своим уходом: при нем я старался во всем ему подражать, предоставляя ему думать и решать за меня, когда же он ушел, я на какое-то время растерялся, потом понял, что стал самим собой, могу руководить своими поступками, принимать самостоятельные решения, действовать эффективно. Правда, я больше ничего о нем не знал, даже имени, но он мне передал главное: свою открытость миру, приятие других людей, свой пафос — страстный, но объективный, свой трудный и мудрый опыт, высокое знание мелочей повседневности. Коммунизм — это идея, получившая жизнь. С этой идеей мир стал более сильным, более упорядоченным, время стало энергией, тесным содружеством, вечностью.

Я был собран, спокоен. Под утро все-таки разделся — главным образом, чтобы не испугать тетю,— и задремал. Она принесла мне кофе — так называлась бурда из суррогата — и легкий завтрак. Сухая и чопорная, тетя сказала, что, по ее мнению, происходит что-то неладное: она выходила за покупками и на обратном пути заметила у ворот какого-то господина; он курил и читал газету. Я поблагодарил, оделся, внимательно проверил карманы — что-то было не в порядке. Как я уже говорил, тетушка никогда не ходила за покупками. а даже если бы и пошла, ни за что не обратила бы внимания на кого-то, кто читает газету, и не заподозрила бы связи между ним и моим пребыванием в ее квартире: в том мире, где она продолжала жить, такие апперцепции не вырабатывались. Я выпил кофе, но к завтраку не притронулся. Когда позвонили, длинно, настойчиво, ток пробежал по моему телу, оно отозвалось короткой дрожью. И только. Тетя открыла дверь, молодчики извинились за беспокойство, с ней они были приторно вежливы, со мной оживленно фамильярны — я должен к ним заглянуть, чтобы уладить маленькую формальность,— тетушка выглядела так, будто принимала высоких и дорогих гостей, все вместе было похоже на восхитительный спектакль. Я молчал.

На лестнице один из них весело заметил: смотри, пожалуйста, нам уже не нравится спать дома, у мамочки. Другой, невысокий и толстый. устало бросил: ладно, заткнись. По дороге в машине никто не сказал ни слова. На «базе», после того как у меня отобрали часы, документы и шнурки — галстука не было,— меня водворили в комнату, где было две койки, размещенных одна над другой, и большое количество знакомых. Улучив момент, ко мне подошел Василе: послушай... у тебя мать та-ка-я... высокая, крепкая... Да... И она разговаривает... как бы это выразиться... немножко отрывисто... Да. Послушай (он опустил глаза), я был на допросе, ждал своей очереди

у кабинета Тафлара. Она пришла и сказала одному из этих: теперь я знаю, где он. Когда это было? — осведомился я. Вчера вечером. Тот спросил: где? Она посмотрела на него сверху вниз: я это скажу только господину полицейскому комиссару. И вошла в кабинет. Она там пробыла недолго. Василе отодвинулся. Явственно прозвучал голос Карлы-Шарлоты: ес-ли у те-бя хо-ле-ра... Позже я узнал: за мной пришли на квартиру Карлы-Шарлоты среди дня, но меня не застали. Откуда мама узнала, где я собираюсь ночевать? Что это — интуиция, достойная сыщика? Ее предупредила тетушка, которая терпеть ее не могла, с которой они уже два года, как не виделись? Но почему? Тете показалось подозрительным мое поведение? Может быть, к ней приходил и Вали, ее родной брат, с просьбой спрятать и она связала эти факты? Не знаю. Мама, во всяком случае, повела себя энергично, даже проявила инициативу. С тех пор она, то есть мама, ни разу не пришла повидаться со мной. Моими делами занимались ее два брата — мои дяди. Я не сожалею о том, что она не пришла, о чем бы мы говорили?

Шок от ареста был сильно смягчен тем, что однажды я уже проходил эту процедуру, не совсем при тех же обстоятельствах, но я получил закалку, знал сценарий. Как и в древнегреческих трагедиях, когда пекли Антигону за Антигоной, чуть не каждый год новую, античные поэты не имели права изменить ни установленные исходные данные, ни раз навсегда сделанные выводы, ни основные сюжетные линии, а лишь ввести некоторые новации в детали трактовки, глубину осмысления или форму монолога,— так и теперь эти аресты со всем, что за ними следовало, производились по определенному трафарету, церемониал был достаточно жестким, что вовсе не исключало каких-либо нововведений, даже неожиданностей, но в целом фантазия была удивительно ограниченной. В аду все очень однообразно.

Хотя нам говорили о тех, кто уже бывал в подобных переделках, и приучали к мысли о том, что это может случиться и с нами, все-таки я испытал легкий шок, когда у меня отобрали документы, шнурки от ботинок (чтобы я не повесился, ведь это бы нарушило установленные правила) и часы, главное, часы. На этом закончилось мое существование как гражданина, меня изъяли из общества, и не было сомнения в том, что при первой же возможности я попытаюсь покончить с собой, оставить их в дураках, лишив суверенного права убить меня; ну что ж, ладно; но то, что они отняли часы, меня потрясло: чисто метафизическая идея у таких паршивых крыс! Они не просто отобрали часы, они отменили для меня категорию времени, я не только вне общества, но и вне времени, идею эту они проводили с определенной последовательностью, так, например, допрашивали преимущественно по ночам, может быть, из какого-то романтического демонизма, черт их знает. Все обстоит так же и здесь, в этой комнате, где окна все равно что нет, оно едва светится: за ним, должно быть, внутренний двор; лампочка под потолком горит круглые сутки, без часов день и ночь смешались, строгая очередность нарушилась, дни перепутались, ночью я пишу, днем сплю,— а может быть, так мне только кажется, время разладилось и потому, что пространства здесь, в сущности, тоже нет.

Правда, с тех пор как я сюда попал, оно меня больше не интересует. Разве что в самом начале я растерялся, был в постоянном напряжении, все старался определить, который час; теперь же у меня нет даже потребности в маленьком сердце, некогда стучавшем на моей руке, я чувствую себя вне времени, начинаю ощущать вкус холодной, прозрачной вечности. Важно не цепляться за время, за часы,

и тогда события твоей жизни куда-то отступают, даже ощущения как бы отделяются, отдаляются, даже боль стала словно чужая. Но достичь всего этого нелегко, хотя, как уже говорилось, тренировался я много. Быть может, сознательно приучая себя к мысли о смерти, я это делал просто из трусости, но маленькие хитрости дозволены в более чем неравной борьбе, так как битву нужно выиграть. Во что бы то ни стало. Надеюсь, я готов войти в великое море молчания. После приговора Василе мне сказал: теперь твоя смерть принадлежит партии. Ты обязан стать примером для остальных. Показать им: такое возможно. Мне надлежит рассматривать свою смерть как акт знаменательный, смотреть на нее со стороны, словно это чей-то чужой пример, словно это не моя, а чья-то чужая смерть. Хватит ли у меня сил?..

При первом аресте я допустил большую оплошность, правда, этому способствовали и сами обстоятельства,— я непозволительно много ломал себе голову над тем, что они знают, как мне ответить на тот или иной вопрос. Я основательно подорвал свою силу сопротивления, так как стал вести воображаемые диалоги с людьми, которых не знал (в сущности, это не люди, а функции), представляя себе различные ситуации, в которые я попадаю. Занятие, прямо скажем, изнурительное и бессмысленное. Когда меня арестовали во второй раз, все было ясно для них и для меня, никаких мысленных дискуссий я не вел, мне оставалось одно — молчание; и разница заключалась не только в этом, теперь у меня уже был выдающийся образец для подражания, мне его передал другой. Мне бы об этом хотелось рассказать. Был у меня товарищ, мы с ним учились еще в школе, жили почти рядом, иногда я приходил к ним домой, встречался там с другими соучениками и приятелями, приходил, естественно, в гимназической форме с личным номером, его брат и сестра знали мою фамилию, знали они и фамилии других его товарищей. Прошло какое-то время, большинство из нас вступило в движение революционной молодежи, и тогда мы узнали, что ходить следует, только когда это надо и только к тому, к кому надо, и что открывать свое имя вообще не полагается; но в случае с Томой делать было нечего, меня знали, и все тут. Два года, как мы работали каждый в своей организации, виделись редко, но виделись; вероятно, надо было прервать всякие отношения, но между нами существовала тесная дружба, какая завязывается только в ранней юности.

У Томы при аресте нашли целую пачку газет «Ромыния либерэ», дочь бакалейщика с первого этажа, мадемуазель Бадя, села в полицейскую машину и вместе с агентами охранки объехала всех, кто бывал у этого нашего друга. Ее никто к этому не принуждал, она так поступила для собственного удовольствия. Нас взяли совершенно неожиданно, никто не понимал, что к чему, но когда мы оказались все вместе и узнали об аресте Томы, то поняли, что аресты производились наобум, вместе с нами попали и давние соученики, ничего общего с Движением не имевшие. Хотя они мало что знали, но кое о чем догадывались, поскольку до того, как мы вступили в организацию, разговоры в нашей среде велись самые разные. Что было известно полиции о каждом из нас? Что могли бы рассказать наши бывшие соученики, не вступившие в Союз Коммунистической Молодежи? Я лихорадочно думал, пытался представить себе разные варианты, предугадать коварные вопросы, подыскать правдоподобные ответы — хотел выпутаться, спастись.

Я волновался, нервничал, не могу сказать, чтобы мне было страшно, я не боялся пытки, но говорил себе, что если они ничего толком не знают, а лишь подозревают, то у меня есть шансы спа-

стись. Но если им все-таки что-то известно — как отвечать? Я метался в надежде выбраться отсюда, снова быть полезным, растрачивал при этом энергию и, если бы события не повернулись неожиданным образом, мог бы стать добычей страха; не уверен, но вполне возможно.

Вы ведь знали, доктор,— не правда ли? — что я вернусь все к тому же. Дав тетрадь, вы предоставили мне возможность писать о чем угодно, рассказывать о родителях (тема для вас неинтересная; впрочем, затронув проблему причинности, коснувшись вопроса о заряде внутренних сил, вы можете сделать определенные наблюдения, я даже догадываюсь какие — да это и неважно), но вы знали, с чего бы я ни начал и как бы ни старался обойти стороной — а я старался,— рано или поздно я снова войду в это здание, спущусь в застенок, столкнусь с предметом вашего исследования — страхом — и снова окажусь все у той же стены, потому что в конечном счете такова судьба; откуда бы мы ни вышли, мы придем туда, куда нам суждено прийти, а не в какое-то другое место, и маленькие неожиданности, незначительные новации не могут изменить ни общего замысла, ни развязки, это была бы уже целая трагедия, не правда ли? Но вас интересует одно: страх. А я-то надеялся, что ваша тетрадь, как арабский скакун, умчит меня от стены, которая ждет. Я сознаю, что откуда бы я ни начал, я все равно приду сюда. Потому что все мои дороги обрываются у этой стены. В конце все начинает представляться логичным, ясным, необходимым, все теперь понимаешь, вот только ничего из этого тебе уже не поможет...

На этот раз, однако, я попал в другое здание, примерно в том же духе, столь же почтенное — желтое, усталое, трехэтажное, в одной трамвайной остановке от того, другого, рядом с рестораном «Холодный источник», как специалист вы, доктор, вероятно, с ним знакомы.

Я уже говорил, мой метод был порочным: я вступил в мысленный диалог с противником — тратил силы на всякие предположения, на поиски правдоподобных объяснений, словом, на попытку спастись. Я еще не был напуган, ничего такого не боялся, но психологически я был уязвим, легко проницаем, ослаблен и под грубым нажимом мог... кто знает? Мне вспоминается, как однажды вечером — было уже поздно, но света мы не зажигали — молчавший все это время Тома вдруг сказал: страх — это опасность, от которой ты бежишь, но стоит остановиться и самому наброситься на нее, как страх проходит.

Вы ведь знаете, энергия — так утверждала и Карла-Шарлота — величина не постоянная, сила сопротивления может неожиданно иссякнуть, на это вы и рассчитываете, ведь так? Через какое-то время я поднялся наверх, то есть меня доставили в просторное служебное помещение, что-то вроде зала, где в беспорядке стояло несколько стульев, кажется, маленький квадратный столик и все. Дело было к вечеру, но это не имеет значения. Мне было велено сесть и ждать. Направо кабинет, налево другой, напротив через стеклянную стену виднелась лестница, позади маячило бесполезное для меня окно. Общее впечатление коммерческой фирмы.

Слева доносился шум, который, судя по всему, нисколько не беспокоил ни находившихся в «зале ожидания», ни молодчиков, которые суетливо шныряли то в кабинет направо, то вниз по лестнице. Слышался грохот падающих стульев, тяжелые удары, непонятный треск, грубая брань, стоны и время от времени короткие нечеловеческие крики, глухая жестокая борьба; определить детальнее, что там происходит, на слух было трудно. Так продолжалось довольно

но долго, во всяком случае, у меня было впечатление, что этому просто конца не будет. Но вот дверь с грохотом распахнулась, словно отброшенная ураганом, и оттуда вывалилась группа потных, запыхавшихся типов: волосы взъерошены, галстуки распущены. Темнолицые, поджарые, вот, собственно, и все, что я заметил, я их не очень-то разглядывал, не обратил внимания даже, сколько их было — кажется, шестеро, а может быть, и семеро,— мое внимание сразу привлек молодой человек невысокого роста, но очень широкий в плечах, светловолосый, в голубой разодранной рубахе. Он был в ярости.

Лицо залито кровью, рубаха в крови, брюки порваны; все это я увидел мельком, сцена длилась недолго. Я был встревожен звуками, которые доносились из кабинета, криками боли, которые, как я теперь понял, вырывались у светловолосого парня в голубой рубахе, но вид этого клубка скользких от пота разъяренных мужчин меня так потряс, что я едва не вскрикнул, как в свое время мой приятель Раду: разве так выглядят идеи?! Да, они выглядели так. Я привык к нотациям, но бить меня никто не бил, мне даже не довелось видеть настоящей драки — разве что в кино,— здесь же было пятеро или семеро вооруженных против одного, безоружного; в кино этот один расшвырял бы всех, выскочил бы в окно, побежал по крыше, ни одна пуля не достала бы его, он бы скрылся, женился, словом, все было бы очень красиво, публика разошлась бы слегка возбужденной — знаете, все-таки...— но удовлетворенной; здесь было не так, здесь не было ничего красивого, парню не суждено было выпрыгнуть в окно, вырваться на свободу, спастись, нет, не суждено. Люди в это время шли по проспекту, их можно было бы увидеть в окно, но я туда не смотрел — зачем? — они шли по своим делам, казавшимся мне странными. Вдруг один из субъектов — он стоял немного в стороне и сопел от бешенства — кинулся на белокурого парня в голубой рубахе и заорал: как тебя звать? где ты живешь? Тот отскочил на шаг назад, слегка пригнул голову, словно для прыжка, и тоже заорал — голос у него был низкий: «Нет!» Потом клубок покатился по лестнице вниз.

Сопровождавший меня охранник, он стоял у окна, за моей спиной, равнодушно заметил — обращаясь не то ко мне, не то к самому себе: идьёт, мы знаем, как его звать, и он знает, что мы знаем, но на все гвердит: нет да нет. Они его забьют насмерть ни за что. Это был голос воплощенного здравого смысла, того самого, который учит нас не вмешиваться в чужие дела, заниматься своими, нам ведь не изменить мир, здравого смысла, делающего возможными насилие, преступление, эксплуатацию, нищету, войны, потому что подлецов на свете не так уж много, они были бы бессильны, если бы не люди со здравым смыслом, которые тебе говорят: занимайся своим делом, не лезь, ну что тебе надо, такова ситуация. Но в ту минуту я не обратил внимания на моего ангела-охранителя, я был словно загипнотизирован широкоплечим белокурым парнем с залитым кровью лицом, в голубой окровавленной рубахе, его яростным «нет!». Я сразу понял, что он отмел всякую мысль о переговорах и продолжает здесь свою борьбу, защищает идеи, потому что именно о борьбе идей идет речь, о столкновении его идей с болью, кровью, смертью, идей, которыми этот человек жил, которые в нем жили, что подразумевало возможность и этого финального последствия. Да: белое и черное, день и ночь, истовое манихейство [1], в противном случае ты скользишь, падаешь, превращаешься в подонка. Tertium non datur [2].

[1] Религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III в. Согласно этому учению вся мировая история — это дуализм добра и зла, борьба света и тьмы.

[2] Третьего не дано *(лат.)*.

Я сразу понял, что дело не в том, называть или нет свое имя,— последовали бы еще вопросы, еще и еще, когда-то все равно пришлось бы остановиться, чтобы не совершить подлости; дело было в отказе от диалога вообще, от какого бы то ни было диалога с ними. О чем нам разговаривать? Я сразу понял, что решительное, потрясающее НЕТ, это НЕТ, которое он выкрикнул сильным низким голосом, выражало всю его ярость, что именно ярость составляла силу безоружного перед шайкой вооруженных, которые могли его пытать и убить, но были бессильны согнуть и сломить, сделать из него подонка. Идеи представляют из себя силу и в обычном споре выступают в качестве аргументов, но когда за идеи приходится идти на муки или даже на смерть, они должны превратиться в страсть души. И тогда их сила — твоя сила. Я еще просидел немного в этой комнате, где шум и суета как в любой коммерческой фирме, потом сопровождавший меня тип скрылся в кабинете направо, а когда вышел от соответствующего начальника, бросил свое короткое: ну ты, давай; меня отвели на «базу» для дальнейшего «хранения». То ли им не хватило времени, то ли не было настроения заниматься мной, скорее же всего меня привели сюда просто ради устрашения.

Сцена, при которой я присутствовал, действительно произвела на меня глубокое впечатление, но совсем не то, на какое они рассчитывали; напротив, хотя я был тогда в другом положении, чем парень в голубой рубахе, однако у меня пропало всякое желание вступать с ними в какие бы то ни было переговоры, желание как-то выкрутиться, спастись, я почувствовал: во мне есть силы, чтобы противостоять этим ублюдкам, я перестал вести мысленные дискуссии с ничтожными служителями при жаровнях геенны огненной. Но так случилось, что тогда мне не пришлось до конца проверить, правильно ли я оцениваю свое новое состояние. Яростное «нет» окровавленного парня продолжало работу в глубине моего сознания, но именно в своей абсолютной негативности оно доказало свою действенность только при вторичном аресте, когда столкновение было жестоким, а искушение вести переговоры отброшено. Вне всякого сомнения, этот залитый кровью сильный парень в голубой рубахе понятия не имел о том, что я существую, что присутствую при разыгравшейся сцене, он действовал по внутреннему побуждению, не подозревая, какую силу породит во мне его звучное «нет». Трусость — как заразная болезнь, она передается, но передается и смелость, поэтому наши поступки далеко не только наше личное дело.

Я знаю, доктор, вам бы хотелось, чтобы я не отклонялся от темы, продолжал в том же духе, но говорить о таких вещах неприятно, особенно у этой продырявленной пулями стены, когда времени в обрез,— и я должен сделать все возможное, чтобы встретить неотвратимое с подобающим достоинством. Будь это в вашей власти, вы бы заставили меня писать только о том, что происходило во время моего содержания под арестом, но вам это не под силу; давая мне тетрадь, вы шли на риск, так же как я играю с огнем, воскрешая в памяти тягостные сцены в столь, так сказать, неурочное время. Впрочем, вы сумеете, если, конечно, захотите, разобраться в том, что я сказал, потому что все связано, одно вытекает из другого, даже то, о чем я умалчиваю; белые пятна в моем изложении, существующие не только из-за отсутствия у меня времени, но и по иным, не менее существенным причинам,— даже они проглядывают на этих страницах. Кстати, не обратили ли вы внимания на то, что меня, как и маму, интересовала проблема внутренней энергии, ее наращивания и особенно поддержания на определенном уровне?.. Но это завело бы нас слишком далеко, а вы ведь знаете, у меня нет времени. Если бы

оно у меня было, я бы спросил себя, не похож ли я в чем-то на своих родителей; до сих пор я был убежден в обратном. Когда я это пишу, я думаю об отношениях Карлы-Шарлоты с ее отцом, этим темным стяжателем, чьей смерти так ждут его близкие.

Ее дед, тоже Сотир Асан, не чистый румын (македонского происхождения), разводил овец: целые отары паслись у брэильских болот; насосавшись как пиявка, он вошел в силу, сколотил состояние и завещал все это сыну — Сотиру, неведомо почему оказавшемуся его единственным наследником, несмотря на целый выводок единоутробных братьев и сестер, которые то ли умерли, то ли эмигрировали,— ей-богу, не знаю, можно было бы спросить у мамы, но ситуация уж очень неподходящая, да и не стоит того. Я даже не знаю, как отец Карлы-Шарлоты стал таким богатым, как велико его богатство, не знают этого, видимо, и его дети, и, уж во всяком случае, представители налогового управления. Но самое интересное — его образ жизни, все эти годы неизменный. Он живет на улице Лукач, по ту сторону площади Траян, в двухэтажном доме с небольшим мощеным двором. С незапамятных времен о нем заботится служанка Ана, которая не перестает удивляться, на что старику такой большой дом, когда он живет один-одинешенек. Ест дважды в сутки — Ана подает ему неизменный творог со сметаной, поджаренный хлеб, чай; и так годы и годы!

Может быть, он чем-то болен или просто ему так нравится, неизвестно Просыпается в десять вечера, одевается и ровно в одиннадцать садится за завтрак; он ест один в большой столовой за невероятно длинным столом, где свободно могут уместиться двадцать шесть человек. За столом он, естественно, молчит. Около полуночи к нему в кабинет приходит старший сын, мой дядя, с которым они запираются часов до трех, после чего тот уходит. Тогда появляются какие-то типы, кто они, неизвестно, их визиты не носят регулярного характера, да и сами они часто меняются. В шесть утра он снова идет в столовую, где потребляет все те же, неизменные и вечные, продукты питания, затем направляется в спальню, запирается на ключ и пребывает там весь день, до десяти вечера. Что он там делает один пятнадцать часов в сутки, тоже никто не знает, известно только, что света он никогда не зажигает и шторы на окнах всегда задернуты. Спит, размышляет, считает в потемках свое золото — неизвестно, но раньше положенного часа не выходит; правда, в десять вечера он зажигает керосиновую лампу (хотя в доме есть электричество) и облачается в ту же одежду из черной домотканой шерсти, грубой и жесткой.

Владелец банка, магазинов, отелей, доходных домов и акций, к тому же дающий деньги в рост, он не выходит из дома еще со времен той, другой войны и ведет свои дела при помощи подставных лиц, которые являются к нему по ночам. Правда, один раз в год, в день своего рождения, он принимает всех членов семьи — в столовой, где их ждет двадцать шесть приборов. Гости приходят в десять, в одиннадцать появляется он сам, садится во главе стола, ест свой творог со сметаной, жареный хлеб, пьет чай и молчит. Не произносит ни единого слова. Ана из кожи вон лезет, чтобы угостить обильно и вкусно, но ровно в полночь старик удаляется вместе со своим первенцем в кабинет, там они запираются, предоставляя гостям решать самим, хочется ли им продолжать застолье; но им не хочется.

Не удивительно, что дочь такого человека, выросшая к тому же не дома а в пансионах, которую на лето отправляли к родственникам или соученицам, переняла его манеру держаться, стала холодной, замкнутой, скупой на чувства, слова и движения, что затворяется

время от времени в своей пирамиде, где спит, погружается в медитации, строит планы или что там она делает? Какие-то черты характера являются наследственными, но, перейдя к другому человеку, попав в другие обстоятельства, они видоизменяются, поворачиваются иной, порой неожиданной гранью. Если Сотир был скряга, набивал мошну в потемках, никогда ничему не радовался и его богатство было бесплодным, убогим, что ли, как говорят обычно про нищету, то Карла-Шарлота скупой не была, а ее чересчур осторожное обращение с деньгами, даже при относительном благополучии, в периоды, так сказать, «тучных коров», объяснялось не скаредностью, просто она в любой момент могла оказаться на мели, знала это по опыту — разве не она промотала за границей все свои деньги, ни минуты не задумываясь о последствиях? В остальном она берегла только энергию, экономила каждое слово, каждый жест, приступ гнева казался ей непозволительной роскошью, ее скопидомство пошло по другому пути. Но то, что имеет видимость энергии, на самом деле страх, боязнь остаться без денег или положения, без нужных сил; и пока ты цепляешься за желание сохранить какие-то из этих привилегий — ведь они, казалось бы, призваны тебя защищать,— ты беззащитен перед лицом страха. Так, например, впервые попав в каталажку, я так увлекся поисками алиби, что чуть было не погубил себя, именно потому, что так страстно стремился спасти свою жизнь.

Я гадал, что может знать обо мне полиция, что могут рассказать бывшие приятели, не вступившие в Союз Коммунистической Молодежи, хотя они и разделяли многие наши взгляды; одно я забыл: все мои предположения основывались на уверенности в молчании Томы, взятого вместе с кипой газет «Ромыния либерэ», так что он не мог выкрутиться, спастись, и его, несомненно, жестоко пытали и били; забыл именно потому, что был абсолютно убежден — Тома выстоит, пусть ценой жизни. Я тогда не задумывался над тем, что, собственно, значит — «ценой жизни» или «выстоит», но когда я увидел светловолосого широкоплечего парня в голубой рубахе, разодранной и залитой кровью, с окровавленным лицом, когда я услышал его полное достоинства, яростное: НЕТ, я словно увидел Тому и то, что, вероятно, с ним тогда произошло. С Ликэ было иначе, он заменял мне старшего брата, я перенес на него нерастраченные сыновние чувства, он знал все, был сильный, мог выдержать что угодно, мы не были равны, тогда как мои отрочество и юность прошли бок о бок с Томой, мы одновременно вступили в организацию молодежи, он был таким, как я, а я таким, как он, и естественно, что, увидев его мысленно, с окровавленным лицом, я задал себе вопрос: а как бы я поступил на его месте? Моя уверенность в стойкости Томы была стихийной, почти безотчетной, но если бы волею судеб мы поменялись местами — а это было вполне возможно,— был бы он так же стихийно уверен во мне и, если да, хватило бы у меня сил оправдать его уверенность?

Я знал нескольких коммунистов, они были старше нас, видел я их мельком, случайно, но они мне показались существами бесстрашными, им, вероятно, неведомо чувство холода, голода, усталости, они неуязвимы для боли; конечно, я не мыслил такими силлогизмами, я ощущал это интуитивно, но впечатление было очень сильное, оно передавалось нам даже тогда, когда они молчали; мне казалось бессмысленным сравнивать их стойкость с моей — это было бы все равно как если бы мальчишка вообразил себя таким же сильным, как отец,— но вдруг однажды... Да, так случилось, что вся тяжесть удара пришлась теперь на моего друга, а он должен был непременно выдержать, и это ставило резко и прямо вопрос: как бы вел себя я

в безысходной ситуации? Такая постановка вопроса была, однако, ложной — в этой ситуации немыслимо противопоставлять боли одни общие понятия, как Тома утверждал еще тогда, когда мы только познакомились, необходимо противопоставлять еще и силу чувств: говорить — значит называть имена, а это имена твоих товарищей, и надо сделать все, чтобы они не оказались здесь, чтобы им не пришлось страдать, как страдаешь ты, тем более что они попали бы сюда по твоей вине; своей непреклонностью ты защищаешь от боли и смерти очень конкретных людей, друзей, которых любишь.

Тома жил неподалеку от меня и был сиротой. Его родители погибли, кажется, в каких-то катастрофах, порознь, но вскоре один за другим; точно не знаю, я его не расспрашивал, а сам он никогда не рассказывал. Знаю только, что детям остался двухэтажный домишко, первый этаж сдавали внаем бакалейщику, некоему Баде, его-то дочь и проявила тогда столь недюжинное рвение, помогая полицейским установить наши адреса, она не поленилась объехать с ними все дома, где, как ей было известно, мы живем, чтобы те, бедняги, не дай бог, без нее не заблудились. Возможно, на деньги от жильцов сироты могли бы жить безбедно, если бы их не осталось четверо, два мальчика и две девочки, из которых Тома был самым младшим. Старшей к тому времени, как я с ней познакомился, было двадцать три, она была замужем; существо крайне уравновешенное, изъяснявшееся преимущественно пословицами и поговорками, словно умудренная жизнью старушка, она, как всякая поклонница античной мудрости, имела своим девизом: nil mirari, nil admirari[1]. Есть люди, которым с колыбели известно все, и даже больше, они так и рождаются — в одной руке весы, в другой сова, и, глядя на нее, невольно хотелось воскликнуть: ну и ну!.. наградил же господь бог! Старший — надо ведь, забыл, как его зовут,— такой видный, статный, сделался офицером: то ли у него не было денег на учебу, то ли тяги к знаниям, он все больше помалкивал, был аккуратным, подтянутым, в казарме ему нравилось — там не ошибешься, кто старший, кто младший, кому подчиняться, над кем командовать, что делать сегодня, а что завтра, что можно, а чего нельзя, все ясно, незачем ломать голову. Войну проводил здесь, в Бухаресте, работал в каком-то военном ведомстве и очень сокрушался по поводу того, что младший брат его компрометирует, ему было невдомек, что вскорости это будет способствовать его продвижению по службе. Неплохой, в сущности, парень, немного вялый и сонный, он почему-то решил, что поскольку младший брат имеет как бы более низкий чин, то сам он, будучи как бы рангом выше, должен по-военному дрессировать меньшего, но тот, на беду, упорно этой муштре не поддавался. Средняя сестра ничем примечательна не была.

Чтобы попасть к Томе, надо было пройти темной подворотней, пересечь крошечный дворик, где никогда не бывало солнца, и по внешней деревянной лестнице, какие строили когда-то, вскарабкаться наверх, на второй этаж. В его каморке стояли кровать, стул и маленький столик; окно выходило на улицу, но в комнате почему-то царил полумрак и пахло сыростью. Тома был жгучий брюнет, высокий, стройный, обычно очень молчаливый, с прекрасными глазами, большими и печальными. В школе некоторыми предметами он наотрез отказывался заниматься, зато по тем, которые его интересовали, проглатывал уйму книг.

И в спорах он безучастно, отчужденно молчал, пока что-нибудь не задевало его за живое, и тогда он загорался, говорил горячо и

[1] Ничему не удивляться, ничем не восхищаться *(лат.)*.

долго. Многие из нас относились к нему с большой теплотой, но он держался замкнуто, отстраненно, решительно отвергал слишком откровенные разговоры, разного рода признания, и хотя все мы были в том возрасте, когда люди склонны исповедоваться в самом сокровенном, ничего о себе не рассказывал; зато попросить его можно было о чем угодно, и он тут же с радостью приходил тебе на помощь. Помню, нас было пятеро, когда мы принимали решение вступить в Союз Коммунистической Молодежи, каждый что-то сказал тому, кто пришел получить наш ответ, только Тома молчал. Пришедший товарищ в недоумении спросил: а... вы? Предварительные переговоры с этим человеком, который ждал теперь ответа, вел я, заверив его в решимости остальных, и было крайне нежелательно, чтобы один из нас передумал, ведь он бы оказался свидетелем того, как остальные дали свое согласие. А... вы? Тома смотрел своими огромными печальными глазами куда-то вдаль. Услышав наконец вопрос, он вздрогнул: ну конечно. Скажите, что надо делать. Мы по горло сыты разговорами. Он слегка картавил, поэтому произнес: газговогами.

Вы мне как-то сказали, доктор, что я фанатик. Это слово я услышал впервые от дяди, слышал потом и от других господ старше пятидесяти; только от своих сверстников я никогда его не слышал, даже от тех, кто придерживается противоположных взглядов. Вы скажете — молодость... нет, не только. Мы выросли в условиях, которые подготовили, создали вы. Я еще ходил в коротких штанишках, правда уже тесноватых, когда вы при встрече обменивались неизменным: ну, так когда же начнется война? Вы, или ваша преступная слабость, обрушили на наши головы это несчастье — железногвардейцев и гитлеровцев. За завтраком мы глотали очередную военную сводку, в обед — сообщение о бомбардировке какого-нибудь города, за ужином—танковую битву. Только и разговоров было, что кто-то убит, кто-то ранен, кто-то попал в плен, от кого-то много месяцев нет вестей с фронта. В такой атмосфере все, буквально все выглядит иначе, ну совершенно иначе, исключительное становится будничным, банальным.

Когда гибнут без счета те, кто обычно в этом возрасте только начинает жить, что же удивительного, если хочется хотя бы знать, во имя чего все это. Тревогу, недоумение несут с собой люди, которые юность провели, между прочим, на фронте, были ранены или валялись в сыпняке; о мертвых что говорить, они молчат, хотя когда-нибудь они вас спросят, те, например, кто убит под Мэрэшешти: как вы смели впустить немцев? Но пока они не воскресли, спросим вас мы: где вы растеряли ваше мужество, когда же вы стали трусами? Я говорю так не потому, что мне нравятся громкие слова, но вы ведь действительно растеряли все мужество, вы стали последними трусами, а если видите, что остались люди, которые не боятся, вы называете их фанатиками. Лучше бы вам погибнуть тогда в траншее, сударь, нежели пережить самого себя. Трус! Трус!

Идеи не существуют вне нас, отдельно от нас, это не вещи, которыми можно попользоваться и бросить, идеи нельзя увидеть, они невидимы, они наш способ видеть мир. Идеи — не просто концепции, но кристаллизация всех наших эмоций, наш способ чувствовать, жить. В противном случае они действительно не более чем манипулируемые абстракции, взаимозаменяемые по принципу своей выгодности или невыгодности для нас, а то и вовсе отчужденные от нашей жизни, такие, какие можно время от времени наблюдать эти, конечно, никак не влияют на наш образ жизни, на наше существование как таковое. По существу, в салоне Карлы-Шарлоты я возненавидел целый класс, определенное общество не только из-за его лицемерия, фальши,

потребительских отношений, жульнических махинаций, пустопорожней, высокопарной болтовни и всего того, что отражает образ мышления буржуазии; но это давно и хорошо известно, описывать здесь излишне, об этом подробно рассказали другие; и хотя пятнадцатилетнего подростка, конечно, не могло не ожесточить то, что он видел и слышал, однако позднее я понял: превращение дружеских отношений в сугубо утилитарные, трансформация идей в предметы потребления и вообще «принцип пользы», положенный в основу жизни, были связаны не только с данным классом, но и с определенным возрастом (почти каждый говорил мне совершенно как шеф Тафлар: я тоже в юности был идеалистом, но жизнь есть жизнь и т. д.); главная же причина презрения молодежи к буржуазии с ее партиями, выборами, комбинациями состоит в том (и это факт), что вы проиграли, потерпели полное фиаско, не помогли ваши жалкие уловки патентованных идиотов.

Для вас фашизм всего лишь досадный инцидент, не-ве-зе-ние, скар-ла-ти-на, вызванная тем, что у немцев объявился сумасшедший, а у нас — кучка сумасбродов, и все уладится, войдет в свою колею, иначе говоря, вернется прежний порядок, но молодежь теперь знает то, что давно понимали коммунисты: фашизм является следствием ваших бесконечных компромиссов, вашего двурушничества и бездарности, и начни вы все сначала, вы придете туда же — то есть сюда,— только на этот раз гораздо более быстро. Никто из молодых больше не верит, что несколько десятков миллионов погибли ради того, чтобы вы могли начать вновь вашу лживую и глупую игру. Никто.

Я пишу быстро, задыхаясь, без передышки, потому что у меня нет времени, пишу как жил — а жил так, потому что у меня не было времени: за четыре года я должен был разобраться в том, что совершили и создали двуногие той породы, к какой принадлежу и я, изучить общество, его законы, определить свое отношение к нему и перейти к действию — и к какому,— попытаться познать самого себя, сформироваться самому и начать формировать других, все это слишком быстро, слишком поспешно, без передышки, и если представить себе, что я прожил бы еще... ну, скажем, тридцать лет, я бы не хотел ослаблять напряжения, и как бы напряженно я жил, если бы эпоха и время не лишили меня теперь этой возможности! Напряжение есть мера времени, оно же — другое название действия. Действие ради действия, риск ради риска — нет; поступки сами по себе — это еще мало, слишком мало, суть в том, чтобы в них заключался смысл больший, нежели собственное «я» (поэтому любители приключений и путешествий обыкновенно снедаемы тоской и под старость — если доживают, пережив самих себя,— становятся скептиками и мизантропами именно потому, что такова была их сущность). По-настоящему мы живем только тем, что превосходит нас самих.

Я не искал действия ради действия и пишу теперь не историю своих похождений; я пытаюсь понять значение пережитого и прожитого в таком напряженном темпе, без передышки. Несомненно, Гамлет годился бы в дедушки Конан Дойлю, однако принц из Эльсинора раздумывал не только над тем, как ему действовать, он размышлял над действием как таковым, его смыслом, почему и оказался гораздо современней, его подход — злободневней, тогда как Дойль всего лишь престарелый сыщик. Я слышу Ликэ: к делу, не отвлекайся от темы. Какова же моя тема? Во всяком случае, следует докончить рассказ о Томе.

Он был молчалив, о себе ничего не говорил, хотя мы были в том возрасте, когда люди любят задавать вопросы и делиться сокровенным, поэтому при всей нашей дружбе о его внутреннем мире мне мало

что известно. Надежный, деятельный, печальный, иногда он впадал в страшную ярость. На его долю выпало много унижений, он был движим чувством собственного достоинства. Революционер из чувства собственного достоинства, как сказал бы писатель моего поколения. Он был убежден в победе коммунизма и не сомневался в том, что неотвратимо погибнет в происходящей борьбе. Он не любил лишних разговоров, ненужных поступков. Вот все, что мне известно. Была ли у него девушка? Наверно. Никто ничего не знал. Вскоре он получил другое задание, но мы продолжали встречаться — за что впоследствии нас подвергли суровой критике. Конечно, мы вообще не говорили никому ничего конкретного, я и здесь опускаю все, что могло бы заинтересовать или просто не было бы известно полиции, все-таки он рассказывал о своем связном, Кришане, человеке, по его словам, жестком, суровом, резком, который категорически запрещал ему любые человеческие, дружеские отношения с товарищами, человеке другого типа, чем Ликэ.

Тома к нему приноровился, восхищался им, а я бы не мог работать с Кришаном, он был мне антипатичен, хотя я знал его только по описаниям Томы, который называл Кришана «Он» и говорил, что нам нужны теперь именно такие люди. Тома слегка картавил, поэтому с восхищением повторял — суговые. Я возражал: допустим, ну, а потом, после?.. Он слегка пожимал плечами и закрывал свои огромные глаза, как бы говоря: не знаю. После... выпутывайтесь сами. Почему, откуда это чувство обреченности, этот заблаговременный отказ от жизни?.. Я возражал: нет. Такой тип отношений нам не нужен. Наша сила в доверии. Тома парировал: и в его противоположности. Откуда ты знаешь, не стал ли я их агентом, не работаю ли на них?.. и смотрел на меня своими огромными глазами (какого цвета были глаза у Томы?). Я отвечал: знаю. Эуджен вздыхал: со своими иметь дело легко. Нам друг о друге все известно. А если это кто-то, кого ты никогда не видел, ничего о нем не знаешь, даже его настоящего имени? Я говорил: чувствуешь. Тома бросал реплику: это все газговогы. И все-таки в Него ты веришь, говорил я. Да, подтверждал Тома, потому что Он никому не вегит. Но это болезнь, говорил я, и заразная; Эуджен, знавший Карлу-Шарлоту, хохотал, от смеха сотрясалось все его маленькое, толстенькое, покрытое легким пушком тело: это скар-ла-ти-на, чу-ма. И мы дружно смеялись. Однажды вечером Кришан принес Томе кипу газет «Ромыния либерэ»: квартира ненадежна, пришлось все оттуда забрать. Пусть полежит до завтра. Завтра вечером я за ними зайду. Тома сказал: хогошо.

Ночью явились полицейские и — прямиком — к газетам. Тому арестовали. Попав на «базу», он узнал: Кришан был арестован днем раньше, следовательно, полицейские доставили его вместе с газетами к Томе и подождали внизу. Так как Кришан вошел к Томе один, он вполне мог с телеграфной краткостью сообщить: меня взяли, когда уйду, сожги газеты, скройся, сообщи остальным, будь осторожен. Ничего этого он не сказал. Может быть, даже под наблюдением Томе удалось бы скрыться или хотя бы уничтожить газеты, вещественную улику, лишавшую его малейшей надежды на спасение. Нам рассказали, как все произошло: Кришана арестовали и привели к Тафлару; он сразу сказал: не бейте меня, я скажу все, что знаю. И он не только сказал, он выдал еще несколько человек, так же как Тому. Ему предстоял ряд встреч, о которых полиция не могла знать; он привел на эти встречи полицейских — так был арестован светловолосый парень в голубой рубахе, который на все вопросы кричал: «нет!» История с Кришаном нас очень взволновала. Некоторые высказались категорически: подлец, провокатор. Слишком простое объяснение.

Провокатором он не был, но подлецом стал, как? Я думаю, вначале он был честен, но его жесткость и подозрительность свидетельствуют о том, что он испытывал страх, старался побороть его и поэтому вел себя очень строго, сурово: все время держал себя в руках, жил под постоянным самоконтролем, боялся других, самого себя, но тормоза его были ненадежными, они отказали при первом же испытании, и он разбился вдребезги. После того что случилось, прежнее поведение Кришана объясняет и его жалкий конец, хотя, если бы я познакомился с ним раньше, он, вероятно, не вызвал бы у меня подозрений. Удивительно, с каким усердием Кришан сделал то, что полицейским не пришло бы и в голову требовать. То, что, поддавшись паническому страху, он принес Томе газеты, еще можно как-то понять, но то, что, оказавшись один на один со своим товарищем, он не шепнул ему тихо: сожги их, меня взяли, это они заставили меня так поступить,— вот это было верхом подлости. Н-да, ему не откажешь в логике: ведь если бы полицейские нагрянули ночью к Томе и не нашли бы там газет, они могли бы догадаться, что Кришан шепнул Томе, в чем дело, и заподозрили бы его в неискренности, а страх Кришана был так велик, что... Разве есть что-нибудь общее между идеями и телесными муками? А вот ведь есть, животный страх Кришана бросил в застенок нескольких юношей и двух девушек, которых пытали, всех, потому что ему, Кришану, было страшно. Этот бесцветный тип с мутными глазами, почти слепой, был трагической и негативной проверкой солидарности. Он был искателем приключений. Поразительный поступок Кришана имел неожиданные последствия: когда меня выпустили, я сам сделался более подозрительным, чем раньше, во всяком случае, стал осторожнее с людьми, подозрительным почти незаметно для себя, потому что Кришан был не мальчишка вроде меня, Томы или Эуджена, у которых опыт невелик, он был из разряда таких, как Ликэ, людей испытанных, зрелых, к тому же, как говорят, он уже однажды попадал в эту мясорубку и вел себя тогда достойно.

Не знаю, что там обрушилось в его физиологии, мне некогда заглядывать в эту бездну, но, кажется, его трусость потрясла Тому, твердого и чистого, как кристалл, другого слова не подберу, ведь он восхищался Кришаном, поэтому потрясение было, вероятно, велико, так велико, что мне и представить себе трудно. Судили Тому не они, а мы, и я его защищал: Тому чудовищно пытали, и он никого не выдал, но у них были улики, они бы продолжали его пытать, во всяком случае, никакой надежды на спасение у него не было, так что полный решимости никого не выдавать, он выбросился из окна и разбился насмерть: это не было актом трусости. Но другие рассудили иначе: самоубийство — бегство, свидетельство того, что силы его на исходе. Конечно, я понимаю, мы не клуб филантропов, а партия в действии, и тот, кто гибнет, должен знать, что остающийся после него образ ему не принадлежит, он призван вдохновлять остальных, призван показать, что выстоять можно, что человек в состоянии выдержать все, что поведение коммуниста в подобных условиях не только его личное дело, оно становится силой, которая передается другим — или не передается. Эта объективизация — предельна; видеть себя в страшный час так, как тебя видят другие, вести себя в соответствии с отчужденным от тебя ярким и мощным образом.

И так оно и обстоит: «нет», которое выкрикивал белокурый парень в голубой рубахе, меня отрезвило, дало мне силы, показало мне, что это действительно возможно. Но, как ни странно, поведение Кришана тоже сделало нас более сильными: оно вызвало такое отвращение, что мы выдержали все, только бы не походить на него. Я не приемлю самоубийства ни при каких обстоятельствах, и если бы вы

дали мне веревку, я бы не воспользовался ею, это дело, то есть убийство, я предоставляю вам, я не облегчу вам усилия и грядущие последствия, так и знайте. Тому же я защищал, потому что он действовал не из страха, в этом я убежден,— и потом, он выдержал все, да, все, вел себя безупречно в полном смысле этого слова, но почувствовал, вероятно, что его тело может не выдержать, он был сильно покалечен, так говорили те, кто его видел. Он крикнул своим палачам: вы не знаете, идиоты, зачем меня мучаете, я же знаю, за что гибну. Сколько людей, на скольких языках выкрикивают эти же патетические слова во мраке ночи картезианской Европы...

Его нашли на мостовой мертвого, он разбился страшно, но те, кто видел его раньше, утверждали, что он и тогда был искалечен, еле держался на ногах. Но не был устрашен или напуган: он был в ярости. Правда, и я, и несколько других его товарищей знали, каким он был сильным, стойким, ну, а если бы другие, те, кто не был с ним знаком лично, захотели бы последовать его примеру? Надо сказать, не захотел никто, может быть, еще и потому, что его поступок был подвергнут основательному и суровому обсуждению во всех ячейках молодежной организации. Так или иначе его самоубийство вышло полиции боком, по всему городу распространился слух, что они забили насмерть студента, а тело выбросили в окно (я и сейчас убежден, что так и было на самом деле), во всяком случае, нас, его товарищей, выпустили, следствие было прекращено, чего никто из нас не ожидал. Вероятно, у них не было фактов. Впрочем, выпуская кого-нибудь на свободу, они по существу ничего не теряли: каждый такой человек становился потенциальной добычей, продолжая охоту, они могли напасть на след зверя покрупнее.

Это была генеральная репетиция, она мне очень пригодилась в том тяжелом испытании, какое выпало на мою долю позже; без нее кто знает?.. Смерть Томы сделала меня сильнее, то же можно сказать и о Матее, Эуджене и об остальных знавших Тому,— не надо стараться запугать людей, от этого они становятся только сильнее. Считать, что все герои или трусы,— одинаково наивно. Смелость — я не говорю о некоторых людях с врожденной склонностью или талантом,— ее надо выращивать, заботиться о ней, укреплять ее, это не дар, который ты получил один раз на всю жизнь, это качество можно потерять именно потому, что ты убежден — оно у тебя есть, ты на этот счет совершенно спокоен, тебе не надо его проверять, закаливать, ты как чемпион, который перестал тренироваться. Может быть, Кришан вышел из первого испытания слишком самоуверенным, убежденным в своей железной выдержке и забыл о необходимости тренировать свою смелость, поэтому второе испытание застигло его врасплох, в нем уже не осталось мужества, он оказался подлецом.

Много юношей и девушек, с блеском окончив провинциальную гимназию, пребывают в убеждении, что ума и культуры у них теперь более чем достаточно, и перестают расти, проникаются чувством собственной непогрешимости, становятся надутыми и невежественными, их обгоняют другие, порой менее талантливые, но зато более упорные. Каждый спортсмен знает, что без тренировки он теряет форму, не тянет, к сожалению, об этом слишком легко забывают, когда речь идет не о физических силах, а о моральных, интеллектуальных; и вот честный, уважаемый кассир бежит, ко всеобщему удивлению, со всеми деньгами, когда ему уже стукнуло пятьдесят. В каком-то смысле история Кришана пошла мне на пользу, вызвав во мне отвращение и побудив быть более внимательным к себе самому. Энтузиазм молодости прекрасен, но ему следует придать необходимую прочность, именно это так заботливо и делал в отношении нас Ликэ, без

жесткости, подозрительности, но с полной ответственностью, терпеливо и неустанно. Очень многие уже прошли сквозь испытания, казалось бы немыслимые, значит, помимо врожденных, заложенных в человеке качеств действительно существует школа жизни, школа мужества, активной солидарности — партия,— которая ставит своей задачей не только изменить общество, но тем самым и человека, главное, человека. Правда, когда я спросил у Ликэ: а ты когда-нибудь боялся? Он посмотрел на меня удивленно: боялся? Чего? Я сказал: ну... всего, что может с нами случиться. Он пожал плечами: страх несовместим... видишь ли, какое дело... с ситуацией, в которой я нахожусь. И, немного подумав: к тому же я его презираю. Правда, когда Василе уводили на процесс, вместе с другими товарищами (за него мы особенно боялись, так как понимали: ему грозит очень суровая кара), так вот, когда его уводили и мы всячески хотели его ободрить, он, сохраняя всегдашний невозмутимый вид, пожал плечами: это их дело, свое я стараюсь делать как следует. До его трагической ясности и простоты я не дорос. Хорошо хоть, что я знаю, есть люди, способные сохранять естественность, спокойствие в самые страшные минуты жизни.

Как все перепуталось. Тома в состоянии ярости совершает прыжок в небытие (уверен, он был в ярости) и тем самым утверждает жизнь, право других продолжать жизнь, чтобы одержать победу, тогда как Кришан, жаждавший выжить любой ценой, не только разбил жизни другим, но погубил прежде всего свою собственную, превратив ее в нечто мерзкое и грязное, не нужное никому. Когда те, для кого существует только собственное «я», попадают в опасность, им кажется, что наступил конец света и они, одинокие и полные ужаса, остаются один на один с неизбежностью; те же, кто обрел в своей жизни смысл, выходящий далеко за пределы их собственного «я», стремятся спасти прежде всего этот смысл, который — именно он — переживет их самих, будет жить дальше; когда ты видишь, как пытают таких людей, слышишь, как они кричат от боли, но знаешь, что при этом они продолжают быть одержимы одной мыслью — что скажут остальные, что скажут их товарищи об их поведении, и одержимы этим в гораздо большей мере, чем страхом за свою судьбу, страхом перед нечеловеческой болью,— ты отдаешь себе отчет в невероятной силе, какой может обладать идея, побеждающая смерть и мучения.

Однажды мы сидели у Томы в комнате вечером, не зажигая света, и говорили о времени, которое наступит после войны. Он сказал сурово: я до этого не доживу. Никто ему не возразил. Конечно, это не была интуиция, смерть в Европе стала явлением довольно банальным, она не щадит молодежь — как раз наоборот,— поэтому ни один из нас не придал значения его сильной и горькой фразе; но когда он так страшно, я бы сказал, так демонстративно кончил свою жизнь, я задался вопросом: не слишком ли он приучил себя к этой мысли, не приблизил ли он сознательно и целеустремленно свое исчезновение, свою гибель, так что в какой-то особенно трудный момент, сделав выбор между болью и смертью, последовал по пути, который ему показался если не наиболее легким, то, по крайней мере, неизбежным? И я, расставшись с той девушкой у Раду-Водэ,— не пошел ли и я тем же путем тотального отказа? Иногда смерть кажется самым легким решением. Но я хочу, наконец, выйти из этого темного подвала, где мучают и убивают, хочу сделать глоток чистого воздуха, забыться и попытаюсь вернуться вновь на тот берег, откуда бежал.

Я хотел бы все-таки остановиться на судьбе Муци, она тоже повлияла на меня определенным образом (помнится, я утверждал прямо

противоположное). Когда Муци обосновался у Карлы-Шарлоты, он был моложе ее, и, что хуже всего, разница лет была чертовски видна. Он — очень рослый, но какой-то ребячливый и от этого, вероятно, казавшийся еще моложе. А Карла-Шарлота, несмотря на свою статность, выглядела, напротив, гораздо старше своих лет; чопорность и надменность ее отнюдь не красили, лицо было в морщинах, не помогали чудодейственные кремы, и кожа — не знаю, чем это объяснить,— желтая, пергаментная, как у стариков, быть может, признак какой-то скрытой болезни, да, кожа особенно старила ее. В последние годы она обыкновенно принимала визитеров лежа на диване, днем — подальше от окна, а вечером — при ночнике, свет падал при этом только на ее распростертое тело, голова же оставалась в тени: из-ви-ни-те, у ме-ня ужас-на-я миг-рень; гостя она сажала как можно дальше от себя, за маленький столик. В таком виде, без головы, она выглядела еще довольно молодой женщиной; только, к сожалению, эти штучки в отношениях с Муци не годились, а как уж она там выкручивалась, это касалось ее одной.

О нем говорили только в почтительном тоне: сын генерала, крупного помещика, получил образование за границей — и тому подобные вещи,— это мнение вроде бы подтверждалось и тем, как он повел себя в дальнейшем, во всяком случае, позже оно ему очень пригодилось. На самом деле он пришел к ней гол как сокол, имел две рубашки — одна на нем, другая в стирке — и одни-единственные клетчатые брюки, довольно поношенные. Так-то. Генерал оказался полковником в отставке, поместье — три гектара виноградника с покосившейся изгородью. Это относительно генеральства и землевладения. Что же касается заграницы, то он действительно там побывал, вот только неизвестно, каким наукам обучался, известно одно: никакого учебного заведения Муци не окончил. В остальном — красавец мужчина, очень высокий, сильный, с головой греческой статуи, кудрявый, особенно хороши были светло-фиолетовые глаза, порой жесткие, порой мутные, иногда они делались желто-зелеными, как море в грозу. Да, представительности ему было не занимать. Карла-Шарлота отличалась недурным вкусом, к тому же она угадывала в нем безд-ну сил, которые надо было пустить в дело, и в этом смысле Муци превзошел все ожидания.

Он был честолюбив, его распирали неудовлетворенные желания, но не было ни денег, ни связей, ни нужной выучки, салон Карлы-Шарлоты мог вывести его в свет и вывел, да еще как. Ему ужасно нравилось жить в полную силу, он все время был голоден, мог взболтать омлет из десяти яиц и один жадно съесть, уже плотно пообедав, вдруг начинал все сначала, с закусок, и не успокаивался, пока не добирался до десерта, пил много пива, иногда по пятнадцать бутылок, спал как ребенок, любил делать все, что ему нравится, а нет, так и то, что приходится. Он обладал каким-то физиологическим оптимизмом, гнал от себя прочь все тревоги и заботы и очень сердился, если к нему приставали с ними. Здоровый парень, с ярко выраженными желаниями, очень примитивный, настойчивый и энергичный в самом узком смысле этого слова, его интересовало только то, что имело прямое к нему отношение. Когда он бывал в особенно хорошем расположении духа, шишечка на конце классического носа у этой греческой статуи слегка краснела и он становился похож на одного жизнелюбивого и общительного персонажа древних мифов. Он ел с огромным аппетитом, а после каждого стакана пива удовлетворенно крякал: до чего ж хорошо! Но он не был однородным, в нем было много чего намешано, иногда он делался ребячливым, безудержно веселым, хохотал с откровенным удовольствием, сотрясаясь всем своим могучим телом, сверкая

прекрасными зубами, так что по-матерински строгий и холодный тон Карлы-Шарлоты был ему только полезен.

Родная же мать была у него довольно дикая и неистовая, воспитывала его круто, пока не осела прочно за своей покосившейся оградой, и тогда стала слать ему грозные письма, в которых желала Карле-Шарлоте сдохнуть под колесами трамвая (и, похоже, проклятая таким образом Паллада признавала подобный взгляд на вещи), а ему, своему сыну, быть повешенным на площади (она особенно настаивала на последнем своем соображении). Муци восхищался матерью, с каждым письмом все больше: нет, ты скажи, вот это женщина! В бога он не верил, зато был суеверным, как моряк, поэтому Карла-Шарлота должна была каждый раз отгонять от него злые чары, что опять-таки их очень сближало; не знаю, признавал ли кто-нибудь всерьез оккультные силы Карлы-Шарлоты, но этот умный и начитанный великан боялся ее колдовских способностей, как говорят французы, до голубого ужаса. Он был примитивным, но неоднородным, в нем сосуществовало несколько разных Муци: трудолюбивый, аккуратный, собранный, сдержанный, расчетливый и хладнокровный в достижении того, что он себе наметил; взгляд жесткий и меткий — ничто тогда не напоминало озорного, ребячливого верзилу, о котором я говорил выше. Был и еще один Муци: грубый, свирепый, одержимый манией величия, способный на любое безрассудство, взгляд его становился в это время безумным, голос хриплым, лающим. Когда на него находил такой стих, он шел на улицу, придирался к чему угодно и затевал драку, почему-то особенно часто с шоферами такси, которых поносил так, что те останавливали машины, вылезали, и начиналась дикая потасовка, после чего он возвращался домой мрачный, растерзанный, весь в синяках, ложился и спал крепким сном, а наутро вставал бодрый и веселый. Если его спрашивали, что это вдруг на него накатило, он смеялся и по-мальчишески наивно отвечал: не знаю, ей-богу, понятия не имею. Со мной иногда случается, наверное, наследственное, от матушки. Может, и так. Но постепенно, со временем, эти приступы повторялись все чаще, продолжались все дольше, уже не разрешались простой потасовкой, он из всего устраивал страшные скандалы.

Так и совмещались в нем по крайней мере три разных существа, и, договорившись с одним, невозможно было столковаться с другим — он не знал, не помнил, как герой Стивенсона, а уж с третьим — холериком — лучше было и не пытаться найти общий язык, а просто по возможности обойти стороной, что я и делал. С Муци веселым, ребячливым и жизнелюбивым Карла-Шарлота держалась по-матерински, как и было должно, хотя со мной никогда себя так не вела. Тому из нескольких Муци, кто хотел делать дело, был собранным, сосредоточенным, Карла-Шарлота умела подсказать, что именно надо делать, где применить силы, умела направить, снабдить практическими рекомендациями, чтобы его одержимость была более трезвой, расчетливой, да он и сам всегда искал ее советов, спрашивал ее мнение по каждому пустяку и очень к ней прислушивался — это был тот самый муж, о котором она всегда мечтала. Что же касается холерика и скандалиста, то либо она давала ему свободу разрядиться, запираясь при этом в свою неприступную пирамиду, либо каким-то образом усмиряла его, она одна и умела это делать, как — неизвестно, но умела. Она понимала, что на этого сильного молодого мужчину нападала блажь, ему бывало необходимо напиться, подраться с кем-нибудь, кого он искал и находил без труда, она пускала его тогда по течению, мутному, весьма мутному течению; но порой его заносило, он готов был откалывать номера и в запретной зоне, ставя под удар отношения, сотканные столь искусно, с таким упорством и терпением, в этих случаях необ-

ходимо было его немедленно остановить, и она останавливала. Они друг с другом ладили прекрасно.

Даже теперь, когда я думаю о Муци, у меня перед глазами встает образ симпатичного, ребячливого, добродушного великана — позже он научился расчетливо пользоваться даром привлекательности, чтобы снискать любовь того, кто ему был нужен, и всегда успешно,— так что мне приходится делать усилие, чтобы вспомнить другие его ипостаси, которые со временем, и весьма скорым временем, стали преобладающими, гнетущими, невыносимыми. Но связь между тремя разнородными сторонами его характера, разумеется, была. Веселый, ребячливый, любитель полакомиться — все это так... Но когда его страсть к лакомым кусочкам оставалась неудовлетворенной, когда он не получал того, чего хотел, веселое настроение улетучивалось, он замыкался в себе, в нем закипало бешенство. Да, жадный и ребячливый... но дети требуют и получают. А Карла-Шарлота не очень-то его баловала, отчасти потому, что у нее и самой было не густо, отчасти из пе-да-го-ги-чес-ких соображений. Она учила его брать самому: что и — особенно — как. Муци очень быстро доказал, что ученик он способный, даже чересчур способный.

Привыкшая к лености Валентина, Карла-Шарлота дрессировала Муци изо всех сил, и тут-то и проявилась ее недальновидность: молодого человека, который заглатывает за один присест омлет из десяти яиц и ради чистого удовольствия затевает драку с совершенно незнакомыми людьми, подгонять не следовало, ему нужны были вожжи, а не кнут, но у нее был свой автоматизм и своя наклонная плоскость, по этой-то плоскости она его и пустила. Чем больше он имел, тем больше ему хотелось: он жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывал, щеголял в золотых браслетах, пристрастился к драгоценным камням не хуже Керы Дудуки[1]. Мальчик делал карьеру, и делал стремительно, что верно, то верно, но если доходы его росли в арифметической прогрессии, то аппетиты — в геометрической, и от этого он становился мрачным и раздражительным. Даже мне, человеку некомпетентному, и то было ясно, что он жил не по средствам, как это иногда случается с политиками в финале их карьеры,— а если заметил я, как же могла не обратить на это внимания такая специалистка, как Карла-Шарлота? Разве не странно? Так вот: она не принимала никаких мер предосторожности, не удерживала его, напротив, продолжала подстегивать.

У Муци была своя теория: хорошо жить в старости? Благодарю покорно, на что мне тогда эти деньги, если я не смогу ни есть, ни пить вволю. Мне их сейчас подавай, а я уж им найду применение. Согласен: деньги. а стало быть, изысканная еда, дорогие напитки, всяческие развлечения (женщины, правда, его не интересовали, и не только из-за Карлы-Шарлоты, он был вообще подозрительно целомудрен) — все это можно понять, но драгоценности?.. Я себе говорил, что он очень неуверен в своем положении. Но я — это я, мало ли что я думал, да я не очень-то и думал о будущем Муци, но куда смотрела его опекунша? Что же, она не понимала, откуда у него появилась такая повадка, блеск, размах? Понимала, конечно, но не вмешивалась, полагая, что как-нибудь он и сам выкрутится или — она учитывала разницу лет — найдет себе женщину помоложе, и тогда они вместе справятся с очевидной финансовой проблемой. Пока же она пользовалась обеспеченным настоящим. Пользовалась? И да и нет. Карла-Шарлота заново обставила свою квартиру (мебель, которую она приобрела, была такая же старая, непрочная, мрачная, но она называла ее

[1] Героння одного из романов Н. Филимона.

«стильной»), одевалась элегантно и дорого, а на «приемах» теперь подавали кое-что посущественнее кофе и варенья. Однако кутил Муци в городе — она с ним выходила редко, у нее были свои железные привычки, она не могла ложиться поздно,— кроме того, он тратил кучу денег на драгоценности, и они принадлежали ему, а не ей, дома же он был экономным, соблюдал режим, так как у него побаливала печень — ничего удивительного,— поэтому или почему-нибудь еще, но только мы продолжали жить довольно скромно.

Я подчеркиваю — мне неизвестно, какие планы строила Карла-Шарлота в связи со странным образом жизни Муци, и говорю это потому, что не могу себе представить, чтобы она не выработала свой собственный план, а просто капитулировала перед его оптимизмом, веселостью, избытком сил и покорно дала себя увлечь неведомо куда. Так или иначе, но непомерные и все растущие аппетиты Муци сильно поубавили ему жизнерадостности, озорства, превратили симпатичного парня с шишечкой на носу в мрачного хама, впадавшего во все более долгие и тяжелые приступы бешенства. Его жизнелюбие — этот поразительный источник энергии — стало причиной затяжных буйств, скажем так: испортило ему характер, разве что его настоящий характер и был с самого начала таким: замкнутым, угрюмым и агрессивным. Честолюбец с большими претензиями, он не хотел считаться ни с кем и ни с чем, был страстно влюблен в собственную персону и ставил ее выше всех ценностей мира, смотрел на жизнь как на скачки, как на игру в рулетку: чтобы выигрывал он, все остальные должны проигрывать. Плохой признак: он стал часто скучать, скучал отчаянно, зевал так, что челюсти трещали и на глазах выступали слезы: у-ах, мальчики, как скучно — и тогда все ему было не так, взгляд делался мутным, блуждающим и свирепым, ему было тошно и ничего не хотелось. Дома с Карлой-Шарлотой он держался, однако, почти как прежде: учтивый, словно офицер после помолвки, или гарцующий, как норовистый жеребчик, и я понимал: она не вела с ним никакой борьбы по главному вопросу — то ли боялась, то ли считала ее безнадежной, то ли у нее был какой-то тайный план.

Своей стремительной, напоминающей о героях бальзаковских романов карьерой он был в значительной степени обязан ей, по крайней мере вначале; но и впоследствии Муци продолжал оставаться ее ревностным учеником. Однако если салон послужил ему хорошим трамплином, то вскоре многие стали приходить к Карле-Шарлоте даже тогда, когда Муци отсутствовал, им хотелось не отстать от моды и совершить паломничество туда, где свершилось чудо. Даже ее собственное отношение к нему менялось, медленно, но очевидно, она стремилась, особенно на людях, оттенить его достоинства, откровенно льстила ему, обращалась с явным почтением — и все это доставляло ему большое удовольствие. Его карьера заслуживает того, чтобы рассказать о ней более подробно, но для этого понадобилось бы привести массу деталей, а у меня нет времени. Вкратце, очень схематично, дело обстояло примерно так.

Безошибочный нюх подсказывал Карле-Шарлоте, что Rex[1] все глубже влезает в межпартийную борьбу, проталкивает в каждый очередной состав правительства своих людей. Позже, когда он установил откровенную диктатуру, многие, спохватившись, кинулись к его дверям, но более прозорливые и ловкие уже были там. Карла-Шарлота поддерживала знакомство с одним господином из придворной клики, у которого тогда еще не было никакого политического веса, но она его все приглашала и приглашала и, наконец, повесила

[1] Король *(лат.)*.

ему на шею Муци, да так, что вышеупомянутое лицо, попав в правительство и заняв там весьма прочные позиции, назначило Муци — не без оснований считая его своим человеком — на должность начальника канцелярии, в зависимости от обстоятельств то незначительную, то почти всемогущую. Я видел эту личность — массивного, меланхолически настроенного господина. Он дышал тяжело и шумно, был всегда исключительно любезен (его индивидуальная манера быть наглым), много слушал и мало говорил. Его вполне устраивал человек молодой, очень энергичный, не связанный с тогдашними политиканами, не состоящий ни в одной из партий; вероятно, он уповал на его преданность. Муци любил говорить: я честный наемник и тому, кто хорошо платит, служу верой и правдой. Когда господин появился у Карлы-Шарлоты, он котировался не очень высоко, лишь единицам было доподлинно известно о его реальных и мистических возможностях — так что потом, когда его начали осаждать новоявленные почитатели, он вспомнил про молодого человека и предпочел его другим, предпочел того, кто раньше заметил его собственную скромную особу. Безошибочный нюх Карлы-Шарлоты — и ее секретная информация.

Этот господин редко наведывался в министерство — то ли считал свое присутствие в другом месте более важным, то ли необходимость решать кучу мелких дел, принимать бесчисленных просителей его утомляла, то ли он был не очень здоров, любил подумать и погрустить в тишине, то ли первое, второе и третье, трудно сказать, но в результате Муци оказался полноправным хозяином министерства, да еще какого. Отпрыск полковника, он умел командовать, ему нравилось — его призванием было — выглядеть энергичным, трудолюбивым, хладнокровным и дальновидным человеком. Так у Муци возникла новая теория: занимая определенную должность, каждый забирает себе столько власти, сколько может и хочет, важна не сама должность, а тот вес, который ты способен ей придать. И разве не к нему обращались другие министры, когда надо было посоветоваться и принять совместное решение, связанное с работой разных ведомств? Так — и не совсем так. Важнейшие решения принимал министр — конечно, после предварительных консультаций с кем следовало,— на долю Муци он оставлял массу нудных мелочей и скопища назойливых посетителей, все многочисленные, надоедливые и неблагодарные хлопоты, на которых можно было нажить себе лишь врагов и кучу неприятностей. Я думаю, высокопоставленное лицо работало так, стремясь утвердить позиции у самого кормила власти; но еще, вероятно, и потому, что, искусный политик, он знал: незначительные мелочи порождают большие скандалы, и при необходимости был готов предотвратить возможные напасти, выведя из игры излишне самонадеянного и неосторожного молодого человека. Он сделал бы это не медля ни секунды, но Муци не давал ему повода, работал умело и четко (несомненно, этому способствовали и практические указания Карлы-Шарлоты).

Конечно, Муци жаждал богатства и власти, но и безотносительно к этому ему нравилось плавать среди акул, сильнейших из сильных, победителей жизни, быть на равных с представителями расы господ, чьи распоряжения выполняются другими с унизительной поспешностью. Те же, кого в борьбе за власть сбили с ног, вызывали у него только презрение, как горемыки-просители, вечные исполнители чужой воли; возбуждение, которое он испытывал от пребывания среди сильнейших, весьма способствовало его возвышению. Я с грустью наблюдал, как за короткий срок успех превратил жизнерадостного, жизнелюбивого великана в угрюмого субъекта, темного и подозрительного, одержимого безмерным, безграничным честолю-

бием. Он любил выкинуть экстравагантный фортель, показать: он не такой, как все, ему все дозволено, и вообще кому нужна такая власть, которой нельзя было бы пусть изредка, но злоупотребить. Помню, как-то раз, когда массивный, учтивый и меланхоличный господин еще был, как считалось, заурядным частным лицом и газеты о нем ничего еще не писали, он рассказывал (дело было сразу после его возвращения из Швеции), что кельнер шведского вагона-ресторана, закончив работу, одевается «совсем как господин», отправляется в театр или ресторан, где садится рядом с депутатом или крупным коммерсантом и т. д.,— невозможно было понять, одобряет он это или нет. Муци прервал его, по-детски надувшись, со слезами на глазах: но почему, как же так? Только избранные должны пользоваться всеми благами, только они могут купаться в роскоши. И потом, пропадает всякая охота пить пиво, если за соседним столиком его пьет кельнер. Зачем, спрашивается, я лезу вон из кожи, если я такой же, как он? Взгляды, вполне созвучные философии Карлы-Шарлоты: иерархия энергий в масштабе космоса, ак-ку-му-ли-ро-ва-ние сверх-чув-ствен-ных сил и все такое прочее.

Избегая посетителей, высокопоставленное лицо не поддерживало тем самым ненужных связей, они «обременяли», но молодому карьеристу они были очень кстати, тем более что он знал от Карлы-Шарлоты: любого можно заставить оказать услугу, не одну, так другую. А кроме того — кажется, это он обнаружил сам,— кто очень в чем-то нуждается, тот готов понести и расходы. Спекуляция на влиянии? Бесспорно. Были и другие источники доходов? А Карла-Шарлота не знала и даже не подозревала? Сомневаюсь. С Муци происходило что-то тревожное. Постепенно он превратился в лунатика, смотрел безумными, невидящими глазами, бормотал неизвестно кому адресованные угрозы. Угрюмый, вспыльчивый, он нервно вздрагивал, словно пугаясь кого-то; даже его красивое, уже слегка обрюзгшее лицо потемнело, стало чужим и каким-то потерянным. Он замкнулся в себе, изредка закатывая пирушки на восточный лад, с мерзкими шутами, и снова впадая в оцепенение.

Но когда главный заправила камарильи дал тягу, удрав туда, где своевременно припрятал золотой запас,— подальше от греха, за моря и океаны,— слуги его величества оказались в большом затруднении. С одной стороны, Муци был лицом слишком незначительным, чтобы подобно своему шефу спрятаться под крылышко наследника, сына Великого Мошенника [1], он не потрудился или не успел выцарапать себе нужного положения при Дворе; но, с другой стороны, был слишком крупной, более того, слишком сильной фигурой, чтобы остаться вовсе незамеченным, вел себя чересчур энергично, во многое вмешивался и, как я думаю, часто выступал в роли дубинки для тех, у кого было побольше скепсиса и политической смекалки и кто сумел, так сказать, позаботиться о своем будущем; так что у Муци были совершенно реальные мотивы — и куда более серьезные, чем у избалованного насмешника Валентина,— опасаться ярости железногвардейцев, знаменитых той легкостью, с какой они разряжали свои пистолеты. Не посчитавшись с латинской пословицей [2], Муци последовал примеру Юпитера и укатил на своем великолепном автомобиле, но и его, и его машину изрешетили неподалеку от границы пули железногвардейцев. Обнаруженные при этом драгоценности присвоили все те же «посланцы судьбы великой». И когда Валентин обратился к Карле-Шарлоте с просьбой спрятать его, она, вероятно, сама боялась репрессий, что до

[1] Имеется в виду Михай I.

[2] Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.

некоторой степени оправдывает ее поведение, хотя, насколько я ее знаю, она не стала бы рисковать ни при каких обстоятельствах, ради кого бы то ни было.

Бегство и смерть сильного, жизнелюбивого великана глубоко потрясли Карлу-Шарлоту, равно как и потеря драгоценностей (которые, впрочем, не принадлежали ей и раньше); но она заперлась в своей пирамиде, испила, как говорится, эту горькую чашу и снова вышла на люди, такая же решительная, сухая и холодная. Единственный случай, когда я ее видел вне себя, произошел при следующих обстоятельствах: кто-то посетил ее по поручению грозного Сотира с требованием вернуть огромную сумму, которую Муци задолжал ростовщику. Карла-Шарлота величественно встала: ка-кое от-но-ше-ние ко мне име-ют дол-ги это-го го-спо-ди-на? «Господин» прозвучало как выстрел. Рассчитывал ли Муци на то, что рано или поздно предстоит получить наследство? Давала ли Карла-Шарлота согласие на этот займ, обреченный на растрату? В этом случае драгоценности перешли бы к ней... А может быть, веселый и жадный повеса просто-напросто обвел вокруг пальца наивного скупца и его застенчивую дочь... В таком случае — а история с драгоценностями свидетельствует о его незаурядной предусмотрительности — похоже, Муци давно задумал свой побег, испорченный преждевременным разворотом событий, был ненасытным и неугомонным авантюристом, старался проникнуть в политическую жизнь, пусть с черного хода, чтобы как можно быстрее сколотить первоначальный капитал — основу будущих, уже действительно крупных махинаций.

В качестве странствующего мошенника он мог бы действовать с гораздо большим размахом, реализовать неуемную страсть к приключениям, насытить свое патологическое честолюбие, превратиться в темного коммивояжера, успешно сбывающего сомнительный товар в вечной погоне за роскошью и магической властью, какие существуют лишь в обольстительных восточных легендах о несметно богатых караванах, мог использовать в этих целях и рекламные конторы, и тайную преисподнюю, где плетутся сети тройного шпионажа, жить жизнью беспечного кондотьера. Но кто может сказать, что было на самом деле? Приходится довольствоваться предположениями. Муци жил на больших оборотах, без оглядки и за каких-нибудь четыре года, прожорливо заглатывая все подряд в стремлении утолить свои ненасытные желания, внезапно потерял все, бежал, но умер под градом пуль, совсем как избалованный, не желавший приспособиться Валентин, так на него во всем непохожий и тоже убитый; как прямой, справедливый Тома, убитый, как и я, как столько других, и все это на фоне танковых сражений, военных сводок, облав, арестов и авиационных налетов, на фоне, без которого эти смерти невозможно даже понять; будущий романист, изображая нашу эпоху, должен пуще всего остерегаться воображения; ему следует отбросить нетипичные детали и дать все предельно сжато.

Я жил быстро, не переводя дыхания, вся, так сказать, сознательная моя жизнь промчалась за каких-нибудь четыре года, но зато в каком напряжении! В семье я был никому не нужен. Карла-Шарлота, по характеру равнодушная и холодная, тяготилась нежеланным существом, чье пребывание в ее доме стало к тому же обременительным, и сумела отделаться от него быстро и беспощадно: Валентин сначала игнорировал меня, а потом бросил, и я увидел его много позже, когда кинулся к нему за помощью, а ему захотелось, чтобы я баловал его, относился по-сыновнему, ласково, отдал ему свою роль трудного подростка, переживающего кризисный возраст. Угрюмый, почти мифический дед; один дядя — вечно занятый какими-то аферами, дру-

гой — робкий эрудит, пожиратель абстрактных знаний, для меня не было места в их жизни.

Но верно и то, что холодность и сухость тех, кто был призван меня любить, избавили меня от излишнего идолопоклонства, культа тотемов и всяческих табу, и поскольку никто не давал себе труда за меня подумать, я был вынужден думать сам, раньше и гораздо быстрее, чем обычно это бывает. Из чего состояла моя короткая, напряженная жизнь — сказать трудно, по крайней мере вот так, с ходу. Утром надо было идти в гимназию, а позже в университет — нельзя сказать, чтобы я делал это регулярно.

Затем конспиративные встречи на улицах, сходки по квартирам, вечерами распространение листовок — операции, в которых последнее время я не имел права участвовать из-за специальной работы (и все-таки, нарушая запрет, совершая ошибку и сознавая это, я не мог удержаться, мне это нравилось, и было невозможно не разделить риск, которому подвергали себя те, кого посылал я сам), потом дискуссии, о которых я уже упоминал,— они преследовали очень важную цель и поэтому были лаконичны, драматичны, чрезвычайно серьезны. Надо было не только найти нужные аргументы, убедить человека, получить от него согласие на конкретное дело со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями, но и узнать его самого глубоко, глубже, чем он знал себя сам, чтобы предугадать его возможную реакцию на опасность. Каждый из ребят был хорошо подготовлен, начитан, у каждого была своя сфера интересов, в которой он был особенно силен, и он старался поэтому свести беседу именно к этим, известным ему проблемам, а ты должен был знать столько же, сколько он, сколько все они вместе взятые, и вопрос этот заключался не в самолюбии, а в необходимости их убедить, ведь никто не даст себя убедить невежде, особенно когда убеждения подлежат проверке на практике и могут иметь весьма серьезные последствия. Очень часто так оно и было, и каждый хотел знать, причем совершенно точно, какую ответственность он на себя принял, так что боролся изо всех сил, чтобы не дать себя убедить, хотя с самого начала в глубине души ему именно этого и хотелось; но чем ближе подходил час испытаний, тем изобретательнее становился страх, или честность, или то и другое вместе, тем упорнее были их усилия испытать мою аргументацию на прочность; я это знал, я и сам так делал, защищая когда-то «независимость мышления»,— словом, я должен был знать много и обо всем, поэтому утренние часы, а частенько и ночи проводил за чтением, читал не переводя дыхания, предельно внимательно. Я спал с часами на руке, жил с часами на руке, предельно напряженно.

Марксистские книги, очень редкие, передавались из рук в руки с большими предосторожностями и подлежали скорому возврату: я получал насыщенный идеями объемистый том, прочесть его следовало за два дня, заметки делать не разрешалось (это был бы компрометирующий материал), надо было все правильно понять, запомнить идеи, аргументы (мои боеприпасы!) — так что я читал не переводя дыхания, с повышенным вниманием, максимальным напряжением, со страстью. Чтение всегда было радостью, но оно стало и необходимостью, помогало мне при подготовке к дискуссиям, приносило пользу борьбе, в которой необходимо было одержать победу, быструю и безусловную. Я жил под знаком неумолимого «надо».

Я должен был формировать других, хотя собственное мое формирование еще далеко не закончилось, ведь это было в семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет. Я выкручивался как мог, вначале мне особенно нелегко было вписаться в реальность; еще полный со-

вершенно безотчетного пафоса, я изо всех сил старался разрешить проблемы, далеко выходившие за рамки моего возраста, воспитания и особенно характера, главным образом созерцательного и еще очень неопределенного. Я не был создан человеком действия; еще того менее — героем, об этом вообще не могло быть и речи, но история обрушилась на человечество, тупой подлый фашизм поставил нас под угрозу гибели, времени на созерцание не было. Мне было бы стыдно оставаться в стороне, нет ничего хуже, чем презрение к самому себе. Отдав все, что у меня было, все абсолютно, взамен я приобрел солидарность в действии, рядом с которой любое другое чувство кажется вялым и слабым, получил то самое напряжение, которое делает жизнь полной. Что еще может хотеть человек?

Вы спросили, доктор, сегодня утром — ибо для вас, имеющего часы, существует утро, и вечер, и ночь,— как я переношу одиночество, изоляцию, ведь сами-то вы одиноки, боитесь одиночества, вам не понять, как я живу, не понять и того, что я не один, со мною рядом столько друзей, я могу позвать любого из тех, чьего имени я здесь не назвал, и он явится в бесконечное настоящее, в котором я живу, я, у кого нет часов; имя этому настоящему — вечность. Я не зову кого-то одного, никому не оказываю предпочтения, я стремлюсь воссоздать атмосферу, особый климат открытой миру напряженной человечности. Город для меня под запретом, я никогда больше не буду ходить по его улицам, никогда их больше не увижу — в этом я не сомневаюсь,— и тем не менее улицы, сам город принадлежат мне, я могу идти куда хочу, медленно или быстро, жить его жизнью, когда и сколько угодно, ваши стены и стража бессильны мне помешать, потому что если человек — мера всех вещей, то кто знает меру самого человека? И если у тебя есть часы, разве ты в состоянии лучше меня изведать вкус минуты?

Я шел по улице Арк, потом снова повернул на проспект, возвратиться назад нельзя, нельзя пройти еще раз по той же улице в обратном направлении, в моем распоряжении пять минут, хронометрически точно пять, а я не имею права останавливаться и ждать, надо идти обычным шагом. Елена, конечно, еще не появилась, но мне было нужно, просто необходимо, чтобы она появилась; рядом гулко пульсировала уличная артерия, мчались трамваи, автобусы, автомобили. Елены нигде не было видно, но она должна была появиться, я решил выиграть одну минуту. Елена, высокая, красивая девушка, была чрезвычайно пунктуальной, она должна была появиться, а я обязан был выиграть одну минуту. Она пришла, мы поздоровались, я поцеловал ей руку — так нам рекомендовали,— она оставила в моей ладони малюсенький комочек — микроскопические буквы на папиросной бумаге,— рассмеялась: в случае чего проглотишь — да, конечно,— и мы расстались, каждый пошел своей дорогой, я ее больше не видел и никогда не узнаю, почему она опоздала на одну минуту.

Медленно иду по набережной, прохожу мимо моста Леметра, смотрю на часы, сворачиваю на длинную и очень оживленную улицу Лынэрие, у меня прекрасное настроение: сейчас я увижу Санду, мне хочется о многом его расспросить, я люблю с ним беседовать: маленький, темноволосый, на вопросы отвечает стремительно, с блеском, он остроумен и ироничен, у него ясный ум. Нам предстоит интересный, приятный вечер. Быстро шагаю в потоке людей, пахнет краской, соленой рыбой, смотрю на часы, мне весело, а вот и Санду с сигаретой в зубах — Санду, который не курит! — подходит ко мне: разрешите прикурить. Он знает, спички у меня всегда при себе. Достаю коробок, чиркаю, с третьего раза зажигаю, он наклоняется и шепотом: старика взяли. Отмени встречи, собрания. Надолго?.. Санду уже прикурил,

прощальный кивок: благодарю. И он уходит, исчезает в толпе. Смотрю на часы, пожимаю плечами, вкус времени утрачен, час стал вязким, тягучим, в нем уже нет никакого смысла. Старик — это сапожник, у него стоял заваленный колодками для обуви печатный станок. Иду дальше, город вдруг обезлюдел, что с собой делать — неизвестно, сам себе кажусь ненужным, бесполезным. Вечером пытаюсь читать, буквы пляшут, не складываются в слова. Да, я жил жизнью каждой улицы, и они жили во мне, с каждой связано какое-то событие, воспоминание, каждая вызывает в памяти того или иного человека.

Между улицей Липскань и базарной площадью — кривые, узкие, запутанные переулки, лепятся друг к другу маленькие магазины, машинам негде приткнуться, у церкви святого Илие меня ждет... да, да, вот именно, меня ждет Илие, фотограф, жизнерадостный и светловолосый, всегда веселый. Когда бы мы ни встретились, он все смеется: передние зубы выбиты, один начисто, другой сломан. В свободное время рисует. Илие протягивает мне книгу: Виктор Гюго «Возмездие» — и смеется: почитай, занятно. В книге фотографии шпиков. Илие снимал их на собачьей свадьбе одного из них и страшно горд. Разглядываю идиотские рожи: все скалят зубы. Так сказать, палачи в интимном кругу. Делаю попытку их понять — пустое занятие. Это понять невозможно. Да и не нужно.

Вот я на улице Моисе Никоарэ, высоко, на шестом этаже. Из окна виден весь квартал, одноэтажные, изредка двухэтажные дома. Я стою у окна (в какой тюрьме теперь маленький Эуджен?) и смотрю на город: ночь, не светится ни одно окно. Мы ждем Василе, чтобы начать заседание ячейки. Все четверо, в темноте, молчим. В окно видны пожары — бушующее пламя разгулявшейся реакции, очередной взрыв варварства. Где-то бесстрастно тарахтит пулемет, замирает, и снова равнодушный, отрывистый лай, только оттеняющий тишину ночи, как это бывает, когда воет одичавший бездомный пес. Проходя по площади, я слышал гул немецких танков, они разъезжают по городу, соблюдая, так сказать, безразличный нейтралитет. В гитлеровских грузовиках, в обмундировании цвета саранчи, солдаты гавкают марш во славу Вотана [1]. Где-то хлопают одиночные выстрелы. Аптека на улице Табаку, окна и дверь выбиты; белые банки с латинскими надписями, стройными рядами расставленные по полкам, методически расстреляны, одна за одной, и распространяют всевозможные запахи: резкий, тяжелый, жирный, едкий, острый, и вся эта причудливая смесь затопила маленькую площадь. Дальше, в районе площади Траян, по улицам ползет густой, тошнотворно-приторный запах, заливает дворы, струится по пологим крышам — это горит кондитерская фабрика Сушард, в запуганном насмерть квартале нестерпимо воняет шоколадом.

Чуть дальше, на улице доктора Епуряну, бакалея, такая махонькая что я ее раньше никогда не замечал; дверь сорвана, и пустой проем зияет мертвой разверстой пастью. Ровным пламенем горит выходящий на улицу дровяной склад; в стороне, на мостовой, в луже крови — старик и старушка, тела накрыты газетами. На пожар молча смотрят какие-то личности, огонь отбрасывает их густые прыгающие тени на стену дома напротив. Кто они? Соседи? Прохожие? Погромщики? Над трупами стариков, накрытых листами газет, застыла тишина, город в ледяном оцепенении, исчезли трамваи, автобусы, автомобили, пешеходы, лишь редкие тени мелькают на стенах домов, они спешат, торопятся, куда? Снова пулеметная очередь. Какой-то человек с расширившимися от ужаса глазами шепотом спрашивает: кто стреляет? В кого? Пожимаю плечами. У пожарной каланчи на улице Зече-

[1] В древнегерманской мифологии бог войны и победы, властитель неба и земли.

Месе я видел окоченевшие трупы солдат, они лежали лицом вниз, в тех позах, в которых вели огонь; но оружия при них уже не было. Кто-то пробирается мне навстречу, тесно прижимаясь к стене: горит в районе Попа Нан. Пожимаю плечами. Всюду, где я проходил, полыхали пожары. Всюду пальба, смерть. Поворачиваю направо: дома, заваленные молчанием, как снегом.

И снова пулемет. Совсем короткая очередь. Я смотрю в окно на пожары, только пожары и светятся в городе, придавленном могильной плитой молчания. Что-то он опаздывает, бросает Тома. Все мы думаем о Василе, который где-то по ту сторону Гранда. Смотрю на часы. Эуджен решительно заявляет: он придет. Внезапно мы слышим далекий грохот, тяжелый гул, ровный, глухой. Мы напряженно молчим. Гул нарастает, упорный, монотонный. Танки, говорит Матей. Чьи, вопрошает мысленно каждый, но догадаться невозможно — пока невозможно. Для нас все едино, говорит Эуджен. Глупости какие, подскакивает Матей, эти сначала расстреливают тебя на улице, а потом спрашивают документы. Да уж, доносится издали голос Томы, впредь нас будут расстреливать по всей форме, процедура будет соблюдаться неукоснительно. Нарастающий, неотвязный гул. В город входят танки. Чьи? Снова стрекочет пулемет: одиноко, бесстрастно, в городе, занесенном молчанием, как снегом. На лестнице слышатся тяжелые шаги, медленная поступь усталого мужчины.

Василе входит в дверь, бросает иронично, устало: что это вы сидите, как филины? Вспыхивает резкий свет, мы жмуримся, трем глаза. Настоящие конспираторы, затаились в потемках, смеется он, снимая пальто. Явно очень утомленный, опускается на стул. Ну, как там в городе? — спрашиваю я, и в этом «как» десятки других вопросов, из которых главный: в чьих руках город? Ничего, невозмутимо отвечает он, заметно потеплело. Мы возмущены его уклончивостью. Освети нам текущий момент, требует Матей, растянувшись на диване, со всеми подушками под головой. Обычно это был третий пункт повестки дня. Василе широко зевает. Что еще за момент, удивляется он. Эуджен поясняет: солдаты сидели в казармах, по заводам и учреждениям, а бандиты вышли на улицу, наводнили город, подняли шум, громили и поджигали дома, убивали мирных граждан. Теперь войска выведены из казарм и... вот и все, точка. А как же немцы, неужели отступились от своих железногвардейцев? — хочет знать Матей... Вопросы сыплются со всех сторон. Мы слишком долго молчали. Василе смеется: погодите, ребятки, вы меня совсем оглушили. Матей отчеканивает: эти хулиганы политически несостоятельны, абсолютно несостоятельны. Никому они не нужны, ни мелкой буржуазии, ни крупному капиталу, ни Гитлеру. В политическом плане они нуль, круглый нуль. Высокий черноволосый человек, сильный, красивый, спокойно потягивается и снова смеется: я вижу, вы и без меня все знаете. Мы возмущены, требуем подробностей, анализа обстановки. Его спокойствие раздражает нас. А спустя какое-то время мы узнаем, что он не спал трое суток — участвовал в работе отрядов самообороны, спасал жизни других, рискуя собственной.

Он все делал спокойно, не натужно, с задумчивой неторопливостью, как что-то будничное, привычное. Его незабываемый смех... На смуглом лице ярко белели зубы. В глазах светилось понимание, мягкое дружеское подтрунивание. Он смеялся беззвучно, никогда не жестикулировал. В его смехе была нота грусти, от него веяло тихой печалью — так бывает, когда кто-то возвращается очень издалека, например, из будущего. Ну, так что же вам удалось за этот месяц, как дела с пропагандой? И смотрел на нас так, как будто ждал чего-то очень забавного. Мы были вне себя от негодования: в разгар совер-

шенно чрезвычайных событий говорить о пропагандистской работе! Да разве об этом надо сейчас думать? Довольно близко пролаяли два пулемета. Кто стреляет? В кого? И только позже я понял его манеру держаться: партийный механизм должен работать безотказно, любое отклонение влечет за собой большие жертвы, он должен работать без перебоев даже в исключительных обстоятельствах и именно в это время особенно четко. Василе кинул на нас внимательный взгляд, безошибочно оценил, что происходит в наших еще слишком юных душах, и, прежде чем перейти к анализу пропагандистской работы, которую необходимо вести и в обстоятельствах чрезвычайных, сказал нам мягко, но серьезно: знаете, мальчики, в любом случае нам будет трудно.

Когда я в первый раз попал на «базу», шло предварительное следствие... Камера в подвале, тесная, душная, нас шестеро, семеро, наконец, восемь человек, воздуха нет, мы задыхаемся. Одних уводят, других приводят. Двух, одна над другой расположенных коек, конечно, не хватало. Я запихал носки в ботинки, ботинки сунул под голову вместо подушки, спал прямо на цементном полу. Рядом Василе, руки за голову, словно лежит деревенский парень в поле, на зеленой траве. Я чувствовал, он не спит: тебя сильно мучали? Терпимо, ответил он, совершенно тем же тоном, что и обычно. Это трудно? — спросил я. Терпимо. Уже недолго, сказал я, и это тоже пройдет. Он спокойно, задумчиво прошептал: нам в любом случае придется трудно. Ты говоришь о... тюрьме? Он пожал плечами: не только. И после — тоже. Придется трудно, как эхо повторил я. Он улыбнулся.

Говорили, что его собираются осудить на смертную казнь, поэтому я слушал его особенно внимательно. Если когда-нибудь, сказал он, тебе будет легко, если все будет идти как бы само по себе, знай: ты ошибся в чем-то очень важном, может быть, в главном. Мы должны быть там, где трудно. А теперь давай отдохнем. Нам ведь это необходимо. Послышались торопливые шаги, железная дверь скрипнула, кто-то крикнул ему из темноты: к господину комиссару, живо, поворачивайся быстрее, быстрее. Василе медленно поднялся: надо же какие нервные... И к охраннику: чего ты суетишься, войну-то вы все равно проиграли. К счастью, он жив и будет жить. Он не был похож ни на кого — спокойный, слегка ироничный, немного грустный, очень терпимый и терпеливый в стремлении во всем разобраться. Словно пришелец из будущего, уже переживший все, чему еще только предстоит случиться, будто он вернулся издалека в это наше настоящее и теперь воспринимает все спокойно, без удивления, без патетических вопросов и восклицаний, невозмутимо идет по пути осознанной необходимости. И все-таки какая-то драма в его жизни, безусловно, была. Любовь к женщине. После этого он стал и более сдержанным, и более сердечным, разве что чуть печальнее. Эта его незабываемая улыбка, освещавшая все лицо, тихая, безмолвная, мягкая, чуть-чуть грустная, улыбка того, кто пришел к нам из будущего.

Мирные времена не порождают чудовищ, но когда нет чудовищ, нет и героев. Теоретически мы знаем, что существует гражданский героизм, будничный и действенный, но нам трудно себе его представить. Мы свыклись с опасностью, напряжением, сверхчеловеческими усилиями, привыкли ко всему исключительному, и подобно тому, как люди мирного времени смотрят фильм о войне и ничего не понимают, так как не могут осознать, что же чувствовали солдаты, когда выскакивали из окопов, иногда на участках в десятки и сотни километров фронта, и под пулеметным огнем, под шквалом осколков и снарядов бежали изо всех сил, но не назад, а вперед; одни падали, другие продолжали бежать туда, откуда извергалась смерть, а зрители в кино

смотрят, ничего не понимая,— так и мы, выросшие в атмосфере войны, перенасыщенные ею, представляем себе очень туманно, очень приблизительно мировосприятие, образ мышления мирного, справедливого общества, во имя которого мы, собственно, и жертвуем собой. Иначе говоря, многие вещи и поступки покажутся совершенно немыслимыми, если их рассматривать в отрыве от нашего времени, с его духом насилия, постоянной опасностью, давящим кошмаром.

Тома, как я уже говорил, отказывался обсуждать это будущее, он считал, что мир—это нечто крайне заурядное, неинтересное; Эуджена вполне удовлетворяла перспектива того, что мы снова станем обычными гражданами. Я так и видел этого монстра эрудиции зарывшимся в толстенные книги, представлял, как он будет делать бесчисленные заметки, писать, выступать с лекциями и докладами. Я говорил: тогда тоже понадобится мужество, другое, не знаю какое, но понадобится. Мужество, вещал Эуджен, назидательно подняв кверху указательный палец, как художественное произведение,—вещь в себе, пока оно не состоялось, невозможно предвидеть, каким оно будет. Во всяком случае, неожиданным, как всякое истинное искусство. Все подлинное непредсказуемо. Мне же никак не удавалось представить себе грядущее. Но теперь, думая о будущности своей страны, я спокоен и оптимистичен; я говорю себе: те, кто смог выстоять в нечеловеческих условиях, смогут решать и человеческие проблемы в условиях мира.

Ликэ, однако, не давал себя втягивать в подобные дискуссии: не приставай ко мне с будущим, парень, давай-ка лучше решим наши конкретные задачи. Видишь ли, какое дело, будущее поставит свои задачи, тоже конкретные, какие, понятия не имею, но решать их надо будет конкретно. А мы, видишь ли, какое дело, будем заниматься партийной работой. О будущем своей страны думали мы все, но только некоторые отказывались об этом говорить. Осталось, конечно, недолго, но кто из нас доберется до того берега? Я повторяю: будущее представляет собой иное психологическое состояние, нам, теперешним, трудно доступное, как тем, кто будет жить в социалистической реальности, невозможно будет понять наше нынешнее мироощущение. Да это и к лучшему, ведь назначение человека не в том, чтобы его травили, истязали, убивали. Им только придется хорошенько подумать, говорил Штефан: как это оказалось возможным. Я же не могу сколько-нибудь конкретно представить себе себя самого, свою собственную повседневную жизнь в этом предполагаемом будущем.

Однако сейчас перед стеной омерзительного цвета, моим отвратительным календарем, когда жить осталось несколько часов или дней и мне суждено стать ничем, пустотой или смутным воспоминанием в душе немногих, я отдаю себе отчет, какими же совершенно особыми были мои отношения с этими чудесными людьми — часто я не знал ни их имен, ни судеб, ни того, почему они вступили в борьбу, как, какие черты характера сумели в себе преодолеть, кем был по своей сокровенной сути каждый, каким станет в мирное время; я знал их так мало... Кто бы из них узнал себя в моих описаниях, таких приблизительных и туманных, в этих моих уравнениях со столькими неизвестными, когда чей-то жест, случайно вырвавшаяся фраза — следствие рассеянности или усталости, служили мне ненадежным ключом к их личностям, вероятно, куда более сложным и противоречивым. Так и представление обо мне, мой образ, который еще какое-то время будет мерцать, постепенно угасая в памяти тех, кто меня знал, сложился, вероятно, тоже под впечатлением каких-то слов, сказанных в минуту раздражения, какой-то резкости и нетерпимости, вызванной далекими от них обстоятельствами, и запечатлелся в сознании того

или иного из моих товарищей, так что я, вероятно, не смог бы узнать самого себя в этих отпечатках.

У нас было так мало времени, чтобы узнать друг друга, мы вышли из тумана и скрылись в тумане, в немногие часы или даже минуты, когда мы были рядом, каждый из нас был слишком напряжен, слишком сосредоточен и занят своим делом, поэтому наше знание друг друга могло быть только отрывочным. Я не оставлю никакого, сколько-нибудь точного представления о себе тем немногим, кто меня знал, я не успел даже стать кем-то, не успел состояться, не успел узнать и других. А может быть, как раз наоборот — то, что было в наших отношениях именно в те часы, даже минуты, когда мы урывками эти отношения поддерживали, и было самым существенным, главным, может быть, именно тогда проявлялось лучшее, что в нас было. Кто знает? Впрочем, у меня складывается впечатление, что я сместил акценты. Напряженность, интенсивность, обостренное внимание — все это так, конечно, иначе и быть не могло; но была еще и уверенность, да, главное — спокойная уверенность, совершенно особая, кто-то назвал ее спокойствием океанских глубин, в ней не было места мучительной тревоге, «больному сознанию», психическим срывам; эта спокойная уверенность могла показаться парадоксальной, ведь никто, в сущности, не задумывался, разве что очень редко, мимолетно, о своем будущем, но она была следствием свободного выбора жизненной позиции, следствием глубочайшей веры в победу социализма, веры, ставшей почти физиологической, происходившей от убеждения в том, что человек способен на полное самоотречение, что он может подчинить свою жизнь высоким идеалам.

Подобное парадоксальное мировосприятие я наблюдал, например, у Марты. Это была миниатюрная живая девушка, с черными до синевы волосами и очень светлой кожей. Серьезная, внимательная, толковая, прямо-таки педантичная в выполнении всех, даже самых мелких поручений, на которые соглашалась немедленно, без всяких колебаний. Так случилось, что я с ней ближе познакомился, когда мы однажды распространяли вместе листовки, и при довольно неблагоприятных обстоятельствах: она понимала, какому риску мы себя подвергаем в случае провала и ареста, но не думала, удастся ей спастись или нет, она просто отмела эти мысли. Она старалась выполнить все правильно, точно, не нарушать правил конспирации, сделать то, что в ее силах, остальное — то есть ее жизнь — как повезет; мелкая служащая, которая Эпиктета [1] не читала и, вероятно, никогда не прочтет.

Но в том, что и как она делала, была еще расторопность напряженной молодости в глазах и в уголках рта пряталась веселая и озорная ирония, она шутила находчиво и остроумно, смеялась легко и открыто Марта, маленькая труженица, которая должна была помогать старикам родителям, еще выкраивала время (как?), чтобы изучать два иностранных языка, слушать симфоническую музыку, перелистывать альбомы живописи, читать: она серьезно готовилась к жизни, к той самой жизни, от которой, если это потребуется, была готова в любой момент отказаться.

Парадокс или шаткое, но безошибочно точное равновесие между самопожертвованием и надеждой, трагическое равновесие, воспринимаемое удивительно просто, так что заложенное в нем величие не воспринималось самим человеком. Нам с Мартой предстояло разбрасывать листовки на улице Лиры. Еще утром, когда я осматривал этот район, улица мне не понравилась — перекрестков там не было, значит, выхода только два, возможности скрыться минимальные. К тому же

[1] Эпиктет (341—270 до н. э.) — выдающийся греческий философ-материалист.

дома выглядели крайне неприветливо: без крикливого великолепия, зато весьма основательно, с воротами на замке; в таких домах буржуа по вечерам сидит как в крепости, все, что происходит за порогом, его совершенно не касается. Всего два многоэтажных дома, и у тех двери запираются рано. Куда кидать листовки? Стены, наглухо закрытые ворота, люди, глухие от самодовольства или страха. И все-таки задание надо было выполнить. К несчастью, на этой улице жил какой-то высокий чин из полиции или даже из «сигуранцы», на темной улице только его двор залит ослепительным светом прожектора, у ворот — как вкопанный — полицейский, еще агент, в штатском, легкой походочкой прогуливается перед фасадом. Прожектор и полицейский — не страшно, а вот агент... Да, агент был явно опасен. Сначала я было решил не искушать судьбу и перейти на другую улицу, но там мы могли столкнуться с нашей же группой, спутать планы, да и сам выбор квартала не был случайным, нельзя же все время действовать только в рабочих районах, где, конечно, это спокойнее и легче.

Во всяком случае, о создавшейся ситуации надо было поставить в известность Марту. Потом, когда мы уже шли на задание, я спросил ее: не влюблена ли она в кого-нибудь, и она ответила по-женски откровенно, что ее любит какой-то парень. Листовки надо было распространить очень быстро, и я ломал себе голову, куда их бросать, чтобы они попали в руки к тем, кому надо: писать и печатать их было слишком трудно и опасно, чтобы теперь кидать не наверняка. Я встретился с Мартой в условленном месте и быстро объяснил положение, предложив, если ей это покажется правильным, сменить улицу. Она говорила о любимом с кроткой болью. Он умный, образованный, пылкий, но полон сомнений — и я вдруг почувствовал, что она перечисляет его достоинства с некоторым раздражением: слишком ребячлив или в нем много игры ума, иррациональности, что ли. Она ответила просто, что иначе нельзя, надо идти туда, куда нас послали. И мы пошли. Он веселый? Нет. Он все время блещет, сверкает, чересчур; очень утомительно, когда столько иронии, да еще направленной в самые разные стороны. Я нес пачку, она разбрасывала сложенные в несколько раз листовки, было просто поразительно, как быстро и точно она находила место, откуда их можно было закинуть во двор. И потом его ирония не от веселья, он все мучается, его мысли как спутанный моток, почему — непонятно, я думала, что смогу ему помочь, но нет, это невозможно, мне кажется, он не принимает помощи, как бы оберегает свои страданья. Мы прошли всю улицу Лиры и продолжали разбрасывать листовки на следующей, как вдруг раздались свистки полицейских. У нас еще была небольшая пачка воззваний. Я сказал Марте: беги скорей вперед, а я останусь и разбросаю последние. Ночь, черт бы ее подрал, была на редкость светлой, видно было очень далеко. Такая прозрачность для нас чрезвычайно опасна. Нет, нет, она не может его бросить, она ему слишком нужна, что он будет делать один, это ее долг, как служба, как помощь родителям, она его обязана выполнить. И все это со спокойной покорностью. Она мне ответила просто: вдвоем мы пошли, вдвоем и вернемся, мы сделаем то, что должны. Мы разбросали все листовки, все до одной, самым тщательным образом и вернулись каждый к себе домой. Мне понравилась ясность, с какой она принимала судьбу, ее спокойная, почти радостная ответственность, сознающая все возможные последствия. Я собирался сказать ей при очередной встрече, что жалость в любви опасна, чувство долга, которое она на себя напрасно взвалила, рано или поздно утомит ее, вызовет в ней раздражение, станет обременительным для него, сделает его еще более несчастным. Но больше я ее не встречал, да если бы и встретил, мои советы были бы совершенно бесполезны.

Я возненавидел сон, сократил его насколько был в состоянии, хотя, к сожалению, обойтись совсем без него не могу. Возможно, причиной тому и неотвратимость великого молчания, которое ожидает меня; возможно, давняя привычка: я всегда урывал от сна много времени для чтения, я уже об этом говорил. Потом, когда я был под следствием, «вызовы» производились преимущественно по ночам, а я боялся попасть на допрос спросонья. И все-таки нередко засыпал. Несколько раз меня будили, я вскакивал, поспешно одевался, а потом они смеясь говорили (ведь они добродушны, эти субъекты): ладно, спи дальше, сегодня мы тебя не тронем. Психологический прием. Бывало, что они приходили за кем-нибудь другим — не сразу же ясно, за кем именно,— я просыпался, и когда того, другого, уволакивали, остальные продолжали бодрствовать; мы молча думали о своем товарище, которому сейчас приходится так трудно, мы думали о нем упорно, как будто — по любимому выражению Карлы-Шарлоты — передавали ему всю свою энергию, и в каком-то смысле мы действительно ее передавали, потому что солидарность умножает внутреннюю силу. Каждый, кто попадал на допрос, знал: все остальные думают о нем, он это знал совершенно точно и сам думал о них. Нет, одиноким он не был. Так, ночью уснуть было трудно — ночь была временем бодрствования. Но глубоко под землей, в камерах, где не было ни воздуха, ни света, люди не поддавались панике, я бы даже сказал, что наступило своего рода облегчение: страшное напряжение, в котором мы жили, изменило характер, неопределенная угроза стала определенной и реальной, а это всегда лучше — не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь,— невидимый раньше враг находился теперь перед нами, конкретный, до смешного ничтожный, мы чувствовали свое превосходство, как сказал им Миля: бейте не бейте, а душу вам из меня не выбить. Мое объяснение может быть неверным, но факт остается фактом: мы не только не были напуганы, но, особенно после первых допросов, словно распрямились, повеселели.

Нет, нет, опять я неточен, какое же это веселье, если каждую ночь кого-то уводят и он возвращается почти без чувств; я вспоминаю Паула, уже немолодого человека, у него была двенадцатилетняя девочка, поздний ребенок, ради дочки он был готов на все, очень тревожился за ее здоровье, действительно хрупкое, так вот, они притащили девочку, били ее у него на глазах, говорили: попроси папочку, пусть он нам скажет, чтобы мы тебя не трогали, и мы сразу перестанем, они ее били, девочка кричала, умоляла отца, а он смотрел на все это и молчал; вот чем были для него идеи, это тоже мера человека, его возможностей; вспоминаю Иляну, они лили на нее кипяток, обварили ноги, живот; господи, примерам несть числа, это монотонный и невообразимый кошмар. И тем не менее мы испытывали какое-то облегчение, чувство моральной победы, это была новая страшная мера человека, человека — меры всех вещей, который оказался сильнее страха, сильнее боли и, несмотря на боль и страх, был способен смеяться, его смех выражал свободу духа, звучал вопреки всему, что уже произошло и должно было произойти.

Вспоминаю Хорию: тонкий, как спичка, голова огурцом, каштановые усы — и неизменная улыбка. Его глаза неудержимо смеялись, а лицо оставалось серьезным, почти торжественным. Он потешался над помоями, какими нас кормили, над дежурным охранником, над тем, в каких условиях мы содержимся (нет смысла их тут описывать), издевался над их «силовыми методами», вел хронику жизни нашего подземелья в духе полицейского романа о Фантомасе; его ирония помогала нам быть выше страха, выше унижений, которым нас подвергали, ведь их подлинной целью было, унизив, заставить нас потерять

человеческий облик, это было психологическое испытание, мы обязаны были его выдержать, тот самый экзамен, о котором Мальро писал в своей книге «Le temps du mépris» [1]. На последнем допросе прокурор крикнул мне: вас не заставили говорить даже силой, но это еще не свидетельство вашей правоты! Безусловно, свидетельства нашей правоты иные, но я себе просто не представляю, как можно говорить о чем бы то ни было с субъектами, которые тебя пытают и намерены убить, это решительно не тот случай, когда люди обмениваются идеями; но если столько людей познали ужас, страдание и унижение и остались при этом выше их, ясно, что существует убежденность, которая сильнее всех испытаний, выпавших на нашу долю; кроме того, убежденность вообще должна выдержать тот или иной экзамен на беззаветность, только тогда ей можно верить. Le temps du mépris — годы презрения, я так и вижу Хорию, который смеется: сегодня ночью Тафлару захотелось сырого мяса, а я худой, жилистый, дай, думает, мы его хоть поджарим, вкуснее будет, но я оказался совсем несъедобным. Когда они его били: чего это вы так переполошились? Что трясетесь? Положение у вас, правда, паршивое, совсем паршивое. Когда они пришли за ним как-то ночью на допрос: ах, вот кстати, мне как раз не спится. Или когда на него обрушивались особенно яростные удары: и как это вам не надоело? Поразительными, конечно, были не шутки сами по себе, а то, что в таких страшных обстоятельствах он продолжал быть выше страха, выше боли, выше унижений, что был по-прежнему убежден в правоте и превосходстве своих идей. Конечно, яростное «нет» парня в голубой окровавленной рубахе свидетельствовало о силе духа, но и смех Хории, когда он издевался над тем, что должно было бы его ужаснуть, тоже подтверждал могучую силу убеждений.

Однако я отвлекся, я говорил о том, что сон вызывает во мне отвращение и ужас, тогда — потому что не хотел попадать на допрос спросонья, теперь — по другим причинам, вообще говоря, естественным, хотя я бы предпочел не касаться этого вопроса. Ночью здесь шумно, работа в полном разгаре, по цементному полу вечно освещенного коридора грохочут тяжелые ботинки, кто знает, за кем они идут на этот раз. Нет, не то. Ну хорошо, я скажу. Когда бодрствуешь, демонов можно не подпускать; во сне же они набрасываются, как овчарки, во сне я беззащитен. Сплю, ботинки стучат по цементному полу длинного коридора, они открывают железную дверь, наваливаются на меня, сбрасывают с койки на пол, бьют, топчут меня, я не вижу ничего, кроме ботинок, меня подталкивают к той стене, делаю усилие, просыпаюсь. Один раз это случилось и в жизни — меня сбили с ног, я упал, и они били ботинками куда попало, да, было и это. Осталось одно: аккуратно поставить меня лицом к той самой мерзкой стене и расстрелять. Только и всего. Но почему, собственно, последнюю сцену спектакля они должны исполнить так уж аккуратно, так корректно. Во сне картина была более точной.

Я заверил свою измученную физиологию — и не сомневался в искренности своих слов,— что умру без мучений, но сон, часто обобщенное отражение наших предчувствий, накопившейся в подсознании информации, воспроизвел мне предстоящую сцену такой, какой она скорее всего и будет в действительности, и доказал, что я поспешил с моими заверениями; к тому же, моя истерзанная, взбунтовавшаяся наконец физиология, казалось, располагает своей собственной, достоверной информацией и старательно трудится по ночам, что, вообще говоря, глупо, поскольку ее тревожные сигналы уже ничем помочь

[1] «Годы презрения» *(франц.)*.

не могут. Хотя в одном они, пожалуй, небесполезны. Если то, чему суждено свершиться, будет происходить именно так, без этих тревожных сигналов я ведь мог бы и растеряться, но я не имею права умереть в состоянии растерянности. Почему? Нет, нет, я не задаюсь этим вопросом, существуют, должны существовать такие вопросы, которые человек не вправе себе задавать; дьявол — великий софист по части принципов.

После того как мне раз за разом снился один и тот же сон, я собрался с силами и решил рассмотреть не во сне, а на трезвую голову реальность такой сцены. Меня приглашают сойти с койки, встать на колени вон там, лицом к стене, пожалуйста, чуть-чуть правее, вот та-ак, хорошо, хорошо... как у фотографа, это было бы логично, но не вполне соответствовало бы их характеру, у этих так называемых исполнителей тоже есть свой характер, своя профессиональная психология. Убить человека безоружного, лишенного всякой возможности защищаться, считается большой подлостью — и они это знают прекрасно,— но почему бы не инсценировать драку, не бить, не топтать ногами, это очень облегчает душу. Известный пример — Франсуаза режет курицу, та (несчастная) бьется у нее в руках, а она ей с ненавистью кричит: «Sale bête, sale bête!»[1] Так и тут — толкая, избивая, топча ботинками, они будут ругать меня последними словами, потому что сердятся на то, что им приходится делать подлость, сами себя распаляют, чтобы уверовать — они поступают так от ненависти и злости, а вовсе не ради своего мизерного жалованья.

Да, все будет именно так, как мне снится. Во сне я даже видел их за работой, стоя над моим раздетым донага и связанным телом, они ярятся, плюют мне в лицо, осыпают бранью, будто это они, а не я лежат связанные, а я стою над ними с пулеметом. Но я заметил: им трудно меня ударить, пока они не довели себя до белого каления, пока не почувствовали, будто бы каждый из них имеет дело по меньшей мере с извергом, будто бы каждому предстоит страшная и опасная схватка. Нет, они были недостаточно подлы, чтобы истязать меня хладнокровно, им требовалось привести себя в соответствующее состояние, войти в раж, чтоб закипело сердце от возмущения тем, что их унизили, что поставили под угрозу их жизнь. Каждая профессия требует вдохновения.

Страх, словно большая красная река, затопляет мою физиологию, волны страха заливают сознание по ночам; страх то и дело меняет свое обличье, но остается все тем же животным страхом. Так, я заметил, он любит застать тебя врасплох, когда ты его меньше всего ждешь Известно: он придет ночью, во тьме, внезапно, навалится на тебя всей тяжестью, задавит, задушит. Да, страх действует именно так: внезапно, когда твое внимание занято чем-то другим или просто свободно. Или во сне. О, венский доктор[2] в этом случае сильно ошибался; сны далеко не всегда отражают наши желания, порой в их великолепном одеянии выступает страх.

Я заметил, что страх (ах, доктор, извините, пожалуйста, я совершенно забыл о вашем существовании; к тому же, сегодня утром вы не заходили: заболели или узнали, что — конец?), так вот, страх обладает способностью быть... нет, не то чтобы независимым, но, так сказать, автономным. Это то, что Юнг называл автономным комплексом: некая часть психофизической реальности, в данном случае страх, развивается вне нашего сознания; паразитически бурно разрастаясь, она

---

[1] Подлая тварь, подлая тварь! *(франц.)*

[2] Имеется в виду Фрейд.

стремится заглушить, вытеснить подлинную осознаваемую нами реальность, с тем чтобы занять, наконец, ее место. В самом начале моего пребывания в данном помещении, аллегорической предмогиле, как выразились бы экспрессионисты, я опасался, что мне будет все трудней и трудней, волны страха будут все темнее, выше, круче, но нет, чтоб быть до конца искренним, должен признаться — мы приспособились, как говаривала матушка.

О, если бы не ночи, сны, сновидения, эта темная пытка, которая подкрадывается к тебе сзади, в темноте хватает за горло, душит... Страх жесток и подл — как все мучители. И ему, носителю духа средневековья, очень нравятся аллегории, он их прямо-таки обожает. Да, но когда тут день, когда ночь, где сновидение, а где воспоминание? Все отступает, уходит дальше и дальше, тонет в золотистой дымке прошлого: «Усну, завалит снегом...» Но нет, не все уходит, и если я не оставляю здесь хроники событий (хотя материала для эпоса у нас более чем достаточно), биографий героев (хотя они существуют), то по крайней мере пытаюсь сохранить, воскресить в памяти напряженность нашего времени, определенные черты в характере людей этой эпохи, неповторимую атмосферу, которая также определила ее масштаб, масштаб человека — меры всех вещей. Уравновешенная волей горячность, мужественная зрелая человечность, полное доверие к другому и непередаваемый колорит надежды, далеко выходящей за рамки жизни каждого из нас, ощущение, убежденность сидящих в застенке, возможно, ожидающих смерти людей, в том, что их мечты сбудутся. Все. Нулевой год Истории. Кто все это будет читать? Быть может, никто. Но я обращался, я писал: всем, всем, всем! Для того, кто надеется, нет ничего невозможного.

Голый, я распластан, распят на металлическом столе. Руки вытянуты, запястья стиснуты наручниками, которые привинчены к металлической крышке. Стальная лента охватывает лоб, плотно прижимает голову к столу. Ноги до боли раздвинуты, на лодыжках металлические браслеты, тоже привинченные. Абсолютная неподвижность. Семеро человекообразных — черные плащи, низко опущенные капюшоны, в руках — огромные свечи, их пламя колышется во тьме. Красные языки ярко-желтых свечей. Один из них — без свечи, в красном капюшоне — щипцами зажимает раскаленный брусок и подносит его к моему распахнутому беззащитному телу. Я издаю звериный рев, разрываю металлические путы, вскакиваю — весь в холодном поту. Оглядываюсь по сторонам. Лампочка под потолком смотрит на меня в упор, не мигая. Мрачная темно-багровая стена цвета запекшейся крови по-прежнему ждет. Нет, больше я не усну.

Лежу на спине, нагой, на раскаленном металлическом столе. Я, конечно, связан. Спину жжет. Лежу вытянувшись на песке, передо мною море. Песок слишком горяч, бегущие на меня волны — красного цвета. Волны вздымаются, катятся на меня, багровые, липкие, они разбиваются о мое тело. Над морем полная луна, цвета свернувшейся крови, из нее сочится кровь. По темени равномерно стучит молоток. По багровому морю летит корабль, вверх — на гребень волны, вниз — под откос... В правое бедро вбивают гвоздь: сильные редкие удары молотка. В ушах невыносимый вой авиадвигателей. Самолет охвачен пламенем, падаю с горящим парашютом, подо мной раскинулось бескрайнее море крови. Падаю. Падаю. Отчаянно кричу. Вскакиваю. В груди бьют гигантские колокола. Больше я не усну.

Пустой коридор: я бегу. На мне ничего нет, я совершенно голый. Стена. Назад: дверь, зал, дверь, лестница вверх. Коридор — бегу. Лестница, спускаюсь. Коридор — мчусь во весь дух. Задыхаюсь. Стена. Дверь: зал. Дверь: комната — полный мрак. Дверь, коридор — я бегу.

Лестница — несусь вверх, коридор, лестница, бегу наверх. Коридор. Дверь. Комната. Сзади захлопывается дверь. Металлический стол. Мое обнаженное тело. Их семеро. Черные капюшоны. Большие свечи в руках. Седьмой — в красном, у него раскаленный брусок, он приближается ко мне. Вскакиваю. Почему сны рядятся в такие невероятные, символические, поэтические одежды? Почему мне не снится, как меня пытали на самом деле? Так, из ночи в ночь, в каждом сне я воюю с облаченным в новое одеяние страхом. Почему страх маскируется, прячется? Почему скрывает свое истинное лицо? Чего боится? Но прошлой ночью я видел восхитительный сон, мне снилось море. Море, которого я уже никогда не увижу.

Ночью, чтобы не уснуть, я еще разговаривал с ангелом. Ночью: но трудно сказать, было ли то ночью или днем, здесь не разберешь... Мы долго боролись — ангел и я,— потом он сел ко мне на койку и закурил сигарету. Знаешь, в чем твоя главная ошибка: ты очень упрям. Ну зачем тебе понадобилось со мной бороться? Тем более это же была пустая формальность.— Для меня это не формальность, а традиция. Ангел поперхнулся и закашлялся. До чего дрянные сигареты, посетовал он. Так говоришь, традиция, никак вы не можете забыть эту притчу, старую как мир... К тому же это такая туманная история... — Согласен. Но сохранилась идея.— Вот я и говорю: ты очень упрям. Посмотри, ведь ты хромой, у тебя рана в бедре и еще одна, в груди... Зачем тебе все это понадобилось? Знаешь, ты не понял ситуацию.— Но ведь и ты устал.— Я... Но я вечен.— Я тоже.— Ты шутишь.— Ничуть. Поскольку мне удалось освободиться от собственного «я», я стал идеей, а идея, которую я представляю, бессмертна.

Ангел задумался: ты что, тоже архетип? — Нечто вроде, но я адаптировался к своей эпохе.— А я модернизировался. Смотри, я отказался от крыльев. Они были неудобны, привлекали внимание, и, между нами, пользы от них не было никакой, теперь я самоходный ангел.— А усы тебе зачем? — Чтобы не болтали, будто я двуполый. Сам понимаешь, такие слухи компрометируют. Но ты не можешь быть бессмертным.— Да, но я умру не совсем.— Ошибаешься. Ваши чувства не выдерживают никаких крайностей: слишком громкий шум вас оглушает, слишком яркий свет ослепляет, слишком большое или маленькое расстояние не дает возможности разглядеть, слишком откровенная правда приводит в замешательство, слишком большая радость лишает сил. Вы не переносите ни чрезмерного тепла, ни чрезмерного холода. Слишком юный или преклонный возраст затмевает ваш разум. Всякая крайность для вас как бы не существует: или она ускользает от вас, или вы от нее. Таково ваше истинное состояние.— Вот именно! Мы чуткие весы космоса, его неустойчивое равновесие, мы мера всех вещей.— Смирись. Plus ne t'en dis.— Et je m'en passerai[1]. Ангел зевнул: вот в чем твоя ошибка. Человек не может быть мерой всех вещей. Он слишком слаб и переменчив. Чуть-чуть больше йода, чуть-чуть меньше кальция — и характер меняется. Невидимая частица, ничтожный вирус попадает в организм — и организм распался. Маленький свинцовый шарик пробивает тело — и оно перестает существовать. Вас косят болезни, порабощают страсти, гнев мутит ваш рассудок. Видишь, я пользуюсь современной терминологией.— Но страх очень древнее чувство: pulvis es[2]. Смирись, трепещи, ты прах, ты тлен...— Но ты не ответил на этот аргумент: ты же прах.— Отвечаю: именно поэтому, вопреки этому.— Ты упрям. Вы думаете, атом предельно мелкая частица материи, а он целая солнечная система, вам неизвестная.— Мы откроем ее.— Космос для вас полная тайна.— Мы разгадаем ее.— Вы ни-

[1] Больще мне нечего тебе сказать.— А я обойдусь и без твоих слов *(франц.)*.

[2] Ты прах *(лат.)*.

когда не познаете все.— Мы систематизируем то, что знаем. Кроме того, загадка, поиски истины, борьба обладают притягательной силой, они прекрасны сами по себе, помимо непосредственной пользы, какую приносят людям.— Ты упрям. Plus ne t'en dis.— Et je m'en passerai.

Ангел продолжал: какое место вы занимаете в природе? Вы ничтожны перед бесконечностью, всесильны перед ничтожностью, среднее между всем и ничем. Вы бесконечно далеки от понимания крайностей, конечная сущность вещей, их глубинный смысл для вас непостижимы, вы одинаково неспособны разглядеть пустоту, ничто, из которого вышли, и пустоту, бесконечность, которая поглотит вас.— Человек — центр мироздания, мера всех вещей.— Специфика человеческого существования в том, что оно конечно.— Почему только человеческого существования? Смерть роднит нас с растениями и животными. Специфика человеческого существования — в преодолении смерти делами, творениями искусства и в том еще, чтобы быть способным умереть тогда, когда необходимость этого диктуется сознанием, то есть тем, что отличает человека.— Ну, почему же именно сознание, почему не другие, такие вечные и многообразные проявления человеческой природы, как потребность есть, спать, продолжать свой род... — Я не считаю специфическими для человека проявления, свойственные не только ему, но всем вообще представителям животного мира. Это проявления ограниченного и несвободного «я», которое хочет обеспечить себе выживание как таковое. Существование подлинно человеческое слагается именно из всего того, на что не способны животные, из того, что выходит за рамки биологического «я». Человек — существо трансцендентное и единственное, которое стремится превзойти самого себя.

Впрочем, сказал ангел (он оказался довольно покладистым), аргументы могут быть «pro» и «contra». Но в таком случае тебе ничего не остается, как заключить со мной пари.— Я это уже сделал.— Знаешь, это так сомнительно, чтобы человек мог превзойти себя, был способен к самосовершенствованию. Столькие уже пытались... Вы, например, изобрели самолеты, бомбы, танки и... — Но что же может отвечать смыслу человеческого, да, именно человеческого, существования больше, чем совершенствование человека? И что же специфически человеческого остается в таком случае у тех, кто потерял надежду? — Будь по-слуш-ным, по-кор-ным, сми-рись, ес-ли хо-чешь до-бить-ся ус-пе-ха, акку-му-ли-руй си-лы, энер-гию, при-спо-собь-ся, те-бе не дано из-ме-нить мир.— Сгинь, крикнул я, сгинь, зловещий ворон, ты хочешь накаркать несчастье, ты зовешь к унизительному смирению и рабской покорности, пропади, рассейся, ты, видимость жизни, глашатай отречения и смерти.

Прошлой ночью — но была ли то ночь? — мне снилось море. Волны теплые, зеленые, как деревья, с каштановым отливом, местами светло-фиолетовые, цвета надежды, море в непрерывном движении, его ветер, резкий и свежий, ветер — в постоянном порыве быть повсюду, нести надежду, распахнуть вечность. Этой ночью я снова увижу море, я буду созерцать бездонное море вечных преобразований, вечной жизни, которая все вновь и вновь возрождается в других существах, время без конца, великую бурю молчания. Мне снова приснится море — море, которого я никогда не увижу, но ведь человеку свойственно видеть в своих снах будущее, бесконечность, покой океанских глубин, даже если порой...

МАНУЭЛЬ ВИСЕНТЕ МАГАЛЬЯНЕС

Из книги «Мечта в зените»

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА

Перевод с испанского Н. ГОРСКОЙ

■ ■ ■

Тебя искал я в закоулках дней,
вне всех эпох — в каком-то мире дальнем
и в хаосе безумном, изначальном;
искал тебя средь глины и камней,
кружился, словно высвеченный атом,
меж атомов звезды голубоватой,
искал среди корней, в песке, в пыли
и в комьях созидающей земли;
искал средь раковин окаменелых
на дне сухом древнейших водоемов,
искал в морях, ручьях и тундрах белых,
в земной коре — меж сбросов и разломов,
искал в потоках лавы неуемных,
во льдах, где бродит северный олень,
и в сновидениях дубов огромных,
где мамонта порой мелькает тень;
искал тебя еще во время оно
в смоковнице библейской и оливе,
в бегучих пятнах лани быстроногой;
в пустыне, жарким солнцем опаленной,
средь молодых племен, почти счастливых,
не враждовавших и не знавших бога;
тебя искал я в детских снах неясных,
искал в застенчивой мечте подростка
и в юности искал, но все напрасно:
невесты возникали на пути,
чтобы рассыпать солнечные блестки
и по тропе забвения уйти.
И вдруг... шаги — негаданно, нежданно.
Дорогу указал мне мак багряный,
пошел я в чащу следом за лианой,
и там явилась ты глазам моим,
и наши имена в ночи медвяной
слились и стали именем одним.

Слегка прикрыта бризовой туникой,
в глуши, средь резеды, пахучей, дикой,
меж лебедем и зайцем ты спала.
Сокровища твои — лаванду, мяту,
венок из флердоранжа розоватый —
матерая волчица стерегла.
Брехали псы за пеленой тумана,
и карлик, притворившись великаном,
спросил, в каких краях мои поместья
и где пасутся тучные стада.
Ответить я не мог, но — честь по чести —
затеял бой с притворщиком трусливым,
и победил его, и стал счастливым,
и ты со мной осталась навсегда.

■ ■ ■

«Люблю тебя...» — но все слова ничтожны...
лишь губы, прикасаясь к теплой коже,
способны рассказать об этом.
А «навсегда»?.. Какие здесь секреты?
Послушай, как исходит сердце дрожью,
потом измерь неизмеримость света.
И о твоей любви узнать несложно:
попробую прокрасться осторожно
в луга, где бродят сновиденья ветра,
расшифровать на каменистом ложе
уснувшей дикой горлицы секреты,
и в хронике гнезда, на грани лета,
прочесть о робкой нежности мерлетки,
и выспросить шиповник придорожный
о радостях колибри разноцветных.
Потом в стихах все это подытожить
и на мою любовь опять помножить,
не спать, писать до самого рассвета
для той, что мной сто раз уже воспета.

Ты схожа с сочной гроздью винограда

Ты схожа с сочной гроздью винограда,
тебе сродни душистый светлый мед,
как луч летучий, ты для глаз отрада.

В тебе напев немолкнущий живет,
как в серебристых струях водопада,
ты — нива, что посева страстно ждет.

Садовник твой, я получил в награду
кристаллик меда из душистых сот
и ландыша прозрачную прохладу.

Иду к тебе, и все во мне поет,
и ты сама — как звонкая рулада,

и ясен мой счастливый небосвод,
и дети мирно спят под сенью сада.

Эстамп закрыли облака

Крута дорога наша, нелегка.
Рыбешки, крабы, черепахи, раки
и плавунцы средь мокрого песка —
как моря неразгаданные знаки.

Вон первой храбрости моей река,
за ней — моих просторных снов саванна...
А там баркас, фигура моряка
и в гавани толпа видений странных.

Но вдруг эстамп закрыли облака,
и ветра сатанинского рука
плеснула мрак на стекла маяка.

И время замерло в пустыне черной,
и докатился гром издалека,
сводя на нет молчанье ночи скорбной.

■ ■ ■

Мне платком разлука машет,
словно ветер серой тучей.
Стала вдруг стерней колючей
нива радости вчерашней.

И лежит на поле колком
плат разлуки, плат страданья.
Ветер слово «до свиданья»
вышивает серым шелком.

■ ■ ■

Жасмин, притихший, невинный,
цветенье лилии белой.
Сердце мое опустело —
твой голос умолк вдали.

Немые цветы жасмина
печалью любовь облили.
Прекрасней цветущих лилий
ростки надежды взошли.

■ ■ ■

Луг так ярко зеленеет,
в дальнем небе столько сини,
но мне грустно и пустынно
в синеве среди травы.

Синева — мой север хмурый,
ты — мой свет, мой цвет зеленый.
для тебя в морях соленых
зелень с каплей синевы.

■ ■ ■

Унынье дальних дорог,
вокруг пейзаж монотонный.
Терпеть и ждать обреченный,
твержу любви монолог.

А в памяти вновь и вновь
наш диалог прощальный:
«Забудешь в дороге дальней?»
«Не забуду, моя любовь!»

■ ■ ■

Мотылек заката легкий,
на дороге след невнятный,
вечер сонный, красноватый
на песок тихонько лег.

Я иду по бездорожью...
Нет у памяти заката,
и мечта моя крылата,
словно легкий мотылек.

■ ■ ■

Нальется золотом мед
и загустеет к сроку,
забрызжет багряным соком
проколотый солнцем плод.

А губы твои в огне —
сочные, словно сливы,—
в день урожая счастливый
вернут поцелуи мне.

■ ■ ■

Сладко пахнет резеда,
сладок в сотах мед пчелиный,
только горечью полынной
ныне полон каждый час.

Ты — и мед и аромат,
ты — и страсть и ожиданье.
Время мы с тобой обманем,
потому что время — в нас.

■ ■ ■

Реки впадают в моря,
моря — в океан небесный.
Вьется под звездной бездной
дорога в чужие края.

Полноводна река моя —
ей в море бессонниц тесно,
к тебе по волнам чудесным
плывет октавильи ладья.

■

АЛЬФРЕД АНДЕРШ

Винтерспельт

РОМАН

Перевод с немецкого И. МЛЕЧИНОЙ

Посвящается тому самому лицу, которое упоминается на стр. 115 и которое известно автору как лицо исключительно надежное.

Было холодно, лил дождь, дул почти ураганный ветер, и перед нами стеной стояли черные леса Шнее-Эйфеля, где обитали драконы.

Эрнест Хемингуэй. 49 репортажей.

Прошлое никогда не умирает;
оно всегда остается с нами.

Уильям Фолкнер.
Из газетного интервью.

Военное положение противника

На Западном фронте без перемен

«Западный театр военных действий. (Боевые операции с 25 сентября по 9 октября 1944 г.) В районе Аахена имели место лишь локальные, однако усиливающиеся военные действия; в районе массива Эйфель и на мозельском участке фронта было спокойно». (Военный дневник (ВД) Верховного командования вермахта (штаб оперативного руководства); вели Хельмут Грайнер и Перси Эрнст Шрамм, т. IV, стр. 400.)

Гитлер, или Недостаточная глубина

«Фюрер рассчитывал, что осенью погода временно исключит действия вражеской авиации и тем самым будет ослаблено ее превосходство. Оперативное наступление фюрер считал необходимым уже потому, что французам нельзя было давать возможности укреплять свои соединения; по его мнению, семидесяти соединений, которыми, по-видимому, располагали англо-американцы, было недостаточно для фронта в 700 км. Поэтому он считал, что нужно найти возможность сосредоточить свои войска на этом фронте таким образом, чтобы они в районе наступления превосходили силы противника. Сначала полагали, что в качестве исходных позиций следует выбрать Бургундские ворота и Голландию. Штаб оперативного руководства вооруженными силами должен был в середине третьей декады сентября представить необходимые расчеты соотношения сил.

Но теперь речь шла уже не об операции, ведущейся с марша, когда можно использовать бреши в обороне противника или глубокие фланги, а о наступлении

© 1974 by Diogenes Verlag AG, Zürich.

с линии стабильной обороны под наблюдением вражеской воздушной разведки — о наступлении с целью прорвать уже укрепленную противником линию фронта, то есть об операции, которая требовала длительной подготовки и силы для которой — поскольку войска Западного фронта были истощены — можно было изыскать лишь за счет пополнения старых и формирования новых соединений. В результате времени потребовалось больше, чем можно было предположить: от составления первых планов до последнего приказа перед наступлением прошло 2,5 месяца.

Руководство в это время оставалось полностью в руках фюрера, который не только давал указания и принимал решения, но и следил за всеми деталями и при этом увязывал подготовку наступления с обороной, которую надо было осуществлять тогда же на Западном фронте.

К концу сентября — началу октября в качестве наиболее подходящего района для прорыва определился участок фронта восточнее Люттиха. Поскольку там уже в мае 1940 г. был осуществлен прорыв, пришлось затребовать из вывезенных в Лигниц архивов документы о тогдашних операциях 6-й и 4-й армий. Документы были высланы 5 октября. К сожалению, в архивах оказались пробелы, так как важные подшивки сгорели во время пожара 1941 г. Тем не менее обнаружились ценные записи, прежде всего анализ местности, датированный январем 1940 г., из которого следовало, что в Люксембурге и Южной Бельгии условия для продвижения гораздо благоприятнее, чем на территории северного соседа, так как число участков, где создана система эшелонированной обороны, и укрепленных районов, препятствующих наступлению, там меньше, а сама местность и возможности передвижения по ней благоприятнее, чем в северной части Арденн.

Для проведения запланированной операции необходимы были следующие условия:

сохранение позиций на Западе, включая Нидерланды (плотины в устье Шельды);

стабилизация положения на Востоке (чтобы не пришлось привлекать силы, находящиеся в подчинении командующего войсками резерва);

обеспечение свежих людских и материальных ресурсов для Западного фронта;

наступление 10—14-дневного периода плохой погоды, который мог бы компенсировать отсутствующую поддержку с воздуха;

быстрое уничтожение противника по всей линии фронта с целью возместить недостаточную глубину прорыва». (ВД, 1944, т. IV, кн. I, раздел 4. Франкфурт-на-Майне, 1961.)

Брэдли, или Восемь километров

«Некоторое время у нас между Триром и Моншау на фронте протяженностью около 120 км находилось всего три дивизии. Держать в этом районе больше четырех дивизий мы никогда не могли. Не только мой штаб постоянно тщательнейшим образом занимался этим вопросом, но и я сам несколько раз беседовал об этом с Брэдли. Мы пришли к выводу, что в районе Арденн мы подвергаемся значительной угрозе, но считали неправильным прекращать наступательные действия на всем остальном фронте, исходя лишь из соображений безопасности, и ждать, пока из Соединенных Штатов прибудет пополнение и наши силы достигнут максимальной мощи.

При обсуждении этой проблемы Брэдли четко указал на те обстоятельства, которые, по его мнению, говорили в пользу продолжения наступления на его участке. Я согласился с ним по всем пунктам. Сначала он сослался на то, что в смысле потерь мы находимся в несколько преимущественном положении. Противник ежедневно нес в среднем в два раза больше потерь, чем мы. Далее Брэдли считал, что Арденны — единственный участок, где противник мог предпринять серьезное контрнаступление. Но оба пункта, в которых мы сосредоточили войска двенадцатой группы армий для наступательных операций, располагались на флангах этого района. Одна часть войск, подчиненная Ходжесу, находилась к северу, другая, под командованием Паттона,— к югу от него. Брэдли считал поэтому, что для массированного удара нашими силами по флангам возможного немецкого наступления в Арденнах наша диспозиция чрезвычайно благоприятна. Кроме того, он полагал, что противник, при внезапном наступлении в Арденнах, будет испытывать большие трудности со снабжением, если решит осуществить прорыв к Маасу. Если ему не удастся захватить наши большие склады материально-технических средств, то он быстро попадет в трудное положение, особенно если одновременно начнет эффективно действовать наша авиация. Брэдли показал на карте, куда, по его мнению, могли прорваться немецкие головные части. Позднее эти прогнозы оказались чрезвычайно точными. Он ни в одной из точек не ошибся более чем на восемь километров. В районе, который мог быть захвачен противником, он разместил лишь крайне небольшие склады. У нас, правда, находились крупные запасы в Люттихе и Вердене, но он твердо верил, что так далеко противник не продвинется». (Dwight D. Eisenhower. Crusade in Europe. New York, 1948[1]; цит. по немецкому изданию, Амстердам, 1950.)

[1] Дуайт Д. Эйзенхауэр. Крестовый поход в Европу. Нью-Йорк, 1948.

Директива генерал-фельдмаршалу фон Рундштедту

«3.X. главнокомандующему группой армий «Запад» передано сообщение, что 5.X ему, для использования на спокойном участке фронта, будет переброшена из Дании 416-я пехотная дивизия. 4.X было дополнительно сообщено, что фюрер приказал отвести с фронта моторизованную дивизию и заменить ее 416-й пех. дивизией». (ВД, т. 4, стр. 449.)

Бедный генерал Мидлтон

«Ничего нет удивительного, что четыре слабые пехотные дивизии, растянутые в Арденнах по фронту в 75 миль, были сломлены мощью вражеского наступления. Несмотря на сильный заградительный огонь, который предшествовал наступлению и который некоторые приняли за «свой», они продолжали думать, что находятся на спокойном участке, почти на курорте, где «необстрелянные» части без большой опасности могут привыкать к трудностям фронтовой жизни. Из трех дивизий американского 8-го корпуса под командованием генерала Мидлтона две, 4-я и 28-я, во время жестоких осенних сражений на северных участках подверглись страшным ударам и понесли тяжелые потери. Они чудовищно устали, людей мучал «окопный ревматизм», кашель и другие мелкие недуги. Третья пехотная дивизия, 106-я, за четыре дня до этого сменила на линии фронта 2-ю дивизию после утомительной поездки в сильный холод на грузовиках через Францию и Бельгию. Это была «необстрелянная» дивизия. Ей была придана 14-я кавалерийская группа, которая патрулировала в восьмимильной бреши между 8-м и 5-м корпусами, на слабом и опасном стыке. Завершала картину 99-я пехотная дивизия 5-го корпуса, находившаяся на правом фланге. Это была неопытная, но хорошо обученная дивизия. Она показала свои возможности». (R. W. Thompson. Montgomery, the Field Marshal. London, 1969, S. 243[1]).

Фазы превращения документа в художественный вымысел

1

Сумела ли немецкая 416-я пехотная дивизия показать свои возможности, установить не удалось. В списках воинских частей (ВД, Эллис, фон Мантейфель), приведенных в боевую готовность для участия в Арденнском наступлении, она не значится. Вероятно, перед началом наступления она была отведена с фронта и снова заменена моторизованной дивизией.

И уже чистой догадкой является то, что она в октябре 1944 года находилась на участке фронта, который стал ареной изображаемых в дальнейшем событий; а также и то, что среди ее батальонных командиров был майор по имени Йозеф Динклаге.

Вследствие этого 416-я вправе считать, что все то, о чем здесь рассказывается, вообще не имеет к ней никакого отношения. С другой стороны, для подобного произведения нужна именно такая дивизия. В какой-нибудь танковой дивизии, в отборных частях, как, например, 2-я или 9-я танковая дивизия, или в одной из так называемых народно-гренадерских дивизий, которым уже по самому их названию, сколь бы храбро они ни сражались, отводится место в нижних ярусах войсковой иерархии, события, зафиксированные в документе «Секретное дело Динклаге», не хранящемся ни в одном военном архиве, выглядели бы заведомо недостоверными. Но в обычной пехотной дивизии — в 1944 году простое название «пехота» придавало войскам что-то необычное и старомодное — подобные события при определенных обстоятельствах вполне допустимы, и призрачное появление и исчезновение вышеозначенной дивизии в районе, подчиненном главнокомандующему группой армий «Запад», устраивает нас как нельзя более.

[1] Р. У. Томпсон. Фельдмаршал Монтгомери. Лондон, 1969, стр. 243.

2

Однако ни в 416-й пехотной дивизии, ни во всей немецкой армии — ни в 1944 году, ни ранее, ни позднее — не было офицера, который вынашивал бы планы, подобные тем, что приписываются здесь майору Динклаге. Вследствие этого не только 416-я пехотная дивизия, но и вся немецкая армия в целом может считать, что настоящее сочинение не имеет к ней никакого отношения.

3

Исходя из изложенных соображений, данное произведение могло быть создано лишь в одной-единственной форме: как художественный вымысел.

Georgia on my mind[1]

Да простит 106-я американская пехотная дивизия автору настоящего труда, что он заставляет ее появиться на фронте уже в конце сентября 1944 года. Как известно (см. Томпсона и др. источники), она заняла свои позиции лишь за четыре дня до начала Арденнского наступления, то есть 12 декабря. Но то, что ее 3-й полк (точное название: 424-й полк) находился на правом фланге, то есть юго-восточнее Сен-Вита, является, во всяком случае, подлинным фактом. (О действительной линии фронта смотри раздел «Уточнение главной полосы обороны».) Осуществляла ли 3-я рота одного из батальонов этого полка охрану участка вокруг Маспельта и была ли она расквартирована в этой деревне, с точки зрения военной истории неустановимо, но вполне вероятно. Однако безусловным вымыслом является то, что командиром роты был назначен некий капитан Джон Кимброу. Один бог знает, почему он родился на юге штата Джорджия, вырос в маленьком городке Фарго, который с трех сторон окружен болотом Окефеноки. Большинство солдат 106-й дивизии — и это также подтверждается документами — было набрано в штате Монтана.

Незначительная поправка

Некое лицо, проживавшее с 1941 по 1945 год в Западном Эйфеле и известное автору как исключительно надежное, хотело бы склонить последнего отказаться от утверждения, содержащегося в пункте 2 раздела «Фазы превращения документа в художественный вымысел». Это лицо уверяет, что оно часто слышало разговоры немецких офицеров, обсуждавших планы, сходные с планами майора Динклаге. Правда, на вопрос о том, ограничивались ли эти планы только разговорами или они были реализованы или хотя бы доведены до начальной стадии реализации, это лицо отвечает отрицательно.

Ящик с песком

История сообщает, как это было.

Повествование показывает, как это могло бы быть.

---

[1] С мыслями о Джорджии *(англ.)*.

Моральное состояние противника

Фон Рундштедт, Модель, Бласковиц, фон Мантейфель, Гудериан, Бальк, Хаузер, Шульц, Томаль etc.

«С другой стороны, следует учитывать, что у командующих была лишь одна возможность — «продолжать действовать». Несмотря на недостаточную ориентированность в общей обстановке, они знали, что при тесной связи западных держав с СССР сепаратное перемирие немыслимо, а возможна лишь полная капитуляция. Но согласиться на нее означало отправить три с половиной миллиона человек, стоявших на Восточном фронте, в советский плен — мысль об этом вызывала тяжелые переживания даже у участников заговора 20 июля. Для тех, кто не принадлежал к ним, оставалась только одна возможность — продолжать войну со слабой надеждой, что еще произойдет «чудо», а это значило: беспрекословно повиноваться, как и прежде». (ВД. Введение — Роль командующих группами армий и армиями.)

Черчилль

«П. М. (премьер-министр, то есть Уинстон Черчилль.— Авт.) — не в форме, вопреки обыкновению, и весьма мрачен. Однако его боевой дух, как всегда, на высоте; он сказал, что если бы был немцем, то заставил бы свою маленькую дочь подложить первому попавшемуся англичанину бомбу под кровать; своей жене он порекомендовал бы подождать, пока какой-нибудь американец наклонится над умывальником, чтобы дать ему как следует скалкой по затылку, а сам бы он лежал в засаде и стрелял без разбора в американцев и в англичан». (Arthur Bryant. Triumph in the West 1943—1946[1]. С использованием дневников и автобиографических записок фельдмаршала виконта Аленбрука, Лондон, 1959. Запись Аленбрука от 2.11.1944.)

Красная Армия

Разделял ли майор Динклаге заботы командующих группами армий и армиями, а также тяжелые переживания участников заговора 20 июля, вызванные опасностью советского плена, прояснить сегодня уже невозможно, как, впрочем, и многое другое в потускневшем от времени образе этого сложного человека. Установлено лишь, что он никогда не находился на Восточном фронте и неизменно пускал в ход все рычаги, чтобы предотвратить отправку в Россию, и что это ему всегда удавалось благодаря ссылке на развивавшийся с 1942 года артроз правого тазобедренного сустава, подтверждаемый соответствующими справками, которые выдавались военным врачом. Это тем более примечательно, что в остальном он всегда отклонял любые попытки как-то принять во внимание его болезнь. Открытым остается вопрос, указывает ли такое поведение на какую-то принципиальную черту характера Динклаге, на заложенную в нем склонность проявлять себя с загадочно-противоречивой стороны — как это, например, имело место при его роковой встрече с Шефольдом,— или на его историко-политические убеждения, или, может быть, на его сильную неприязнь к солдатской жизни на Восточном фронте. Возможно, что определенную роль играли все три названных мотива, вместе взятые.

С Красной Армией он соприкоснулся лишь в Винтерспельте, да и то в столь ранний час, что не мог точно распознать, действительно ли это она, потому что было еще темно, когда русские проходили по деревенской улице. С тех пор как Динклаге был в Винтерспельте, он наблюдал за ними почти каждое утро. Он стоял, опершись на палку,

[1] Артур Брайэнт. Победа на Западе 1943—1946.

у окна канцелярии, где — дабы не нарушить инструкции по светомаскировке — нельзя было зажигать лампы. Поскольку он регулярно просыпался около четырех и из-за болей в тазобедренном суставе уже не мог спать, одним из способов убить время, пока в штабе батальона не начнется жизнь, стало для него наблюдение за тем, как русские шли на работу в крестьянские дворы. Под охраной двух солдат из ландштурма, пожилых людей с винтовками через плечо, они довольно плотной колонной появлялись справа, со стороны высоты под названием Хельд. Они расходились по дворам, два человека в каждый, направо и налево, так что колонна становилась все меньше. Когда она доходила до двора Телена, находившегося напротив того дома, где расположился штаб батальона, в ней оставалось всего человек десять. Эти русские были не депортированные штатские, а военнопленные из регулярных частей. Их разместили в сарае на Хельде. Динклаге отметил, что на ногах у них вместо ботинок были лишь деревянные башмаки и портянки, обмотанные веревками. Шинелей у них, судя по всему, не было. Динклаге спрашивал себя, как они в такой одежде продержатся зимой. То, что у Динклаге мелькала подобная мысль, означало, среди многого другого, и следующее: он предполагал, что война протянется всю наступающую зиму.

Двое пленных, работавших у Телена, прошли к дому. Когда они открыли дверь, на какой-то миг стало видно, что в доме горит свет. И сразу после этого луч света мелькнул снова—это обе дочери Телена или одна из них вместе с Кэте Ленк вышли из дома и взялись за работу во дворе, загромыхали молочными бидонами, стали качать воду.

Штабс-фельдфебель Каммерер, как-то утром подойдя к Динклаге и тоже поглядев в окно, объяснил, что происходит. «Сейчас иваны завтракают,— сказал он,— а девицы начеку. Если придет часовой, чтобы проверить, то одна его задержит, а другая побежит в дом и прогонит парней в амбар». «Ах, вот как!» — Динклаге засмеялся. «Дело в том, что крестьянам запрещается подкармливать русских,— пояснил Каммерер,— но ни один из них этого не придерживается». Судя по всему, он не одобрял смеха Динклаге. «Русские жрут не хуже самих крестьян».— «Ну, Каммерер,— сказал Динклаге,— вы себе представляете, какую жратву получают они там в своем сарае? А потом им приходится целый день делать тяжелую работу. Надо же крестьянам как-то их подбодрить».— «Господин майор,— сказал штабс-фельдфебель упрямо,— иваны получают жратву, о которой наши солдаты и думать забыли. Яйца, сало, масло».—«И все же,—сказал Динклаге,— чтоб по этому поводу не было никакого рапорта, Каммерер!» — «А я и не собирался, господин майор»,— сказал Каммерер.

В обращении со штабс-фельдфебелем Динклаге был энергичен, дружелюбен. Между ними никогда не возникало трений. Главное было быстро отреагировать, если этому малому снова полезут в голову мысли, характерные для сумасшедших. Каммерер был членом партии, но, судя по всему, в 1944 году он уже не рассчитывал извлечь из этого пользу.

Вооруженные всадники и крестьяне

В самом штабе остановился только Динклаге. Все прочие штабные квартировали у крестьян. Каммерер был внимательный наблюдатель. Уже на третий день их пребывания в Эйфеле он сказал Динклаге: «Здешние крестьяне нас не жалуют». В качестве под-

тверждения он привел высказывание старого Телена, который, когда Каммерер в какой-то связи обратился к нему со словами: «Вы как немецкий крестьянин», тут же прервал штабс-фельдфебеля и заявил: «Я не немецкий крестьянин, я эйфельский крестьянин». Динклаге, сам родом с Эмса, подумал о том, не стоит ли этому выходцу из Тюрингии и протестанту, с мундира которого в один прекрасный летний день, когда они были в Дании, исчез партийный значок, прочитать лекцию о некоторых особенностях строго католических крестьянских районов, но потом решил, что не стоит. Он ограничился тем, что нейтрализовал Каммерера, склонного к доносительству, сказав ему: «Ну, пока старик говорит такие вещи только вам, он еще не рискует головой». Он знал, что может положиться на пристрастие Каммерера к субординации; Каммерер никогда не предпринял бы ничего, что, по его предположению, могло не понравиться непосредственному начальнику.

Игра в тайну

«Но я надеюсь, ты не станешь доверяться ему, когда речь пойдет о твоем плане,— сказала как-то Кэте Ленк майору Динклаге.— Ведь тут его готовность к повиновению как раз и кончится. Если ты только намекнешь Каммереру, ты пропал».

Динклаге, который не привык получать тактические советы от женщины, коротко ответил: «Если все будет в порядке, операция окажется для Каммерера такой же неожиданной, как для всего батальона».

В соответствии с этим Каммерер не будет играть в данном повествовании почти никакой роли, если не считать эпизода в разделе «События в канцелярии». Из всего 4-го батальона 3-го полка 416-й пехотной дивизии («людей Динклаге») только одному обер-ефрейтору Райделю доведется получить некоторое представление о том, что затевает майор.

К западу от защитного вала

При сравнении майора Динклаге с капитаном Кимброу сразу же обращает на себя внимание то, что некоторые моменты, касающиеся первого, невозможно охарактеризовать с той же степенью точности, как соответствующие моменты, относящиеся к последнему. Они остаются расплывчатыми. Если номер дивизии Кимброу — дивизии, к которой он не принадлежал,— может быть назван достоверно, то номер дивизии Динклаге можно только предполагать. Почти так же обстоит дело и с некоторыми взглядами обоих офицеров. Характерно, что представления Динклаге о возможности капитуляции на Востоке так и остались непроясненными; что же касается Кимброу, то он — если бы ему стало известно, как повел бы себя Черчилль, будь он немцем,— лишь покачал бы головой. Оторвавшись от чтения записи фельдмаршала Аленбрука, он сказал бы Бобу Уилеру, начальнику разведки полка: «Значит, если бы Черчилль был немцем, он повел бы себя именно так, как хочется Гитлеру!»

Воображаемый ответ Уилера звучал бы так: «Я полагаю, что победить нацистов может лишь тот, кто способен перенять их образ мышления. Если, конечно, это можно назвать мышлением»,— уточнил бы он при этом.

«Не думаю,— возразил бы Кимброу.— Их можно победить лишь в том случае, если принципиально не принимать их образа мышления». С язвительной иронией, которую он иногда пускал в ход (его штатская профессия — адвокат), он бы добавил: «Кстати, немцев бьют не англичане, а мы и русские».

При дальнейшем изложении этого разговора можно отказаться от сослагательного наклонения, поскольку он действительно состоялся. Кимброу пересказал его сам, а именно — во время той беседы с Шефольдом, когда ему пришлось признаться, что полк после переговоров с дивизией отказался принять план Динклаге. «Вы ведь знаете, что я дружен с майором Уилером. Он был вместе со мной у полковника. Когда мы вышли, он сказал мне: «Послушай, Джон, ты делаешь ошибку. Ты воображаешь, будто мы находимся здесь для того, чтобы освободить немцев или кого-то еще от этого монстра». Он начал доказывать мне, что мы, американцы, находимся в Европе не потому, что какой-то европейский народ выбрал себе в качестве формы государственного правления диктатуру. Я перебил его и сказал, что этого я никогда и не предполагал. Он был весьма удивлен и спросил меня, как я себе представляю, почему мы здесь. Я сказал: «Потому что нам доставляет удовольствие вести войну».— «Это, конечно, чепуха»,— сказал он. И снова доказал мне, что он профессор по средневековой немецкой литературе. «Мы здесь потому, что мы римляне двадцатого столетия,— сказал он.— Мы не такие утонченные, не такие образованные, как греки, которых мы защищаем, но мы без сомнения сумеем воздвигнуть защитный вал». Я спросил, кто те варвары, против которых он собирается воздвигать вал, и он тут же ответил: «Русские».

«Теперь у меня появилась еще одна причина считать, что нам не следовало приходить сюда»,— сказал Кимброу Шефольду.

К вопросу о прилагательных

Из разговора между Венцелем Хайнштоком и Кэте Ленк.

Когда он объяснил ей теорию империализма, она возразила:

— Но здесь что-то не так. Капиталистические государства сегодня объединились с Советским Союзом, чтобы разбить Гитлера. То есть: монополистический капитализм вместе с социализмом против фашизма, который, по твоим словам, есть не что иное, как форма государственного правления, к которой прибегают монополии, когда начинается экономический кризис.

— Эта война,— сказал Хайншток,— война душевнобольного. Гитлер стал непригоден для капитализма. Он дискредитирует буржуазный общественный строй, слишком обнажает его основы.

Кэте Ленк была учительницей немецкого языка, последнее место ее работы — гимназия им. Регино в Прюме. Ее шокировало слово «непригоден».

— Ты имеешь в виду «невыносим»,— сказала она.

— Можно и так,— сказал он раздраженно.

— Это большая разница,— сказала она,— считают ли кого-то непригодным или этот кто-то стал невыносим. Для моего отца, например, Гитлер был невыносим.

Ее отец сумел даже сделать так, что ее освободили от дежурств в «Союзе германских девушек», позднее он посоветовал ей как-нибудь увильнуть от вступления в нацистский «Студенческий союз». Он был

агентом фирмы, производившей металлообрабатывающие станки, то есть человеком, которого сама профессия заставляла прислушиваться к тому, что говорят вокруг, приноравливаться к разным людям, проявлять способность к взаимопониманию не только на словах, но и на деле. При этом он, собственно говоря, не отличался терпимостью; у Кэте он сохранился в памяти скорее как строгий, суховатый, полный скепсиса.

Когда Кэте вспоминала своих родителей, ей трудно было представить себе, что действия главного монстра обнажали основы мышления обыкновенных бюргеров.

Стратегический этюд

— Как бы то ни было,— заметил Хайншток, выслушав рассказ Шефольда о разговоре Кимброу с Уилером — или заканчивая свою дискуссию с Кэте по поводу тезиса Ленина об империализме? — как бы то ни было, американцы вступили в войну только потому, что не хотели, чтобы русские одни побили Гитлера.

Не лезь в чужие дела

Инстинктивно отвергая фантазии Черчилля по поводу того, как бы он стал себя вести, если бы был немцем, Кимброу исходит вовсе не из личных соображений. Среди его предков нет немцев. О немецкой истории и культуре или антикультуре он знает мало. Его фамилия указывает на то, что он выходец из шотландских переселенцев.

Маленький городок Фарго находится, как уже отмечалось, на юге штата Джорджия. Штат Джорджия принадлежит к южным штатам США. Этой своей «принадлежностью к южным штатам» Кимброу мотивировал, почему, с его точки зрения, американцам «не следовало приходить сюда».

— Мы, жители южных штатов, считаем, что США не должны позволять втягивать себя в мировые распри,— сказал он однажды Шефольду.— Мы изоляционисты. Теперь мы очень разочарованы тем, что Рузвельт впутал нас в эту войну.

— А я не разочарован,— сказал Шефольд.— Без Рузвельта Гитлер дожил бы до девяноста лет.

— Избавляйтесь от своего Гитлера сами! — сказал Кимброу не грубо, но с холодностью юриста.

Шефольд не мог понять, почему именно этот изоляционист был готов пойти на определенный риск ради затеи Динклаге, а вышестоящие офицеры, которые, вероятно, проявляли бóльшее понимание военных целей Рузвельта, начисто отклонили план майора.

К вопросу о Шефольде

«Битва в Арденнах была выиграна и врагу нанесено тяжелое поражение — благодаря превосходной работе штаба, которая на поле боя была подкреплена способными военачальниками, благодаря героической обороне, особенно под Сен-Витом и Бастонью, и благодаря быстрому приведению в боевую готовность и подтягиванию резервов. Все эти деяния уже воспеты и останутся в военных анналах, но срывали планы врага, замедляли темпы их осуществления (от чего противник уже не мог оправиться) безымянные люди, безымянные группы, часто оказывавшиеся в районе действий случайно и не имевшие твердых целей (stragglers [1]), люди, чьи дела навсегда останутся безвестными». (R. W. Thompson, Montgomery the Field Marschal. London, 1969, S. 244.)

[1] Солдаты, отставшие от своего подразделения *(англ.)*.

Майор Динклаге

Краткая биография

Йозеф Динклаге, род. в 1910 году в Меппене (на Эмсе), единственный сын владельца кирпичного завода Йозефа Динклаге и его жены Амалии, урожд. Виндхорст, католического вероисповедания, окончил гимназию в Меппене (1929), с 1930 по 1936 год учился в Гейдельберге, Берлине, Оксфорде (политэкономия, языки), некоторое время работал в промышленности (практика в качестве экономиста на предприятиях фирмы «Демаг», Дуйсбург). После обстоятельных бесед с отцом, который благодаря опыту, почерпнутому в своей отрасли (конъюнктура, связанная с сооружением «Западного вала»), мог информировать его о подготовке к войне, 28-летний Йозеф Динклаге решает стать офицером, чтобы, как он говорит, «пережить национал-социализм, по возможности не запачкавшись». (Динклаге-старший, католик строгих правил, отговаривает его от этого. «Отправляйся лучше снова в Оксфорд! — говорит он.— Или, еще лучше, в США! Я уж позабочусь, чтобы здешний сброд не стал мне из-за этого поперек дороги». Но сын не принимает этого предложения.) С 1938 года различные военные школы, к началу войны — фенрих, весной 1940 года лейтенант (Верхнерейнский фронт), в 1941—1942 годах обер-лейтенант и капитан (Африка), в 1943 году Рыцарский крест и присвоение звания майора (Сицилия), с осени 1943 по осень 1944 года в оккупационных войсках в Париже и Дании.

Не женат, но скорее из-за отсутствия возможностей вследствие слишком частой перемены мест. В семнадцать лет у него начинается любовная связь с замужней крестьянкой из графства Бентхайм, которая старше его на пять лет; длится эта связь три каникулярных лета. Воспоминания о ней мешают ему завязывать обычные отношения с сокурсницами, особенно в первые университетские годы. Случайные связи, иногда серьезные увлечения, но ненадолго.

Ростом Динклаге — 1 метр 72 сантиметра, то есть чуть ниже среднего; он отличается стройностью, главным образом благодаря тому, что у него нет ни грамма жира («жилистый»). Темно-русые, гладкие волосы, серые глаза, прямой нос с широкой переносицей, но тонкими ноздрями, рот удлиненной формы, глаза, нос и рот пропорционально распределены на худом, покрытом ровным загаром лице. К еде равнодушен, напитки и курево (сигареты) — в строго дозированных количествах.

Отдельные моменты жизни

Полого спускающиеся к Темзе meadows [1]. Вечера за чтением в Bodleian Library [2]. Дискуссии о возникновении социального продукта, шумные споры о Кейнсе в семинаре профессора Тэлбоя, пока свет за окнами Мертонского колледжа превращается из серо-зеленого в серо-голубой. Если бы он вернулся в Оксфорд, англичане в начале войны интернировали бы его на какое-то время, потом отпустили бы. Он мог бы в спокойной обстановке закончить свою работу об изменении

[1] Луга *(англ.)*.

[2] Бодлианская библиотека — название библиотеки Оксфордского университета.

функции денег в XVI веке. Тишина, шуршание бумаги, безмолвие размышлений, перезвон колоколов над Главной улицей.

Все это он мог себе представить. И не мог себе представить. Глядя из окна кабинета, в котором они беседовали с отцом, на печи для обжига кирпича, он сказал: «Лучше я стану офицером» — и попытался при этом продемонстрировать благоразумие: «Уж если военным, то лучше офицером, чем серой скотинкой».

Восемь лет спустя, в Винтерспельте, Кэте Ленк сказала ему, что ей хочется в Линкольншир. Простота и решительность, с какой она это произнесла, вдруг заставили его подумать, что отказ от Англии был величайшей ошибкой его жизни. Она не объяснила, почему это обязательно должен быть Линкольншир, рассказала только, как она наткнулась на название этой английской местности. Поскольку он однажды совершил экскурсию в Линкольншир, он начал рассказывать, как выглядят эти места, но оборвал свой рассказ, заметив, что ей это неинтересно.

— Мне надо было поселиться в Линкольншире и ждать там тебя,— сказал он.— Ты бы приехала.

Она ничего не ответила, не дала понять, хотелось ли и ей встретить его там.

— Но если бы я остался в Англии,— возразил он себе, возвращаясь к логике,— я не встретил бы Кэте Ленк.

Это переплетение случайностей предстало перед ним в тот момент — вопреки его обычным убеждениям — как сама судьба.

Заметив, что на Кэте, хотя она и ненавидела войну, произвел впечатление его Рыцарский крест, он сказал:

— Северо-западнее Сиракуз нас атаковала крупная танковая часть американцев. Я опять находился на левом фланге.— Он помолчал.— Я всегда оказываюсь на левом фланге, левый фланг преследует меня... Собственно, эта танковая часть была настолько мощная, что оставалось только убираться восвояси. Но в моей роте был тогда взвод пулеметчиков, и эти парни просто остались в своих окопах и нанесли немалые потери сопровождающей пехоте, так что танки вдруг остановились и потом повернули назад. Собственно, надо было вручить Рыцарский крест командиру этого взвода пулеметчиков, некоему оберфельдфебелю Бендеру. Я пришел на позиции этого взвода, когда самое страшное было уже позади, и мог только поздравить Бендера. Но в нашей лавке награды всегда получает кто-нибудь из начальства. Когда я потребовал орден для Бендера, командир батальона устало отмахнулся. «В районе операции,— сказал он очень высокомерно,— ваш левый фланг, господин Динклаге, отбил чрезвычайно опасную атаку». Вот история, как я получил эту железяку,— закончил Динклаге свой рассказ.— У вас, штатских,— добавил он,— совершенно неверные представления о наградах. Мне выделяют каждый квартал столько-то Железных крестов на батальон, и, конечно, я раздаю их в первую очередь унтер-офицерскому составу, потому что мне надо поддерживать в них боевой дух. Вот так какой-нибудь унтер-офицер с кухни становится кавалером Железного креста 1-й степени.

— Я, будучи человеком сугубо штатским,— сказала Кэте,— искренне желаю, чтобы награждали не снайперов, а поваров.

Динклаге не переставал удивляться тому, что всегда — вот и теперь, в Винтерспельте,— ему доставался левый фланг.

Что касается политики, то Динклаге никогда не замечал за собой левых завихрений. Во время пребывания в Оксфорде он, насколько

мог, избегал дискуссий о войне в Испании, которая тогда (зимой 1936/37 гг.) достигла кульминации. Он настолько был далек от леваков, что даже защищал Советский Союз, когда английские студенты критиковали его за то, что он не ввел в Испанию свои войска, как Германия и Италия, а только поставлял оружие.

Кстати, об Эмсе: конечно, Динклаге очень оживился, когда Кэте рассказала ему, что во время своего путешествия на запад познакомилась и с долиной Эмса, даже «плутала», как она выразилась, по Буртангскому болоту.

— В Меппене вы тоже были? — спросил он. (Разговор происходил на очень ранней стадии их знакомства, когда Динклаге и Кэте еще не были на «ты».)

Она кивнула.

— Мне кажется, я была всюду,— сказала она.

— Если вы из Меппена направились в сторону болот, то вам должны были броситься в глаза большие кирпичные заводы. У дороги на Везуве.

Она пожала плечами. Возможно, она шла по другой дороге.

— Они принадлежат моему отцу,— сказал он.— Жаль, что мы познакомились только теперь. Вы могли бы навестить моих родителей, пожить у них.

Она не знала, что ответить. Если она не ошибалась, ей было сделано предложение, первое из двух предложений, которые ей сделал Динклаге, как она поняла потом. Первое было сделано слишком рано, второе — слишком поздно.

— Меппен — красивый город,— сказал он.— Вы видели ратушу и церковь при гимназии? Одна из самых изящных архитектурных групп в Северной Германии!

Она не решилась сказать, что названия вроде Меппена (и других городов, где она останавливалась на своем пути) вызывают у нее в памяти разве что котлеты, слепленные из остатков овощей, манную похлебку, хлеб со свекольной ботвой, пиво, эрзац-кофе, затхлые комнаты, стены которых выкрашены бурой или зеленой масляной краской, безмолвные вечера, когда она слишком рано ложилась спать.

Зато она рассказала ему о тех странных местах, возле которых оказалась, блуждая по болотам вдоль Эмса. Там она натолкнулась на вооруженные патрули, которые проверили ее удостоверение и без указания причин заставили повернуть обратно, по той же дороге, по какой она пришла. Когда она рассказала ему, как используют его родные места, он, словно заведя своеобразную литанию, принялся перечислять:

— Бергерское болото, Эстервеген, Ашендорфское болото, Нойсуструм [1],— и закончил все словом «Аминь», но оно прозвучало как проклятие.

Африка, Сицилия, Париж произвели на него оглушающее действие. Хотя он и собирал впечатления, но запрещал себе заниматься туризмом. В офицерских экскурсиях на Киренаику, в Сегесту или Шартр он не участвовал, предпочитал оставаться в палатке или казарме, при разговорах на темы археологии или истории искусств резко вставал

[1] Названия концлагерей в районе Эмса, где нацисты заставляли заключенных осушать болота.

с места; когда при нем рассказывали становившиеся все более плоскими анекдоты о «бюро путешествий под названием «Германский вермахт» — даже не улыбался. Он полностью сосредоточился на службе. Однажды в Африке командир батальона, наблюдавший за ним в течение целого вечера в казино, сказал ему:

— Знаете, лейтенант Динклаге, вы не очень-то умеете наслаждаться жизнью!

В один прекрасный день, после сражения под Бенгази (5 февраля 1941 года, он запомнил дату), случилось так, что он вдруг не смог удержаться от смеха, наблюдая за тем, как несколько солдат из его роты, лежавшие на песке, окутанные пылью, которую взвихрили танки, не сразу смогли подняться и потом долго отряхивали песок с туник. Он пришел в себя только тогда, когда заметил, что солдаты, стоявшие рядом, растерянно смотрят на него, решив, что он смеется над павшими. Этот бой вовсе не был для него боевым крещением, он давно привык видеть мертвых; но его тогда потрясло внезапно возникшее чувство нереальности происходящего. Позднее приступы такого рода возникали по более безобидным поводам и чаще всего сопровождались ощущением déjà-vue [1]. Он философски проанализировал свое состояние и пришел к выводу, что никогда не испытывал приязни к той идеалистически-романтической системе мышления, которая принимает сущее за мираж. Он всегда был реалистом.

В Париже он посоветовался с военным врачом, о котором шла молва, что это человек сведущий и в психиатрии. При виде Рыцарского креста Динклаге врач сперва был крайне осторожен, но, прощупав своего собеседника, в конце концов все же соблаговолил объяснить:

— Конечно, у вас премиленький неврозик, господин камрад. Но сегодня он скорее является признаком здоровья. Меня больше тревожат те господа, у которых его нет, потому что все, что с ними происходит, они считают абсолютно нормальным. А душевные травмы, к которым это приведет? Нет уж, увольте!

Динклаге понял: врач сообщил ему, что он страдает коллективным неврозом. Они договорились о следующей консультации, но Динклаге больше не пошел, потому что врач на прощание сказал ему:

— Если позволите, дам вам пока один совет: найдите себе симпатичную приятельницу, если вы этого еще не сделали!

Значит, он явно недооценивает мой случай, подумал Динклаге. Он не знал, что д-р К. после его ухода записал в истории болезни: «Шизофренические сдвиги с 1941 г.».

Судя по всему, это был неверный диагноз. Галлюцинации, о которых рассказал врачу Динклаге, не свидетельствовали о начинающемся расстройстве психики. Динклаге был не шизофреником, а шизоидом, то есть просто чрезвычайно впечатлительным человеком.

Против артроза тазобедренного сустава, который тоже начался в Африке, Динклаге вот уже несколько недель принимал новый кортикоидный препарат, который опробовал на нем дивизионный врач д-р Х. Препарат помогал ему, хотя бы днем избавляя от болей. Он избегал принимать свое лекарство в канцелярии батальона, чтобы не просить для этой цели стакан воды; впрочем, он знал, что фельдфебель и писарь замечали, когда он на кухне наливал воду в стакан и шел с ним наверх, в комнату, где распорядился поставить себе походную кровать.

Всякий раз, когда он глотал свои таблетки в одиннадцать часов утра, до него доносился отчетливый гул самолетов. Динклаге подходил

[1] Уже виденного *(франц.)*.

к окну, открывал его. Авиаэскадры летели на большой высоте к востоку. Динклаге пытался подсчитать, сколько эскадрилий истребителей-перехватчиков понадобилось бы, чтобы рассеять такие мощные соединения бомбардировщиков. Если бы у нас еще были истребители, думал он, они должны были бы перехватить американцев уже над Бельгией. А так американцы позволяют себе летать без прикрытия истребителей. Динклаге не испытывал волнения, размышляя о состоянии дел в небе, потому что уже пережил все это в 1943 году в Сицилии и в начале нынешнего года во Франции. Он только удивлялся тому, что слова «если бы у нас еще были истребители» и имя «Герман Геринг» все еще вызывали у него ожесточение. «И это вместо того, чтобы радоваться всему этому чертовскому хаосу,— думал он.— Уже само по себе это крошечное слово «мы» здесь абсолютно неуместно. Я должен был бы совершенно автоматически думать: «У них нет больше истребителей».

Полугородской дом на одну семью, покрытый серой штукатуркой и безликий среди выбеленных крестьянских домов и сараев из грубого бутового камня деревни Винтерспельт, был реквизирован и превращен в штаб-квартиру еще той частью, которую они сменили. Эта часть, входившая в 18-ю моторизованную дивизию, проделала весь путь отступления через Северную Францию и Бельгию, пока в начале сентября не остановилась буквально в первой же немецкой деревне у границы. По каким-то причинам американцы их дальше не преследовали.

— Я полагаю, у них трудности со снабжением,— сказал майор, которого сменил Динклаге.— А ведь они могли бы гнать нас до самого Рейна — настолько мы выдохлись.

И он начал рассказывать о котле под Фалезом, из которого 18-й моторизованной еле-еле удалось вырваться.

Он был в мрачном настроении, потому что его часть, как он утверждал, конечно ничего точно не зная, отправляли в Россию. Он поздравил Динклаге.

— Здесь — как осенью тридцать девятого. Вы где тогда были?

— На Верхнем Рейне.

— Ну, тогда вы все знаете. Немножко разведки, время от времени перестрелки, а в остальном? Смешная тогда была война, вы не находите?

Динклаге согласился с ним.

— Меня бы не удивило,— сказал майор Л.,— если бы война кончилась так же смешно, как началась. Если вам повезет, господин камрад, вы еще переживете здесь перемирие.

Динклаге посмотрел на него так, словно перед ним был сумасшедший,— и переменил тему.

— Я не думаю,— сказал он,— что вас отправят в Россию. Насколько я знаю, ваша дивизия останется в составе пятьдесят третьего армейского корпуса.

Динклаге ничего не знал, он говорил наугад; просто он хотел сказать что-то приятное. Когда его предсказание сбылось и 18-я моторизованная отправилась не в Россию, а в Кобленц (приведение в боевую готовность для операции, которая тогда, из соображений маскировки, еще называлась «Вахта на Рейне»), майор Л. несколько дней подумывал о том, не донести ли на Динклаге за безответственное разглашение известного ему, очевидно, приказа об операции (нарушение только что снова подтвержденного приказа фюрера за № 002252/42 о соблюдении секретности), но потом решил этого не делать, поскольку он, во-первых, боялся, что Динклаге в своем ответном донесении будет всячески

обыгрывать легкомысленно употребленное им слово «перемирие», во-вторых, был от природы человеком, любящим покой.

Когда Динклаге в беседе с другими офицерами иногда говорит о своих солдатах: «Моим людям нужно улучшить продовольственное снабжение» или что-то в этом роде, притяжательное местоимение звучит в его устах так, словно он употребляет его в кавычках. Командир полка, все замечающий полковник Гофман, уже однажды отчитал его за это. («Я запрещаю вам этот тон, господин Динклаге!» — «Слушаюсь, господин полковник!» — «Эти люди — действительно ваши люди. Я требую, чтобы вы это поняли!» — «Я исправлюсь, господин полковник».)

Слово «враг» Динклаге употребляет так же осторожно и с сомнением, как и притяжательные местоимения. Ему нравится, что полковник Гофман никогда не говорит о *враге*, а всегда лишь о *противнике*, кроме тех случаев, когда не может обойтись без технических обозначений.

— Вам достаточно знать обстановку у противника в непосредственной близости от вас,— говорит он, например, майору Динклаге, когда тот начинает критиковать военно-воздушные силы.— Ваши люди находятся на восточных высотах над долиной Ура, американцы — на западных. Вам отнюдь не возбраняется установить, каковы силы и точные позиции противника. Я решительно настаиваю на том, чтобы вы своих людей в этом смысле подстегнули.

А как раз в этом смысле Динклаге не подстегивал «своих» людей; учитывая позицию, занимаемую его батальоном (передний край обороны был отделен от противника рекой), он считал деятельность разведывательных групп для выяснения сил противника рискованной и бессмысленной игрой в индейцев; иногда он посылал разведгруппу в плохо просматриваемую лесистую долину, которой пользовался Шефольд, когда хотел перейти линию фронта.

— Не стоит ли взорвать виадук под Хеммересом, господин полковник? — спросил он.

— Я предлагал это в штабе дивизии,— сказал Гофман,— есть категорический контрприказ армейского корпуса. Эта штука должна остаться.

— Ага,— сказал Динклаге.

Майор мог позволить себе эту вольность, придав двум гласным, разделенным одним согласным, насмешливый, даже почти презрительный оттенок, потому что тон, каким говорил полковник, не вызывал сомнений относительно того, что он думал об оперативной идее, благодаря которой должна была уцелеть «эта штука». Такое совпадение мыслей заставило Гофмана резко повернуть разговор.

— Вы, кажется, иногда забываете, что вам запрещено делать выводы, господин Динклаге,— сказал он и отвернулся.— Кроме того,— добавил он,— я радуюсь каждому уцелевшему мосту.

К вопросу о совершенном Динклаге нарушении дисциплины, которое имел в виду полковник Гофман:

«Согласно приказу господина начальника главного штаба группы армий «Запад» унтер-офицер Рудольф Дрейер из оперативного отдела штаба сегодня был проинструктирован относительно работы по переписке, которую ему поручено было осуществить. Унтер-офицер Дрейер был при этом категорически предупрежден, что он не

имеет права разглашать то, что услышит или будет переписывать, а также делать выводы из услышанного или переписываемого». (Подполковник генштаба В. Шауфельбергер. Соблюдение секретности, дезинформация и маскировка на примере немецкого наступления в Арденнах в 1944 г. Цюрих, 1969, стр. 30.)

— У меня есть донесения,— сообщил Динклаге,— что отдельные американцы спускаются к Уру и ловят там форель.

— Гм! — Гофман повернулся и пристально посмотрел на него.— И как реагируют ваши люди?

— Мне кажется, им было бы нелегко обстрелять людей, которые удят рыбу.

— Ну и порядки! — Полковник даже хихикнул от возмущения.— Господин Динклаге,— сказал он,— самое позднее послезавтра батальон вручит мне несколько форелей. И тогда все это безобразие, конечно, прекратится!

— Ручаюсь, господин полковник,— сказал Динклаге.

Его эта рыбная ловля действительно раздражала. Иногда он всерьез подумывал о том, чтобы по радио как следует отчитать американского офицера, который позволял своим людям такую расхлябанность. (Полку был придан взвод связи, который только и делал, что засекал частоты американцев. Но в октябре 1944-го на Западном фронте были строго запрещены переговоры по радио.)

— Вот, пожалуйста,— сказал Хайнштоk, когда Кэте рассказала ему о желании Динклаге вступить в контакт с американским командиром, чья часть располагалась на противоположной стороне.— Этот господин все еще мечтает о войне, которую ведут одни офицеры.

Но он удивился, что Динклаге вообще обсуждает военные проблемы с женщиной. Возможно, подумал он, это просто трюк, чтобы заполучить Кэте. Ур был сказочной рекой для ловли форели. Судя по всему, война очень пошла на пользу форели в Уре. Рыболовы 3-й роты — большинство солдат 106-й пехотной дивизии были родом из Монтаны, края сверкающих горных рек — возвращались с сенсационным уловом. Кимброу завидовал им. Хотя он и вырос в деревне, Кимброу не был рыболовом; отец огорчился, когда понял, что мальчика невозможно научить ловить рыбу.

Когда удильщики его роты в конце концов все же попали под сильный обстрел, Кимброу почти испытал облегчение; он выстроил роту и запретил в дальнейшем ходить на ничейную землю в долине Ура, кроме как для боевых действий, которые он распорядится провести. Ему предстояло позаботиться о том, чтобы история с рыбной ловлей не получила огласки. Командир батальона майор Картер подверг бы его жесточайшей критике и заставил бы отвечать за то, что его солдаты из-за халатности, которую он, Кимброу, должен был предотвратить, попали под обстрел. Так как никто не был ранен, он надеялся, что это дело удастся замять.

Райдель был вне себя, когда его не взяли в группу, которая получила задание изгнать американских рыболовов с берега Ура. Его рапорт отклонили. Он подал жалобу. Фельдфебель Вагнер пожал плечами и сказал:

— Очень сожалею, Райдель, но на сей раз у вас ничего не выйдет.

И потом Вагнер, к безмерному удивлению Райделя, выбрал самых больших болванов в части (3-й взвод 2-й роты), сплошь зеленых юнцов — и среди них Борека,— которые в жизни еще не видали движущейся цели.

— Задание для новобранцев, чтобы могли проявить себя,— сказал Вагнер, несколько смущенный.— Приказ из батальона.

Когда молокососы вечером вернулись на квартиру, Райдель спросил:

— Ну, скольких уложили?

Он слышал пальбу, стоя в своем окопе,— он был очень зол, что ему не дали участвовать в стрельбе по мишеням. Вместо него выбрали этих болванов!

— А мы не знаем,— ответил один из них.

По их физиономиям он понял, что ни одного попадания у них не было.

Шефольд обрадовался, когда эта рыбная ловля на Уре кончилась. Он привык рассматривать долину, где находился Хеммерес, как нейтральную зону — «моя нейтральная полоса», как он говорил Кимброу,— и потому относился к американским солдатам, которые стояли недалеко от деревни среди растущего по берегам кустарника и ловили рыбу, с неодобрением, как к воюющей стороне, вторгшейся в Швейцарию хотя бы и для того, чтобы заниматься браконьерством, вылавливая из воды всякую живность. Они нарушали его мир. Теперь они исчезли, и двор и луга казались еще более пустынными, чем обычно, под осенним солнцем, падавшим в долину, которую обступали вокруг тенистые склоны. Только из отверстий туннеля по обеим сторонам виадука давно заброшенной железной дороги Сен-Вит— Бургрейланд, которая пересекала в северной части долину, иногда показывались, словно кукушки из дверок открывающихся старинных часов, крошечные фигурки людей в мундирах, слева — в хаки, справа — в серо-зеленом, показывались и снова исчезали в черноте.

Майор Динклаге проявляет большой интерес, когда Кэте Ленк рассказывает ему, что Венцель Хайншток — марксист. Он очень хотел бы познакомиться с ним, но по соображениям личного характера, а также по причинам, которые кроются в технике политической подпольной работы, встреча Динклаге с Хайнштоком так и не состоится. Хайншток не в восторге от того, что Кэте вообще назвала майору его имя. «Ни одно звено в цепи,— сказал он,— не должно знать ничьих имен, кроме тех, с кем оно непосредственно связано. Ну, да ты, конечно, об этом понятия не имела».

Поскольку первая половина студенческой жизни Динклаге пришлась еще на период Веймарской республики—об Оксфорде и говорить не приходится — и поскольку он изучал политэкономию, он занимался, конечно, и изучением марксизма.

Он не обманывал себя относительно заинтересованности крупных предпринимателей в большом бизнесе, связанном с войной. (Его отец был в этом смысле белой вороной. Да и кирпичные заводы семьи Динклаге, видит бог, не относятся к крупной промышленности.) И все же Динклаге не считал, что война, подобная этой, входила в намерения предсказанных Марксом монополий. (С очень актуальным развитием Марксовой теории о накоплении капитала в ленинских тезисах об империализме ему уже не довелось познакомиться.) При всем своем потрясающем уме господа, которые ими правили,

были столь недалекими, что воображали, будто может существовать военная конъюнктура без войны. Они хотели съесть пирог и в то же время оставить его целым. Но если не считать такого рода субъективного алогизма, мировая война—так считал Динклаге — не соответствовала интересам и тенденциям крупного капитала. Им скорее соответствовала — если уж мыслить марксистскими категориями — становившаяся все более утонченной эксплуатация, так сказать мировая культура эксплуатации, мирная жизнь в рабстве, исполненном наслаждения, при высокой свободе мысли, но никак не катастрофа.

Но если эта война возникла не в результате якобы автоматически действующих законов экономики, то в результате чего же? Динклаге, перед которым вставал этот вопрос, не искал глобального ответа, он отступил: человек — это существо, воплощающее одновременно детерминированность и случайность. Он — плод происхождения, среды, воспитания, биологической конституции и заложенных в нем физических комплексов. Внутри этого заранее заданного сочетания факторов господствует чистая случайность, больше того: сами факторы — результат случайных событий. То, что какой-то мужчина двести лет назад встретил какую-то женщину, именно эту, а не другую, было случайностью, но оказало влияние на жизнь потомка двести лет спустя. Но об этом еще можно было спорить, а вот то, что появление фигуры, подобной Гитлеру, было результатом возведенного в квадрат нагромождения наследственных данных и слепого господства того вида случайностей, из которых складывается мировая история, не вызывало ни малейшего сомнения. Но как следовало именовать то бытие, в котором перепутались, мрачно переплелись постоянные законы природы и чистый произвол? Оно именовалось хаосом. Динклаге сознавал существование хаоса. Только хаос мог объяснить ему, откуда берутся монстры.

Конечно, даже среди хаоса и монстров существовали этические решения, выбор между добром и злом, совесть. Они были последним, что сохранил Динклаге из своего католического воспитания. По-видимому, насмешливо думал он, это тоже связанный с долиной Эмса условный рефлекс.

Однажды с ним приключилось следующее: присутствуя вместе с другими офицерами на обсуждении обстановки, он указательным пальцем правой руки, которой крепко ухватился за сиденье (потому что его мучили боли), незаметно для других написал на внутренней стороне деревянного стула какое-то слово, возникшее в разговоре, ну, например, слово «батальон». (Какое это было слово, значения не имеет.) Он это делал уже не раз, и это стало у него чуть ли не манией — писать слова, всегда прописными буквами и так, чтобы другие не могли понять движения его пальца; но на этот раз он вдруг почувствовал уверенность, что то, что сейчас происходит, не исчезнет с течением времени, даже в бесконечности. Невозможно было представить себе, что всякий след надписи и той энергии, что ее создала, будет уничтожен навсегда и забыт. Еще во время обсуждения он записал дату и время (3 октября 1944 г., 11.20) на бумажке, рядом то слово (батальон?) и сунул бумажку в левый нагрудный карман своего мундира.

В следующую ночь ему снилось, что он оказался у рыночной площади очень красивого средневекового города. На заднем плане выделялись дома, полные таинственной величавости и значения, с уложенными наискось решетчатыми балками — темно-коричневая прислонилась к белой: ему снились цвета. Когда он хотел выйти на площадь, чтобы ближе рассмотреть ее, двое вооруженных солдат в

мундирах какой-то современной, но неизвестной армии с винтовками наперевес преградили ему путь. Ему пришлось удовольствоваться малым — пройти по краю площади, где расположились кукольники со своими театрами, на сцене которых полно было марионеток и всякой мишуры.

Во время ночных контрольных обходов, которые Динклаге никогда не передоверял командирам рот, он, поднявшись в сопровождении унтер-офицера и связного на верхушку холма, останавливался и осматривал театр военных действий. Ночи были все время ясные, небо усеяно звездами. На его участке все было спокойно, и на расположенной к югу территории соседней дивизии тоже стояла тишина и ничего не было видно. Где-то поблизости вполголоса переговаривались в окопах двое солдат. Только с севера, из-за Шнее-Эйфеля, до них доносился грохот артиллерии и виднелись лучи света — что это было? Отблески пожаров? Лучи прожекторов? Сброшенные с самолетов сигнальные ракеты, которые двигались в небе и рассеивались, превращаясь в призрачные отсветы? Как сообщали, какая-то американская часть медленно пробивалась там к дамбе, перегораживающей долину Урфта. Здесь же, где находились Динклаге и его подчиненные деревья и лес были окутаны непроглядной тьмой. Порой, стоило Динклаге вспомнить, что здесь в черноте ночи, бесшумно или под грохот артиллерийской канонады, противостоят друг другу два огромных войска, ему начинало казаться, что не только разведка, осуществляемая подразделением вопреки желанию полковника Гофмана весьма вяло, но и вообще весь комплекс присущих войне, предписываемых уставом действий есть не что иное, как гигантская игра в индейцев. Сражения мальчишек во дворе кирпичного завода — и ничего больше!

Впрочем, это не помешало Динклаге устроить такой разнос ближайшему часовому, у которого он, подойдя ближе, заметил вспыхнувший огонек спички, что у того, как одобрительно заметил позднее унтер-офицер в разговоре со связным, душа в пятки ушла.

Когда после такого инспектирования Динклаге возвращался на квартиру, он иногда заходил в свою рабочую комнату, убеждался, прежде чем зажечь свет, что маскировочное жалюзи на окне спущено; закрывал дверь, на которой со стороны канцелярии штабс-фельдфебель Каммерер велел повесить картонную табличку с надписью «Командир»; садился за письменный стол; раскладывал карты Германского рейха, большие листы 107а и 119б, изданные в 1941 году имперским ведомством топографической съемки в Берлине (так называемые карты генерального штаба), а также подробную бельгийскую топографическую карту (масштаб 1 : 10 000) района южнее Сен-Вита и с помощью карманного фонаря, так как лампа под потолком была не лучше коптилки, в который раз изучал положение своего батальона. Батальон снова стоял на крайнем левом фланге дивизии, на участке, который был дальше всех выдвинут на запад. Батальон Динклаге находился в мешке, образованном петлей реки Ур; он был почти отрезан от дивизии густо поросшей лесом и абсолютно непроходимой с севера на юг долиной речки Ирен; во всяком случае, связь поддерживалась только через связных и иногда через разведгруппы. Связь с соседней дивизией на юге также была слабой. Всякий раз, когда Динклаге снова убеждался в том, насколько изолирована его часть, кончик карандаша, который он держал в правой руке, начи-

нал кружить в конусе света от карманного фонаря вокруг хутора Хеммерес, расположенного в долине реки Ур. Стоит какой-нибудь достаточно сильной американской части переправиться, например, по еще уцелевшему железнодорожному виадуку у Хеммереса через Ур, миновав деревню Эльхерат, достичь дороги Сен-Вит — Пронсфельд и по ней продвинуться на юго-восток, батальон легко может быть отрезан и уничтожен или, если он, Динклаге, это допустит, взят в плен.

Во время одного из таких (или многих?) ночных бдений над картами, когда при свете карманного фонарика и тусклой лампы, мучимый болями, потому что он стоял в крайне неудобной для его болезни позе — опираясь на ногу, непрерывно вертя карандаш,— Динклаге, видимо, и принял решение сдать батальон без боя; притом не только в случае подобной американской операции, но даже не ожидая этой операции и игнорируя тактические соображения, связанные с проблемой обороны, самому сдать американцам батальон.

Размышляя над тем, каким образом он мог бы претворить свою идею в действие, Динклаге наталкивается на две непреодолимые трудности:

1. Мысль о том, что он сам в очень простой, но почетной — ибо это соответствовало старым правилам войны — роли парламентера, в сопровождении унтер-офицера с белым флагом перейдет через реку Ур и появится перед линией обороны американцев, следовало отвергнуть с самого начала. Как только он обнародовал бы свое намерение, штабс-фельдфебель Каммерер с помощью командиров рот тут же арестовал бы его и позвонил в полк. Очень скоро прибыло бы подразделение полевой полиции, а с ним лично полковник Гофман, для которого с точки зрения репутации полка было бы очень важно самому руководить первым допросом и без промедления передать Динклаге полевому суду, который рассматривает подобные дела. Только тем обстоятельством, что 416-й дивизии по каким-то причинам — видимо, просто из-за нехватки кадров — не были приданы нацистские политофицеры, можно было бы объяснить то, что дело майора Динклаге дошло бы до военного суда.

2. Абсолютно нереальной оставалась и возможность тайно связаться с противником, хотя Динклаге эту мысль полностью не исключал.

Прежде всего захватить врасплох целый батальон, почти полностью укомплектованный по нормам военного времени (примерно 1200 человек), для одного-единственного человека, пусть даже командующего им офицера, было почти неразрешимой оперативной задачей. Из четырех рот батальона две (первая и рота снабжения) находились в Винтерспельте, две другие в деревнях Вальмерат и Эльхерат, откуда они выставляли посты в тщательно продуманном Динклаге порядке — двумя линиями, расположенными уступом друг за другом. В день X (или в ночь X) Динклаге должен был бы под каким-то предлогом (но под каким?) отозвать главные силы, снять всех с постов и, по возможности безоружных, собрать в определенном пункте, где их легко было бы окружить. Впрочем, можно было неожиданно объявить ночью тревогу и провести учение с последующим смотром батальона, и, так как Динклаге предполагал у американцев интерес и способность к играм в индейцев, этот план, особенно если повезет, имел известный шанс на успех.

Но поскольку у Динклаге не было никаких способов вступить в контакт с противником, он не видел возможности реализовать свой план.

По тому, как Динклаге сформулировал этот вывод — он изложил свой план так, словно речь шла о математическом уравнении,— Кэте Ленк сразу поняла, что сдача батальона для него чисто абстрактная идея. Нельзя сказать, что он относился к ней несерьезно, нет,— он был занят ею столь же серьезно, как бывают заняты гипотезой, превратившейся в навязчивую идею. Кэте предпочла бы, чтобы в его речи время от времени вспыхивало волнение, ощущалось возбуждение, даже элемент авантюризма, потому что в конце концов и этому должно быть место, когда офицер, которому всего лишь 34 года, готовит смелую и внезапную военную операцию. Вместо всего этого она столкнулась лишь с холодной абстракцией.

— О,— сказала она,— если все дело в этом! Я знаю одного человека, у которого есть возможности установить связь с американцами. Человека, на которого ты можешь полностью положиться.

— Если намерения этого господина,— сказал Хайнштоk, когда Кэте посвятила его в план Динклаге,— не имеют никакой поддержки среди подчиненных, то ему лучше не лезть в это дело. Именно подобные ситуации всегда имела в виду партия, говоря об отсутствии опоры в массах.

Влияние своей акции на ход войны Динклаге предугадать не может. Он не знает, да ему и безразлично, используют ли американцы возникшую в результате захвата батальона брешь в линии фронта для общего прорыва или только перенесут вперед, через Ур, свою линию обороны, чтобы тем самым уменьшить давление на фланг своих войск в районе Шнее-Эйфеля, где, по мнению и Динклаге и Кимброу, они занимают неудачную позицию. Вследствие почти полного отсутствия воздушной разведки майор Динклаге так же мало знает о силе американцев и глубине их обороны, как и дивизия, армия, группа армий и командующий Западным фронтом.

В двенадцать часов пополудни

Может показаться, что, раскрыв план Динклаге, автор лишил повествование сюжетной пружины. Это совсем не так. В данном сочинении не придается никакого значения рассказу о том, удастся или не удастся (и если да, то как) майору Динклаге сдать американцам почти полностью укомплектованный по нормам военного времени немецкий батальон. Хотя местом действия здесь выбран действительно дикий в то время Запад, автор не решается превратить это повествование в вестерн. Не будет здесь и мрачного ангела, который в конце подходит к метафизическому негодяю и на полсекунды раньше того вытаскивает свой «Смит и Вессон».

Было бы прекрасно, если бы это чудовище война, это воплощение хаоса в конце концов оказалось распластанным на деревенской дороге близ Винтерспельта под удивленными взглядами освобожденного от него против собственной воли батальона; но, как известно, во время второй мировой войны и, быть может, всех войн, кроме тех, что велись ландскнехтами, никогда не случалось, чтобы командующий батальоном офицер сдал его врагу. Даже в случае неудачи такое событие было бы зафиксировано в военных архивах и стало бы общеизвестным, будучи настолько неповторимым с точки зрения военной истории, что о нем уже было бы написано множество книг, вероятно прежде всего союзниками.

Нельзя допустить, чтобы вымысел завел повествование так далеко. Достаточно будет игры в ящике с песком.

Пожалуй, проще всего было бы избавить это сочинение от петли вымысла, заявив: так как майора Динклаге не было, его пришлось придумать. Но лишь в том случае эта фраза обретет смысл, если перевернуть ее и начать с конца: поскольку Динклаге был придуман, он теперь существует.

Ведь повествовать — не значит набрасывать лассо авторского замысла на объект.

Однобокость профессионалов

В этом повествовании не делается и попытки исследовать причины, побудившие майора Динклаге совершить покушение на войну. Автор не намерен группировать повествование вокруг размышлений Динклаге, строить все действие вокруг него, создавая подобие вихря, центром которого могло бы быть принятое в одиночку решение «этого господина» (как любит называть его Хайншток). Литературы о деле Динклаге пока еще не существует, но уже есть множество работ о попытках восстания немецких офицеров против Гитлера, в которых скрупулезно систематизируются размышления, побудительные причины, доводы и чувства этих трагических персонажей и главное — число и степень испытываемых ими угрызений совести. Из этой литературы можно почерпнуть все необходимое, чтобы дополнить картину, рисующую обстоятельства и причины задуманной майором Динклаге операции.

Если вы хотите убедиться, что у Динклаге для его поступка были все возможные политические, экономические и метафизические основания, достаточно вспомнить, что в ответ на рассказ Кэте Ленк о ее переживаниях у Буртангского болота он перечислил концентрационные лагеря в районе реки Эмс и закончил эту литанию словом «аминь», которое его собеседница восприняла как проклятие. Однако свое решение он принял прежде всего по чисто военным соображениям. Как известно, осенью 1944 года большинство немецких офицеров разделяло точку зрения Динклаге, что война, как таковая, проиграна и потому должна быть немедленно прекращена, но Динклаге был единственным среди них, кто проявил готовность все эти военно-научные принципы и выводы реализовать в конкретном действии на уровне командиров подразделений. Сделал ли упомянутый в сборнике документов подполковника швейцарского генштаба В. Шауфельбергера унтер-офицер Рудольф Дрейер выводы из того, что он слышал в канцелярии командующего группой войск «Запад», вопреки полученному приказу или нет — неизвестно; Динклаге же такие выводы сделал. Возможно, у него было особенно сильно развито профессиональное упорство — известная déformation professionnelle[1], присущая всем людям, которые изучили какое-то ремесло и специализировались на нем.

Примечательно, что между Динклаге и Кэте Ленк никогда не возникало разговора о причинах, побудивших его принять такое решение. Они считали это само собой разумеющимся.

Собственно, только один капитан Кимброу хотел точно знать, что привело Динклаге к такому решению. Может быть, в нем проснулся адвокат, защитник по уголовным делам, и поэтому он заинтересовался мотивами, двигавшими Динклаге.

[1] Профессиональная деформация, искривление *(франц.)*.

— What makes him tick?[1] — был его первый вопрос после того, как Шефольд передал ему удивительную новость с той стороны.

Шефольд пожал плечами. Он этого не знал. И у него не было никакого желания нагонять скуку на молодого американского капитана выдержками из той литературы оправдания[2], которая тогда еще и не была написана.

Главная полоса обороны

Воронье гнездо

Каждый день Хайнштоk обозревает местность с вершины холма, который с северной стороны отвесно спускается к каменоломне, а на юге, востоке и западе образует более или менее пологий известняковый склон с очень сухим травяным покровом, где пасется много скота и потому не растет кустарник; здесь же видно довольно много выветрившихся известковых глыб. На холме растет несколько высоких сосен, и их кроны скрывают Хайнштока от пролетающих самолетов. Когда он подходит вплотную к откосу, он видит глубоко внизу, под известняковой стеной, каменоломню, где давно уже не ведутся работы; в углу ржавеют цоколь крана и несколько точильных станков. К стене прислонена деревянная лестница высотой метров в тридцать. перекладины которой Хайнштоk время от времени обновляет,— она доходит примерно до середины стены. Между дорогой с покрытием из щебня и песка, ведущей из Винтерспельта в Блайальф, и карьером растет полукругом буковый кустарник, почти закрывший будку строителей, в которой живет Хайнштоk; виден только конек покрытой рубероидом крыши. Тоненькая палочка — радиоантенна. Хотя Хайнштоk старается вести себя по возможности тихо, он вспугивает галок, внимательных и очень живых птиц, обитающих в верхней части известнякового утеса; вспорхнув, они издают свой пронзительный крик, но в осеннем воздухе не раздается эхо.

Травянистые склоны принадлежащей ему горы Хайнштоk предоставил общине Винтерспельта для выпаса скота, и он сделал это не тогда, когда расположенные западнее земли из-за сооруженных на них оборонительных позиций уже невозможно стало использовать под пастбища, а значительно раньше, несколько лет назад: он заинтересован в том, чтобы каменистая почва склонов хорошо просматривалась, не была закрыта кустарником. К тому же ему нравится редкая флора известняковых пастбищ — чертополох без стеблей и ятрышник, любка и дикая гвоздика, к которым не прикасаются овцы, привычные к луговым травам, лядвенцу и овсянице. Всякий раз, когда Хайнштоk поднимается вверх по тропе, проложенной им вдоль восточного края карьера, он прежде всего смотрит, где сейчас находятся овцы, стадо примерно в сто голов. Иногда он обменивается несколькими словами с нанятым общиной пастухом, хотя с трудом понимает его эйфельский диалект. Хайнштоk поселился в этих местах летом 1941 года, но и по сию пору, спустя три с лишним года, он еле разбирается в некоторых особенно трудных выражениях здешнего диалекта.

Привычка ежедневно обозревать местность вокруг Винтерспельта с вершины своего карьера появилась у него во второй половине авгу-

---

[1] Что им движет? *(англ.)*

[2] Так автор иронически именует написанные после войны воспоминания гитлеровских генералов и другие книги, авторы которых считали необходимым оправдываться, заявляя, будто предпринимали что-то против Гитлера. *(Прим. перев.)*

ста, когда он сначала по радио из Кале[1], потом с опозданием на несколько дней по великогерманскому радио услышал известие о битве под Фалезом и взятии Парижа.

12 октября 1944 года (четверг), около 11 часов. Хайнштоk, как всегда, взял свой полевой бинокль (подарок Маттиаса Аримонда, как, впрочем, и многое другое — например, свобода и каменоломня), чтобы, если удастся, увидеть, как Шефольд появится на лесистом крае холма на западном берегу Ура и станет спускаться вниз по косогору, отличавшемуся от склона горы, на которой стоял Хайнштоk, только тем, что на нем бурно разрослись можжевельник, лещина и бирючина; но Хайнштоk так и не воспользовался биноклем, ибо даже при взгляде невооруженным глазом подтверждалось то, что он уже знал: тот участок на западе, где сейчас должен был — если только он последовал совету Хайнштока — находиться Шефольд, лежал за пологим южным склоном Эльхератского леса, зарослями красного бука, который в эту сухую и безветренную осень еще не сбросил обильную темно-красную листву.

Десятью минутами позже. Он считал, что пригибаться, сжиматься его заставляла вовсе не мощность их утроенного машинного рева, все дело было в том, полагал Хайнштоk, что они всегда летали так низко — казалось, вот-вот разобьются вдребезги об утес. Или, по крайней мере, сбреют верхушки сосен, под которыми он стоял. Вероятно, он ошибался, вероятно, все же главным здесь было фортиссимо ревущих моторов, к которому он не мог привыкнуть. Но в чем бы ни заключалась причина, всякий раз, как они удалялись, он злился на себя за то, что снова позволил себе втянуть голову в плечи, прижать руки к груди и согнуть колени. После ухода самолетов проходило несколько секунд, прежде чем он слышал в тишине крик растревоженных галок, терявшийся за звуковым барьером осени.

Сегодня, по его подсчетам, был одиннадцатый день с тех пор, как американские истребители-бомбардировщики перестали пускать в ход свое бортовое оружие, когда совершали патрульные полеты над дорогой, соединяющей Блайальф и Винтерспельт, и исчезали затем на юго-востоке, над шоссе, ведущим в Пронсфельд. Время от времени с большим или меньшим успехом они сбрасывали свои маленькие бомбы, которые разрывались всегда так же неожиданно, как гранаты, вздымая серые фонтаны с белыми пенистыми гребешками, но стволы пулеметов, торчавшие из их застекленных кабин, оставались немыми. Как Хайнштоk понял несколько дней спустя, они после 2 октября уже не находили мишеней.

2 октября 1944 (понедельник). Плохо замаскированная полевая кухня, в большом амбаре у околицы Винтерспельта, сегодня утром исчезла. Можно было считать чудом, что ее до сих пор не разбомбили. И только сам амбар, нескладный четырехугольник из бутового камня с шиферной крышей, еще стоит на месте, одинокий и заброшенный.

Из всей деревни Винтерспельт, находящейся от Хайнштока по прямой приблизительно в двух километрах, он, собственно, может разглядеть только этот амбар, несколько сизо-серых крыш да верхнюю часть колокольни, поскольку Винтерспельт расположен в низине.

[1] Речь идет об английской радиостанции, которая вела передачи, предназначенные для солдат вермахта.

Главную дорогу, ведущую к северо-западу в направлении Сен-Вита, Хайнштоk увидеть не может. Ее закрывает тянущаяся параллельно гористая местность — луга, убранные ржаные поля, группы деревьев; местность эта то вздымается холмами, то обрывается ложбинами. По ту сторону дороги высится цепь гор, с гребня которых Хайнштоk мог бы разглядеть долину Ура, если бы имел возможность туда подняться. Но там — оборонительная позиция, и штатским появление в этой зоне строго запрещено. Хайнштоk может обозревать ее от Ауэля на юге до того места, где косой склон, поросший лесом, закрывает от него перспективу.

Расстояние от наблюдательного пункта Хайнштока до этого склона составляет от двух с половиной до четырех километров. В свой бинокль «Хензольдт Диагон», который дает 15-кратное увеличение — у него только один недостаток: он слишком тяжел, и из-за этого видимые в нем предметы, несмотря на сильные руки Хайнштока (Кэте Ленк: «Послушай, у тебя не руки, а стальные тросы!»), через двадцать секунд начинают дрожать,—Хайнштоk может наблюдать, как солдаты поднимаются по склону, чтобы сменить часовых в окопах, и как чуть позднее смененные устало и тяжело шагают на свои квартиры в деревни Винтерспельт, Вельмерат, Эльхерат. Они приходят и уходят маленькими группами, которые легко обнаружить.

Сегодня утром Хайнштоk не видит ни одной такой группы. На всем пространстве от Ауэля на юге до Эльхератского леса не заметно никакого движения.

Сегодня у Хайнштока такое впечатление, будто здесь пусто не на какое-то время, а будет пусто всегда. Сосновый лес по ту сторону дороги, из которого иногда выходит Шефольд, сегодня кажется еще более неподвижным и мрачным, чем когда-либо.

Когда патруль из трех истребителей-бомбардировщиков улетел, Хайнштоk опустил прижатые к груди руки, поднял голову и разогнул ноги, подавив раздражение, вызванное тем, что снова не выдержал: он заметил, что сегодня не горит кустарник на обочинах дороги, не взлетают в воздух обломки грузовиков с боеприпасами, не вздыбливается в пламени и не догорает ни один легковой автомобиль. Не слышно криков раненых, которым он часто оказывал первую помощь. Не видно тел, лежащих в неестественно выгнутых позах на светлом песке и щебне.

И на противоположной стороне, на склоне горы вдоль реки Ур, тоже ничего — нет, как обычно, этих распластанных теней, очень маленьких, несмотря на пятнадцатикратное увеличение; Хайнштоk опознавал их лишь по тому, что пятнистые маскировочные куртки были несколько темнее земли, на которой они лежали, и когда самолеты улетали, вокруг них собирались другие, вертикальные тени.

Итак, сегодня — ничего. Все выглядит так же, как в те времена, когда Хайнштоk еще не начал подниматься сюда каждый день. Как летом или прошлой осенью.

Хайнштоk отводит бинокль и смотрит вслед улетающим самолетам, которые подтягиваются к югу от Винтерспельта, объединяются с другими тройками в группы. Только теперь ему становится ясно, что сегодня не было обычных последствий шквального многослойного огня из их пулеметов. Сегодня ландшафт под ними не был прострочен огненными швами.

Кэте, придя к нему вчера (в воскресенье) после полудня, сообщила, что прошлой ночью новая часть сменила ту, что была до сих пор.

— Мы всю ночь не сомкнули глаз,— сказала она.— У нас сменились постояльцы, но старый Телен опять сумел сделать так, что они не

заняли ни одного помещения в самом доме. Видел бы ты, как он сидит себе и, даже не глядя на унтер-офицера, который пришел расквартировывать солдат, говорит: «В этом доме один старик, три девушки и четыре каморки». А Элиза, Тереза и я стоим вокруг него. Но унтер-офицер оказался вежливым. Собственно, мне его даже было жалко. Элиза потом показала ему двор, и он разместил четверых солдат в пристройке к сараю.

— Но Терезе надо теперь какое-то время быть еще осторожнее, чем обычно,— сказал Хайншток.

Кэте кивнула. У Терезы была любовь с одним из русских, работавших на их дворе.

Когда Хайншток ближе к вечеру 3 октября отправился в Винтерспельт, чтобы купить продукты, он заметил, дойдя до главной дороги, что теперь и на холмах слева от нее появились позиции, то есть он, конечно, не увидел никаких позиций, а только разглядел пулеметную огневую точку на середине склона, недалеко от проселочной дороги, а потом еще одну в тени деревьев, у сеновала, принадлежавшего крестьянину Мерфорту. Изобразив полнейшую наивность, он попытался подняться к Мерфортовой полосе луга, но тут же чей-то голос — он не видел чей — окликнул его и приказал не сходить с дороги. Этот короткий эпизод настроил его на невеселый лад. Возникновение оборонительной линии на холмах восточнее дороги означало, что фронт приблизился к нему. Некоторые позиции — он обнаружил их на следующее утро в бинокль — находились не более чем в километре от его горы. Самое удивительное, что он не заметил со своей высоты, как они возникли.

О том, что полевая кухня, расположенная в очень уязвимом месте — в амбаре у околицы деревни, исчезла, он уже знал, но никак не ожидал, что деревенская улица окажется абсолютно безлюдной. Деревня Винтерспельт тянулась вдоль дороги, и эта пепельно-серая дорога, которая теперь, в сумерках, приобрела медный оттенок, спускалась пустынная и безжизненная, то есть такая, какой была всегда до тех пор, пока в Винтерспельте не расквартировались военные, к центру деревни, единственному месту, где дома стояли тесно, беспорядочно сгрудившись; по ту сторону низины дорога снова шла вверх, и на ней все так же не было ни движения, ни шума, а потом она исчезала за площадью, на которой стояла церковь. Хайншток был поражен. Все, что Кэте Ленк однажды назвала «лагерем Валленштейна» (это выражение перенесло Хайнштока в его родные места, в Богемию), исчезло с улицы. А ведь раньше в этот час, когда проводилась вечерняя поверка, в «лагере Валленштейна» было особенно оживленно, солдаты группами выходили из домов и шли на площадку за двором Мерфорта, где было достаточно места для построения роты. Возможно ли, что больше нет этого священного военного ритуала, вечерней поверки, этого отрывистого рявканья, этого «По-порядку-номеров-рассчитайсь!»

В пивной при гостинице Нзкеля, которая всегда была битком набита солдатами, стояли у стойки два унтер-офицера, жаждавшие рассказать Хайнштоку, что они прибыли из Дании и что там прекрасно.

— Занесло же нас сюда, к черту в задницу,— заметил один из них, уставившись в кружку с пивом.

Иоганнес Нэкель взглянул на Хайнштока. Хайншток ответил на его взгляд, но не мог не признать, что унтер-офицер в чем-то прав: пивная Нэкеля, как и большинство эйфельских пивных, настраивала

на меланхолический лад, это было плохо освещенное, нетопленное помещение, оклеенное набивными обоями цвета сырой печенки.

По пустынной улице Хайншток дошел до лавки Вайнанди. Арнольд Вайнанди, который оставался при лавке, потому что в 1942 году в России лишился ноги, кивнул в сторону улицы.

— Удивляетесь, а? — сказал он.

— Что здесь, собственно, происходит? — спросил Хайншток.— Винтерспельт словно вымер.

Вайнанди, который охотно изображал специалиста по военным делам, пояснил, что новый командир, кавалер Рыцарского креста, знает, как себя вести, когда фронт рядом. «Фронт р я д о м,— подумал Хайншток,— этим словом они хотят скрыть от самих себя, что фронт уже здесь». Он смотрел, как Вайнанди отрезает талоны на хлеб от продуктовой карточки, которую он протянул. Хотя кроме них в лавке никого не было, Вайнанди шепотом добавил:

— Если они не передумают насчет маскировки, то, может, деревня и уцелеет, переживет войну.

«Если только этот новый человек не доведет маскировку до того, что придется эвакуировать Винтерспельт»,— думал Хайншток, возвращаясь домой. В тишине с холмов не доносилось ни звука, он ни разу не услышал даже лязганья затворов. В августе винтерспельтские крестьяне сумели отбиться от приказа об эвакуации, заявив партии, вермахту и государству, что они готовы уйти, но только вместе со своим скотом. Со стороны партии, вермахта и государства ответа не последовало. Капитулирует ли перед крестьянской хитростью новый командир? Человек, который оказался способен отменить вечернюю поверку?!

Тогда, в конце августа, Кэте и Хайншток решили снова поселиться в пещере у Аперта, если приказ об эвакуации будет отдан.

Действительно, полковник Гофман 7 октября спросил майора Динклаге, не считает ли он правильным очистить деревни в главной полосе обороны от гражданского населения. Он сказал, что поступил соответствующий запрос из штаба дивизии.

— А жилье для крестьян в тылу приготовлено, скот есть где держать? — спросил Динклаге.— Беспрепятственная перевозка для них обеспечена?

— Господин Динклаге,— сказал Гофман,— все это сентиментальный бред. К тому же нас это не касается. Мне нужны военные аргументы!

Динклаге сказал:

— Кроме того, эти люди мне вообще не мешают.

— Благодарю вас,— сказал Гофман,— этого достаточно.

На следующий день он ответил на запрос дивизии отрицательно.

Уже 7 октября майор Динклаге был не в состоянии представить себе, что в случае эвакуации гражданского населения из Винтерспельта пришлось бы отправить и Кэте Ленк. Во время беседы с полковником он, вообще-то говоря, не мог думать ни о чем другом.

5 октября (четверг).

— С тех пор, как здесь появился этот новый человек, войны больше нет,— сказал Хайншток вчера вечером Кэте.

— Его зовут Динклаге,— сообщила она.

Благодаря этому майору Динклаге война стала выглядеть абсолютно по-другому. Нет, он не изменил ее внешний вид; просто война, словно по мановению волшебной палочки, исчезла. Это был трюк. Этот Динклаге был фокусник. Хайншток не мог на этот счет заблуждаться. Война не исчезла. Она только стала невидимой. С тех пор как в Винтерспельте начал хозяйничать этот Динклаге, в здешних местах появилось нечто незримое.

Но Хайншток и представить себе не мог, что это незримое нечто настолько коснется его лично, что сегодняшний день уже будет не просто одним из лазурно-голубых дней, которые обычно стояли здесь каждый год с конца сентября почти до конца октября. С высоты, где он находился, открывался отличный вид на Шнее-Эйфель и северо-западнее — на территорию Бельгии, вплоть до Высокого Фенна. Он с жадной напряженностью рассматривал голубой гребень Шнее-Эйфеля — ведь до него уже продвинулись американцы. Если бы каменоломня находилась всего пятью километрами севернее, то в ночь с 17 на 18 сентября ему не пришлось бы тщетно ожидать их прихода. Блайальф, всего в двух часах ходьбы от его хижины, был тогда ими занят. Если бы он жил там, он был бы уже свободен.

— Сегодня у меня впервые появились сомнения насчет того, что, живи я в Блайальфе, все было бы уже позади,— сказал он, незаметно наблюдая за сычом, поскольку он знал, что Кэте его боится.— Я предчувствую, что это еще не конец,— добавил он,— что все это еще цветочки, а ягодки впереди.

Он заметил, что она не слушает.

Она сказала:

— Между ним и мной что-то произошло.

— Между кем и тобой? — спросил Хайншток. Но он уже понял, о ком шла речь.

— Динклаге,— сказала Кэте.

— Боже мой, Кэте! — сказал Хайншток после небольшой паузы.

Подумать только, его даже не насторожило, когда Кэте сказала ему, что этот майор Динклаге, возможно, совсем не такой, каким он, Хайншток, его себе представляет. Что, вероятно, он старается только «предотвратить потери». Такое выражение, как «предотвратить потери», офицерская фразеология в устах Кэте! И он не обратил на это внимания! Лишь теперь, глядя на мрачные сосны в долине, он понял, что она могла слышать эти слова только от самого Динклаге.

Он проводил ее до первых домов Винтерспельта, как обычно, ночью; теперь это было особенно необходимо, потому что ей предстояло пройти мимо новых позиций у дороги; по обыкновению, она поцеловала его на прощанье; разве что ее поцелуй был не только дружески-нежным, как обычно, но еще и печальным, в нем даже чувствовалось отчаяние, если он не ошибался.

Хайншток решил пока больше не доводить дело до поцелуев.

Появление Шефольда было для него очень кстати, ибо прервало размышления о Кэте Ленк. Он все равно намеревался поговорить с Шефольдом всерьез. Массивная фигура Шефольда возникла из-за

соснового занавеса, он посмотрел сначала направо, потом налево — словно сделал два легких поклона — и тут же направился, высокий, крупный, через луг по ту сторону дороги к карьеру. Хайнштоκ покачал головой. Два легких поклона Шефольд, по-видимому, считал достаточной жертвой на алтарь осторожности.

— Вам надо было оглядеться, прежде чем выходить из лесу,— сказал он, когда они встретились у хижины.— А не тогда, когда вы уже из него вышли.

— Неужели я вел себя именно так? — удивился Шефольд.— Ах, видите ли,— сказал он,—у меня необыкновенное чутье, я всегда точно знаю, грозит мне опасность или нет.

— Хотел бы я знать,— сказал Хайнштоκ,— какое значение будет иметь ваше чутье для патруля полевой полиции, если он как раз окажется поблизости.

— Надеюсь, ваша сова сидит спокойно,— сказал Шефольд, еще не войдя в хижину.— Я терпеть не могу, когда она начинает хлопать крыльями.

— Это не сова, это сыч,— сказал Хайнштоκ,— и вы его на сей раз вообще не увидите.

Птица успокоилась с тех пор, как он соорудил ей нечто вроде полой башни из нагроможденных друг на друга ящиков; она сидела там же, где и час назад: на верхнем, закрытом от света ящике,— и только раз взмахнула крыльями, почувствовав на себе мимолетный взгляд Хайнштока.

Хайнштоκ нашел сыча, серо-бурый комок перьев, у километрового столба несколько дней назад, когда возвращался после поездки на Лаухский карьер. Он затормозил, вышел из машины. Сначала он решил, что птица мертвая, но, когда взял ее в руки, почувствовал, что сердце бьется. Он поехал в Пронсфельд, к ветеринару д-ру Бальману, который сказал, что птицу, вероятно, сбил и отбросил в сторону автомобиль и что она отделалась сотрясением мозга. Хайнштоκу надо ухаживать за ней две недели, потом отпустить.

Хайнштоκ довел огонь в маленькой железной печке, обогревавшей хижину, до яркого пламени, подбросил еще два полена, положил на место конфорки и предоставил печку в распоряжение Шефольда, чтобы тот приготовил кофе. Отложив трубку, которую он как раз набивал, и стараясь подчеркнуто точным обращением придать своим словам особую суровость, он сказал:

— Господин доктор Шефольд, я решительно и бесповоротно советую вам немедленно вернуться в Хеммерес и сидеть там, пока все не кончится. Еще лучше было бы, если бы вы скрылись в Бельгию.

Только после этого он раскурил трубку. Он смотрел, с какой легкостью грузный Шефольд орудует эмалированным чайником и фаянсовым кофейником. Шефольд взял приготовление кофе в свои руки еще во время третьего посещения Хайнштока.

«Странно, господин Хайнштоκ,— сказал он тогда,— хоть вы и родом из тех мест, что входили в старую Австро-Венгерскую монархию, вы понятия не имеете, как варить кофе».

Хайнштоκу пришлось признать, что такого кофе не умеет варить никто — ни он сам, ни любой из тех, у кого ему доводилось пить кофе до сих пор. Наслаждаясь кофе, приготовленным Шефольдом, он вся-

кий раз жалел, что Кэте не может испытать этого удовольствия. Правда, она совсем недавно сказала ему: «Мне не нравится, что у тебя всегда есть настоящий кофе. Я ненавижу себя за то, что у меня не хватает сил отказаться, когда ты предлагаешь мне выпить чашку».

Вероятно, даже высокое качество шефольдовского кофе не избавило бы ее от угрызений совести. Но Хайнштоk сумел сделать так, чтобы она никогда не встречалась с Шефольдом. На тот случай, если Шефольда арестуют, будут допрашивать, пытать, очень важно, чтобы он знал как можно меньше людей и имен. Уже и то, что он, Хайнштоk, иногда при случае рассказывал Кэте про Шефольда, было, собственно, недопустимо: он нарушал правила подпольной работы. Потому что ведь и для Кэте еще не все было позади, дом Телена в Винтерспельте давал ей лишь относительную безопасность.

Глаза Шефольда с холодной деловитостью следили за происходящим на плите — голубые глаза на красном лице, где четким прямоугольником выделялись английские усики, серое поле между верхней губой и носом. Хайнштоk полагал, что ростом он метр девяносто, а весит килограммов сто, просто он казался тяжелым, массивным, зато живота у него не было и, несмотря на грузность, руки двигались легко, словно играя предметами, которые они держали.

Проделав несколько сложных операций — а он сполоснул кофейник, прогрел его, налил воды,— Шефольд повернулся к Хайнштоку.

— Но почему же? — спросил он.— Если верно то, что вы сказали а именно: что днем никто из вермахта не показывается на дорогах, то я могу совершать свои прогулки гораздо спокойнее, чем до сих пор.

— Сейчас здесь стало опасно,— сказал Хайнштоk.— Раньше они были расхлябаннее. Теперь здесь стало опасно.

— Я догадываюсь, что вы имеете в виду,— сказал Шефольд.— Эта новая часть не показывается, и потому она опаснее, чем прежняя.— Он помолчал.— Конечно, это бывает,— продолжал он.— Бывают художники, которые буквально запрятывают какую-нибудь краску на картине, чтобы она производила более сильный эффект.

— С живописью это вообще не имеет ничего общего,— сказал Хайнштоk.

«Как глупо,— подумал он,— что я позволил себе прийти в такое раздражение». Насколько он знал Шефольда, теперь последует лекция, которая продлится около четверти часа и будет содержать точные доказательства того, что *это* имеет много общего с живописью. Он немало удивился и почувствовал облегчение, когда Шефольд продолжил разговор по существу.

— Во фронтовые деревни я все равно не хожу, никогда не ходил,— сказал он.— Я хожу в Айгельшайд, Хабшайд, Хольних.

Это была правда. Шефольд избегал главной полосы обороны. Следуя советам Хайнштока, он использовал густо поросшую лесом долину ручья восточнее Хеммереса и таким образом обходил немецкие рубежи. Хайнштоk нехотя дал ему такой совет — только поняв, что этого человека нельзя удержать от прогулок по немецкой территории, он показал ему по карте путь через лес, на опушках которого размещались оборонительные позиции. Здесь разведгруппы иногда прочесывали лес, но, по-видимому, лишь до того места, где кончались красные сосны и начинался ольшаник. Каждый раз, как появлялся Шефольд, Хайнштоk первым делом смотрел, не намокли ли его брюки от влажной почвы ольшаника, но они всегда были сухими: будучи человеком легкомысленным, Шефольд выбирал сухую землю соснового леса вместо надежной, хотя и влажной, чащи в долине. Так он доходил до дороги, ведущей в Блайальф, наносил визит Хайнштоку, потом появлялся в Айгельшайде, или Хабшайде, или еще дальше в тылу.

— Меня очень беспокоит Шефольд,— сказал как-то Хайнштоk Кэте; это было, когда Динклаге еще не появлялся на горизонте, а в Винтерспельте и окрестностях царила 18-я моторизованная, это воплощение расхлябанности.— Пока здесь все было неустойчиво, он мог разгуливать сколько душе угодно. Но теперь, когда фронт установился, его поведение — просто безумие. И ведь он даже не шпион союзников. Для этого он слишком приметен и к тому же слишком безобиден. Он расхаживает просто так.

— Должно быть, он очень странный человек,— заметила Кэте.— Ведь ему уже удалось уйти отсюда. По-настоящему уйти.— Она помолчала.— Он был далеко на Западе,— добавила она.

— Ну, Бельгия не так уж далеко отсюда,— сказал Хайнштоk.— Она совсем рядом.

— Для меня она очень далеко,— сказала Кэте.— И уж меня бы ни за что на свете не удалось затащить обратно, если бы я только сумела забраться так далеко.

— Айгельшайд менее чем в трех километрах от фронта,— сказал Хайнштоk,— и вы даже не догадываетесь, как быстро любое изменение линии фронта ощущается в тылу.

— Но тамошние жители меня знают,— сказал Шефольд.— Почему они должны относиться ко мне иначе, чем раньше?

Хайнштоk повертел в руке чашку — кофе был отличный, как всегда,— но внушить Шефольду представление об опасности, которая отныне невидимой сетью будет стягиваться вокруг него, казалось совершенно безнадежным.

В один прекрасный летний день Шефольд вот просто так вошел к нему, представился и сразу же рассказал свою биографию — в этом был весь он.

Хайнштоk тогда посмотрел на него и спросил:

«Что, собственно, побудило вас рассказать мне все это?»

«Люди,— сказал Шефольд.— Я слышал, как о вас говорят люди. Кстати, говорят совсем неплохо. О вас говорят — ну, как бы это объяснить? — как о запасной карте, которую игрок приберегает на всякий случай».

Хайнштоk рассмеялся, и доверие между ними было установлено. Никогда прежде люди не были с ним так откровенны и щедры, и щедрость людская, лившаяся если не потоком, то по капельке, оседала у него в виде кульков с настоящим кофе, пакетиков с маслом, пачек табака и бутылок вина, этих запасных карт, которые в недалеком будущем, когда понадобится свидетельство Хайнштоka, могут дать прикуп; за это Кэте, зная, что он принимает эти подачки, и считала его взяточником.

Конечно, у Хайнштоka имелись и другие способы убедиться, что Шефольд не шпион. Кстати, слово «безобидный» было неверным, оно не отражало самой сущности Шефольда. Шефольд был беззаботен, легкомыслен, может быть, наивен в своей широте и в той небрежности, с какой ходил по деревням, общался с людьми в трактирах, вел разговоры, полагался на документы, которые носил при себе и которые Хайнштоk считал ничего не стоящими в случае серьезной опасности,— но никак не безобиден. Хайнштоk не мог найти слово, которое точно характеризовало бы манеру поведения Шефольда.

Он проводил его до дороги, посмотрел ему вслед, а тот пошел в направлении Айгельшайда, перебросив через правое плечо плащ, который всегда носил с собой. Предостережения Хайнштоka явно не оказали на него влияния — по тому, как он шел, грузно и в то же вре-

мя плавно, можно было догадаться, что он наслаждается хорошей погодой, безлюдной дорогой и тем, что война куда-то исчезла.

Если его арестуют, главное для Хайнштока — вовремя узнать об этом, чтобы скрыться, прежде чем Шефольд начнет давать показания. Хайншток рассчитал, что сроку у него в таком случае будет три дня, потому что сразу после ареста, пока Шефольд будет сидеть в каком-нибудь полицейском карцере в округе Прюм, его пытать не будут. Пытать его начнут только после перевода в кёльнское гестапо.

Конечно, случалось, что под пытками интеллигенты молчали, а рабочие-металлисты (или каменотесы) после первых же ударов начинали давать показания, но обычно было не так. Обычно с интеллигентами справлялись быстрее, чем с рабочими-металлистами (или каменотесами).

Хайншток вынул завернутый в бумагу кусок сырой печенки, которую Кэте принесла ему вчера с теленовского двора, развернул и положил перед сычом. Птица не притронулась к еде, испуганно отодвинулась.

Вчера вечером, прежде чем они отправились в путь, чтобы вместе дойти до первых домов Винтерспельта, Кэте посмотрела на башню из ящиков и сказала:

— Строить тайники — твоя специальность, Венцель?

— Похоже, это у меня общее с майором Динклаге,— ответил он.

Она напомнила ему о пещере у Аперта, желая этим сказать нечто большее, чем просто несколько дружелюбных слов. Но рана, которую она ему нанесла, была еще слишком свежа. Впредь он будет держать себя в руках.

Она промолчала и по дороге в Винтерспельт не взяла его под руку.

Раскурив трубку, он сел за стол, спиной к той имитации скалы с расселинами, которую он создал из ящиков,— благодаря этим ящикам птица могла наблюдать за ним и в то же время у нее было чувство, что ее не видят,— придвинул к себе газету, которую он с тех пор, как почтальон перестал добираться до него, покупал у Вайнанди, прочитал заголовок «Героические оборонительные бои в Карпатах» и заметку, из которой понял, что Красная Армия скоро вступит на чешскую землю; потом отложил газету.

Только теперь у него мелькнула мысль, как необъяснимо было, что Кэте именно вчера вечером, почти следом за сообщением, которое — она не могла этого не знать — сразило его наповал, напомнила ему о пещере на Аперте, о том забытом базальтовом коридоре, который в дни после 20 июля, когда они из нужды сделали добродетель (не очень, правда, добродетельную), был их *любовным гнездом* — слово это Хайншток употреблял только в разговорах с самим собой, ибо не сомневался, что Кэте вспылила бы, если бы он сказал так при ней.

«А ведь я тебя и не люблю вовсе,— сказала она ему как-то.— Ты просто мне приятен».

Почему же вдруг вчера вечером этот намек на пещеру? Одной из трудных черт характера Кэте было то, что она тщательно взвешивала слова — и чужие, и свои собственные.

Хайншток решил, что хватит размышлять об этом. Гораздо важнее теперь разобраться в том, к каким последствиям приведет переход Кэте на сторону противника, хотя в личном плане мысль об этом была ему невыносима, а в политическом это и вовсе невозможно было себе представить.

Кэте теперь в связи с этим майором Динклаге. Она спала (возможно, уже спала или будет спать) с офицером фашистской армии.

Она самым конкретным образом перешла в лагерь врага.

По царапанью, рывкам и жадным глотательным звукам он понял, что сыч набросился на печень.

Как-то Хайншток сказал Шефольду:

— Берите пример с этого сыча! Он прячется. Он видит все, но следит за тем, чтобы его самого никто не видел.

— Чепуха! — отмахнулся Шефольд.— Вы его прекрасно видите. Вы только держитесь так, что он может вообразить, будто вы его не видите.— И, не дав Хайнштоку возразить, добавил: — Было бы абсолютно неверно, если бы я садился в пивных в самый темный угол, не говорил ни слова, тихо выпивал свое пиво и исчезал.

— Этого вы, видит бог, не делаете,— сказал Хайншток.

— Да, потому что тогда я бы наверняка привлек к себе внимание,— сказал Шефольд.

Хайншток несколько раз встречал его летом в трактирах Айгельшайда и Хабшайда. Нет, он никогда не сидел незаметно в углу, а стоял у стойки, болтал с местными жителями, его приглашали выпить, он сам ставил всем по кружке.

— Но вы хотя бы не угощали американскими сигаретами в фирменной упаковке,— сказал Хайншток.

— Ох, неужели я это делал? — На сей раз Шефольд действительно был смущен.

— Да,— сказал Хайншток,— я уж подумал, не обманывают ли меня глаза.

Если Шефольду и это сошло с рук, то лишь потому, что он так держался: людям и в голову не приходило расспрашивать его.

Возможно, Шефольд был просто существом, не знающим страха, и потому действительно нельзя сравнивать его с той божьей тварью, которая сейчас жадно пожирала за его спиной кусок печенки? Но этому противоречило то обстоятельство, что он поселился на хуторе Хеммерес, расположенном в недоступном месте, в темной речной долине, этом обиталище филинов, как говорилось в Священном писании. И очевидно, живо сознавал грозящую ему опасность, иначе не принес бы ему однажды сверток, в котором находилась ценная картина, с просьбой, чтобы Хайншток, знаток надежных мест (как он выразился), спрятал ее. Шефольд отличался от сыча только тем, что демонстрировал весьма редкую как в природе, так и среди людей систему поведения: пытался обезопасить себя, подвергая себя опасности.

12 октября 1944. Правда, никогда еще он не вел себя так безумно, как сегодня. О безопасности уже и речи не могло быть. И то, что он, Хайншток, пришел сегодня на это место под соснами над известняковым обрывом, чтобы, если удастся, увидеть, как Шефольд выйдет из лесу на краю гористого западного берега Ура и начнет спускаться вниз по пустынному склону, отличавшемуся от склона той горы, на которой стоял он сам, только тем, что на нем густо разрослись можжевельник, лещина и бирючина, было, собственно, невероятно, если учесть, что совсем недавно, лишь одну неделю назад, в четверг — да, только в прошлый четверг,— он пытался отговорить Шефольда от прогулок по немецкой территории, даже больше того: запретить их ему. И вот теперь Шефольд — притом по его, Хайнштока, наущению — показался на линии фронта. Вместо того чтобы по доли-

не ручья, по сосняку и ольшанику в сравнительной безопасности выйти в тыл врага, Шефольд, даже не пытаясь укрыться, появился у первой из двух линий майора Динклаге — и не потому, что вдруг рехнулся, а следуя его, Хайнштока, просьбе и согласно его указаниям. Это было невероятно. «Я, должно быть, сам спятил, когда послал его на такое»,— подумал Хайншток, испытывая чуть ли не благодарность к южному склону Эльхератского леса за то, что, как он и предполагал, тот не позволил ему увидеть в бинокль Шефольда.

Незадолго до этого обер-ефрейтор Райдель, стоя в своем окопе и ожидая появления истребителей-бомбардировщиков, гул которых он всегда слышал заранее, снова и снова мысленно поносил начальство за неправильное расположение передового рубежа охранения. Нельзя рыть окопы на середине склона. Хотя склон был довольно пологий, но именно эта пологость позволяла нападающему быстро пересечь его, спуститься вниз по сухой земле, поросшей желтой низкорослой травой и даже не заминированной. Если в атаку пойдет всего одна рота, от передней цепи постов через три минуты останется мокрое место. Каждый мог из своего окопа, пока враг не приблизится, подстрелить двух-трех нападающих — не больше. Этого недостаточно, чтобы остановить атаку противника. Правильнее было бы рыть окопы там, наверху — их, правда, пришлось бы, когда начнется артиллерийская подготовка, на время оставить, а потом снова занять, как только артиллерия замолчит. Райдель был уверен, что знает, как рассуждало батальонное начальство: задача передовой линии — только сбить темп вражеского наступления, чтобы к главной линии обороны, к цепи холмов по ту сторону дороги, где располагались пулеметные огневые точки, противник продвигался медленнее, рассредоточеннее. Передовой линией они жертвовали. Эшелонированная оборона — так это у них называлось. Райдель ни в грош не ставил эшелонированную оборону. Приносить себя в жертву он не собирался. Уж он-то сумеет смыться с передовой, к тому же неправильно расположенной, прежде, чем дело будет совсем дрянь. А пока он еще питал надежду, что на этом участке, где он находится вот уже двенадцать дней и два раза в сутки по четыре часа стоит на посту, вообще никогда ничего не произойдет.

Истребители-бомбардировщики приблизились. Если они сегодня тоже дадут пару очередей по склону, то этому парню-шпику, который лежит на земле рядом с его окопом, можно считать, крышка.

Само собой разумеется, майор Динклаге тщательно продумал расположение передней стрелковой цепи и главной линии обороны. Он рассчитывал на то, что американцы, вопреки обычной практике, на его участке предпримут наступление только силами пехоты, так как через густой, заросший кустарником лес на берегах Ура они не смогли бы провести свои танки. Во всяком случае, это было бы непросто. Массированная же пехотная атака неизбежно задохнется в ложбине между берегом Ура и следующей цепью холмов. Переносить главную линию обороны на высоты вдоль Ура нельзя: там, наверху, ее было бы трудно замаскировать и она день за днем подвергалась бы атакам с воздуха. Зато склоны используемых под сельскохозяйственные угодья холмов к северу от Винтерспельта, с лесистым покровом, с овражками, каменными амбарами, вполне годились для обороны. Редкая цепь часовых на склоне по эту сторону Ура явилась бы неожиданностью для американцев, затормозила бы первоначальный размах наступления — с потерями в этой цепи приходилось мириться.

Если же американцы все-таки двинут танки, тут уж ничего не поделаешь. Кроме ручных гранатометов, Динклаге не располагал никаким противотанковым оружием. Полковник Гофман отказался дать ему хоть одно из имевшихся в полку противотанковых орудий.

— Они понадобятся нам на Шнее-Эйфеле,— сказал он.— Когда американцы спустятся со Шнее-Эйфеля, у них будут танки.

Прежде чем Динклаге после многократного ночного изучения карт пришел к своему радикальному, хотя и умозрительному решению, он, по-видимому, придерживался мысли сразу начать отступление, как только перед его линиями обороны появится значительное танковое подразделение. Во всяком случае, именно так истолковал Венцель Хайншток одну реплику Динклаге, которую ему передала Кэте. Вести себя разумно, насколько это возможно в рамках военной структуры,— вот то немногое, что он еще может сделать на этой войне, сказал Динклаге Кэте. Он добавил, что риска тут особого нет.

— В этом он прав,— заметил тогда Хайншток и объяснил Кэте, что если командир вооруженного обычным оружием пехотного батальона сообщает о прорыве танков противника, полку, дивизии ничего не остается, как принять это к сведению.

Он напряженно ждал, выскажется ли Кэте по поводу бюргерской болтовни Динклаге о военной структуре, возможностях разумного поведения и том немногом, что он еще может сделать на этой войне, и не был разочарован.

— Мне кажется, чушь все это,— сказала она.

Беседа между Кэте и Динклаге, в ходе которой майор произнес ту самую фразу, состоялась во вторник 3 октября. А в пятницу 6 октября Динклаге сообщил ей то, что ни она, ни Хайншток уже не могли считать чушью.

Капитан Кимброу наверняка улыбнулся бы, если бы узнал, что майор Динклаге ожидал с его стороны наступления, да еще «массированного». Уже упоминавшийся начальник разведки полка информировал Кимброу, что 3-й роте противостоит хотя и плохо вооруженный, но зато полностью укомплектованный батальон. Шефольд подтверждал эту информацию, всякий раз говоря о «батальоне на той стороне». Кимброу однажды попытался выспросить его о расположении позиций, но на этот счет Шефольд ничего толкового сказать не мог.

— Послушайте, капитан,— сказал он,— во-первых, я не знаю, где они расположены, просто не знаю. Конечно, мне надо было попытаться разведать для вас их позиции; в том, что я этого не делаю, есть известная непоследовательность, но я не могу. Стоит мне подумать о том, что вы откроете по этим позициям артиллерийский огонь или укажете координаты вашим самолетам...

— Ладно,— перебил его Кимброу,— забудем об этом!

Он был вынужден растянуть свою роту на участке фронта длиной в восемь километров. В штабе полка в Сен-Вите он слышал озабоченные и возмущенные разговоры о том, что сто двадцать километров фронта от Трира до Моншау удерживают всего три дивизии и что за ними ничего нет — вся территория до Мааса без оперативных резервов. Он часто ходил на высоты возле Ура и, прикрытый кустами лесного ореха, смотрел в бинокль на восток, разглядывал убранные поля, лес, пустынные склоны, гребень Шнее-Эйфеля на северо-востоке, дома из бутового камня. Ему не удавалось обнаружить ни одной позиции, заметить хоть малейшее движение противника. Эта местность казалась крайне пустынной даже для Кимброу, который со времен

Фарго и болот Окефеноки привык к пустынным местам. Кимброу считал опасным, что два других полка дивизии выдвинуты вперед, к самому Шнее-Эйфелю. Он был рад, что рота, находившаяся под его командованием, входит в полк, который располагался дальше к юго-западу, за Уром и еще в Бельгии. (У него были основания радоваться, потому что этот полк в декабре избежал клещей Мантейфеля, когда полковник Р., не ожидая соответствующего приказа, отвел его в Сен-Вит, в то время как два других полка на Шнее-Эйфеле попали в плен.)

Опустив бинокль и повернувшись, Кимброу посмотрел на шиферные крыши деревни Маспельт, что лежала в ложбине, и на полого поднимающийся за нею лес Арденн. Все он себе представлял, только не это почти мирное существование, которое они тут вели. Дежурство на посту, поверки, спорт, кино, нагрузочная терапия разного рода. Поскольку у немцев, похоже, больше не осталось самолетов, незачем было даже особенно тщательно маскироваться. Почему они не капитулировали, если их авиации крышка?

В общем, бестолковая война. Кимброу нравилась таинственная тишина этого пустынного пространства.

17—18 сентября 1944 г. Вот уже четыре недели, с тех пор как пришли известия о битве под Фалезом и взятии Парижа, он каждый день неотрывно смотрит на запад, в сторону Бельгии, разглядывает в бинокль предгорья Арденн по ту сторону Ура в поисках первых американских танков. Он заключает пари с самим собой: они появятся сегодня. Нет — только завтра.

Бесконечная вереница дней, а в бинокле — ничего, кроме отступающих немецких войск.

— Опять одни наши,— сказала как-то Кэте, стоя рядом с ним.

— Это ваши войска, фрейлейн Ленк? — спросил он.

Там, на бельгийской территории — шиферные крыши Маспельта, дома под ними словно затаили дыхание. Выше — сплошная стена леса, отбрасывающая непроницаемую тень, которая вдруг задрожала и словно разорвалась: на дороге, ведущей из Груффланге в Маспельт, появилось на большой скорости полдюжины бронированных машин — разведывательные бронеавтомобили? На радиаторах — белые пятиконечные звезды.

Действительно, это была его первая мысль: разведывательные бронеавтомобили — ведь в Груффланге от основной дороги Мальмеди — Люксембург ответвляется дорога на Маспельт; и лишь потом он подумал: зто американцы.

Он опустил бинокль, потому что у него задрожали руки, и мысленно произнес: «Американцы»; а потом он сказал это слово вслух: «Американцы». Здесь, наверху, лишь сосны могли услышать, что он сказал.

Разведывательные бронеавтомобили въехали в Маспельт, и больше он их не видел.

Он не двинулся с места. После полудня наконец появилось большое соединение: несколько грузовиков с солдатами, дивизион полевой артиллерии, тяжеловозы, танки. Он насчитал тридцать танков — один за другим они появлялись в той прорези, которую узкая белая дорога делала в почти черной стене леса. До него не доносилось ни звука: передвижение происходило в пяти — восьми километрах от того места, где он находился; к тому же восточный ветер, благодаря

которому день был прохладным, а видимость хорошей, уносил лязганье гусениц туда, откуда шли машины. Беззвучно продвигались колонны в круглом поле зрения его бинокля к ложбине Маспельта.

Этому не было конца. Когда ничего уже нельзя было различить, он пошел вниз. Ночь в хижине. Он ждал. Он бы услышал, если бы американцы появились в деревне, где находилось не более взвода пехотинцев — арьергард какой-то совершенно измотанной бегством из Северной Франции и Бельгии дивизии, основная часть которой ушла на восток.

Он подумал, не пойти ли ему в Винтерспельт, не предложить ли Кэте перебраться к нему, но он сказал себе, что это бесполезно. Она не откажется от желания присутствовать при том, как придут американцы.

Но они не пришли. Когда Хайнштоk выходил из хижины, ночь по-прежнему была тихая, притом как-то по-особенному тихая, только с севера, очень издалека, доносились артиллерийские залпы, то более громкие, то приглушенные раскаты, разбивавшиеся о тускло мерцавшую в свете полумесяца известняковую стену.

Когда рассвело, он снова пошел наверх. Он успел как раз вовремя: увидел, что американцы уходят. Их танки, моторизованная пехота, пушки двигались назад по дороге, по которой пришли вчера; машины одна за другой на какой-то миг показывались перед длинной черной волной лесного моря, которое тут же заглатывало их. Он сразу сказал себе, что по-другому и быть не могло: между Маспельтом и Винтерспельтом нет дороги через долину Ура, только дорожка, тропинка, почти заросшая, да деревянный мостик у хутора Хеммерес, где жил Шефольд; так как дороги не было, им бы не помогло, даже если бы саперы проложили мост через пограничную речку.

Он все понял. Он был безмерно разочарован. Он проклинал неизвестного ему американского генерала, который заставил танковый полк или что бы там ни было медлить у границы. Или этот господин не знал, что по главной дороге от Сен-Вита можно было спокойно доехать по крайней мере до Пронсфельда? Или он был не в состоянии систематизировать данные воздушной разведки, которой вот уже сколько недель не мешал ни один немецкий самолет? Хайнштоk с ожесточением подумал: «Вылазка», глядя на вновь опустевшую дорогу, которая вела из Маспельта в Груффланге и, к сожалению, была тупиком.

Позднее он узнал от Шефольда, что та американская часть оставила в Маспельте роту пехотинцев. Шефольд установил также, что дивизия, в которую входила эта рота, была переброшена на западный берег Ура прямо из Соединенных Штатов. Они только в начале сентября прибыли в Гавр, сообщил он, имея в виду солдат в Маспельте, и даже командир роты, некий капитан Кимброу, не имеет боевого опыта.

Чего нельзя было сказать об этом майоре Динклаге.

12 октября 1944. Если бы тот американский генерал приказал тогда навести под Штайнебрюком понтонный мост через Ур, в чем ему никто не помешал бы, а затем прошел бы со своими полками по автостраде до Пронсфельда — по крайней мере до Пронсфельда,— в чем ему также никто не помешал бы, то ему, Хайнштоку, не надо было бы сегодня стоять здесь наверху, тщетно пытаясь увидеть, как Шефольд покажется на лесистой кромке западного берега Ура. «Тогда

эта сумасбродная, просто безумная затея, которую я согласился активно поддержать, никогда бы не осуществилась»,— подумал Хайншток. Шефольд, Кэте и он сам были бы уже свободны, уже заняты налаживанием жизни после фашистской диктатуры, а не впутались бы в эту отчаянную авантюру безумца офицера.

Однажды в разговоре с Кэте, когда он описывал, как все было бы, если бы американцы продвигались вперед быстрее, решительнее, она сказала:

— Знаешь, я не думаю, что применительно к историческим событиям имеет смысл пользоваться условными придаточными предложениями.

Ему всегда требовалось время, чтобы приноровиться к ее системе мышления, основанной на лингвистическом анализе — привычке учительницы немецкого языка.

Поняв, что она имела в виду, он отреагировал раздраженно.

— Это самая реакционная точка зрения, какую я когда-либо слышал,— сказал он.— Отказываясь представить себе, как могли бы повернуться события, отказываешься вообще представить себе лучшую возможность. То есть принимаешь историю так, как она складывается.

— Если она сложилась так, как сложилась, то остается лишь принять ее,— возразила Кэте.

Она заметила, что ее ответ произвел на него удручающее впечатление, и всячески пыталась пойти на попятный, но ничего сделать уже не могла. Стало быть, все его попытки привить ей основы изменяющего мир мышления оказались напрасными. Преподанный им курс обучения диалектическому пониманию истории она завершила признанием своей склонности к фатализму.

Вспоминая этот разговор сейчас, когда он долго и тщетно разглядывал темно-красную кулису Эльхератского леса в неподвижном осеннем воздухе и наконец отказался от надежды увидеть Шефольда, Хайншток вдруг подумал, что, будучи сторонником теории и практики изменения, он, однако же, отклонял повод, заставивший Шефольда пуститься в сегодняшнюю авантюру, то есть не одобрял этого в самой своей основе, в то время как Кэте не устраивало лишь то, что на эту авантюру отправился Шефольд. В остальном же именно она была мотором всей операции. О фатализме здесь не могло быть и речи.

Краткая биография

Венцель Хайншток родился в 1892 году в Аусергефильде (в настоящее время — Квильда), в Богемии, младший из троих детей и единственный сын ремесленника Франца Хайнштока и его жены Фанни, урожденной Крехан. Крещен в католической вере; отошел от церкви в двадцатых годах. Его отец, который держал мастерскую по изготовлению игл, где работало двое подмастерьев, умер в 1907 году, оставив семью без средств. Как все дети, вышедшие из пролетарских семей или ставшие пролетариями, Хайншток выбирает себе профессию скорее случайно, чем по призванию: с 1908 по 1910 год он изучает в карьере у юго-восточного подножья Миттагсберга все виды работ по добыче открытым способом и по обработке твердых природных камней, рыхлых пород и минералов (обучение профессии каменотеса и шлифовальщика). После обучения он служит срок в пехотном полку императорско-королевской армии в Пильзене. В 1912 году, двадцати лет, вступает в социал-демократическую партию Австрии; читает «Коммунистический манифест». Затем годы странствий. Работает на различных предприятиях, главным образом в Нижней Австрии, посещает вечерние курсы по специальности и лекции Отто Бауэ-

ра в Вене об австрийском марксизме. Зимой 1913—1914 года, скопив достаточно денег, проходит трехмесячный курс прикладной геологии в Высшем горном училище в Леобене; одновременно участвует в организации движения за повышение заработной платы рабочим Рудных гор. Мобилизованный в самом начале войны, он уже в сентябре 1914 года, находясь на фронте в Галиции, попадает в плен к русским и проводит первую мировую войну в Сибири. Так как он бегло говорит по-чешски (его бабушка по материнской линии — чешка), ему предлагают вступить в один из чешских легионов; которые формировались в России; он отказывается. В феврале 1918 года Хайнштоk возвращается в Аусергефильд. По пути из Сибири в Богемию ему не удается разглядеть в русской революции ничего, кроме «беспорядков». Во время войны умирает его мать. Он сдает экзамен на звание мастера. В 1920 году, когда полиция только что созданного чехословацкого государства занимает Народный дом в Праге, он агитирует за всеобщую забастовку. В 1922 году Хайнштоk выходит из винтербергской (теперь Вимперк) секции социал-демократической партии и вступает в Коммунистическую партию (ЧСР). В последующие годы Хайнштоk работает по специальности, отказывается от депутатского мандата, который предлагает ему партия. Несмотря на то, что его политические взгляды известны предпринимателям и везде, где он работает, его выбирают в рабочие советы, он тем не менее становится техническим директором каменоломни на Верхней Влтаве, где занято много рабочих. В период мирового экономического кризиса (1931—1934 гг.) оказывается безработным; занимается активной деятельностью в партии. После победы фашизма в Германии (1933 г.) Хайнштоk с огорчением замечает, что в дискуссиях, проходящих в КП ЧСР, начинает преобладать национальный вопрос; заходя по делам в штаб-квартиру партии в Хибернском переулке в Праге, он чувствует, что чешские товарищи испытывают к нему некоторую неприязнь, потому что он чешский немец. До тех пор выражение «судетский немец» было ему чуждо, даже непонятно; он всегда называл себя «чехом с окраины». Понимая, с другой стороны, что Гитлер разрушит сосуществование немцев и чехов в Богемии, он решает в 1935 году перебраться в Германию, чтобы там включиться в подпольную политическую работу, а пока некоторое время он действует как курьер и инструктор Центрального комитета Коммунистической партии Германии, который находился в то время в Праге. Безрассудная затея, потому что в юго-западной Богемии Хайнштоka-коммуниста знает каждая собака. Уже во время второй поездки, летом 1935 года, его арестовывают и отправляют в концлагерь Ораниенбург, из которого он выходит весной 1941 года, потому что один из членов правления имперского объединения нерудной горнодобывающей промышленности, Маттиас Аримонд («руководитель предприятий военного значения»), добился его освобождения. Аримонд берет его с собой на запад и назначает смотрителем нескольких законсервированных каменоломен, принадлежащих акционерному обществу «Туф и базальт» в Майене (читай: Аримонду), хотя они не содержат ни известкового туфа, ни базальтовых лав, а лишь толстые пласты доломита или известняка и мергеля. Аримонд предлагает Хайнштоку служебную квартиру в Прюме, но он поселяется в домике на винтерспельтском карьере; в этом домике есть электричество и водопровод.

Через год после возвращения из России 27-летний Хайнштоk женится на 20-летней дочери почтового чиновника; через два года он расстается с ней из-за непреодолимой мелкобуржуазной неприязни девушки к его деятельности коммунистического агитатора; из-за этого она часто устраивала ему сцены. В 1923 году брак расторгнут, и

его бывшая жена снова выходит замуж. От брака с ней у Хайнштока есть сын, который, как она писала ему в 1943 году (на письме наклеена марка, имеющая хождение внутри страны: Богемия теперь часть германского рейха), пропал без вести после битвы под Сталинградом. В последний раз Хайнштоκ видел его, когда ему было пятнадцать лет. С 1930 года у Хайнштока любовная связь с одной чешской коммунисткой, которая в 1933 году осталась во Франции, куда поехала учиться. На его долю порой неожиданно выпадает мимолетное счастье. В концлагере и после освобождения вплоть до встречи с Кэте Ленк, то есть с 1935 по 1944 год, у него не было связей с женщинами. Обе его сестры все еще живут в Аусергефильде, у обеих большие семьи, одна уже овдовела; он готов к тому, что ему придется заботиться о них, когда их, как он предполагает, в будущем году выдворят из Чехии.

Рост Хайнштока — 1 метр 65 сантиметров. Упоминавшаяся выше студентка, с которой он часто играл в шахматы в кафе на Малой Стране, однажды заметила, что он похож на маленькую шахматную ладью. Это было лет двенадцать тому назад или даже больше; с тех пор волосы Хайнштока стали серо-стального цвета, но в остальном он все такой же — маленький, приземистый, прочный. Тело у него было крепкое, возможно, ему, чтобы добиться не только мимолетного, но и продолжительного счастья, следовало быть немного гибче, но благодаря тому, что весь он был словно из стальных тросов, как называла это Кэте Ленк, ему удалось выдержать несколько пыток, никого не выдав, и около семи лет провести в концлагере, почти не подорвав здоровья. На его широком лице, покрытом бесчисленными горизонтальными морщинками, словно заштрихованном гравировальной иглой, сидят маленькие фарфорово-голубые глаза. Рот почти безгубый, тонкий, прямой; нос, напротив, широкий, похожий на грушу, перебит (ударом эсэсовского кулака в Ораниенбурге), так что теперь кончик его, чуть сдвинутый вправо, нависает над губами. К еде Хайнштоκ безразличен с тех пор, как понял, что никогда больше не увидит кнедликов с салом или буженины с хреном. Зато он привык, сидя в одиночестве по вечерам в своей хижине у винтерспельтской каменоломни, выпивать два-три стакана вина. Когда его угощают вином, он всегда надеется, что это будет сухое мозельское.

Отдельные события, или Геология и марксизм

Однажды в конце июля, лежа у пещеры на Аперте, Кэте сказала:

— Расскажи, как ты стал коммунистом!

Хайнштоκ стоял у входа в пещеру, смотрел на нее и курил свою трубку.

— Когда я вернулся с военной службы из Пильзена,— сказал он,— я опять стал работать в каменоломне на Миттагсберге; кстати, это такая же каменоломня, как в Винтерспельте. Голубые известняки с прослойками сланцевого мергеля. Никогда бы не подумал, что здесь все будет настолько похоже.

Помолчав, он добавил:

— Помню все, как будто это было вчера. Я обрабатывал скарпелью кромку оконного карниза, округлял ее.— Пауза.— Если я стану работать в винтерспельтском карьере, тоже буду обтесывать камень на месте. Я не буду поставлять сырые глыбы.

Она сидела все так же, не шевелясь.

— Всякий раз, поднимая голову от работы,— продолжал он,— я смотрел на стену каменоломни. Я это делал всегда, но в тот день мне показалось, что я ее никогда прежде не видел. Я и сам не знаю поче-

му. Может быть, потому, что еще несколько дней назад я был в казарме. Видно, бывают такие дни. Так или иначе, когда я на нее посмотрел, я вдруг осознал с такой ясностью, как никогда прежде, что она кому-то принадлежит, принадлежит человеку, которого я видел раз или два. Он ее владелец. Иными словами, есть эта обнаженная в горе каменная стена и есть человек, который может делать с ней, что хочет. Он один. Она — его частная собственность.

Я не хочу утверждать, что эта мысль была для меня неожиданной, как гром среди ясного неба. Я и раньше читал работы социалистов, знал, что единственный товар, которым я владею, мою рабочую силу, я продаю капиталистам, а те извлекают из нее прибыль, и так далее. Но в социал-демократическую партию, которая была в то время революционной партией, я вступил, только когда понял, что капиталисты владеют природными богатствами, сырьем. Они владеют природой, понимаешь?

Кэте ничего не ответила, и он добавил:

— Это взбесило меня. Я смотрел на стену из камня, часть горы, часть земли. Тогда я еще не думал о том, что она должна принадлежать всем, а только считал — и это я точно помню,— что никому. Я представлял себе, что она должна быть свободной. Свободной. Свободной! Но она принадлежала некоему господину Печеку из Будвайса!

Кэте еще какое-то время молчала, потом осторожно, словно адресуя свои слова лишь голубому небу, сказала:

— Так же как винтерспельтская каменоломня принадлежит теперь некоему господину Хайнштоку.

— В этом виноват только Аримонд,— ответил Хайншток.

5 июня 1941 года, холодным днем, его сняли в десять часов утра с дренажных работ, швырнули на вещевом складе сданный семь лет назад костюм, старые ботинки. Вещи еще оказались впору — его фигура почти не изменилась, только волосы, которые снова и снова сбривали, стали теперь серо-стальными. Его привели в кабинет коменданта лагеря. Стоя в дверях, прежде чем ему знаком руки приказали подойти к столу, он заметил справа в углу, в кресле, маленького седого толстяка — густые белые волосы, как шелковая грива, ноги, полуприкрытые темно-синим пушистым пальто, вытянуты, на коленях серая шляпа, руки подняты к розовому цветущему лицу, ладони закрывают рот и часть носа.

Хайнштока поманили к столу резким движением указательного пальца. Вытянувшись в струнку, он стоит перед письменным столом.

— Если бы это зависело от меня, вы бы отсюда вышли не раньше чем через десять лет.

Комендант лагеря тоже был маленького роста, как и незнакомец, как и сам Хайншток, но тощий, привыкший сидеть в седле, рыжеволосый, с пятнистыми островками на лице, смахивающими на мозоли; его черный мундир был идеально пригнан.

— Вы были и остаетесь коммунистической свиньей. Так что же вы такое, Хайншток?

— Я коммунистическая свинья.

— Господин оберштурмбанфюрер.— Терпеливо, с шипением.

— Господин оберштурмбанфюрер.

— Ну, а теперь подойдите сюда, господин Хайншток! — сказал человек в глубине комнаты. Может быть, самым невероятным в этот невероятный день было то, что Хайншток сразу же расслабил мускулы ягодиц, бедер, икр и отвернулся от стола коменданта лагеря, пото-

му что тон, каким было произнесено это «Ну, а теперь подойдите сюда, господин Хайнштоk», не оставлял сомнения в том, что он может рискнуть расслабить мускулы и отвернуться (повернуться спиной к коменданту лагеря!). Незнакомец уже встал и надел шляпу. Маленький, то есть почти такого же роста, как Хайнштоk, полный, розоволицый, темно-синий, в серой шляпе, которая теперь прикрывала его белую шелковистую шевелюру, он сказал «Хайль Гитлер!», не поднимая правой руки, потому что ею он схватил за руку Хайнштока и потянул к двери.

— Хайль Гитлер! — сказал комендант лагеря, тоже равнодушно, не вставая из-за стола, уже почти не глядя в их сторону.

В коридоре маленький господин быстрыми шагами пошел впереди Хайнштока. Перед бараком ждали черный «мерседес» и шофер в серой ливрее, который распахнул заднюю дверцу. Неизвестный пропустил Хайнштока, сам сел возле него, сказал шоферу, который уже успел сесть за руль:

— А теперь поскорей отсюда, Бальтес!

— Ясно, шеф! — сказал шофер. Это был худой человек с озабоченным лицом.

Когда машина проезжала мимо колонны, в которой он работал еще час назад, Хайнштоk прижался к спинке сиденья, потому что не хотел, чтобы товарищи увидели его.

Они миновали контроль у лагерных ворот. За оградой — деревья, в которых бушевал северный ветер, равнина, которую Хайнштоk знал, дома на горизонте. «Если бы это зависело от меня, вы бы вышли отсюда не раньше чем через десять лет». Значит, его везли не просто на допрос. В пользу такого предположения говорили и маленький господин, и шофер в ливрее, тем не менее он решил проверить: покрутив ручку, опустил на несколько сантиметров стекло, в окно ворвался холодный ветер, и Хайнштоk сразу закрыл его. Никто ничего не сказал.

Хайнштоk не задавал вопросов.

Когда они выехали на Грейфсвальдское шоссе и двинулись по направлению к Берлину, незнакомец сказал:

— Неслыханно, просто неслыханно, такое обращение!

Хайнштоk не сразу понял, что имелось в виду, так как неслыханным в этот момент было лишь то, что он, скорее всего действительно освобожденный, сидел на заднем сиденье автомобиля и читал название населенного пункта на дорожном указателе — Биркенвердер.

— Это? — сказал он наконец.— Ах, да это что! К этому привыкаешь. Как с гуся вода.

— Это было ужаснее, чем все, что я до сих пор слышал о лагерях,— сказал человек, сидевший рядом с ним. В тени, под крышей автомобиля, его лицо было уже не розовым и цветущим, а темно-красным, апоплексическим.

Только теперь он представился, предложил Хайнштоку сигарету, которую тот отклонил, объяснив, что до ареста курил трубку, а теперь, собственно говоря, не хочет снова начинать.

Хайнштоk смотрел в окно, читал, когда они ехали по Берлину, названия улиц, выхватывал названия районов: Виттенау, Веддинг, Штеттинский вокзал, смотрел, как люди пользуются всем этим — идут, например, по Инвалиденштрассе к Штеттинскому вокзалу (или останавливаются и разговаривают друг с другом, или просто останавливаются, поставив на землю сумки, или задерживаются у витрин, или поворачивают обратно, или как-то еще меняют направление).

— Прежде чем ехать в отель,— сказал теперь уже не совсем незнакомый господин своему шоферу,— остановитесь перед каким-ни-

будь шляпным магазином, Бальтес! Посмотрим, может быть, нам удастся достать для господина Хайнштока шляпу.

Они нашли магазин в северной части Фридрихштрассе, и маленький господин в темно-синем пушистом пальто сумел сделать так, что владелец магазина продал шляпу, которая подошла Хайнштоку, без карточки на одежду. Второй раз в этот день Хайншток констатировал неотразимость господина Аримонда.

— Но самый невероятный момент в тот день был, когда я проезжал мимо канавы, в которой только что стоял и из которой выгребал мокрый грунт,— рассказывал он позднее Кэте.— Хотя я и прижался к спинке сиденья, я видел их всех, как они стояли в канаве — Дитрих, Зеннхаузер, Фишер и все остальные. И они меня видели. Конечно, ни один не рискнул помахать мне. Необычайно и, собственно говоря, ужасно было то, что я сразу же почувствовал: я больше не принадлежу к их числу. Тот, кто проезжал мимо них в автомобиле, был совершенно другой человек, нежели тот, что недавно стоял в канаве. Конечно, тогда я так не думал, так я подумал только сегодня. Тогда я лишь хотел, чтобы они меня не видели.

Следуя совету Аримонда, Хайншток не снял шляпы, когда они вошли в вестибюль «Кайзерхофа».

— Потом, когда вы устроитесь в номере, можете спуститься уже без нее,— сказал он.

Портье в отеле, судя по всему, не замечали в нем ничего особенного. Он был просто каким-то типом из свиты господина Аримонда, их многолетнего и высокочтимого гостя, которого здесь было принято окружать сердечностью,— едва заметный оттенок чрезмерной сердечности или особого рвения промелькнул и тогда, когда Хайншток вместо удостоверения личности представил справку об освобождении из концентрационного лагеря Ораниенбург: и такое уже бывало в «Кайзерхофе»; Аримонд с каменным лицом стоял рядом. Он позаботился обо всем, комната Хайнштока находилась рядом с его комнатой, и Хайншток нашел там белье, галстуки, туалетные принадлежности, светлый плащ и чемодан. Аримонд не скрывал, что вещи были из его собственного гардероба.

— Мне вас описали,— сказал он.— Я знал, что у вас примерно такая же фигура, как у меня. Только жира моего у вас нет.—Он от души рассмеялся.

Когда он снял в комнате пушистое темно-синее пальто, Хайншток увидел золотой партийный значок на лацкане его пиджака. Он был одет с иголочки — темно-синий костюм в едва заметную полоску облегал его полное тело, которое, наверное, было таким же розовым, вымытым и ухоженным, как его лицо. Белая шелковистая грива, которую больше не прикрывала шляпа, придавала ему вид маленького, хорошо приглаженного щеткой льва.

Во время обеда в ресторане «Кайзерхофа» Аримонд рассказал Хайнштоку о той роли, которую он играл в нерудной горнодобывающей промышленности, сообщил, что завтра возьмет его с собой на Запад, и объяснил, чем он будет заниматься. Делать там особенно нечего, сказал он, но ему нужен надежный специалист; каменоломни надо охранять, даже если они законсервированы. Умеет ли Хайншток водить машину? Хайншток ответил утвердительно. Аримонд пред-

ложил ему жалованье в 800 марок и бесплатное жилье. Они принялись разговаривать на профессиональные темы.

— Да вы не едите ничего,— сказал Аримонд.— Ну, это придет.

Он протянул ему несколько купюр, извинился, сказав, что после обеда у него заседания. Хайншток поначалу решил остаться в своей комнате, потом все же вышел на улицу; надев плащ и шляпу, он отправился по Вильгельмштрассе и Унтер ден Линден к Опере, свернул направо, дошел до Жандармского рынка и через Моренштрассе вернулся к отелю. В киоске на Моренштрассе он купил газету, у себя в номере начал ее читать. Заметив, что всякий раз, когда в коридоре раздаются шаги, он прерывает чтение и прислушивается, остановятся ли у его двери или пройдут, он спустился в вестибюль, сел в кресло, стал читать газету, листать журналы, лежавшие на столе, рассматривать лепные украшения на колоннах, панели из ценных пород дерева, люстры. Около шести часов он поднялся наверх, принял ванну, побрился, надел одну из сорочек Аримонда, повязал самый скромный из галстуков, осмотрел себя в зеркале, довольный, что старый костюм из серого вельвета с накладными карманами все еще ему впору.

Только за ужином Аримонд помог ему разгадать загадку. Ужин вообще проходил приятнее, чем обед, потому что Хайншток внезапно ощутил аппетит, с наслаждением съел венский шницель и гарнир — жареный картофель. Аримонд заказал бутылку рейнского, обратил внимание Хайнштока на марку и возраст вина. Потом рассказал, что весной был в Судетской области, участвовал в переговорах о присоединении тамошней промышленности к рейху.

— В каких же местах вы там были? — спросил Хайншток.

— В Райхенштайне, Винтерберге, Крумау и еще нескольких таких же захолустных дырах,— сказал Аримонд.— А что?

— Значит, вы были в Шумаве,— сказал Хайншток.— Судеты совсем в другом месте.

— В Шумаве? — переспросил Аримонд.— Этого названия я никогда не слышал.

— Это чешское слово, так называют Богемский Лес,— сказал Хайншток.

Он охотно рассказал бы Аримонду подробно о географии и населении Богемии, но не успел, потому что Аримонд сказал:

— Судеты это или Шумава — неважно, но там, во всяком случае, я услышал о вас.

— Обо мне? — спросил Хайншток.— Обо мне там в лучшем случае могли бы говорить мои сестры, но с ними вы наверняка не встречались.

— Вы себя недооцениваете, мой милый,— сказал Аримонд.— Я как-то сидел вечером в трактире с коллегами, товарищами по профессии или как там это называется, пировали мы отменно — у вас там в Богемии еда превосходная,— и вдруг услышал разговор двух господ, которые беседовали о том, что теперь куда приятнее работать — с тех пор, как некоторые сидят за решеткой. Были названы имена — первым ваше. «Хайншток,— сказал один из них,— так это же тот самый, что попал в концлагерь еще до вступления наших войск?» Другой подтвердил. «Он думал, что может так запросто отправиться в рейх»,— сказал он и засмеялся. Я вмешался и спросил, о ком они говорят. «Выдающийся специалист,— ответили мне,— но красная собака». Я позволил себе заметить, что сформулировал бы эту фразу наоборот: «Красная собака, но выдающийся специалист».

Он с силой поставил на стол бокал, из которого собирался пить.

— Извините, Хайншток,— сказал он.— Мне не надо было рассказывать вам этого. Вас сегодня уже обзывали зоологическими име-

нами.— И увидев, что Хайнштоκ улыбается, продолжал: — Эти господа были очень озадачены, когда я вытащил листок бумаги, записал ваше имя и сказал, что промышленность, собственно говоря, не может терять выдающихся специалистов — слишком большая роскошь. По отношению к кому-нибудь другому они бы наверняка кое-что себе позволили, может быть, даже стали бы угрожать, но вот это затыкает любую глотку.— Он показал на свой золотой партийный значок.— Руководитель военной промышленности,— сказал он.— Ну, вот вы и здесь, — добавил он.— Больше всего времени ушло на то, чтобы выяснить, куда вас вообще запрятали. А уж потом, собственно, все пошло довольно быстро.

И, переменив тему, он заговорил о том, что Судетская область — он снова сказал «Судетская область», а не «Богемия» — кажется ему хотя и красивой, но весьма унылой, стал размышлять вслух о будущем залежей графита и каолина на Верхней Влтаве, дал понять, что уже не очень заинтересован в присоединении промышленности бывшей Чехословакии к рейху, что руководство переговорами по этому вопросу передал другому господину из имперского объединения нерудной горнодобывающей промышленности; приказал подать еще одну бутылку вина. Когда она появилась на столе и, уже открытая, стояла в ведерке со льдом, а кельнер ушел, Хайнштоκ сказал:

— Значит, вы вытащили меня из концлагеря, потому что ищете специалиста по каменоломням, которому к тому же ничего не собираетесь поручать?

Аримонд раздумывал недолго. Он оглядел довольно пустой в этот вечер ресторан «Кайзерхофа», потом сказал, почти не понижая голоса:

— Послушайте, Хайнштоκ, вы же знаете, что мы проиграем эту войну.

— Я ничего не знаю,— быстро ответил Хайнштоκ.— Меня не было семь лет.

— Браво! — сказал Аримонд.— Вы не дурак. Знаете, я все время боялся, что вы окажетесь этаким политическим простаком. Или, что еще хуже — человеком сломленным, от которого мне не было бы никакого проку.

— О каком проке идет речь? — спросил Хайнштоκ.

— Да так,— сказал Аримонд,— собственно говоря, ни о каком. Просто в один прекрасный день мне не повредит, если будет несколько человек, которые подтвердят, что я им помог. Вы видите, я совершенно откровенен. Я бы не хотел, чтобы вы считали меня альтруистом.

Если бы в этот момент Хайнштоκ мог видеть себя, то заметил бы, что его глаза — так как зрачки сузились — стали еще более фарфорово-голубыми, чем обычно.

Пристально и весело рассматривал он своими фарфорово-голубыми глазами господина Аримонда. Позднее он рассказывал Кэте, что в тот момент, впервые за весь день, почувствовал облегчение.

— Каковы бы ни были причины, заставившие вас вытащить меня оттуда, господин Аримонд,— сказал он,— я вам благодарен.

— Не стоит благодарности,— сказал Маттиас Аримонд.

— В начале июня сорок первого года,— сказал Хайнштоκ,— не так-то просто было предсказать, что Германия проиграет войну. Ведь поход в Россию начался только через две недели.

— И что же,— спросила Кэте,— ты поможешь ему в один прекрасный день, как он помог тебе?

— Конечно,— сказал Хайнштоκ.— Наверняка. Какие-то люди, очень немногие, выживут, возможно, в концлагерях. Но мне он спас жизнь.

— Золотой партийный значок, руководитель военной промышленности,— сказала Кэте.— Скольких он засадил, чтобы одного вытащить?

— Я расспрашивал людей. Ему вручили золотой значок просто для престижа. Я ни от кого не слышал, чтобы за ним числились какие-нибудь подлости.

— Он давал деньги. Он помогал все это финансировать. Ему, наверное, пришлось здорово раскошелиться, иначе он не получил бы этого значка. И такого типа ты собираешься выручать!

— Но он не фашист, скорее нечто противоположное. Он приспособился, он принял условия игры, когда увидел, какой оборот принимает дело. Он гангстер, понимаешь? В своей абсолютно чистой форме капитализм — это система гангстерских синдикатов, они получают барыши, они вступают в сговор, но своей идеологии у них нет, они, собственно говоря, ненавидят всякую идеологию, потому что она мешает им обделывать свои делишки.

— Вот к каким выводам приводит тебя твой марксизм,— сказала Кэте.— Иногда мне кажется, что марксизм — это только метод, чтобы все объяснять.

— Да, все объяснять,— сказал Хайншток,— но не все прощать. И тем не менее я помогу Аримонду, если понадобится. Ты просто не представляешь себе, что со мной творилось, когда меня увели в тот день из лагеря, когда я сбросил полосатую робу...

— Отчего же,— перебила его Кэте,— это я понимаю.

— Я тебе вот что скажу,— продолжал Хайншток,— Аримонду не потребуется моя помощь. Поскольку революции не будет и поскольку он не совершал преступлений, с точки зрения буржуазной юрисдикции он просто останется у власти.

Он увидел выражение недовольства на лице Кэте — она перестала возражать, у нее пропал интерес к этому разговору.

Ночью он не мог уснуть. Около двух часов он подошел к окну, поднял затемняющее жалюзи, посмотрел на темную Вильгельмсплац, различил черную приземистую глыбу рейхсканцелярии, справа от нее глыбу повыше — министерство пропаганды, чугунные памятники, словно серые тени под окном. Давно уже прошли те времена, когда кто-либо, глядя из окна «Кайзерхофа», думал: вот дворец Шуленбурга; или: вот дворец ордена иоаннитов; или вспоминал: Шверин, Ангальт-Дессау, Винтерфельдт, Кайт, Цитен, Зейдлиц. Хайншток, во всяком случае, будучи — вне своей профессии — человеком сугубо политизированным, уже и мысленно не произносил слово «Пруссия», а только «фашизм»; впрочем, может быть, он и об этом не думал; может быть, в ту ночь 6 июня еще не превращенная бомбами в руины Вильгельмсплац представлялась ему мрачной, тонущей в ночной мгле каменоломней истории; потом он, надев пижаму господина Аримонда, лежал в постели «Кайзерхофа», не веря внезапной перемене в своей жизни, а потом, будучи все же человеком достаточно политически закаленным, чтобы сознавать, что и в эту ночь, как и в предыдущую, он находится в мире фашизма, неподвижно смотрел на серый прямоугольник окна. Он забыл снова опустить затемняющее жалюзи.

Приблизительно раз в полгода Аримонд являлся к Хайнштоку. В один из октябрьских дней 1942 года, похожих на октябрьские дни 1944-го — та же прекрасная погода, легкая осенняя дымка светлой вуалью прикрыла винтерспельтский карьер, под которым они стояли, только войны в этих местах еще не было, не то что теперь, когда она

лишь казалась невидимой благодаря стратегии майора Динклаге,— в один из таких дней Аримонд, широким жестом правой руки как бы обрисовывая контуры каменоломни, сказал Хайнштоку:

— Так вот, если хотите, она может быть вашей.

Могло показаться, что эти слова — лишь одна из внезапных идей Аримонда. Во всяком случае, не было прямой связи между этими словами и тем спором об общественных системах, который они только что вели в хижине. Они привыкли устраивать диспуты о капитализме и коммунизме, в ходе которых Хайншток поверял твердой теорией расплывчатые аргументы практика Аримонда и отвергал их.

Бесчисленные горизонтальные морщинки на лице Хайнштока слегка сдвинулись вверх, но рот оставался неподвижной тонкой полоской. Глаза, эти маленькие голубые камушки, стали еще меньше, чем обычно. Он не удостоил Аримонда ответом.

— Я не собираюсь вас разыгрывать,— сказал Аримонд.

— Предположим, я хотел бы ее приобрести,— сказал Хайншток, вдруг догадавшись, что собеседник говорит серьезно, и ошеломленный невероятными возможностями, которые таились в этом предложении,— не могли бы вы в таком случае открыть мне секрет, где я возьму на это деньги?

— В банке,— мгновенно ответил Аримонд.

Хайншток сухо засмеялся.

— Вы же знаете, что у меня нет денег в банке,— сказал он.

— У меня такое впечатление, что я разговариваю с первобытным человеком,— сказал Аримонд.— Так вот: мы заключим договор о купле-продаже. Я вам продам каменоломню за двадцать пять тысяч рейхсмарок. Завтра утром мы вместе отправимся в окружную сберегательную кассу в Прюме, которая на основе этого договора даст вам деньги.

— Вот так просто и даст?!

— Не так просто, а за восемь процентов годовых, которые вы будете выплачивать два раза в год. Каждые полгода вам придется вносить тысячу марок. Вы это сможете делать, Хайншток, из того жалованья, которое я вам плачу и которое, конечно, буду платить и дальше, потому что, надеюсь, вы будете следить и за остальными каменоломнями.

— Вы хотите меня убедить, что окружная сберкасса в Прюме предоставит кредит в двадцать пять тысяч рейхсмарок на приобретение бездействующего карьера?

— Она предоставит его, чтобы вы в обозримом будущем сделали эту лавочку действующей. А кроме того, я вам дам поручительство.

— Ага,— сказал Хайншток.— В таком случае каменоломня будет принадлежать, во-первых, банку, а во-вторых, как и прежде, вам.

— Ох ты господи,— сказал Аримонд,— пойдите к любому предпринимателю — здесь у нас или где угодно — и спросите, обходится ли он без банковских кредитов и поручительств. А потом спросите, чувствует ли он себя тем не менее предпринимателем. Главное, чтобы предприятие было рентабельным. Рентабельным оно должно быть, Хайншток! Чем рентабельнее станет со временем ваша каменоломня, тем больше кредитов вы будете брать, чтобы расширять ее, делать еще более рентабельной!.. Я всегда знал,— добавил он,— что вы, коммунисты, не имеете ни малейшего понятия об экономике.

Он начал ругать Хайнштока, сказал, что, вместо того чтобы забивать себе голову мыслями о том, кому будет принадлежать карьер, Хайншток должен был бы поторговаться с ним, но он, Аримонд, это предусмотрел и потому назначил предельно низкую цену, хотя, с другой стороны, и не слишком низкую: 25 тысяч винтерспельтская каменоломня стоит в настоящий момент, но позднее, когда Хайншток

начнет ее эксплуатировать, окажется, что эта сумма была сущим пустяком; он, Аримонд, даже думать не желает о том, сколько может дать винтерспельтская каменоломня, а то он возьмет свое предложение обратно.

Это была ложь. Оба они были достаточно компетентными специалистами и знали, что винтерспельтская каменоломня могла выдавать лишь ограниченное количество высококачественного камня, из которого изготавливаются подоконники, дверные карнизы, лестничные ступени и тому подобное, что никогда из бутового камня, добываемого здесь, не будут строить дома и никогда эта каменоломня, в отличие от других, не будет поставлять такое массовое сырье, как щебень, строительный цемент, цементный известняк. Даже при налаженной эксплуатации винтерспельтской каменоломни там нужно не больше десятка рабочих. Для господина Аримонда — это сущий пустяк, мелкая рыбешка.

Углубившись в свой профессиональный разговор, глядя на каменную стену, находившуюся уже в тени, которая теперь приближалась к ним, но еще не могла их достать, они стояли рядом, два невысоких, почти одного роста, человека, еще освещенных лучами света в этот октябрьский день без войны, потому что война тогда, если не считать воздушных налетов на немецкие города, бушевала в степях восточнее Дона, на море между Исландией и Мурманском и у границ Египта, но не здесь, в этом краю сумрачных деревень, хуторов, лесов, безмолвие которых нарушалось лишь криками канюка, краю, где скоро все покроется снегом; так что эти два подружившихся человека еще могли вести деловой разговор, переходя от проблемы движения капитала и кредитного баланса к проблемам обработки ракушечника из остиолатового горизонта. Будущий майор Динклаге тогда еще был оберлейтенантом на Киренаике; Шефольд занимался во дворце Лималь изучением творчества одного из фламандских мастеров миниатюры XIV века и не подозревал о существовании Хеммереса, и даже Кэте Ленк еще не появилась в Винтерспельте, а ходила по Берлину, брала уроки английского (каждую пятницу вечером) у фрейлейн Хезелер на Доротеенштрассе и часто встречалась со своим тогдашним другом Лоренцем Гидингом.

На следующий день Аримонд и Хайншток поручили нотариусу Нёсгесу в Прюме составить договор о купле-продаже, подписали его и отправились с этим документом в окружную сберегательную кассу, директор которой, получив поручительство Аримонда, санкционировал кредит; денег этих Хайншток так и не увидел, ибо они с помощью простейших бухгалтерских операций были перечислены на счет акционерного общества «Туф и базальт» в Майене; в тот же день они посетили бюро инвентаризации земельной собственности и подали ходатайство о переводе участка площадью ровно в два гектара севернее общинной дороги из Винтерспельта в Блайальф на имя Венцеля Хайнштока.

— Почему этот Аримонд попросту не подарил тебе свою каменоломню? — спросила Кэте Ленк, когда Хайншток рассказал ей эту историю.

— Он об этом говорил,— сказал Хайншток.— Он сказал, что такой подарок был бы нарушением добрых купеческих обычаев. «Кроме того,— сказал он,— если бы я подарил вам эту кучу камней, вы бы не чувствовали себя обязанным превратить ее во что-то стоящее». В качестве подарка я бы и сам, наверное, ее не принял,— добавил Хайншток.

Но он был готов признать, что из диспутов о капитализме и коммунизме Аримонд вышел победителем, причем с помощью средства, которое философски образованная («интеллектуальная») Кэте назвала *индуктивным умозаключением* («Установление общих правил и законов через частные факты, познание на основе опыта»): ему удалось сделать Хайнштока если не капиталистом, то, во всяком случае, собственником определенного вида полезных ископаемых.

Могло ли быть, что Аримонд помог Хайнштоку стать владельцем винтерспельтской каменоломни не потому, что хотел довести ad absurdum[1] его марксизм, а совсем по другой причине: он заметил, что об этом известняковом карьере человек из Богемии говорит другим тоном, иначе, чем об остальных участках, за которыми должен был следить? Или он как-нибудь тайком, внезапно нагрянув, наблюдал за Хайнштоком, когда тот, закурив трубку и прислонившись к каменной глыбе на заброшенной площадке под утесом, рассматривал светлую стену, на которой ничего нельзя было разглядеть, тем более человеку, который жил под нею уже не один день? Мы этого не знаем и не можем судить о размерах и причинах проявленной Маттиасом Аримондом чуткости. С прошлой зимы он больше не показывался в округе Прюм, по-видимому, у него было хлопот по горло— надо было подготовить имперское объединение нерудной горнодобывающей промышленности, собственные предприятия и самого себя к тому, что он предсказывал еще в июне 1941 года, а такая штука, как б л и з о с т ь ф р о н т а, была ему — это можно предположить — весьма и весьма не по вкусу.

Несмотря на условную форму фразы «Предположим, я хотел бы ее приобрести», Хайнштоку почти не удалось скрыть, что он уже клюнул на приманку, которую держал перед ним Аримонд. Но почему он клюнул, почему был так захвачен н е в е р о я т н ы м и в о з м о ж н о с т я м и, когда понял, что Аримонд, этот слабый теоретик, но тонкий психолог и искуситель, говорит всерьез? Не отрекался ли он, нет, не так: не предавал ли он тем самым то, что понял тридцать лет назад, глядя на геологически очень похожую стену? И не был ли потому вопрос Кэте, заданный, когда он заявил, что в качестве подарка он бы этот участок не принял, весьма уместен: «Почему же ты вообще его принял?»

Он на этот вопрос не ответил, только пожал плечами, не стал рассказывать Кэте, как он, вернувшись с договором в кармане из Прюма, испытал поистине детскую радость, даже стал ощупывать стену, приговаривая, что теперь она принадлежит ему.

Вот дальнейшие размышления Хайнштока, которые приводятся здесь лишь в самых общих чертах.

Историю следует рассматривать как напластование осадочных горных пород.

Войны, революции — это складкообразование, сдвиги пластов горных пород. Теперь самое важное, чтобы началось тысячелетие спокойного залегания пластов, которому ничто не помешает. Благое пожелание.

Он питал неприязнь к метаморфическим породам из недр земли, а также к вулканам. Осадочные пласты, слоистые горные породы,

[1] До абсурда *(лат.)*.

лучше всего образованные живыми существами, органогенные породы — вот что нужно.

Марксизм — это тоже пласт (геологический).

Из данных геологической экспертизы, проведенной когда-то по заказу Аримонда, он узнал, что известняки винтерспельтской каменоломни содержат в качестве минералогических составляющих кальцит и доломит, а также вкрапления глинистых минералов — кварц, гидроокиси железа и битум. Он сразу же спросил себя, какие составные части марксизма существенны, а какие представляют собой вкрапления.

Несмотря на принятое им решение (в пользу владения винтерспельтской каменоломней), он принадлежал к марксистскому слою. Геологи будущего нашли бы его в этом слое. («Я коммунистическая свинья».) Правда, они вряд ли присвоили бы ему ранг руководящей окаменелости.

Маттиас Аримонд платил Хайнштоку 800 рейхсмарок в месяц за то, что он приглядывал за его заброшенными каменоломнями, другими словами, ничего не делал. Он имел большие полномочия, поэтому для инспекционных поездок ему был предоставлен старый, но надежный «адлер»; Хайншток был один из немногих штатских в округе Прюм, кто имел разрешение пользоваться автомобилем на шестом году войны. За четыре года, проведенных в этих местах, он собрал примечательную коллекцию окаменелостей.

Кэте часто с восхищением смотрела на эту коллекцию. Но когда Хайншток хотел однажды подарить ей особенно великолепный экземпляр — окаменелую чашечку морской лилии,— она отказалась.

— Она для меня слишком тяжела. Знаешь, когда я буду уходить отсюда, мой багаж должен быть легким. Я не смогу тащить с собой камни,— сказала она.

Уточнение главной полосы обороны

Вид с высшей точки каменоломни, принадлежащей Хайнштоку, приблизительно такой же, как с Урберга — холма, расположенного двумя километрами западнее, у проселочной дороги из Винтерспельта в Ауэль. Общинная дорога между Винтерспельтом и Блайальфом пересекает, правда, ряд холмов и долину реки Ирен, однако возле нее нет ни одной горы, похожей на Урберг. И описанной нами каменоломни там не обнаружишь. А вот хутор Хеммерес (тогда бельгийский) был действительно уединенным; с тех пор он превратился в небольшую деревню, которая уже перестала быть уединенной; деревянный мост и железнодорожный виадук исчезли. (Хеммерес был до 1918 года немецким, с 1918 по 1940-й — бельгийским, с 1940 по 1945-й — немецким, с 1945 по 1955-й — бельгийским, в 1955 году Бельгия уступила его Федеративной Республике Германии.) Маспельт и его окрестности, где располагается капитан Кимброу, изображены весьма точно. Самым большим изменениям подвергся Винтерспельт: деревня под таким названием расположена вовсе не в известняковой котловине, а в стороне — на холмистой местности в районе западного склона Эйфеля, ближе к предгорью Арденн. Моделью для Винтерспельта послужила деревня в восточной части округа Прюм. И, наконец, следует признаться, что даже линия фронта с исторической точки зрения нарисована неточно. Осенью 1944 года Винтерспельт находился вовсе не

в руках немцев, а уже в руках американцев; в начале арденнской битвы он был, по-видимому, у них отобран и в январе 1945 года снова ими захвачен. И если мы в начале октября еще оставляем американцев на западном берегу Ура, то лишь для того, чтобы придать плану майора Динклаге большую достоверность с точки зрения топографии. В отличие от истории повествование (эта игра в ящике с песком) может позволить себе такую незначительную подделку.

Конец вороньего гнезда

12 октября 1944 года (четверг), вскоре после полудня. Как раз в тот момент, когда Хайнштоk решил спуститься вниз, он заметил Кэте, которая осторожно ехала на велосипеде по песчаной ленте дороги. Отправляясь к Хайнштоку днем, она одалживала у Терезы Телен велосипед, чтобы сэкономить время, а сегодня она, конечно, особенно торопилась. Ей приходилось следить, чтобы не заехать на щебень, поэтому она не могла видеть Хайнштока, который стоял наверху и махал ей рукой. Он быстро пошел вниз, чтобы оказаться у хижины одновременно с ней.

Донесение о чрезвычайном происшествии во время пребывания на посту

Хотя все сегодняшнее утро Райдель был занят размышлениями о том, какие последствия может иметь для него рапорт Борека, он сразу же заметил движение, легкую тень, едва различимое цветное пятно среди сосен наверху, на которое мгновенно отреагировала его сетчатка. Светло-карие, почти желтые глаза Райделя даже не сузились. Глаза его были настолько зоркими, что он редко щурился, вглядываясь в какой-либо объект. Райдель правой рукой, даже не шелохнувшись, подтянул карабин к бедру. У него еще оставалось время проверить, находится ли верх его каски на одном уровне с краем окопа, в котором он стоял, когда цветное пятно, мелькнувшее среди сосен, обрело четкие контуры — показался человек; он остановился и принялся осматривать местность — пологий склон, лишь кое-где поросший можжевельником. Человек этот был штатский, и выглядел он так невероятно, что Райдель просто обалдел. Однако, поскольку он терпеть не мог попадать впросак и всегда бдительно следил за тем, чтобы ни в коем случае не остаться в дураках, он сразу же разработал тактику поведения. Он очень надеялся на появление американского патруля, человек трех, с которыми управился бы тремя, быстро следующими один за другим выстрелами в колени. Тогда он мог бы взять их в плен. Он сам пошел бы с санитарами и сдал раненых на КП батальона в Винтерспельте. Столь ловко проведенная операция была бы упомянута в приказе по дивизии; тем самым было бы покончено с рапортом Борека. Но, конечно, на такую удачу рассчитывать не приходилось. Возможно, какой-нибудь крестьянин из Винтерспельта или Вальмерата, движимый желанием взглянуть на свои ржаные поля, которые ему не разрешали обрабатывать, поскольку здесь, когда урожай уже был убран, прошла главная полоса обороны, заблудился и забрел на передний рубеж охранения. Но это было маловероятно. Крестьяне хорошо ориентируются. Здесь вообще все было маловероятно. Ни ему, ни кому-либо другому

из его роты не приходилось еще докладывать о чрезвычайном происшествии во время пребывания на посту, хотя бы о самом пустяковом. Только ежедневные налеты истребителей-бомбардировщиков да артиллерийские залпы на севере, приглушенно доносившиеся в ранние утренние часы — это американцы пытались прорваться к дамбе, перегораживающей долину Урфта,— напоминали им, что идет война. Последние двенадцать дней — с тех пор как Райдель снова находился на фронте — он не слишком усердствовал, не то что недавно в мирной Дании, где тупая гарнизонная служба, которую наладил командир батальона, этот хромой кавалер Рыцарского креста, напоследок стала изрядно действовать ему на нервы. Сосунки вроде Борека не верили ему, когда он говорил, что на фронте будет куда легче.

И то, что сейчас перед окопом Райделя со стороны противника появился высокий и полный господин в свободном пиджаке из мягкого серо-коричневого материала, в выгоревших брюках, белой рубашке и галстуке самого настоящего огненно-красного цвета, было не только невероятно, а просто немыслимо. Верхняя пуговица рубашки у незнакомца была расстегнута, узел галстука ослаблен. Через правое плечо небрежно перекинут светлый плащ. На крупном пунцовом лице выделялись пегие английские усики. Поскольку Райделю было свойственно считать реальным все, что он видел, он сразу же отогнал мелькнувшую у него мысль, что нельзя верить глазам своим. Прежде чем действовать, он решил составить мнение о незнакомце. Он выждал, пока тот, остановившись в тени серо-голубых сосен на опушке, закурит сигарету. Возможно, все было наоборот; возможно, Райдель позволил человеку закурить сигарету не потому, что хотел составить мнение о нем, а наоборот: поскольку тот стал закуривать сигарету, Райдель решил составить мнение о нем. Не прищуриваясь, он следил своими чрезвычайно зоркими глазами за движениями этого господина: как он сунул левую руку в карман пиджака, достал пачку сигарет и зажигалку, какое-то время спокойно подержал оба предмета в руке, не глядя на них, и только после паузы, показавшейся Райделю бесконечной, вытащил правой рукой сигарету из пачки, зажал ее губами, молниеносно поменял положение зажигалки и пачки с сигаретами в руке, какой-то миг сосредоточенно глядел на пламя маленькой серебристо-черной зажигалки и только потом, опустив эти предметы в карман пиджака, снова стал осматривать местность. Райдель отметил, что все движения пришельца отличались легкостью, хотя человек это был массивный.

Райдель пришел к двум выводам: во-первых, незнакомец совершал прогулку, во-вторых, он принадлежал к категории «клиентов». Он вел себя как человек, который во время прогулки остановился закурить сигарету,— стало быть, он действительно прогуливался. Но так как 12 октября 1944 года в главной полосе обороны на данном участке фронта в Эйфеле не было гуляющих — их не только не могло быть, их просто не существовало в природе,— то что-то тут было не так. И значит, человек, появившийся со стороны противника и приближавшийся к передовой цепи постов, как бы непринужденно он себя ни держал, был прежде всего и при всех обстоятельствах в высшей степени подозрителен.

Слово «клиент» имело для Райделя свой особый смысл. Он был сыном хозяина гостиницы в Эльберфельде; отец заставил его изучить гостиничное дело с самых азов, притом в отеле первой категории в Дюссельдорфе, и это привело к тому, что Райдель стал делить людей на «клиентов» и тех, кто их обслуживает. Он не сомневался в том, что человек, за которым он наблюдал, принадлежит к кате-

гории клиентов, останавливающихся в гостиницах высшего класса. Сразу же, с первой секунды своего появления, он произвел на Райделя впечатление настоящего господина, барина, и не только потому, что — если не считать огненно-красного галстука — был одет со столь неброской элегантностью.

Лишь придя к определенному выводу или просто насмотревшись вдоволь, Райдель поднял карабин, но не молниеносно, как намеревался, а очень медленно, очень осторожно. Незнакомец, скрестив руки на груди, уже не рассматривал лежавший перед ним склон, а вглядывался вдаль. Время от времени он подносил ко рту сигарету, выпускал дым. Наконец он бросил окурок. Когда оружие было у Райделя на уровне бедра, он быстро двинул затвором вверх и вперед. Короткий металлический и очень громкий звук рычага, продвигающего патрон в ствол, ворвался в тишину прекрасного безветренного октябрьского дня. Райдель пожалел, что оружие нельзя бесшумно снимать с предохранителя и ставить на боевой взвод. Расстояние между его окопом и соснами на холме он уже не раз измерил шагами. Он знал, что расстояние между ним и незнакомцем составляет тридцать метров.

Когда Шефольд выходил из леса в долину южнее Хеммереса — по обычному, рекомендованному Хайнштоком пути через линии немецкой обороны,— перед ним открывались пейзажи, знакомые по картине создателя тибуртинской Сивиллы. Шефольд всякий раз радовался поразительному сходству действительности и изображения, ибо оно напоминало ему, что из всех старинных работ, хранящихся в Институте Штеделя, картина, на которой тибуртинская Сивилла возвещает императору Августу о рождении Христа, нравилась ему больше всего. Кстати, у него был собран материал, позволявший исправить имя автора, данное ему Фридлендером. Поскольку Шефольд знал каждую картину в восточной Бельгии и Люксембурге — знания эти и спасли ему жизнь,— он почти не сомневался, что автором картины является некий Алберт ван Ауватер, который работал вместе с Дирком Баутсом в конце XV века в Лувене, или Лёвене, недалеко отсюда. Был он прав или нет, но то, что во время своих первых прогулок по немецкой земле он оказался среди пейзажей мастера, которому великий Фридлендер дал имя по одной из картин Института Штеделя, Шефольд рассматривал как знак своего удачного возвращения на родину. В его профессию входило верить в знаки. Хайнштоk неизменно предостерегал его. Словно обладая способностью читать мысли, он однажды сказал:

— Вы вернулись слишком рано, господин доктор Шефольд.— И добавил: — Вы слишком много расхаживаете здесь. Побудьте еще несколько месяцев в Хеммересе! Там вы в безопасности.

Шефольду уже надоело быть в безопасности. Несколько крупных коллекционеров или владельцев коллекций в Бельгии прятали его в своих замках, в своих городских дворцах; им казалось естественным защитить такого человека, как он. Его передавали знакомым — после оккупации Бельгии в 1940 году он жил по очереди в Антверпене, Турне, Динане, потом в Валькуре, Комине и, наконец, в замке Лималь. Его снабдили даже бельгийским паспортом; ему не надо было бояться внезапных проверок со стороны вермахта, он мог бы свободно ходить повсюду, но он отказался — не из страха, а чтобы не подвергать опасности тех, чьим гостеприимством он пользовался. Он составлял каталоги коллекций и библиотек, производил экспертизы. Сидя в частных архивах, окруженный гербами, карти-

нами и первыми изданиями, он признавался себе, что эта призрачная жизнь в старых домах ему нравится. Кроме того, везде была превосходная еда. Шефольд утверждал, что за первоклассный гуляш способен убить своего брата Авеля. У него не было брата. Он был единственный сын франкфуртского участкового судьи.

С весны ему не сиделось на месте. Вести из Италии и с Украины подтверждали, что исход войны предрешен. После высадки союзников и битвы под Минском он уже не мог выдержать в Лимале. Господин Ван Реет предостерегал его; как теперь Хайншток, он советовал не выходить слишком рано из укрытия, но Шефольда невозможно было удержать, он отправился в восточные пограничные области, некоторое время продержался у друзей Ван Реета в Мальмеди, наблюдал за отступлением немецких войск, бродил в Арденнах, в буковых лесах. Как и все, он переоценивал темпы американцев и ждал их с нетерпением. От нетерпения он поселился в Хеммересе, что было крайне легкомысленно с его стороны. Как-то он был в Маспельте, соблазнился близостью Ура и решил осмотреть пограничную речку. Оказавшись на западной цепи гор над долиной, он увидел на немецком берегу два белых домика. Мужчина колол дрова, женщина ходила между домами, ребенок пас коров на лугу у реки. Может быть, Шефольда пленил деревянный мостик, который вел через мелководную черную речушку к домам. Он заговорил с человеком, коловшим дрова. С тех пор он там жил. Вероятно, их договоренность длилась бы недолго, через какое-то не очень отдаленное время хозяин попросил бы его исчезнуть или просто выдал бы его, но события развернулись очень быстро: американцы заняли Маспельт, немцы отошли за высоты на восточном берегу Ура. С середины сентября хутор Хеммерес находился на ничейной земле. Меж холмов, обрамлявших долину, два белых домика напоминали взятую войной в скобки фразу о мире. Шефольд поздравлял себя. Он выбирал вслепую, но выбрал правильно. Кроме того, его наполняло удовлетворение, что он вернулся на немецкую землю не в эскорте войск союзников, а значительно опередив их. Это чувство удивляло его. С 1937 года, со времени своего бегства из Франкфурта, он отучал себя любить Германию. Слово «родина» не таяло у него на языке, оно в лучшем случае имело вкус крупинки соли.

Еда и в Хеммересе была отличная. Хозяева даже разрешали ему самому готовить, недоверчиво пробуя непривычные блюда, которые он стряпал из мяса, яиц, картофеля, овощей. Время от времени он бывал в трактире в Сен-Вите, но не ради еды, которая была там скверной, а потому, что влюбился в официантку. Шефольд 1900 года рождения, мужчина сорока четырех лет, еще не знал женщин, но вечно влюблялся, притом всякий раз надолго и страстно; его принципом было не показывать ни единым взглядом, ни единым словом своих чувств. Он называл себя радикальным стендалевцем. Всю первую половину 1944 года он был влюблен в жену Ван Реета, семнадцатилетнюю девчонку из брюссельской мелкой буржуазии; ее формы господин Ван Реет открыто сравнивал с рубенсовскими. Поскольку Шефольду казалось, что он не может жить, не видя ее, то он часто колебался, покидать ли ему Лималь. И вот теперь эта официантка. Шефольд считал, что ей лет тридцать пять. Пытаясь определить, в чем своеобразная привлекательность ее асимметричного худого лица, особого оттенка ее гладкой желтоватой кожи, он старался не думать о Мемлинге, хотя невозможно было не заметить прямого сходства с портретом Марты Морель в Брюгге. Но когда речь шла о женщинах, Шефольд запрещал себе сравнивать их с картинами. Он только снова констатировал, как легко он ме-

нял типы своих увлечений. Трудно было бы придумать двух более разных женщин, чем госпожа Ван Реет, веселое пышное создание, вся розово-золотая, и эта темноволосая валлонка, подходившая к его столу словно тень из глубины плохо освещенного ресторанчика и молча ожидавшая, пока он сделает свой заказ. Ради того, чтобы видеть ее,— он иногда сомневался, удается ли ему скрыть от нее, как обычно от других женщин, свои чувства,— он просил водителей джипов подвезти его в Сен-Вит. Через американские линии обороны на высотах западнее Хеммереса он давно уже ходил как старый знакомый. Командование полка распорядилось, чтобы капитан Кимброу в Маспельте выписал ему пропуск. Он мог бы в любой момент вернуться в Лималь. Хайншток называл его глупцом за то, что он этого не делал,— называл, правда, только до тех пор, пока не впутал его в эту историю с Динклаге.

Утром 12 октября Шефольд размышлял, какой галстук ему надеть по случаю визита к майору Динклаге. Так как он взял с собой в Хеммерес лишь один-единственный костюм, а именно: старый твидовый пиджак и еще более старые вельветовые брюки, то из всех проблем, связанных с его гардеробом, оставался только выбор рубашки и галстука. Рубашка подходила лишь белая: Шефольд твердо верил в магическое действие белых сорочек в светской игре между людьми его и Динклаге уровня; белая сорочка станет символом, который сразу объединит его и Динклаге. Пойдя на эту уступку, он зато выбрал огненно-красный галстук: надо было продемонстрировать Динклаге не только мирный белый цвет, но и вызывающий красный.

Глядя на себя в зеркальце для бритья — других зеркал в Хеммересе не было,— он тщательно пригладил щеткой свои английские усики; его не смущало, что они седые и старят его. Одевшись, Шефольд больше не думал о своей внешности. Он считал, что знает, как выглядит. Подойдя к открытому окну, он посмотрел на старые яблони, уже почти голые — через их безлистые ветви видна была темная, блестящая на солнце река. Когда он явился сюда в июле, эти яблони были еще зелеными, по утрам от них на чисто выбеленные стены комнаты падал зеленоватый свет; позже, в сентябре, он стал красноватым. Лежа в постели, наблюдая за игрой света, Шефольд каждое утро жалел, что он не художник, а только знаток живописи. Вплоть до августа акварель Клее висела на стене против окна, напоминая, что такую картину мог написать только настоящий художник. Свои рукописи, все материалы для работы Шефольд оставил в Лимале — все, кроме этой картины. В середине августа он отнес ее Хайнштоку: если ее можно было надежно спрятать, то лишь у него; через несколько месяцев, когда война кончится, он возьмет из надежного тайника Хайнштока «Полифонически очерченную белизну» и с триумфом вернет ее во Франкфурт, передаст снова Институту Штеделя, откуда похитил ее, чтобы спасти, в 1937 году. Он удивлялся, что не особенно жалел об ее отсутствии, но говорил себе, что расставанье оказалось таким легким, ибо он знал наизусть каждый квадратный сантиметр этой акварели.

Он вышел из своей комнаты, спустился в кухню, приготовил себе завтрак. В этот час дом был пуст. Он поджарил яичницу из двух яиц так, что желтки остались желто-золотыми на белом фоне, очерченном коричневой корочкой — нельзя допустить, чтобы края почернели,— съел два ломтя ржаного хлеба, намазанных маслом не слишком толсто, не слишком тонко, выпил крепкого черного кофе. У хозяев Хеммереса было все, только кофе приходилось добывать Шефольду. Они и в остальном неплохо наживались на нем: он пла-

тил им бельгийскими франками, а с недавних пор даже долларами, потому что в Сен-Вите появились валютчики, которые меняли бельгийские франки по фантастическому курсу на доллары. Когда Хеммерес уже не будет ничейной землей, у его обитателей окажутся деньги, которые чего-то стоят. Не очень много, ибо Шефольд не был богатым человеком, но поскольку в последние годы он всюду пользовался бесплатным жильем и питанием, то мог откладывать свои гонорары. Завтракая, он смотрел в окно кухни на коричневые мостки, которые так симпатично скрипели, когда по ним кто-нибудь шел. По ту сторону, в Бельгии, раскинулся луг, принадлежащий хозяину Хеммереса. Шефольд сидел так довольно долго, выкурил первую сигарету, потом, против обыкновения, вторую. Жаль только, что здесь не было утренних газет. Прежде чем выйти из дома, он еще какое-то время поиграл с большим полосатым котом, который лежал на подоконнике. Шефольд обожал кошек.

Позднее, уже в лесу, посмотрев на часы, он убедился, что все же вышел слишком рано. Часть пути он прошел в обычном направлении, пока не оказался в том месте, где сегодня ему предстояло свернуть направо и двинуться вверх, через буковый кустарник, лещину, через все эти дикие заросли, в гору. Он сел на пень и подождал. Он предпочел бы пойти прямо, по ровной, усеянной иглами земле через темный высокий сосновый лес вдоль речки, до того места, где сквозь стволы просвечивала светлая стена каменоломни Хайнштока и откуда открывался вид словно на картинах XV века. По причинам, которых он не понимал, потому что не имел ни малейшего представления о том, как ведутся войны, путь вдоль речки был самым надежным для пересечения немецких линий обороны, ибо пропуска у него не было. Хайншток показал ему на карте не только этот надежный путь, но и тот, по которому ему надлежало идти сегодня, даже вырезал соответствующий кусок карты и дал ему с собой; сидя на пне, Шефольд рассматривал этот кусок бумаги, казавшийся ему таким же ненужным, как и позавчера, таким же бессмысленным, как и весь этот слишком ранний и беспричинный визит к Динклаге; ему надо только подняться по склону на высоту восточнее долины Ура, и он — на месте. В тишине леса ему вдруг показалось невероятным, что здесь противостоят друг другу две армии, сама мысль о таком противостоянии показалась ему столь абсурдной, что ему захотелось встать и вернуться в Хеммерес, даже в Лималь; но он понимал, что здесь, конечно, речь идет не об армиях. Здесь противостояли друг другу всего лишь рота Кимброу и батальон Динклаге.

Подъем был крутым, утомительным. При других обстоятельствах Шефольду показались бы приятными легкие тени сосен на возвышенности, сами сосны, но так как здесь был единственный опасный участок пути, он не обращал на них внимания, а быстрым шагом продвигался между стволами деревьев вперед и остановился только там, где они кончились, чтобы осмотреть склон, который теперь полого спускался перед ним. Хайншток тоже признавал, что это будет критический момент: ведь кто-нибудь из солдат, находящихся на середине склона в окопе, вполне может выстрелить в Шефольда, вместо того чтобы его окликнуть. Только постояв несколько секунд в состоянии какой-то оглушенности, Шефольд обрел способность внимательно оглядеть склон. Он с удивлением обнаружил, что склон пуст. Он разглядел два окопа, но в них никого не было. Уже сосредоточившись, он отметил небольшие неровности на почве, тени можжевельника — и больше ничего. То, что передовая линия немецкой обороны находилась не там, где должна была находиться, нару-

шало его план. Он спросил себя, как же быть дальше. Просто продолжать путь, пока его где-нибудь не остановят? Он был растерян и в то же время почувствовал облегчение: подумал даже, не повернуть ли назад; здесь было что-то не так, ему надо получить новые инструкции от Хайнштока, которому, в свою очередь, необходимо заново получить информацию о тактике Динклаге. Шефольд закурил сигарету. С чувством облегчения он стал внимательно рассматривать дальний ландшафт. Здесь наверху он еще никогда не был. За серо-зеленым склоном следовали гряды холмов, покрытые полями и лугами, к югу они спускались, образуя низину, в которой лежала деревня Винтерспельт, неуклюжие белые дворы, только благодаря отдалению и свету связанные в единое целое — нечто плоское, состоящее из серых и светлых сегментов. Он бросил сигарету.

Хотя он не был к этому готов, но отреагировал мгновенно, немедленно поднял руки, едва услышав сухой жесткий щелчок, металлический звук и команду: «Руки вверх!», произнесенную твердым и в то же время пронзительно-высоким голосом. Теперь Шефольд понял, откуда донеслась команда, ибо увидел каску, лицо, плечи, направленное на него дуло карабина, совсем недалеко, всего в двадцати или тридцати шагах от того места, где он стоял. Значит, кто-то наблюдал за ним все это время. Кто-то невидимый. Ах, какое там! Почти одновременно со страхом его охватило зло на самого себя. Ослеп он, что ли?

Собственно говоря, Райдель был полон решимости стрелять. Он не стрелял с тех пор, как вернулся из России. Полигоны в Дании не считаются — они служили лишь для того, чтобы подтвердить его квалификацию снайпера высшего класса. Из-за желтухи его отправили в марте с русского фронта в Вестфалию, в лазарет резервных войск, оттуда перевели в Данию. Отправку в новую дивизию, формировавшуюся в Дании, он себе организовал сам — старые обер-ефрейторы вроде него знали, как пристроиться к нужному эшелону,— потому что ему осточертела Россия. Но Россия имела для Райделя одно преимущество — там он мог стрелять. А стрелять означало для него строчить из пулемета по живым, движущимся мишеням. Воспоминание о падающих на бегу или распластавшихся в своих укрытиях красноармейцах иногда просто доводило его до исступления. В последнее время у него часто бывало состояние, которое — он, правда, этого не знал — называется депрессией. В такие периоды для него было невыносимо сознание, что он уже полгода не стрелял. Однажды на полигоне стоявший рядом офицер, понаблюдав за ним некоторое время, сказал: «Райдель, вы стреляете как одержимый!»

Одержимость стрельбой и долгий вынужденный перерыв, когда у него не было возможности стрелять,— этим просто и естественно и объясняется, почему Райдель в первый момент испытывал сильное искушение позаботиться о том, чтобы этот парень там, наверху, на склоне, откинул копыта. Сделать из него решето. Поскольку обер-ефрейтор Хуберт Райдель был снайпером высшего класса, он получил современный карабин с автоматическим устройством, один из немногих, выделенных на дивизию. Он с презрением смотрел на тех, кто был вооружен обычными винтовками. Ему бешено хотелось разрядить, наконец, весь магазин одной-единственной очередью. Не скоро ведь представится еще такая возможность. На этом участке фронта было полнейшее затишье, возможно, тут никогда ничего и не произойдет. Жизнь Шефольду спасло другое свойство Райделя: его склонность мыслить тактически, что позволяло ему контролировать

если не свои инстинкты, то, во всяком случае, степень пользы от тех действий, которые он намеревался совершить. Сперва он продумал аргументы, подтверждающие целесообразность его намерения. Никто не притянул бы его к ответственности за такой поступок. «Докладываю: этот человек сделал движение, будто хотел схватиться за оружие». Такая фраза была неопровержимым аргументом, даже если бы потом выяснилось, что у мертвого не было в кармане никакого оружия. «Когда я его окликнул, этот человек не остановился, не поднял руки». Благоприятно и то, что здесь не будет свидетелей: на передовой сегодня почти нет постов, потому что для новобранцев на это утро назначены учения. Фриц Борек вернется весь потный, бледный, обессиленный, до полевой кухни не доберется, уныло сядет за пустой стол. Райдель охотно бы ему помог. Но этот идиот, вместо того чтобы воспользоваться помощью, донес на него.

Минут через десять после автоматной очереди — не раньше — ефрейтор Добрин, этот остолоп, осторожно поднялся бы слева по склону, чтобы посмотреть, что произошло у Райделя. Райдель ничем не рисковал, если бы убил неизвестного. Необычная внешность последнего лишь несколько отодвинула осуществление его плана; теперь, когда Райдель составил себе мнение об этом человеке, выразив его столь разными понятиями, как «барин», «тип», «подозрительный» и «клиент», причин тянуть больше не было. Но Райдель подумал и о другом: повредит ему этот поступок или принесет пользу? Додумать эту мысль до конца ему помешало воспоминание об изможденном новобранце Фрице Бореке. Райдель был готов сам себе дать пощечину, когда вспомнил, как сглупил с этим Бореком. Совершить такую нелепую ошибку после стольких лет безупречного поведения! В 1939 году в бункере «Западного вала» он допустил единственный промах за все время службы в армии, в общем-то пустяк, которого, однако, было достаточно, чтобы на него подали рапорт. Его наказали — две недели строгого ареста — и, видимо, что-то записали в его документы, сделали какую-то отметку, которая теперь сопровождала его повсюду, оказываясь в канцелярии любой части, в которую он попадал. Только так и можно объяснить, почему он до сих пор не стал унтер-офицером, фельдфебелем. Солдат с его опытом после семи лет службы обычно становится обер-фельдфебелем, командиром взвода. Попал ли уже рапорт Борека к командиру батальона? На фронте не так уж много инстанций — из взвода в роту, из роты в батальон. Вся компания сидела в одной дыре, в Винтерспельте. Почти не испытывая страха, он мысленно произнес: «Военно-полевой суд», «Штрафной батальон». Он смотрел правде в глаза. И все же он взвешивал, не окажет ли взятие шпиона живьем определенного влияния на отношение начальства к рапорту Борека. Скорее всего, нет; в конце концов он только выполнит свои служебные обязанности, сдав на командный пункт батальона подозрительного субъекта. Но если есть хоть малейший шанс отделаться дисциплинарным взысканием — например, если командир и фельдфебель держатся разного мнения относительно того, передавать ли рапорт дальше по инстанции,— то маленькое происшествие на посту, с которым он образцово справился, могло решить исход дела в его пользу. Особенно в случае, если этот господин, которому он крикнул, чтобы тот спускался вниз да с поднятыми руками, действительно окажется шпионом.

Райдель одним прыжком выскочил из окопа. Взгляд его говорил все то же: «Ну, скоро этому шпику будет не до смеха».

Солдат молниеносно выскользнул из окопа, это серо-зеленое пресмыкающееся, превратившееся затем в низкорослого, худого человечка, однако при всей своей мелкости столь же твердого, решительного, столь же неумолимого, как короткий ствол оружия, нацеленный, словно стрела, на него, Шефольда. Первый вполне естественный испуг не проходил, превращался в устойчивый страх. Шефольду пришлось взять себя в руки, чтобы не повернуть назад, не побежать. Он пошел вниз — другого выбора не было. Хотя он еще не мог видеть глаз Райделя, он понял, что попал в ловушку.

Итак, это была ошибка — ввязаться в эту игру со взятием в плен. Нельзя было ограничиваться выражением своих сомнений в правильности подобной тактики. Надо было поставить совершенно четкое условие, что он придет безопасным путем через долину, нанесет майору Динклаге визит как частное лицо и ученый-искусствовед. Человек, отправившийся на прогулку, к тому же имеющий поручение обеспечить сохранность художественных ценностей, снабженный для этой цели соответствующими документами, представляется офицеру, который вовлекает его в беседу,— вот как Шефольд воображал себе свое появление у Динклаге. Но Динклаге, как сообщил ему Хайншток, которому в свою очередь эта инструкция была передана третьим лицом, чьего имени он не назвал, настаивал на том, что он, Шефольд, «должен прийти через линию фронта». Однажды Хайншток проговорился, и Шефольд понял, по крайней мере, что это третье лицо — женщина. Хайншток не был знаком с Динклаге. «Динклаге хочет, чтобы вы пришли к нему под конвоем его солдат»,— сказал Хайншток. Шефольд воспротивился этому требованию, но потом Хайншток сказал: «Поймите же, майору нужны доказательства!» Этот человек из каменоломни походил на те минералы, которые он иногда ему показывал,— был тверд, не менялся. Серьезные сомнения вызывало одно: мог ли майор выдвигать такие требования, пока вопрос еще оставался открытым. Видимо, им двигало нетерпение, а возможно, просто подозрительность.

Еще более неподвижными и бесчувственными, чем кристаллы или аммониты Хайнштока, показались Шефольду желтые глаза Райделя, когда он их увидел. Однако, подходя к нему, Шефольд продолжал улыбаться, он заставил себя сохранить улыбку.

Остановившись, он сказал с максимальным дружелюбием:

— Я мирный человек.

— Заткни глотку! — сказал солдат.

Если кто-то утверждает, что он мирный человек, значит наверняка никакой он не мирный. Но Райдель даже не разозлился на этого типа за то, что он крутит ему мозги. Люди, которые вот так сваливаются на голову, как этот парень, всегда финтят. Взбесил Райделя тон, каким этот господин изволил разговаривать. Именно так разговаривали постояльцы в отеле, когда им что-нибудь было нужно: свежие полотенца, завтрак в номер, газета,— так же дружески, мило, чтобы потом, уже протянув чаевые, равнодушно отвернуться и продолжить беседу с женщиной или с приятелем, сохранив заинтересованную участливую интонацию, словно беседа и не прерывалась.

Задыхаясь от ненависти, Райдель сказал: «Заткни глотку!»

Держа карабин наизготовку, он левой рукой обыскал незнакомца. Как он и предполагал, это был сильный человек; к тому же на голову выше его. Нащупав в кармане пиджака пачку с сигаретами и зажигалку, он вспомнил, какие красивые движения были у этого господина, когда он закуривал. Оружия у него не было, в том числе

и в плаще, который Райдель снял с его плеча и небрежно бросил на землю. В заднем кармане брюк торчал бумажник, Райдель решил вытащить его и как раз в этот момент услышал певучий звук, высокий, металлический и пока еще очень далекий.

Он шагнул назад.

— Истребители-бомбардировщики,— сказал он,— а ну, ложись!

Шефольд смотрел, как солдат исчез в своем окопе. Серо-зеленое пресмыкающееся. Он остался стоять. Он знал, что такое истребители-бомбардировщики. Однажды — это было в хижине Хайнштока под каменоломней — он уже пережил налет американских самолетов.

— Эй, задница, ложись, я кому сказал!

Шефольд услышал в его голосе не только злобное шипение, но и озабоченность. Этот парень хотел, чтобы он лег, потому что и сам подвергался опасности, если люди в кабине самолета заметят Шефольда. Он использовал ситуацию.

— Могу я теперь опустить руки? — спросил он, глядя на Райделя сверху вниз — в прямом и в переносном смысле.

Но, не дождавшись ответа, все же бросился на жесткую траву возле окопа. Трава и земля пахли хорошо, чем-то сухим и диким. С конца сентября не было дождей. Стояли дни, словно сотканные из голубой, первозданной меланхолии, приправленной ароматами этих склонов. «Задница», «заткни глотку». Он не ожидал таких слов, но уже начал улавливать их смысл; чувство, что он совершил величайшую ошибку, не проходило. Все получилось не так, как было предусмотрено. В плане Динклаге не было учтено, что он может попасть в руки такого типа, как этот солдат. Но хорошо разработанный план должен был учитывать каждого солдата на посту. Условие, чтобы он пришел «через линию фронта», оказалось уравнением со многими неизвестными. И самым непостижимым здесь было то, что Динклаге настаивал на этом приходе, хотя знал, что я приду с пустыми руками, подумал Шефольд. Он посмотрел, как солдат подтянул и втащил к себе в окоп его светлый плащ, после чего стал совершенно незаметным — абсолютная мимикрия. Край каски, с точностью до сантиметра, был на том же уровне, что край окопа, вокруг которого не было, как обычно, круга светлой земли, выброшенной при рытье. Когда там стоял человек, ничто не выдавало этого углубления, кроме каски, да и она была всего лишь неприметной выпуклостью на местности, вроде остатка старого кротового холмика или завалившегося, скрюченного обрубка можжевельника, поскольку Райдель замазал каску невероятным месивом из красок, которые так точно соответствовали краскам склона, что Шефольд пришел к выводу: этот маленький, опасный солдат, взявший его в плен, мог бы помогать художнику-пейзажисту смешивать краски.

Шефольд перестал корить себя, что оказался таким беспомощным, когда осматривал склон. Не он был слеп, а тот, другой был действительно невидим.

«Могу я теперь опустить руки?»

Все они такие. Втаптывают тебя в дерьмо. Они не скажут: «Пиво теплое», они говорят: «Вы когда-нибудь слышали, что существуют холодильники?» Когда им по ошибке принесешь вчерашнюю газету, они говорят: «Но, любезнейший, я уже знаю, что мы выиграли

битву под Танненбергом». Они считают, что это очень остроумно. У них было даже какое-то специальное слово, которым они обозначали эту свою манеру говорить, Райдель не мог вспомнить, какое именно, да, впрочем, плевать ему на это. Самое невыносимое, когда они говорят «любезнейший» или «приятель». Так и хочется дать им в морду. Он и этому типу даст в морду, если тот еще будет себе позволять такие вещи.

Непрерывное тихое унижение, насмешки и чаевые. Не для того он убежал в февральский вечер 1937 года из гостиницы, чтобы когда-нибудь снова на это напороться. А как возмущенно выпучил глаза папаша, когда он ему заявил, что дал пощечину постояльцу из номера 23. Мать вскрикнула: «Куда же ты теперь, Хуберт?» Райдель не мог не ухмыляться, когда вспоминал об этом. Он знал, куда он хочет: на военную службу. Как-то ночью в дюссельдорфском отеле один офицер, который привел его к себе в комнату, сказал: «Твое место не в гостинице, твое место в казарме». Слово «казарма» прозвучало у него так, словно он говорил о рае, и Райдель сразу понял, о чем речь. Может быть, этот совет так запал ему в голову потому, что офицер, капитан «люфтваффе», был единственным «гостем», который, уходя под утро, не сунул ему денег. Казарма не разочаровала Райделя. Правда, и на военной службе были часы, когда тебя превращали в последнее дерьмо, но не как личность, Райдель это чувствовал; а когда часть дня, заполненная муштрой, была позади, тебя оставляли в покое, если ты справлялся со службой; можно было даже отделиться от всех — у тебя был свой шкафчик, свой откидной столик, свое барахло; штатские и понятия не имеют, что на военной службе можно держаться особняком. Преимущество казармы заключалось не в том, что там ты находился исключительно в обществе мужчин. В этом смысле там не разгуляешься, наоборот, с 1937 года Райделю приходилось брать себя в руки, напряженнейшим образом следить за собой. Он маскировался, да так ловко, что другие солдаты были уверены, что он, как и они, бегает за бабами.

Время от времени офицеры, узнав, что он прошел выучку в гостинице, пытались сделать его своим денщиком. Он, стараясь изо всех сил, молодцевато вытягивался в струнку и просил, чтобы его не делали ординарцем.

Шефольд вспомнил, как он обеими руками ухватился за скамью, на которой сидел, и впился глазами в Хайнштока, когда самолеты один за другим — первый, второй, третий — на бесконечную секунду повисли над каменоломней. «Ну, ну, все уже миновало,— сказал Хайншток, пряча собственный страх,— моя хижина их не интересует, да они, скорее всего, ее вообще не видят — кругом такие заросли. Они атакуют только движущиеся объекты». В наступившей тишине Шефольд снова увидел его — человека с сильной проседью, который сидел за столом и курил трубку. Стол — старая дверная филенка на деревянных козлах — был завален образцами горных пород, календарями, газетами, книгами, пепельницами, трубками, спичечными коробками, здесь же стояла пишущая машинка и керосиновая лампа.

Лежа на животе — чтобы летчики не увидели белую рубашку,— Шефольд заставил себя повернуть голову так, чтобы наблюдать за самолетами. Он решил больше не поддаваться страху, как тогда, в хижине Хайнштока. Испытание, которому он хотел себя подвергнуть, не состоялось, потому что самолеты не пролетели над склоном, на котором он лежал, а прошли гораздо восточнее — над дорогой, ведущей из Блайальфа в Винтерспельт, три светло-серые, сверкав-

шие на солнце хищные рыбы, промелькнувшие в сияющем аквариуме этого октябрьского дня. Они не стреляли; видимо, на дороге никого не было. Шефольд вспомнил, что говорил Хайншток по поводу военной стратегии майора Динклаге: «С тех пор, как этот господин принял командование данным участком фронта, вермахт словно исчез с лица земли». При следующей встрече Шефольд сможет рассказать ему, с какой точностью выполняют солдаты приказы Динклаге о маскировке.

Еще когда самолеты проходили над деревней Винтерспельт, Шефольд подумал, не стоит ли воспользоваться воздушным налетом и сказать этому солдату в окопе какие-то слова, которые подтверждали бы, что он немец, человек, принадлежащий к немцам. Например, он мог бы показать на небо и заметить: «Какие свиньи!» — за чем последовали бы обычные и, кстати, подлинные истории о том, как обстреляли крестьян, работающих в поле, или женщин с детскими колясками. Шефольд слышал такие истории в пивных, куда заходил во время прогулок. Но ему вдруг стало ясно, что от человека, с которым он сейчас столкнулся, он этих историй не услышит и что всякая попытка завязать с ним более дружеские отношения бессмысленна. Сознание, что ему не надо стараться завоевать доверие этого человека, принесло Шефольду облегчение и даже на какой-то миг сделало симпатичным врага, который снова стал совершенно невидимым — различить можно было лишь каску, вымазанную красками неопределенных оттенков.

У него еще как раз оставалось время подумать о том, что самолеты, незадолго до своего появления к востоку от склона, должны были пролететь над каменоломней. Там, в хижине, у того самого стола, сидел теперь Хайншток, курил трубку и ждал. «Когда вы попадете в Винтерспельт, я через четверть часа буду об этом знать»,— сказал он. Шефольд предполагал, что он должен узнать об этом от женщины, которая связана с Динклаге. Но сознание, что есть люди, которые с участием следят за его передвижением, почему-то не принесло ему успокоения.

Истребители-бомбардировщики, как всегда, летели над дорогой, но это не исключало, что они дадут несколько очередей из своих пулеметов и по склонам, находящимся справа и слева от нее. Если так, то этому типу, шпиону, который лежит рядом с его окопом, можно считать, крышка. Райдель разозлился, подумав о такой возможности, ибо, случись это, его решение не пристреливать шпика теряло всякий смысл.

Плащ, который Райдель все еще держал под левой рукой, был мятый, грязный на сгибе воротника, но это был типичный плащ клиента, привыкшего жить в первоклассных отелях.

Шефольд мог бы сообщить, что плащу восемь лет, что он уже не годится ему по размеру, что он был куплен в магазине готового платья на Цайле во Франкфурте и по цене, доступной любому гостиничному служащему,

но Райдель улавливал тот особый запах, который был у господ, входивших в вестибюли отелей, господ, которым он подносил

чемоданы и которые рассеянно давали ему чаевые. Одежда этого шпиона была изношенная, но из дорогого материала, что Райдель заметил, когда обыскивал его; самые утонченные из этих подлецов никогда не носили новых костюмов и самые щедрые чаевые вынимали из подчеркнуто залоснившихся карманов, но все их вещи были, как и этот плащ, пропитаны определенным запахом. Туалетная вода? Сигары?

Шефольд не употреблял туалетной воды, не курил сигар, только теперь стал курить американские сигареты. Правда, его твидовый пиджак был от лучшего брюссельского портного — он заказал его до войны, из озорства, по случаю весьма приличного гонорара за одну экспертизу и еще потому, что он к тому времени растолстел. Если бы кто-нибудь сказал ему, что его отнесут к категории людей, снимающих номера в роскошных отелях, он, наверное, расхохотался бы. Ему иногда приходилось посещать подобные заведения, чтобы встретиться с богатыми людьми и ответить на их вопросы по поводу тех или иных картин. Но по своему воспитанию он принадлежал к людям, в чьем лексиконе даже нет этих слов —«Grand Hotel»; во время путешествий семья Шефольдов останавливалась в швейцарских, итальянских пансионах, баварских деревенских гостиницах; франкфуртский участковый судья никогда не заходил в отель «Франкфуртер хоф».

Затем, посмеявшись, Шефольд вспомнил бы свое пребывание в Валькуре, Комине, Лимале и, наверное, призадумался бы. «Но,— добавил бы он,— в этих замках я скорее принадлежал к персоналу, хотя и сидел за одним столом с хозяевами».

Самолеты с пронзительным воем пронеслись над дорогой и скрылись из виду. Они не стреляли. Этому типу повезло.

Через некоторое время Райдель вылез из окопа, швырнул Шефольду плащ и сказал:

— А ну, вставай!

При этом голос у него был такой же злой, как и глаза.

— Потрудитесь не называть меня на «ты»,— сказал Шефольд.

Он взял свой плащ, медленно и аккуратно поднялся. И тут же упал на колени, потому что Райдель ударил его сзади ногой.

Вот он опять, этот тон; удирая из гостиницы в армию, Райдель дал себе слово, что никогда больше не допустит, чтобы с ним так разговаривали. Если тебя распекают в армии — это совсем другое дело. Окрик в армии соединяет орущего с тем, на кого он орет. Рычание хаупт-фельдфебеля звучит для построившейся роты словно колокол. А вот нагоняй, который дают клиенты в гостинице, сразу исключает тебя из их числа, напоминает, где твое место. Эта манера говорить тихо и холодно, когда их что-то не устраивает, от которой все сразу начинает ходить ходуном: «Извольте постучать, прежде чем войти!», «Вам не объясняли, что сначала надо поставить прибор даме?», «Потрудитесь не называть меня на «ты». Райдель подошел к поднимавшемуся с земли Шефольду и с такой силой ударил его сзади сапогом, что был удивлен, когда тот не рухнул всем телом, а лишь упал на колени.

— Вот что бывает,— сказал Райдель,— когда шпики вроде тебя разевают пасть.

Он не собирался давать ему пинка, необычная уверенность в голосе Шефольда подсказывала ему, что не следует заходить так далеко, но он не мог сдержаться.

Поднявшись, Шефольд сказал:

— У меня назначена встреча с командиром вашего батальона майором Динклаге.— Он приподнял манжет, посмотрел на часы.— В двенадцать часов. Теперь будьте любезны отвести меня к нему. И если вы будете продолжать говорить со мной на «ты», оскорблять словами или действиями, то я пожалуюсь на вас майору Динклаге.

В его намерения не входило давать столь подробные объяснения первому же часовому, на которого он наткнется, он собирался назвать свою цель на более высоком должностном уровне, ибо справедливо предполагал, что простой солдат, который возьмет его в плен, не имеет полномочий вести его прямо к командиру батальона. Хайншток подтвердил это его предположение. «Солдат, к которому вы попадете, наверняка приведет вас к унтер-офицеру, тот — к командиру взвода или, если вам повезет,— сразу к командиру роты; вероятно, один из командиров роты передаст вас Динклаге». — «Смешно,— заметил Шефольд.— Было бы гораздо проще сразу пойти к нему». Хайншток промолчал. Но этот солдат обращался с ним так, что Шефольд решил не ждать, пока доберется до какой-либо более высокой ступени военной иерархии; этого нельзя больше терпеть ни секунды, необходимо немедленно изменить ситуацию, пустив в ход козырь, который заставит этого человека вести себя прилично.

К тому же он употребил слово «шпик». Было ли это просто болтовней, плодом его собственной грязной фантазии, частью его мышления, как пинки и слова «задница» и «заткни глотку», или он действительно ждал шпиона? Если его проинструктировали, что появится шпион, тогда все пропало. У Шефольда не было времени размышлять, что его ждет в таком случае, потому что последующие слова Райделя доказывали, что его подозрение необоснованно.

То, что он все еще держал автомат направленным на Шефольда, перестало что-либо означать; теперь он был просто обслуживающий персонал, обязанный обращаться к этому господину на «вы». Он сделал слабую попытку исправить положение.

— Почему же вы сразу не сказали? — спросил он.

— Позвольте напомнить, что вы потребовали, чтобы я заткнул глотку,— сказал Шефольд. И тут же почувствовал, что разговаривать с этим человеком в таком ироническом тоне неправильно.

Если то, что утверждает этот тип,— правда, если он его не дурачит, то было бы грубейшей ошибкой прикончить его. Допрос по этому делу вел бы сам командир, и, как бы он ни оправдывался, его положение в связи с рапортом Борека не улучшилось бы.

— Вы можете доказать, что вызваны к командиру? — спросил Райдель, делая последнюю попытку показать свою строптивость.

— Я не вызван к нему,— сказал Шефольд.— Нам надо посовещаться.

Он вытащил свой бумажник и, достав из него письмо Института Штеделя, протянул Райделю. Про себя он молил бога, чтобы солдат не потребовал у него сам бумажник. Он представил себе, что сказал бы Хайншток — скорее всего он бы ничего не сказал, а только внимательно посмотрел бы на него, прищурив глаза,— если бы знал, что в бумажнике Шефольда лежит несколько долларов и бельгийских франков; это было безумие — не вынуть их перед тем, как отправиться сюда; он отчетливо представил себе, как присвистнет сквозь зубы этот парень, если их обнаружит.

Во время прогулок по немецкой территории Шефольда ни разу не проверяла военная полиция. «Вам невероятно везет»,— сказал ему как-то Хайншток.

Если бы его стали обыскивать, он предъявил бы свое старое, но вполне безупречное удостоверение, а также то самое письмо Института Штеделя, которое сейчас читал Райдель. Институт уполномочивал его произвести регистрацию произведений искусства в округе Прюм и. по договоренности с местными военными комендатурами и гражданскими органами управления, обеспечить их безопасность. Только очень опытный глаз заметил бы, что в этом письме вместо характерных для немецкого языка двух маленьких вертикальных штрихов над гласными, обозначающих умляут, была использована буква «е», что оно, таким образом, было напечатано на машинке, в алфавите которой не было умляута. Даже Хайншток не обратил на это внимания; прочитав письмо, он заметил: «А вы предусмотрительны, господин доктор».

«Это не предусмотрительность,— возразил Шефольд.— Мне пришлось уезжать в большой спешке, и у меня в портфеле просто осталось несколько бланков. На протяжении многих лет они были для меня всего лишь сувенирами».

Он был абсолютно уверен в действенности этого письма. Никто в немецкой военной полиции не имел ни малейшего представления о том, что памятники искусства Рейнской провинции входят в компетенцию прусского министерства культуры в Берлине, и потому никто не стал бы задавать вопроса, какого дьявола франкфуртский музей искусств занимается инвентаризацией в западном Эйфеле.

Райделю до смерти хотелось посмотреть, что в бумажнике. Читая письмо, он раздумывал, не схватить ли бумажник. Какой он был идиот, что оставил его этому типу, и все из-за того, что появились самолеты. Тогда, в окопе, ему как раз бы хватило времени спокойно посмотреть, что он там прячет. А вот теперь... Правда, если бы там не нашлось ничего важного, ничего такого, что служило бы уликой, то он, Райдель, потерял бы еще одно очко, выхватив бумажник у этого типа из лап. Д-р Бруно Шефольд. Памятники искусства. Дерьмо. И именно ему он дал сапогом в зад! Да, у него сегодня явно плохой день. А виноват в этом Борек!

— Все в порядке,— сказал он и протянул письмо Шефольду. В одном отношении он был доволен: письмо являлось основанием для того, чтобы отвести Шефольда прямо к командиру батальона. Впрочем, он был и так полон решимости миновать остальные инстанции, чтобы его не лишили возможности самому сдать пленного — который теперь, собственно, и не был пленным — на КП батальона. В это время дня он мог добраться до канцелярии без помех, его бы никто не остановил: орава еще была на утренних учениях. Конечно,

надо приготовиться к последствиям. Командир роты, обер-фельдфебель, наверняка устроит ему выволочку, когда узнает о его самоуправстве. Но он может теперь таинственно сослаться на документы, которые были у этого человека. «С каких это пор обер-ефрейторишка вроде вас судит о документах?» — «Осмелюсь просить господина обер-фельдфебеля осведомиться у господина майора, сделал ли я что-нибудь не так». Обер-фельдфебель повернется и уйдет, весь белый от бешенства. На этом дело и кончится. Райдель знал, как обходиться с начальством. Но, представляя себе этот разговор, Райдель невольно рассчитывал на то, что его покроет сам шеф. Он не мог бы объяснить, почему считал, что майор возьмет его под защиту. Письмо было пустяковое, ничего не означало, вообще не имело никакого отношения к командиру. Но этот человек, Шефольд, кое-что значил. И он не врал. Исключено, чтобы он соврал. У него действительно есть договоренность с командиром. Райдель, в лексиконе которого не существовало слов «знание людей», безошибочно разбирался, когда человек врет и когда говорит правду.

Что может командир обсуждать с этим господином, появившимся из-за линии фронта со стороны противника, с этим насквозь подозрительным, даже более чем подозрительным субъектом? Райдель не стал терять время на раздумья. Повесив карабин через плечо, он подал Шефольду знак следовать за ним.

Шефольд, который не был знатоком людей, считал естественным, что Райдель повесил карабин через плечо и пошел впереди него. Он не знал, что Райдель предпочел бы идти сзади с оружием наизготовку, предпочел бы не поверить ему.

С чувством безграничного облегчения он взял письмо, сунул его в бумажник. Он не подозревал, что Райдель возненавидел его, потому что он, Шефольд, заставил его произнести слова «Все в порядке» так, как их произносит служащий гостиницы, возвращая паспорт постояльцу,— не то чтобы раболепно, но все же почтительно.

Райдель был одержим идеей проникнуть в приемную, а может быть, даже и в кабинет Динклаге, потому что не мог дождаться момента, когда представится возможность вступить в контакт с инстанцией, от которой зависело, какие меры будут приняты в связи с рапортом Борека. Тем самым он действовал — и он это понимал — вразрез с основным армейским принципом, с правилом не привлекать к себе внимания, но он был сейчас не в состоянии притормозить себя. Он многого ждал от своего появления перед лицом начальства — вот он явится туда, напомнит о своем существовании и продемонстрирует своим поведением, внешним видом, боевыми качествами, что он образцовый солдат. Это был нелепый, рожденный страхом самообман, нечто бесполезное, и Райдель понял бы это, если бы был способен поразмыслить о своем деле четко, без иллюзий. Но он, к сожалению, не располагал такими словами, как «самообман», «без иллюзий»; поскольку в той среде, где он вырос, язык был примитивным, от его — предпринимаемых время от времени — попыток размышлять было мало толку. Слово «бесполезно» мелькнуло у него в голове, но он отреагировал на него примитивно: «Все равно пойду!» Способность распоряжаться богатством языка спасла бы его; например, студент философского факультета Борек, наверное, не стал бы писать свой рапорт, если бы Райдель хотя бы попытался убедительно объяснить причины своего нападения на него. Но для

этого Райдель должен был бы стать другим, не таким немым человеком. А если бы Райдель был другим человеком, он не напал бы на Борека, во всяком случае, не напал бы так. Условные придаточные предложения!

Райдель, солдат, в бою не знавший страха, со вчерашнего дня не мог думать ни о чем, кроме рапорта Борека. В логово льва его вело не мужество, а страх. Возможно, сдав Шефольда командиру батальона, он ничего не добьется; следовало даже быть готовым к тому, что батальонный фельдфебель устроит ему нахлобучку за то, что он ушел с поста. Но если Шефольд не лжет, то можно рассчитывать, что командир оборвет хаупт-фельдфебеля. Райдель уже отчетливо слышал, как он говорит: «Ладно, Каммерер! Он действовал правильно».

— Почему вы здесь один? — спросил Шефольд. Он удивился самому себе: несмотря на пинок, он пытается завести дружеский разговор.

Райдель не удостоил его ответом. Когда он слышал подобного рода вопросы, ему приходило на ум только слово «выведывать» — результат казарменного обучения: действия в соответствии с разделом «Соблюдение секретности» военного устава сухопутных войск.

Следующий пост Шефольд заметил уже издалека. Между двух кустов можжевельника стоял солдат, по грудь в окопе, и смотрел на них.

Добрин — вот остолоп. Наверняка опять читал какую-нибудь паршивую книжонку и успел припрятать, потому что этот штатский его спугнул. Добрин день и ночь читал бульварные романы. Райдель читал исключительно газеты — в частности, «Генеральанцайгер», которую ему посылал отец. Он пробегал политические известия, сообщения с фронтов, долго изучал вуппертальские местные новости. Он вырезал фотографию, на которой была изображена разбомбленная гостиница его отца. Рассматривая эту фотографию, Хуберт Райдель всякий раз ухмылялся.

— Кого это ты ведешь? — крикнул Добрин. Видно было, что он совершенно обалдел от изумления.

— Не знаю,— коротко ответил Райдель.— Должен доставить в батальон. Приказ шефа.

С каким холодным спокойствием он отшил своего товарища! Шефольд был неприятно удивлен. Неужели этот человек действительно выполняет приказ? Он восстановил в памяти, как этот болван брал его в плен, как вел себя,— нет, это невозможно.

Добрин глазел на Шефольда.

— Ну и ну,— сказал он.

Этот тупица даже не спросил, каким образом Райдель получил приказ. А может быть, он не спросил просто потому, что боялся Райделя. Райдель был командиром его отделения и самым отвратительным парнем во всем взводе. От Райделя лучше было держаться

подальше. Связываться с ним значило, как правило, нарваться на неприятность.

Кряхтя, он вытянул свои девяносто килограммов из окопа. Ему хотелось немного размять ноги.

Этот второй солдат, которого увидел Шефольд, был тоже толст, но толст по-иному, нежели он сам. Шефольд заметил, что он с трудом несет свое грузное тело. Каска придавала этому человеку с широким добродушным лицом столь воинственный вид, что хотелось расхохотаться. По его бровям, по волоскам на жирных руках Шефольд понял, что он блондин. Почему Динклаге не выслал ему навстречу этого человека? Надо же было натолкнуться именно на такого несносного, просто устрашающего типа, как тот, первый!

Когда ефрейтор Добрин вынул из кармана бутерброд с колбасой и начал есть, Шефольд почувствовал, что постепенно и к нему подкрадывается чувство голода. Он охотно пошел бы в Винтерспельт вместе с этим жующим солдатом. С ним у Шефольда нашлось бы о чем поговорить — например, о снабжении.

Интересно, позаботится ли майор Динклаге о том, чтобы его накормили. Он вдруг потерял уверенность, что с ним обойдутся хорошо.

— Пять минут тебе даю — и на место,— сказал Райдель.

Он сказал это так, что Шефольд понял: Райдель терроризирует не только его. Шефольд наблюдал, как в светло-голубых глазах Добрина появилось угрюмое, обиженное выражение. Он не знал, что Райдель позволяет себе то, что вовсе не принято в немецкой армии: будучи обер-ефрейтором, отдавать приказы ефрейтору.

Свинья, педик проклятый. Этот мальчишка, Борек, вывел его на чистую воду, теперь всем известно, что Райдель — грязный педик. Не позднее чем завтра командир батальона с ним разделается. Военный трибунал, наверняка трибунал. Вот здорово, что этот подгоняла наконец исчезнет. Добрин, сам по себе мирный человек, желал Райделю всяческих напастей. Он сам, все их отделение, весь их взвод почувствовали бы облегчение, если бы Райдель исчез. Самый большой карьерист в их отделении, с начальством подхалим, с солдатами злобная сволочь.

Но пока Райдель не исчез, надо быть осторожным. На военной службе никогда не знаешь, как повернется дело.

Райдель не подозревал, что весть о рапорте Борека обошла всех. С одной стороны, он был тертый калач, прошел огонь, воду и медные трубы и потому редко в чем-либо ошибался, с другой — он был солдатом до мозга костей и потому сохранял уверенность, что через инстанции никакие сведения просочиться не могут.

Они выбрались на дорогу. Теперь они шагали рядом. Райдель шел очень быстро, но Шефольд не отставал. Он снова попытался нарушить молчание, показав на Железный крест первого класса, украшавший мундир Райделя.

— Железный крест первого класса,— сказал он.— У моего отца был такой же. Где вы его получили?

— Россия,— неохотно ответил Райдель.

— Мой отец получил его в семнадцатом году во Фландрии.

Он вспомнил, что отправленное осенью 1938 года письмо, в котором он рассказывал отцу о посещении полей сражения во Фландрии, было его последним письмом во Франкфурт. Вместо ответа отец окольным путем уведомил его, что целесообразно прекратить переписку.

В начале июля Шефольду удалось дозвониться до родителей с почты в Прюме.

Он вдруг забыл про всякую осторожность.

— Когда мой отец в восемнадцатом году вернулся домой,— сказал он,— он говорил, что войн больше не будет.

Он вовремя сообразил исказить слова отца. Отец всегда говорил: «Такой войны, как эта, не должно больше быть никогда».

Возможно, он мог совершенно спокойно воспроизвести и эти слова. У Шефольда было впечатление, что Райдель его вообще не слушает.

Если бы только он не трогал этого Борека! Если бы то, что произошло вчерашней ночью, было сном! Если бы он не устроил так, что соломенный тюфяк Борека оказался рядом с его тюфяком!

Что заставляло его снова и снова заговаривать с человеком, который ударил его ногой? Только стремление прервать его злобное молчание? Или страх перед ним?

— А ваши остальные ордена?..— Шефольд хотел было сказать, что не знает, как они называются, но, вовремя опомнившись, сказал: — Никогда не могу запомнить их названия.

Он имел в виду значок пехотинца за участие в атаках, знак отличия за участие в рукопашном бою, медаль за снайперскую стрельбу. Не получив ответа, он сказал:

— Вы, наверное, отважный солдат.

Когда только этот тип заткнется? «Отважный солдат» — лопнуть можно от злости! Только последние идиоты так говорят. Откуда он свалился? «Отважные солдаты» были теперь только в газетах и по радио. Ни один человек в Великогерманском рейхе не произносил больше этих слов — «отважные солдаты».

— А ваш майор — кавалер Рыцарского креста. Ваш батальон, по-видимому, принадлежит к отборным войскам.

Много он понимает! Три роты недоукомплектованы. Одни молокососы из детской организации с винтовками образца 38 года. Боль-

шинство — если не считать Борека — недоумки, млеют от восторга, что попали на войну. Эти дадут себя загубить. Тяжелым оружием и не пахнет — ни танков, ни противотанковых орудий, по ротам ходила даже легенда, что командир с трудом заполучил несколько станковых пулеметов. В общем, самый жалкий пехотный батальон, который когда-либо попадался Райделю. Хотя шеф и навел в нем порядок, все же это было стадо из каменного века. «Скоро они нас будут дубинами вооружать»,— сказал как-то Райдель фельдфебелю Вагнеру, показывая на винтовку 98 у одного из рекрутов. «Будьте осторожны, не болтайте лишнего»,— ответил Вагнер.

Только сейчас Райдель заметил, что Шефольд говорит о «железном галстуке» командира. Этим он хотел дать понять, что знаком с ним. Как будто Райделю есть до этого дело! Ему было совершенно все равно, знакомы эти господа друг с другом или нет, его занимал лишь один вопрос: каким образом они познакомились. Откуда человек, пришедший со стороны противника, знает, какие ордена носит шеф? Если он живет на той стороне — когда и где он мог увидеть шефа?

Райдель не задавал вопросов. В отелях его научили помалкивать. Он должен отвести одного господина к другому господину — и все тут.

Шефольд не подозревал, что, упомянув о Рыцарском кресте Динклаге, он только пробудил у Райделя подозрения. Военно-тактические соображения были ему чужды; он не мог себе представить, как сработает механизм мышления у Райделя. Если бы кто-нибудь объяснил ему, что происходит, он воскликнул бы с безмерным удивлением: «Но ведь так мыслят только дети, играющие в индейцев!».

Хайнштоку было не так-то просто убедить Кэте Ленк в несправедливости ее возражений.

— Мне кажется, этот доктор Шефольд совершенно не пригоден для той роли, которую ты ему придумал,— сказала она.— Судя по всему, что ты мне о нем рассказывал, это ученый, далекий от жизни.

— Да уж не настолько он далек от жизни.— Хайнштоk попытался внести коррективы в тот образ, который он, похоже, внушил Кэте: — Чтобы поселиться в этом Хеммересе, нужно мужество. И потом видела бы ты, как он расхаживает по деревням, словно это сущий пустяк.

Кэте никогда не выходила из Винтерспельта, разве что навестить Хайнштока в его каменоломне. После своего бегства из Прюма она чувствовала себя в безопасности только в Винтерспельте. Она никогда не встречала Шефольда.

— Может быть, он делает это лишь потому, что не знает, как это опасно,— сказала она.

— Знает,— сказал Хайнштоk.— Я обращал на это его внимание. Но он не слушает советов. У меня такое впечатление, что он хочет быть здесь, когда все произойдет, понимаешь, хочет быть при этом.— Помолчав, он добавил: — Он крупный, сильный человек. Он любит поесть, охотно делится всякими кулинарными рецептами.

Он чувствовал, что не убедил Кэте. Лицо ее выражало несогласие со всеми его доводами. Она поправила очки. Когда Кэте была

настроена критически, она как-то по-особому, решительно поправляла очки.

— Кроме того, у нас ведь нет никого другого,— сказал он.

Свое «ожерелье», как всем было известно, шеф получил во время кампании в Африке. (В воображении всего батальона награда связывалась с кампанией в Африке. Рыцарский крест, полученный всего лишь за оборонительные бои на Сицилии, значительно снизил бы престиж Динклаге.) Собственно, было странно, что кавалер Рыцарского креста из Африканского корпуса до сих пор дошел всего лишь до майора. Почему ему не дали хотя бы полк? Правда, он хромал, ходил с палкой, но нынче это не причина, чтобы не повышать офицера. Судя по всему, его не жаловало начальство. Похоже, шеф не любил лизать задницы. Он, Райдель, тоже этого не любил. Когда понимаешь, что хоть ты тут подохни — все равно тебя не повысят в звании, то можно и не рваться в любимчики начальства. Он стал таким первоклассным солдатом только потому, что не хотел, чтобы его дурачили. Главным образом поэтому — ну и еще чтобы им всем показать, что он такое! Пусть видят, кому они не дают продвигаться дальше обер-ефрейтора. Может быть, и майор по той же причине так настойчиво наводит порядок в батальоне?

Когда какая-то мысль будоражила его, Райдель упрямо продолжал копать дальше. Он сделал открытие, что они с майором, пожалуй, действуют сходно, но по совершенно разным причинам. Разница между ним и шефом состоит в том, что он не лижет задницы начальству потому, что его не продвигают по службе; а шефа не продвигают по службе потому, что он не лижет начальству задницы.

«Все считают тебя карьеристом, подгонялой, человеком, который перед начальством землю носом роет, а с нижестоящими груб и жесток. Но этого мало. Ты вызываешь у людей ужас!» Так выразился вчера этот много воображающий о себе Борек, когда Райдель попытался удержать его от подачи рапорта. «Ужас». Он и так знает, что солдаты и низшие чины его недолюбливают.

«Недолюбливают? Да они ненавидят тебя!»

«Ты, видно, рехнулся».

Но втайне он испытал чувство наслаждения, услышав то, что и сам знал. В конце концов он ведь и стремился к тому, чтобы его ненавидели.

Шефольд молчал. На протяжении всего пути вниз по склону и потом по дороге ему удалось вырвать у этого человека одно-единственное слово: «Россия». Ну, что ж, и не надо.

Через Хайнштока или, точнее, через неизвестную даму, которая посредничала между майором и Хайнштоком, майор гарантировал ему безопасность. Но безопасность, сопровождающаяся пинками и словами вроде «задницы», выглядела странно, а для майора Динклаге это наверняка будет еще и неприятно. Шефольд решил избавить его от этого чувства неловкости. Возможно, когда-нибудь, если все состоится, он расскажет ему со смехом, как с ним обошлись. Беспокоило его лишь то, что в расчеты майора могла вкрасться такая ошибка. Или он в своих расчетах не учел чего-то главного?

Этот зажравшийся фраер со своим гнусным галстуком... Вдруг Райдель признался себе, что находит галстук не таким уж гнусным.

Он обнаружил, что снова и снова поглядывает искоса на это светло-алое пятно.

Справа и слева от дороги стояли большие некрасивые крестьянские дома. Плавные линии холмов сбегали вниз, к этим домам, обрывались местами у редких лиственных деревьев, стоявших возле неоштукатуренных амбаров из бутового камня или на выгонах. Деревня, расположенная в известняковой котловине, словно в оправе из яри-медянки, как в Лотарингии, Валлонии, на Юре. Самый настоящий Курбе. Но без резкого освещения, характерного для Курбе,— без этого блеска, напоминающего вороново крыло или живопись маслом.

Поскольку его сопровождающий так упорно молчал, Шефольд по привычке стал мысленно сопоставлять открывавшиеся перед ним виды — первые дома Винтерспельта — с полотнами живописцев. Но ему удалось сосредоточиться лишь ненадолго — молчание Райделя отвлекало его. Каждая секунда молчания Райделя напоминала о грозившей ему опасности. Он перестал искать сравнения для Винтерспельта. Если Винтерспельт означал лишь опасность, то он не мог быть не чем иным, кроме Винтерспельта.

Теперь главное: чтобы кто-нибудь из начальства не перебежал ему дорогу, например, фельдфебель Вагнер или обер-фельдфебель. Эти прямо с ходу начнут затаптывать его в грязь. «Как вы смели самовольно отлучиться с поста?», «Вы должны были ждать, пока вас сменят, и передать этого человека ответственному за боевое охранение», «Беспримерное нарушение дисциплины. Я вас отдам под трибунал, Райдель». И, конечно, они заберут у него пленного и сами отведут к командиру батальона.

Он должен из кожи вон вылезти, сделать все, чтобы помешать этому. Тот же трюк, что с Добрином, только доложить ловко, молодцевато:

«Обер-ефрейтор Райдель с пленным, направляюсь в штаб батальона. Приказ господина майора».

Но они не такие тупицы, как Добрин.

«Да вы что, Райдель, вы мне тут не финтите! Как это вы получили приказ?»

«Осмелюсь просить господина обер-фельдфебеля осведомиться у господина майора».

Он представил себе, какое их охватит бешенство и как они засмеются. Они проводят его до канцелярии батальона, чтобы проверить правильность его утверждений и присутствовать при том, как его изобличат во лжи.

Но тут-то они здорово ошибутся. Сам майор возьмет его под защиту. Он будет оправдан, ибо человек, шедший рядом с ним, не лгал; шеф его безусловно ждет. «Он действовал правильно». Может быть, майор даже начнет поучать их: «Мне нужны солдаты, которые действуют самостоятельно. От тупых исполнителей приказов нам в сорок четвертом году мало толку, господа, запомните это!» Такие и похожие речи командир уже произносил после учений в Дании перед всем батальоном. «Мне нужны думающие солдаты». Это высказывание стало крылатым, после него в ход пошло много шуток и насмешек. Когда кто-нибудь делал что-то неверно, ему говорили: «А вы, наверное, тоже из думающих солдат?»

С Шефольдом происходило нечто странное. Перестав мысленно сравнивать открывавшиеся перед ним виды с полотнами живописцев, например, первые дома Винтерспельта, дорогу, холмы с картиной Писсарро или каким-нибудь не написанным еще полотном, он внезапно и совершенно серьезно подумал о том, не стоит ли ему расстаться со своей сдержанностью по отношению к женщинам.

Поводом для этого послужило то, что он вдруг испытал чувство радости при мысли о предстоящем посещении того трактира в Сен-Вите. Сначала он думал только о своем возвращении. Он вернется — мысль об этом помогала вынести разраставшееся в нем чувство, что происходит что-то ужасное. После беседы с Динклаге он во второй половине дня вернется в Хеммерес. Ближе к вечеру он сможет поговорить в Маспельте с Кимброу. Странно, что дом в Хеммересе, садик у реки, река в долине вдруг перестали казаться ему убежищем. Впервые он подумал о том, чтобы покинуть Хеммерес. Он снова почувствовал себя в безопасности, лишь когда вспомнил жанровую картинку кабачка в Сен-Вите, его незамысловатую кухню. Покрытые стертым коричневым пластиком столы, на которых стоят пивные кружки. Маленькие, плохо вымытые окна, серые, как дома напротив. Старая эмалированная табличка: пивная «Роденбах». Сегодня же вечером он поедет в Сен-Вит. Какой-нибудь водитель джипа подвезет его, после того как он переговорит с Кимброу. В Сен-Вите уже стемнеет, и трактир будет казаться пещерой. Горький запах пива подтвердит ему, что его поход в Винтерспельт понемногу начинает превращаться в легенду, старую и уже не страшную.

Из сумрака она подойдет к его столу, словно сплетенная из теней. Он спросит ее: «Когда у вас свободный день?» Он скажет ей: «Я хотел бы познакомиться с вами». Эта совершенно невероятная для него мысль вдруг возникла сама собой, пока он шел рядом с Райделем на последнем участке дороги перед Винтерспельтом.

Она была темноволосая, суровая, с худым лицом цвета топаза, в ней была какая-то своеобразная прелесть. Она скажет: «Оставьте меня в покое!»

«Но я обязательно хочу познакомиться с вами».

Он слышал, как произносит эту фразу — легко и в то же время взволнованно, а это как раз и необходимо в данном случае. Он чуть не сказал этого вслух, но вовремя вспомнил о присутствии Райделя.

Возможно, что этот тип, этот шпик или кто он там есть, пожалуется на него Динклаге.

«Осмелюсь обратить внимание господина майора, что я должен был рассматривать этого человека как шпиона».

Такая отговорка не пройдет.

«Разве это повод обходиться с ним жестоко?» — спросит майор.

Лучше разыграть полную откровенность:

«Этот человек говорил вызывающим тоном».

Майор повернется к своему гостю с улыбкой и удивлением:

«Чем вы разгневали обер-ефрейтора, господин доктор?»

Тем самым он выиграет время, пар будет выпущен. Только после этого начнется: каждый будет говорить свое.

«Этого не следовало делать — давать ему чаевые»,— услышал он голос женщины. Дверь была еще открыта; в руке он держал банкноту — три марки.

«Почему нет?» — спросил мужчина.

«Он же сын хозяина. У него был такой нелепый при этом вид».

«Ерунда! — Муж со смехом оборвал жену. Райдель все еще слышал его голос.— Он принадлежит к тому классу людей, который берет чаевые».

У дверей швейцарской папаша в немом изумлении вылупил глаза, когда он сказал ему, что дал оплеуху гостю из комнаты 23. Райдель повернулся и пошел. Мать вскрикнула: «Куда же ты теперь, Хуберт?» Она стояла в холле, собственно, это был не холл, а просто прихожая, оклеенная темно-коричневыми тиснеными обоями, которые были похожи на кожаные. Высокая, как башня, прическа матери закрывала картину — трубящий олень на лесной поляне. Мать выглядела очень представительно.

Гостиница его родителей была не такая первоклассная, как в Дюссельдорфе, где он обучался. Но это было солидное заведение, в котором работала вся семья. Заведение с постоянной клиентурой. Отец писал ему: «После войны ты все отстроишь заново». Отец был маленький, цепкий. Фигурой Райдель пошел в отца. Иногда он спрашивал себя, есть ли в нем что-нибудь от матери, и каждый раз приходил к выводу: ничего. Она была чужая, представительная женщина с высоко взбитой прической.

Выйдя на улицу, он нащупал в кармане куртки бумажку — три марки. Он сунул ее туда, чтобы освободить руки, прежде чем дать тому типу по морде.

Он ударил его по желтоватой, будто кожаной морде, ударил сначала правой, затем левой, так что тот покачнулся в одну, потом в другую сторону. Какой-то коммерсант, приятель папаши. Он был так удивлен, что даже не защищался. Жена его громко закричала.

Наутро — призывной пункт. Его посылали из одного отделения в другое. Наконец какой-то чиновник в штатском записал его анкетные данные. «Тысяча девятьсот пятнадцатый год рождения,— сказал он,— ну что ж, все равно скоро пришла бы ваша очередь». Он спросил Райделя, есть ли у него пожелания относительно рода войск.

— Военно-воздушные силы,— ответил Райдель.

Хотя он по комплекции и благодаря исключительной зоркости великолепно подошел бы для авиации, его через две недели после освидетельствования призвали в саперные подразделения пехотных частей в Зигене.

Курьер с особыми полномочиями

Проехав в этот прекрасный, но прохладный осенний день часть пути на велосипеде, Кэте запыхалась, ей было жарко, но не до испарины.

Еще не успев прислонить велосипед к стене хижины, она сказала:

— Он прибыл точно, почти минута в минуту, в сопровождении солдата. Я подождала немного, потом поехала.

Ей понадобилось минут десять или чуть больше, чтобы добраться до хижины Хайнштока,— стало быть, Шефольд уже около получаса беседует с майором Динклаге.

Когда они вошли, Кэте подождала, пока за ними с треском захлопнется старая дверь. В комнате было жарко от железной печки, и стекла ее очков сразу запотели. Она сняла их.

— Я действительно представляла его себе совсем другим,— сказала она.— Ты прав, он и в самом деле не похож на ученого, далекого от жизни.

Протерев стекла и снова надев очки, она увидела сыча и, совсем как Шефольд, почувствовала облегчение от того, что птица, которая теперь сидела в верхнем ящике своей башни, не начинала хлопать крыльями, когда люди входили в хижину.

— Ты уверена, что его привел простой солдат? — спросил Хайншток.

— Да,— сказала она,— обер-ефрейтор. Весьма отвратительный тип.

Она не стала описывать Хайнштоку движение головы, каким солдат приказал Шефольду подняться по ведущей в дом лестнице. Хайншток не придал бы большого значения этой детали. Надо надеяться, она сумеет потом объяснить Динклаге, что было заключено в этом жесте, адресованном Шефольду.

— Знаешь, как он выглядит? — спросила Кэте. И, не дожидаясь ответа, сказала: — Как настоящий аристократ.

Она не обдумывала заранее, как ей охарактеризовать Шефольда, эти слова пришли ей на ум внезапно. Почти в тот же миг она спросила себя, нравятся ли ей люди, которые выглядят «как настоящие аристократы». И ответила отрицательно. Венцель Хайншток не был аристократом, но и Йозеф Динклаге не был им тоже, несмотря на свой Рыцарский крест и свой мундир.

— Я не знаю, что это такое,— немедленно и резко отозвался Хайншток.— Надеюсь, ты успокоилась,— добавил он,— когда увидела, что он вовсе не похож на этих профессоров не от мира сего.

Он сам удивился, произнеся эти слова «не от мира сего». Он нашел, наконец, для Шефольда точное обозначение, которое долго искал.

— Напротив,— сказала Кэте,— совершенно напротив. Он выглядел не только как настоящий аристократ, но и как аристократ, которого арестовали. Он шел рядом с этим солдатом, точно свергнутый властелин. Ты понимаешь, что я имею в виду? Он выглядел каким-то особенно беззащитным.

— Я пытался наблюдать за склоном, по которому должен был пройти Шефольд,— сказал Хайншток.— Но Эльхератский лес закрывает его.

— Сегодня утром Динклаге убрал с передовой всех новобранцев. Он сказал: «Чтобы не произошло ничего непредвиденного».— Тени в уголках ее рта стали глубже.— Вы оба действительно очень озабочены тем, чтобы с Шефольдом ничего не случилось,— добавила она.

— Когда он тебе это сказал? — спросил Хайншток.

— Рано утром.

«В постели»,— мысленно добавил Хайншток.

— Ты уже ела? — спросил он.

Она покачала головой.

— Может, приготовишь себе что-нибудь?
— Нет, спасибо, я сейчас поеду.
— Ну, хоть чашку кофе?
— Нет, нет,— сказала она,— я и так нервничаю.
— Нет причин для волнения,— сказал Хайнштоk.— Все удалось. Через час Шефольд будет на пути к своему дому. После полудня я зайду к тебе узнать, когда он ушел.

Она возмутилась.

— Ты, наверное, не в своем уме,— сказала она.— В этот момент Шефольд разговаривает с Динклаге. А ты заявляешь: «Нет причин для волнения».

— Как будто из этого может что-то выйти! — сказал он.— Ты, должно быть, все еще надеешься, что произойдет чудо и появятся американцы, притом сегодня ночью... Кроме того, нас это уже не касается,— добавил он.— Для тебя и для меня на этом история заканчивается. Для Шефольда она кончится через час или два. Все остальное должны решить между собой Динклаге и этот американский офицер.

«Который должен быть таким же идиотом, как и я, потому что он вроде меня поддался на идиотское предложение этого немецкого офицера»,— подумал Хайнштоk. Он действительно считал, что для него и Кэте вся эта история закончилась с визитом Шефольда к Динклаге. Кэте знала, насколько опасной он считал эту акцию. Он очень четко изложил ей свои соображения по этому поводу.

Она снова успокоилась. Венцель Хайнштоk не знал, что сейчас она в последний раз находится в его хижине. Вероятно, он прав: американцы скорее всего не придут, но независимо от того, будет ли толк от встречи Динклаге с Шефольдом, ясно одно, что ближайшая ночь — последняя, когда она еще может уйти на Запад. Насколько она знала Йозефа Динклаге, он закроет единственный незащищенный участок фронта, если американцы не придут.

Она села на кровать. Хайнштоk стоял у своего стола — старой двери на козлах — и выбивал трубку. Кровать — железная раскладушка с тонким матрацем — была застелена тщательно сложенным одеялом. Она походила на кровать Динклаге. Кэте мысленно прощалась с Хайнштоkом, и не подозревая, что он считает, будто она пришла к нему прямо из постели Динклаге.

Она была ему многим обязана. Защитой, ибо с тех пор, как в июне она бежала из Прюма в Винтерспельт, каждый знал, что у нее связь с непонятным человеком из каменоломни. Безопасностью во время больших облав после 20 июля, когда Хайнштоk прятал ее у себя в пещере на Аперте. Знакомством с учением, которое казалось ей убедительным и имело то преимущество, что было запрещено. Кэте исполнилось двенадцать лет, когда это учение запретили. Услышав основные принципы, изложенные четким языком Хайнштоka, она сразу поняла, что мрак в Германии как-то связан с тем, что это учение запрещено.

Внутри этих полных взаимной симпатии отношений, основанных на защите и поддержке,— неплохая основа для отношений между двадцатичетырехлетней женщиной и мужчиной, старше ее на два-

дцать восемь лет,— внутри некоей сферы, окрашенной чувством, что Венцель Хайнштоκ ей «приятен», существовали и какие-то неясности, что-то непроясненное, мешавшее ей; например, то, что он принимал подарки от людей, которые, будь ситуация иной, избегали бы даже общения с ним.

Когда она однажды заговорила об этом, он сказал ей приблизительно следующее: да, он всегда располагает небольшим запасом кофе, вина и так далее, потому что кое-какие люди в здешних местах полагают, что в один прекрасный день он окажется им полезным. Он принимает пустяковые подарки, которые ему делает буржуазия, без смущения и без благодарности, потому что знает: когда все будет позади, он действительно сумеет помочь кое в чем этим людям — торговцам, мелким фабрикантам, чиновникам, богатым крестьянам. То есть он повторил то, что уже говорил ей по поводу своих будущих отношений с Аримондом, только Аримонду — он это понимал — он был обязан, а «этим людям» — нисколько.

— Прежде чем они забудут меня в моей каменоломне,— сказал он,— прежде чем они снова начнут говорить обо мне как о замаскированном коммунисте, что они, впрочем, делают и сейчас, я какое-то время буду самым полезным идиотом здешних мест.

— Стало быть, ты позволяешь себя подкупать.

— Что ты хочешь,— сказал он,— революции не будет, они договорятся.

— И ты с ними договоришься?

— Просто снова возникнут буржуазные нормы отношений.

— Но тебе,— сказала она,— тебе же не нужна их плата за молчание.

— Плата за молчание,— сказал он,— как это звучит! Я не буду покрывать ничьих преступлений. Только слабости. Но поскольку даже крупных преступников не будут заставлять расплачиваться за содеянное, то уж мелкие оппортунисты и вовсе имеют право улизнуть от расплаты. И я помогу им в этом.

— За кофе и вино?

— За кофе и вино,— сказал он.— Я уже все точнейшим образом обдумал. Мне предстоит жить с этими людьми еще лет двадцать или тридцать. Как это ни странно, люди предпочитают тех, кто однажды принял у них четверть фунта кофе, тем, кто ведет себя так, словно является ходячим монументом добродетели.

— А зачем тебе вообще жить с ними вместе? — спросила она.— Уйди!

Не получив ответа, она сказала:

— Меня, во всяком случае, здесь не будет, когда вы начнете договариваться друг с другом.

Утверждение, что революции не будет, было одним из его обычных доводов. В глазах Кэте он приобретал тем самым большое сходство с Динклаге. С тех пор, как она познакомилась с Динклаге, она поняла, что Хайнштоκ говорит о революции так же, как Динклаге о своем плане. Революция и план были для Хайнштока и Динклаге абсолютными и неосуществимыми истинами. Революция произойдет когда-то, но не при жизни Хайнштока; план Динклаге обречен на то, чтобы остаться игрой ума, оперативной схемой на карте. Только вот Динклаге совершил неосторожность, сделав участницей этой игры Кэте. Она хоть и интеллигентка, но одержима стремлением превращать абстрактные идеи в жизнь, теорию в практику, если ей представляется для этого хоть малейшая возможность.

Этот разговор происходил, когда Динклаге еще не появился на горизонте. Хайнштоk уже тогда показал, что не готов выполнить моральные требования, которые выдвигает двадцатичетырехлетняя женщина.

Возможно, Хайнштоk недооценил Кэте. Поскольку она была учительницей и хоть и недолго, но все же занималась преподаванием, она, возможно, была готова признать, что чистота учения не обязательно должна воплощаться в учителе. И можно предположить, что она разделяла взгляд Хайнштока на человека как на монумент добродетели и что человек со слабостями, даже живущий в таком явном разладе со своими взглядами, как этот марксист и владелец каменоломни, казался ей более достойным любви, более интересным, чем какой-нибудь ограниченный и неуязвимый доктринер.

Только в прошлую субботу, 7 октября, в Хайнштоке вдруг появилось что-то сомнительное, что-то необъяснимо неприятное. Накануне вечером Динклаге рассказал ей о своем плане. Уже на следующее утро она была у Хайнштока. Вполне естественно, что он сначала полностью отверг как сам план, так и предложение участвовать в нем и пришел в ужас, узнав, что Динклаге вовлек в эту авантюру Кэте; можно было понять и то, что он нагромождал возражение на возражение, а потом, так и не будучи убежден, все же согласился, видимо, только потому, что она, Кэте, этого хотела. Она не ожидала ничего другого, и его возражения имели под собой почву; еще немного, и она сама начала бы колебаться.

Но потом! Она сказала:

— Это будет опасно для тебя. Насколько я понимаю, тебе придется курсировать между американцами и Динклаге по крайней мере дважды.— И добавила: — То есть визиты к Динклаге я, конечно, беру на себя. В деревне все бы обратили внимание, если бы ты стал вести переговоры с Динклаге.

— Но зато уже никто не обращает внимания, когда к нему ходишь ты,— сказал он.

— Венцель! — сказала она.

— Вероятно, в деревне просто подумали бы, что я потребовал от него объяснений по поводу тебя. Это была бы отличная маскировка.

Она взяла себя в руки, решила во что бы то ни стало заставить его не касаться личных проблем.

— Я думала ведь только о политической стороне дела,— сказала она.— Тебя знают во всей округе, знают, кто ты. Все просто удивились бы, что майор ведет беседы именно с тобой. Люди из деревни стали бы говорить об этом с людьми из окружения майора... Да,— добавила она,— я действительно имею возможность в любой момент поговорить с Динклаге с глазу на глаз. Тут я ничего не могу изменить. Но для данного дела это только полезно.

— Хорошо,— сказал он,— я поговорю с Шефольдом.

До этого он несколько раз рассказывал ей о Шефольде как о курьезе. Судя по его описаниям, Шефольд был чудак — странный, далекий от жизни и при этом легкомысленный индивидуалист. Она видела картину, которую хранил в тайнике по его просьбе Хайнштоk, и, вспоминая о «Полифонически очерченной белизне», она испытывала большую симпатию к Шефольду и желание познакомиться с ним. Она никогда не могла толком понять, почему Хайнштоk прячет от нее этого одержимого искусствоведа.

— С Шефольдом? — спросила она.— А он тут при чем?

— Но это же предельно ясно,— сказал Хайнштоκ.— Он самая подходящая фигура, чтобы установить связь с американцами. Он у них свой человек.

— Как,— спросила она,— ты хочешь, чтобы этим делом занялся такой человек, как он? Но ведь это же очень трудно и опасно.

В тот же момент она поняла, что в рассуждениях Хайнштока о тактике содержится определенный смысл, и все же была безгранично разочарована. По причинам, которые потом она даже не могла вспомнить, Кэте считала естественным, что Венцель Хайнштоκ возьмет на себя самую рискованную роль — если не считать той, что отводится Динклаге. Она считала, что он не захочет упустить возможность до крушения фашизма еще раз, самый последний, принять участие в подпольной борьбе. Это было бы его местью за Ораниенбург.

— Он говорит по-английски,— вполне резонно сказал Хайнштоκ.— А я нет.

Она продолжала настаивать.

— Ты знаешь дорогу, по которой он приходит,— сказала она.— Ты рассказывал мне, что именно ты показал ее Шефольду, значит, ты ее знаешь. Пожалуйста, встречайся с ним на этом хуторе, где он живет, бери его как переводчика с собой к американцам. Но все остальное ты должен сделать сам. Ты всегда говорил, что он простодушен и действует опрометчиво. Он сделает ошибку. Ты ошибки не сделаешь. Он что-нибудь напутает. Ты ничего не напутаешь.

— Ему не надо делать ничего сверх того, что он делает всегда. Он дважды придет ко мне по этой почти безопасной дороге и передаст сообщение, которое я, в свою очередь, передам тебе.

— И наоборот,— сказала Кэте.

— И наоборот,— подтвердил он.— Новости, которые передашь мне ты, я передам ему.

Он попытался раскурить трубку.

— О да,— сказал он в перерыве между двумя неудачными затяжками,— я буду всего лишь почтовым ящиком.

Она почувствовала, что он доволен своей конспиративной техникой. И он мог бы привести еще более убедительные доводы, подумала она: например, что Шефольд пользуется доверием американцев — хотя он и не выполняет шпионских поручений, их тайная полиция наверняка уже располагает всеми необходимыми данными о нем,— в то время как Хайнштоκ им абсолютно неизвестен и еще надо проверять, не провокатор ли он. Пока они установят, что это не ловушка,— если исходить из того, что они вообще примут предложение Динклаге,— пройдет драгоценное время. Кэте сдалась. Неприятен ей был лишь самодовольный тон, каким он говорил о взятой на себя роли «почтового ящика». «Я буду всего лишь почтовым ящиком» — это было сказано с торжествующей скромностью, которой она терпеть не могла.

Совершая последнюю попытку оказать сопротивление, переубедить его, она сказала:

— Я удивляюсь, с какой легкостью ты втягиваешь в такое дело этого наивного человека.

Он молча пожал плечами.

1

Хайнштоκ знал, что она неправильно поймет это пожатие плечами, что она истолкует, не сможет истолковать его иначе, как беспощадность, даже жестокость. Но он не хотел опять начинать все

сначала, объяснять ей, насколько бестактно, по его мнению, поступал этот господин Динклаге, во-первых, вообще познакомив Кэте со своим планом, и, во-вторых, не попытавшись всеми средствами удержать ее от активного участия в этом деле. По сравнению с этим маленькое курьерское поручение Шефольду было сущим пустяком.

Она решила больше не спорить об использовании Шефольда.

— Хорошо,— сказала она,— тогда пойду я.

Он ответил на это предложение только сухим смешком, который ее ожесточил.

— Если ты показал дорогу Шефольду, ты можешь показать ее и мне,— сказала она.

В ней вдруг вспыхнула надежда, что она сможет продолжить свое путешествие, и, вероятно, он прочел это на ее лице.

Она деловито сказала:

— К тому же я говорю по-английски.

Он сел за стол, посмотрел на нее, пуская облака дыма, молча покачал головой. Она знала, что, когда он так качает головой, бесполезно пытаться переубедить его.

Кроме того, позднее выяснилось, что решение Хайнштока вовлечь Шефольда было единственно верным. В тот же день Динклаге не только одобрил его, но и сказал, что это — одно из условий осуществления его плана.

Действительно ли Хайншток, как предполагает Кэте, подумал: «Если она, как требует план, совершит этот поход дважды туда и обратно, то она может совершить его и в третий раз? Только уже в одну сторону — туда?» Установить это трудно. Но даже если он и разгадал намерение Кэте, то едва ли предполагал, что сможет удержать девушку, если она что-либо задумала, например не вернуться. Гораздо вероятнее, что он, хотя и признавая равноправие женщин — он никогда особенно над этим не размышлял, это была просто одна из посылок его мировоззрения,— все же думал: такие вещи не для женщин.

Как он и ожидал, Шефольд сразу же загорелся.

— Дружище Хайншток,— сказал он,— наконец-то я могу что-то сделать.— И тут же, не переводя дыхания, добавил: — Кимброу страшно удивится.

— Так вы думаете, что американцы вообще пойдут на это предложение? — спросил Хайншток.

— А почему бы им не пойти? — изумленно воскликнул Шефольд.

(Окончание следует)

Критика

И. МЛЕЧИНА

ПРОШЛОЕ НЕ УМИРАЕТ

Заметки о творчестве Альфреда Андерша

В один из летних дней 1944 года солдат вермахта Альфред Андерш бросил оружие и, перейдя линию фронта — это происходило в Италии,—сдался в плен войскам союзников. Дезертирство было актом сопротивления нацизму, протеста против бесчеловечности фашистской системы. «...В определенный момент я совершил поступок, придавший моей жизни смысл и с тех пор остающийся той осью, вокруг которой вращается колесо моего бытия»,— писал он позднее в автобиографическом эссе «Вишни свободы».

Эта книга появилась в 1952 году, в период, когда в ФРГ уже ясно обозначились тенденции милитаризации и реваншизма, когда снова начали пользоваться спросом мемуары гитлеровских генералов, сочинения, прославляющие добродетели германского солдата, верно служившего нацистскому режиму. Автор долго не мог найти для своей книги издателя — все отказывались. И когда она все же вышла, антифашистская интеллигенция Западной Германии увидела в «Вишнях свободы» одно из самых честных и беспощадных произведений, посвященных расчету с нацистским прошлым, важный литературный документ времени, отразивший жизнеощущение многих немцев. Написав его, Андерш занял видное место среди тех писателей ФРГ, для которых преодоление прошлого было главной общественной и творческой задачей.

Отчетливую антифашистскую позицию Андерш занимал и до выхода в свет «Вишен свободы». В 1946—1947 годах он был одним из создателей журнала «Дер руф», вокруг которого группировались литераторы, стремившиеся к демократическому переустройству и духовному обновлению Германии. Андерш вошел в число писателей, составивших ядро «Группы 47», которая объединила антифашистски настроенных деятелей литературы, надеявшихся на демократическое, миролюбивое развитие Западной Германии. (Скажем уже здесь, что к концу следующего десятилетия Андерш расстался с «Группой 47», мотивировав это тем, что она превращается в подобие литературной биржи, функционирующей по законам капиталистической «рыночной системы».)

От июньского дня 1944 года, когда солдат гитлеровской армии Андерш узнал вкус «вишен свободы» — во время своего побега из вермахта он наткнулся в лощине на дикую вишню и, набрав горсть кисловатых ягод, ощутил, что свободен, что «время принадлежит» ему,— от этого дня прочерчивается линия в будущее. Она ведет к антифашистским, антимилитаристским публицистическим выступлениям писателя Андерша: к его романам, главная тема которых — обязанность человека самому выбирать и самому отвечать за свой «вариант судьбы», к знаменитому стихотворению «Статья 3/3» [1], возмущенному отклику на позорную практику «запретов на профессию» в ФРГ. Она ведет, наконец, к роману «Винтерспельт»[2] — самому значи-

[1] См.: В. Иерусалимский. Статья 3/3, «ИЛ» № 10, 1976.

[2] Публикация романа начинается в этом номере «ИЛ».

тельному эпическому произведению Андерша, направленному против фашизма и войны.

Но линия эта, связывающая прошлое с настоящим, не была прямой, а путь писателя — простым и однозначным. Юношей Андерш стал членом Коммунистического союза молодежи Германии, в 1932 году — ему было тогда 18 лет — организационным руководителем коммунистической молодежи Баварии. «Я вступил на землю коммунизма с напряженным восхищением человека, который впервые оказывается на девственном континенте,— писал Андерш в «Вишнях свободы».— Он означал для меня нечто абсолютно новое, иное, и я жадно вдыхал дикий аромат жизни, которая помогала мне освободиться от влияния мелкобуржуазного окружения. Слово «революция» околдовало меня. С быстротой внезапного озарения я перешел от националистических доктрин моего отца к идеям социализма, любви к человеку, освобождения угнетенных...» Он с глубокой симпатией вспоминает товарищей тех лет, рабочих-коммунистов.

События 1933 года — захват Гитлером власти, политический террор — стали для него «травматическим шоком». В том же году он был арестован и отправлен в Дахау; выйдя оттуда, вскоре вновь подвергся аресту. «Они (то есть фашисты.— *И. М.*) задушили мою революционную юность. Они засадили меня в концлагерь, из которого... сам я вышел, но не вышли товарищи моей юности, товарищи по революции». На «шок» нацизма он ответил «эмиграцией из истории» — уходом от политической деятельности, разрывом с партией. Из будней фашистской действительности юноша бежит в эстетические сферы: «Путь, который я выбрал, звался искусством».

Эти события его молодости станут одним из источников идейных, сюжетных мотивов будущих произведений Андерша. И, пожалуй, только в романе «Винтерспельт» он взглянет на историю минувших десятилетий совсем по-новому, с более зрелых и четких позиций.

Впрочем, важно заметить: выход из партии не означал, что Андерш присоединился к антикоммунизму. Он никогда — ни в годы нацизма, ни в период «холодной войны» — не пытался извлечь спекулятивный капитал из решения, принятого в юности. И это его нежелание присоединиться к хору антикоммунистов не раз было причиной нападок на писателя со стороны западногерманской реакционной прессы. Забегая вперед, необходимо подчеркнуть, что писатель спустя много лет пересмотрел свое отношение к партии коммунистов,— отзвуки этого мы находим и в романе «Винтерспельт». Опыт жизни, опыт истории, характер развития западногерманского государства, в политической практике которого он видит «латентную угрозу» фашизма и войны, привели его к выводу, что только социализм способен решить проблемы, волнующие человечество.

«Теперь, когда передо мной более чем двадцатипятилетняя история ФРГ, мое место — снова слева, прошлое уже не отделяет меня от компартии,— сказал Андерш в беседе с автором данных строк в 1976 году.— Ныне я мыслю не так, как двадцать лет назад. Тогда мы думали, что буржуазная демократия оправдает наши надежды. Теперь я уже так не считаю. Капитализм не в состоянии решать проблемы, это видно во всем мире. В книге «Открытое письмо советскому писателю», где собраны мои эссе последних лет, я говорю, в частности, о том, что антикоммунизм безнадежно устарел. Особенно это чувствуешь, когда приезжаешь в Советский Союз...» Недавно Андерш впервые побывал в Советском Союзе, и эта поездка, воля к миру, которую он ощутил во время встреч с советскими людьми, произвели на писателя, по его собственному признанию, незабываемое впечатление.

Неприятие правых тенденций в развитии ФРГ, антигуманный климат, сложившийся в этой стране, с самого начала определили отношение Андерша к западногерманскому государству, хотя последовательные политические выводы он сделал значительно позднее. Одним из таких выводов было решение писателя покинуть ФРГ — с 1958 года он живет в Швейцарии, в 1973 году принял швейцарское гражданство.

В 50-е годы Андерш ищет ответа на поставленные историей вопросы в философских формулах экзистенциализма. В послевоенный период эта философия, с ее пристальным интересом к личности, к категориям вины и ответственности, оказалась весьма привлекательной для западногерманской интеллигенции, сыграла важную роль в процессе духовной переработки опыта минувших десятилетий. Этот опыт выдвигал на первый план вопросы, связанные с поведением человека в острых жизненных ситуациях, выбором моральных ценностей, с необходимостью противопоставить себя преступным нормам, установленным нацизмом. Но, конечно, такой преимущественный интерес к нравственным проблемам таил в себе абстрактно-метафизическое начало, означал их отрыв от социальных и политических корней.

Наиболее отчетливо эти противоречия сказываются в раннем творчестве Андерша — «Вишнях свободы», многих рассказах, романе «Занзибар, или Последняя причина» (1957). «Вишни свободы» — произведение, задуманное как «модель самоосмысления». «манифест личности», свободного человеческого духа, противостоящего нацистскому террору. Основу этой искренней лирической исповеди составляет идея «свободного выбора». Величие человека, пишет автор, осуществляется в мгновенья, предшествующие «секунде решения»,— именно в эти мгновенья реализуется «воз-

можность абсолютной свободы, которой обладает человек».

Поиски «абсолютной свободы» — это прежде всего ответ личности на террор фашизма. Однако героям Андерша на этом этапе еще кажется, что любая «система», любая идеология таит в себе угрозу индивидуальной независимости. Их представления лишены исторической конкретности, манящий идеал свободы обретает форму чистой абстракции.

Действие романа «Занзибар» происходит в маленьком северном городке Германии. 1938 год — черная пора господства «других»: так здесь названы нацисты. Уже пять лет функционирует чудовищная машинерия фашизма, вытравляющая все живое, талантливое, гуманное; и тем не менее еще живут, думают, действуют люди, не покорившиеся «другим», еще продолжают сражаться прекрасные творения больших художников, которые фашизм жаждет истребить, вырвать из памяти людской.

Случай — и авторская воля — сводят в городке нескольких очень разных людей, объединенных ненавистью к «другим» и поисками свободы. Все они ищут свой «вариант судьбы», мечтают о побеге: коммунист-подпольщик Грегор; рыбак Кнудсен; Юдит, девушка из еврейской семьи, которой грозит гибель; юнга, помогающий Кнудсену. Мальчик мечтает о дальних странствиях и океанском просторе, как и большинство его сверстников, но у него есть и свои, особые причины: ему ненавистна жизнь в городке, оцепеневшем под пристальным, неусыпным оком «других». Юнгу манит мечта о далеком и таинственном острове Занзибар, олицетворяющем свободу. Занзибар и есть «последняя причина» для побега. Чистый, прозрачный голос юнги придает особую, лирическую ноту этому повествованию, построенному, как музыкальное произведение: у каждого персонажа своя партия, своя тема, они развиваются параллельно, создавая хорошо организованный ансамбль. Здесь, в первом своем романе, Андерш предстает как тонкий стилист и мастер композиции.

Каждый из героев этого романа должен пройти испытание совестью, перешагнуть через страх, чтобы остаться человеком. Кнудсену предстоит вывезти на лодке к берегам Швеции девушку, за которой охотятся «другие», и маленькую деревянную скульптуру «Читающий послушник», напоминающую работы известного художника Барлаха. Это произведение искусства тоже символизирует идею неподчинения насилию. Грегор видит в лице юноши упрямое выражение независимости, готовности в любой момент «встать и уйти». Скульптуре угрожает расправа — «другие» уже уловили это невыносимое для них выражение духовного суверенитета, почувствовали заразительность неистребимого духа свободы, воплощенного художником в облике читающего послушника. Скульптура хранится в церкви, и пастор Хеландер, одна из главных фигур романа, не может, не хочет допустить, чтобы творение большого художника досталось «другим». Он уговаривает рыбака спасти скульптуру.

Кнудсен понимает, что подвергает опасности не только себя, но и больную жену. И все же что-то мешает ему отказаться от рискованного шага. Это «что-то» называется совестью, порядочностью, чувством долга, которые сильнее страха. «Будь я проклят,— подумал он с бешенством,— если я окажусь немой рыбой...» Пастор Хеландер знает, что «другие» не пощадят его, жестоко разделаются с ним за пропажу скульптуры. Но и для него моральные принципы важнее жизни. Приехавших за ним врагов он встречает выстрелами, оставив последнюю пулю для себя. Пастор совершает «свободный выбор» в классической экзистенциалистской «пограничной ситуации», на грани между жизнью и смертью. Однако он выбирает не молчаливый «внутренний» протест, а берется за оружие. Он стреляет и, убивая «других», надеется «оживить мир» хоть на доли секунды. Поступок пастора, погибающего с оружием в руках,— альтернатива позиции молчаливого пособничества, прикрывающегося словом «приказ».

Грегор больше других концентрирует в себе всю противоречивую многозначность экзистенциалистской идеи «свободного выбора». Он олицетворяет мысль автора об индивидуальной ответственности человека, который всегда, в любой ситуации, сохраняет за собой право «уйти». «Мне хоть и угрожает концлагерь, смерть,— размышляет он,— но я тем не менее могу свободно решать: оставаться или уйти. Я могу выбирать: побег или мученичество». Грегор порывает с партией. Он жаждет свободы «только для себя одного», признает лишь одну моральную инстанцию — собственную совесть. Но ведь известно, что выбор, осуществляемый исключительно на основе индивидуальных, общественно не обусловленных критериев, не накладывает на человека обязательств быть верным принятому решению. Это диссонанс между высоконравственной целью и весьма двойственным, несостоятельным путем ее достижения и воплощает Грегор — фигура, отчетливее других демонстрирующая характерный для Андерша той поры абстрактный взгляд на проблему свободы, оторванный от исторической реальности.

И все же сейчас, когда на роман этот можно взглянуть с дистанции двух десятилетий и в общем контексте развития литературы ФРГ, становится очевидным, что общий идейный итог произведения значительно весомее, шире, что он отнюдь не идентичен тому комплексу представлений, которые реализованы в образе Грегора. Главной, первостепенной представляется сегодня высказанная в «Занзибаре» мысль об обязанности человека противостоять злу, сохраняя нравственную целостность вопреки нацистскому террору.

Андерша волнует болевое, травматическое столкновение личности с бесчеловечным механизмом фашистской системы. И человек в этом столкновении предстает не

бездеятельным и беспомощным — он отказывается мириться с абсолютом зла. Воспитательное, просветительское значение подобного подхода к этой проблеме трудно переоценить, если учитывать духовную ситуацию в ФРГ, где реакционная историография и правая пресса неустанно внушают миллионам немцев, что они освобождены от ответственности за прошлое. Романы и публицистика Андерша, обращенные к послевоенным поколениям, учат: фашизм и войну нельзя воспринимать как неизбежное и неодолимое зло.

В этой убежденности находит свое выражение неподдельный гуманизм произведений Андерша, который заставляет писателя неутомимо выступать против реакции в любых ее масках и который исподволь помогает ему находить и более зрелые, исторически конкретные художественные решения.

Известный западногерманский писатель Арно Шмидт, анализируя роман «Заизибар», заметил, что это произведение многое проясняет в немецкой истории, ставит вопрос о том, почему Эйнштейн, Томас Манн, Герман Гессе (рецензент называет лишь несколько имен) не вернулись после 1945 года на родину, почему никто из эмигрантов не выбрал местом жительства Западную Германию. И, как подчеркивает Арно Шмидт, перекликается изображаемое — гитлеровская Германия 1938 года — с действительностью ФРГ второй половины 50-х годов: снова запрещена коммунистическая партия, снова обрел силу милитаризм, снова бесчинствуют расисты, снова реакционеры говорят о «разлагающем духе» прогрессивного искусства. Роман Андерша, утверждает его коллега,— «неопровержимое обвинение этой Германии», «предостережение, адресованное всем».

Это обвинение звучит и в следующем романе Андерша — «Рыжеволосая» (1960). Некоторыми мотивами он близок «Занзибару», есть здесь и фигура, родственная Грегору,— итальянец Фабио, в прошлом командир Интербригады в Испании, потом руководитель антифашистского партизанского отряда в Италии, а после войны — человек, который «больше ни в чем не участвует». Он разочаровался в политической деятельности и «ржавеет, становится неподвижным» в стороне от общественной борьбы. Действие происходит в Венеции, городе, символизирующем «островное существование», оторванность героя от бурных перипетий современности.

Но в этом романе уже возникает иной вариант темы «бегства», предстающий как форма острой, обвиняющей критики западногерманского общества. Героиня романа, молодая немка Франциска, бежит из ФРГ, страны «лживого порядка и лживой чистоты», от унылого и бездуховного бюргерского комфорта. Она уходит прочь от «владельцев чековых книжек», порывает с мужем, расчетливым коммерсантом и снобом, со всей прежней жизнью. Она не хочет больше быть пленницей постылого «мира торговли, тысячелетней подлости торговцев», не желает быть «жертвой со связанными руками». Из тесного круга буржуазных условностей она вырывается в неизвестность, полагая, что жизнь ее станет другой в Италии, среди итальянских бедняков, в их маленьких домиках, которые так влекут ее воображение.

Известный писатель Мартин Вальзер сказал как-то, что невозможно писать о современной действительности ФРГ, не возвращаясь к временам третьего рейха. И среди романов Андерша нет ни одного, где не возникала бы тема фашизма. В романе «Рыжеволосая» фашизм воплощен в фигуре, задуманной и реализованной как символ «чистого зла», «абсолютного порока», хотя и имеющей четкий исторический адрес. Это холодный нацистский палач Крамер, скрывающийся в Италии, циничный убийца, у которого за «маской жизни» скрывается «железная конструкция аппарата». Крамер стоит в одном ряду с такими образами литературы ФРГ, как Юдеян из «Смерти в Риме» Кёппена или Доктор из «Наместника» Хохгута. Он принадлежит к страшной категории чиновников-убийц, порожденной фашизмом: «Для меня было избавлением, когда нам дали, наконец, возможность их арестовывать — евреев, коммунистов и демократов. Когда в Германии стало, наконец, чисто. Я за чистоту, за ясность».

«Непреодоленное прошлое» зримо присутствует и на страницах романа Андерша «Эфраим» (1967), являясь существенным элементом того исторического и психологического фона, на котором развертывается история героя. Эфраим — к моменту действия известный английский журналист — родился в Германии и эмигрировал в годы фашизма в Англию. Родители его погибли в газовых печах Освенцима. Сам Эфраим, воевавший в британской армии, не испытывает, по его признанию, ненависти к немцам, однако в основе его отношения к бывшим соотечественникам лежит незабытая и непрощенная трагедия минувших лет, оживающая в его сознании с особой силой, когда он после 27-летнего отсутствия приезжает на несколько дней в Западный Берлин. И хотя он заверяет, что не чувствует волнения при встрече с родиной, что ие всматривается «в лица прохожих» в поисках бывших убийц, боль при мысли о совершенных нацистами преступлениях не затихает в его душе. И когда герой заявляет, что «для Освенцима нет объяснения», то это не столько выражение характерного для него взгляда на историю как на хаос, череду случайностей, сколько формула потрясенного ума, в которую вложена мысль о гигантских, чудовищных масштабах нацистских злодеяний, и в самом деле кажущихся непостижимыми.

Структуру романа определяют два больших тематических комплекса — отображение жизни героя на фоне конкретной ев-

ропейской реальности 60-х годов и процесс возникновения книги, над которой работает Эфраим. Герой романа, как и другие персонажи Андерша, оказывается в ситуации, требующей пересмотра и изменения всей прежней, казавшейся столь налаженной жизни. Он решает покончить с блестяще сложившейся журналистской карьерой, порвать с окружением, с Англией и переехать (подобно героине романа «Рыжеволосая») в Италию. Об этом он и рассказывает в книге, которую создает, так сказать, на глазах у читателя, то и дело возвращаясь в прошлое и открыто повествуя о «трудностях письма». В этом сложном, но вполне четком рисунке чередуются временные плоскости, время реальное и романное, подлинные исторические события и вымышленные эпизоды, воспоминания и раздумья героя, перемежающиеся историческими реалиями.

«Эфраим» — одноголосое произведение, роман одного героя. А свое собственное сочинение герой именует «оргией субъективности». Но, будучи книгой очень личной, этот роман тем не менее раскрывает перед читателем весьма широкую картину современной европейской действительности. Здесь находят отражение и органически вплетаются в повествование, придавая ему объективный смысл, конкретные исторические факты, события недавних лет, на фоне которых наполняются содержанием те или иные повороты в судьбе героя. Реальные эпизоды — нашумевшее «дело» журнала «Шпигель» в ФРГ начала 60-х годов, разоблачение махинаций Штрауса, выступления студентов — сообщают роману документальный характер. В текст вмонтированы цитаты из прессы, газетные заголовки, выдержки из судебных протоколов, связанных с преступлениями нацизма, высказывания бывших заключенных Освенцима и т. д. Использование документальных средств, расширяющих художественные возможности писателя, позволяет ему объемнее увидеть реальность и, главное, осмыслить ее глубже, нежели на это способен герой. И этот новый подход к отражению действительности, не скованный более экзистенциалистскими концепциями, открывает, как нам представляется, новый этап в творчестве Андерша, этап, вершинной точкой которого стал роман «Винтерспельт».

Андерш назвал как-то своего западногерманского коллегу, известного антифашистского писателя Вольфганга Кёппена чье творчество он высоко ценит, «политическим романистом страны, в которой у гуманизма мало шансов». Сам Андерш — тоже политический писатель. Его книги — всегда живой отклик на волнующие человечество проблемы, они тенденциозны в лучшем смысле этого слова недвусмысленно отражая принципиальную позицию художника, неприятие всех форм угнетения и подавления личности. Главные враги человека в произведениях Андерша политически выявлены вполне четко: это фашизм и неофашизм во всех проявлениях, милитаризм и расизм, социальная дискриминация, посягательство на духовный мир личности.

Будучи политическим писателем, Андерш не признает искусства, отделяющего себя от реальных проблем современности, искусства зашифрованного, любующегося собой. Андерш открыто говорит о своем неуважении к той разновидности литературы, для которой «не существует содержания, идей, проблем, действия, убеждений, фактов», ничего, «кроме ее самой».

Когда-то в концлагере, вспоминает Андерш в одном из эссе, ему пришлось вместе с другими заключенными, по приказу эсэсовцев, волоком тащить дорожный каток. «Чтобы иметь возможность заниматься своим ремеслом,— говорит Андерш,— я пишу тексты, которые, как мне кажется, помогут воспрепятствовать тому, чтобы мне в один прекрасный день снова пришлось тащить дорожный каток в концлагере». О чем бы он ни писал, продолжает Андерш, он проводит «незримую черту к тому дорожному катку», то есть к временам фашизма, пишет ради того, чтобы они не повторились.

Когда в 60-е годы «новые левые» громко прокламировали «смерть литературы», Андерш продолжал писать романы. В нападках на литературу, признает писатель, он видит «нечто антигуманное». Искусство немыслимо без изображения человеческих переживаний, страданий, надежд, всего того, что Андерш называет «душевными процессами». Он потому отвергает, к примеру, «новый роман» (стилистически ему близкий), что тот игнорирует изображение душевного мира человека. «Человеческая душа,— формулирует Андерш,— для меня такая же реальность, как стол или дерево».

В литературе писатель ценит ее «изменяющую» функцию — его произведения, начисто лишенные всякой назидательности, оставляют «открытые» вопросы; подобно своему герою Эфраиму, Андерш вовсе не намерен убеждать читателя, тот должен сам находить ответы на эти «открытые» вопросы, активнее размышлять, сопоставлять факты, анализировать историю, собственный жизненный опыт. Побуждать к размышлениям — в этом и заключен для Андерша главный смысл его произведений. Говоря о роли прогрессивной западногерманской литературы, Андерш отмечает, что хотя правящие круги всегда пытались дискредитировать усилия писателей-гуманистов, тем не менее их выступления и их произведения способствовали развитию критического мышления у читателей. В эссе «Томас Манн как политик» Андерш писал: «Склонность к политике... едина с реализмом художественного произведения. Художник не может десятилетиями иметь дело с действительностью, духовной и материальной немецкой реальностью, не становясь в итоге политиком». Эти слова вызвали добрый отклик Томаса Манна, который в письме Андершу отметил, что анализ в высшей степе-

ни «умен и тонок», что он подобного «еще не встречал в своей жизни и уже не надеялся встретить»; в рассуждениях молодого тогда литератора Андерша старый мастер увидел «подлинные сокровища» — «сокровища правды».

Политика для Андерша всегда неразрывно связана с идеей ответственности человека перед историей. В романе «Винтерспельт» тема эта обретает новое звучание, новый общественный смысл. Главным для Андерша по-прежнему остается моральная позиция личности, высокое чувство долга, реализующееся в столкновении с фашизмом. Герои и здесь оказываются перед необходимостью выбора. Однако он выходит за рамки личных решений. «Проигрывая» различные варианты человеческого поведения в сложнейших жизненных ситуациях, писатель апеллирует к разуму современников и заставляет размышлять о общественных последствиях индивидуальных поступков.

В этом романе выражен вполне определенный, недвусмысленный взгляд на историю, войну, на природу и характер противоборствующих сил, показана обреченность фашизма — социальная, политическая, моральная. Все это, естественно, вызвало озлобленную реакцию консервативной печати, нападки на роман и автора. В защиту Андерша и его произведения выступила передовая, демократическая общественность. Вольфганг Кёппен отозвался о «Винтерспельте» как о произведении, которое «лишит читателя сна». Больше того, споря с противниками Андерша, он заявил, что «всякая критика романа «Винтерспельт» оборачивается против критикующего». Высокую оценку дали книге такие прогрессивные издания, как газета «Дойче фольксцайтунг» и журнал «Кюрбискерн». Автор статьи, опубликованной в этом журнале, писатель и критик Ф. Хитцер называет роман «литературным событием десятилетия», считает, что «в литературе ФРГ мало что можно сравнить с этим произведением». Важно отметить, что «Винтерспельт» был издан и в ГДР, где нашел широкого читателя.

Хотя действие романа происходит тридцать с лишним лет назад, он глубоко актуален. Нити из прошлого тянутся в сегодняшний день — эта мысль выражена уже на первой странице; в эпиграф вынесены слова Фолкнера о том, что прошлое «не умирает», не проходит бесследно, иными словами, что оно не дает права о нем забывать.

Комментируя роман, Андерш говорил, что сознательно избегал прямых связей с современностью, а показал лишь определенную «модель» человеческого поведения, ибо верит и надеется, что «читатель сам прочертит линии», ведущие от событий тех лет к нашим дням. Смысл этого романа, обращенного к недавней немецкой истории, в тех выводах, которые Андерш призывает сделать, в том, чтобы убедить читателя: даже в самых безнадежных обстоятельствах человек обязан сохранять способность к ответственным и достойным решениям. Обязан, оказавшись перед лицом бесчеловечности и преступлений фашизма, противопоставить кажущейся предопределенности событий свою добрую волю и решимость к сопротивлению.

Чем-то роман напоминает «Занзибар» — тот же хорошо организованный ансамбль действующих лиц, параллелизм линий, умело сводимых в один упругий узел, тот же внутренний драматизм. Но как далеко ушел писатель от своего эпического первенца, насколько глубже, значимее, объемнее стало изображение, насколько полнее и ярче картина действительности! Впрочем, Андерш и здесь не претендует на создание монументального полотна. Задача его другая. «Винтерспельт», говорит автор, это, пожалуй, «даже не роман о войне. Максимум камерная пьеса на фоне катастрофы. Но катастрофа эта — не явление природы, она вполне конкретна: фашизм».

Изображая поведение своих героев «на фоне катастрофы», писатель напоминает: фашизм и война не порождение «всемирного хаоса», а Гитлер — не «производственная авария», как любят утверждать буржуазные историографы. С войной, с «латентным» фашизмом необходимо бороться.

События, описанные в романе, происходят в октябрьские дни 1944 года, в деревушке Винтерспельт на западной границе Германии, в районе Шнее-Эйфеля, где 16 декабря того же года армия генерал-фельдмаршала фон Рунштедта начала «битву в Арденнах» — отчаянное наступление в надежде изменить ход войны. В Винтерспельте стоит батальон вермахта, отделенный от американских позиций крошечным клочком «ничейной земли». Командир батальона майор Динклаге, выходец из буржуазной семьи, образованный и думающий человек, презирающий Гитлера, избрал военную карьеру, чтобы «пережить национал-социализм, не запятнав себя». Он разделяет — скомпрометированное самой историей — представление, что германская армия, ее офицеры не причастны к преступлениям нацизма, что они «вне политики», ибо выполняют приказ. Сознавая бессмысленность дальнейших военных действий, близость полного краха рейха, он решает сдаться вместе с батальоном в плен американцам.

В замыслы майора оказываются вовлеченными и другие действующие лица романа. Кэте Ленк, молодая берлинская учительница, которая после смерти родителей во время бомбежки и гибели жениха на фронте стремится бежать из ненавистной Германии. Эту фигуру автор, по его собственному признанию, считает ключевой в романе — она больше других воплощает столь важную для него мысль о необходимости действовать. Эмигрант Шефольд, один из самых привлекательных образов в творчестве Андерша, человек, воплощаю-

---

И. МЛЕЧИНА

ПРОШЛОЕ НЕ УМИРАЕТ

щий, по словам писателя, «лучшие гуманистические немецкие традиции»; подлинный интеллигент и добрый человек, знаток и ценитель живописи, он не задумываясь рискует жизнью, выполняя свой человеческий долг. И, наконец, Венцель Хайнштok, антифашист и коммунист, проведший много лет в нацистском концлагере.

В этом романе Андерш отказывается от своего прежнего подхода к изображению коммунистов. В его ранних произведениях (романах «Занзибар» и «Рыжеволосая») они представали как люди хотя и искренне ненавидящие фашизм, но порывающие с любыми формами «массовых организаций» и убежденные, что человек сохраняет свободу выбора лишь в искусственной самоизоляции. Хайнштok из романа «Винтерспельт» к моменту действия тоже не связан ни с какой организацией партии (до ареста он активно участвовал в подпольной работе) и живет изолированно, однако остается верен марксистским принципам. «Геологи будущего», пишет автор, найдут этого человека в «марксистском слое».

Хайнштok — единственный человек в романе, который знает, по словам писателя, «что правильно», который способен проанализировать и верно оценить ситуацию, разобраться в характере майора Динклаге и задуманной им операции. Именно под влиянием Хайнштока меняются представления Кэте — ему героиня романа обязана тем, что начинает сознавать подлинную сущность фашизма.

Впрочем, для автора готовность Кэте действовать — важнее, чем точный расчет и здравые размышления Хайнштока. Нельзя не почувствовать, что фигура Хайнштока изображена с некоторой дистанции. Говоря об этом герое, важно не упустить из виду специфику условий, в которых он находится, его предысторию. Своим освобождением из концлагеря он обязан богатому промышленнику, вовремя смекнувшему, что это может послужить ему неплохим алиби, когда третий рейх рухнет. Такая ситуация накладывает определенный отпечаток на поведение Хайнштока, придавая этому образу черты, которые могут и не вызвать одобрения читателя.

И все же в целом это — фигура, изображенная с безусловной симпатией, выражающая новый взгляд писателя на соотношение общественных сил в ходе истории, на роль коммунистов.

В литературе ФРГ до начала 70-х годов крайне редко изображались коммунисты, при этом в большинстве случаев они представали в искаженном, фальсифицированном виде. В начале нынешнего десятилетия, когда в ФРГ оформилось последовательно демократическое, социалистическое литературное движение, когда в литературу влились новые прогрессивные силы, возник и иной, позитивный образ коммуниста. Решение, которое находит для этой темы Андерш, хотя с ним и не во всем можно согласиться, представляет собой заметный идейный и художественный сдвиг в творчестве писателя.

В точно выверенной композиции романа все действующие лица находятся в четком взаимодействии, и при этом все они социально репрезентативны. Даже фигура Райделя, которая может показаться надуманной, на самом деле вполне мотивирована. Перед нами характерный продукт немецкой истории — обыватель, мелкий буржуа, готовый в любую минуту присоединиться к самым темным и реакционным силам. Этот социальный слой, из которого на определенном этапе рекрутировались пособники и соучастники фашизма, издавна находил блестящее отражение в немецкой литературе, чаще всего сатирическое — вспомним хотя бы Генриха Манна с его «Верноподданным».

Райдель всю жизнь чувствует себя зависимым, униженным, неполноценным, это и рождает в нем мрачную ненависть к людям, делает его злобным фанатиком. Его сформировала среда, казарменный дух нацизма. Он продукт и опора фашистской системы. «Райдель,— сказал Андерш в уже упоминавшейся беседе,— типичный немецкий солдат, «ландсер», он вовсе не случайность. Случайно лишь то, что он оказывается определенным образом связанным с планом Динклаге. И как раз характерно для этого немецкого майора, что он, со своими офицерскими представлениями и своим офицерским характером, не учитывает такую случайность. Райдель — жертва фашистской системы, он не в состоянии понять, что фашизм его эксплуатирует. Он не способен ни мыслить, ни формулировать, он безъязык. Свою неполноценность он пытается компенсировать тем, что становится образцовым солдатом, идеальным ландскнехтом. Он не способен разобраться в общественно-причинных связях и весь полон ненависти, которую и изливает на Шефольда».

Андерша интересует не столько конкретный исход задуманной Динклаге операции, сколько раскрывающиеся в ходе ее подготовки характеры людей, типы поведения. Здесь он в полной мере реализует свой давний и стойкий интерес к «душевным процессам». Но и это для него не конечная цель. В «Винтерспельте» автор выводит действие из сравнительно узкого круга персонажей, прямо показывая — в частности, с помощью документальных средств, придающих дополнительную объективность изображению,— историческую значимость «частных» поступков и решений.

И в этом смысле важной фигурой в романе является майор Динклаге. По характеру, настроениям он мог бы принадлежать к «людям 20 июля», тем немецким офицерам, которые 20 июля 1944 года организовали заговор и покушение на Гитлера. Как известно, план этот потерпел поражение, участники заговора были жестоко истреблены. Операция, отразившая протест некоторой части офицеров вермахта против Гитлера, проигрывавшего войну, провали-

лась в силу многих исторических, политических причин. Среди них немаловажную роль сыграли общая непоследовательность и противоречивость взглядов участников заговора, их буржуазная ограниченность и недальновидность, отсутствие единства и опоры в массах, неумение предвидеть историческую перспективу. Для Динклаге характерна та же внутренняя раздвоенность, непоследовательность. Гуманное намерение уберечь людей от бессмысленной гибели, желание оказать сопротивление нацизму, терпящему военное поражение,— все это оказывается иллюзорным в силу той же политической ограниченности и узости взглядов Динклаге, его неспособности довести дело до конца. Хайнштоk прав, когда отказывается принимать всерьез план майора. План этот вообще остался бы игрой ума, чистой абстракцией, если бы не энергичная настойчивость Кэте, которая и придает замыслу майора некоторую ощутимую реальность.

И дело даже не в том, что Динклаге практически не готов к реализации своей идеи. Важнее другое: Динклаге страшится перешагнуть черту, за которой он становится в собственных глазах предателем. Динклаге не может и не хочет нарушить «кодекс чести», оказаться исключенным из «интернационала офицеров», и эту главную, скрытую пружину его поведения точно выявляет Хайнштоk.

К тому же самому «интернационалу офицеров» принадлежат и американские военные. По существу, они не одобряют решение немецкого майора — ведь он входит в ту же касту и, нарушив правила игры, совершает, с их точки зрения, предательство. Это одна из причин, объясняющая, почему медлят американцы. Их командование с самого начала отвергает план капитуляции немецкого батальона. Только капитан Кимброу, упрямо не желающий понять, зачем его послали в Европу и почему немцы сами не могут справиться со своим «монстром», готов — так же в одиночку, как и Динклаге,—пойти на осуществление операции. Впрочем, и он в конечном итоге обнаруживает свою непоследовательность, зачеркивающую все его намерения: снимая телефонную трубку, чтобы проинформировать начальство о своем решении принять план майора, он знает, что ответ окажется отрицательным и что чужой волей с него будет снято бремя ответственности.

Андерш убедительно вскрывает противоречия внутри американской армии, двойственность отношения к Советскому Союзу — как силе, сдержавшей натиск фашизма и продолжающей громить его, и как потенциальному противнику. Американский майор формулирует эту мысль, говоря о «защитном вале», призванном остановить русских. Хайнштоk понимает: «...Американцы вступили в войну только потому, что не могли пойти на риск позволить русским одним разбить Гитлера».

Андерш и раньше представал как мастер психологически удивительно верно «схваченных» характеров, динамично построенного сюжета, оригинальных композиционных решений и сдержанной манеры изложения, чуждающейся патетики и пышной фразы. Давний поклонник Стендаля, он стремится к прозрачности и четкости изображения. Один из главных художественных принципов Андерша — ясность. «Винтерспельт» являет собой образец такой выразительной прозы.

Однако перед нами вовсе не легкое чтение, хотя роман исполнен внутреннего драматизма и даже содержит нечто вроде детективного элемента — читатель гадает, будет ли осуществлена операция, вокруг которой выстраивается действие, группируются характеры. Андерш не спешит раскручивать сюжетную пружину. Повествование начинается в неторопливом, нарочито замедленном темпе. Нас обстоятельно вводят в суть готовящихся событий, знакомят с документами, проясняющими исторические обстоятельства. О важном сообщается как бы вскользь; потом автор возвращается к тому или иному факту, добавляя новые детали, штрихи, оттенки, расширяя читателю обзор, заставляя взглянуть на изображаемое в свете этих вновь открывшихся подробностей. Характер, эпизод, возникающий в разных измерениях, под разным углом зрения. Делая, так сказать, несколько «заходов», писатель добивается многомерности изображения, приглашая читателя к непрерывной интеллектуальной работе, привлекая его к соучастию в происходящем.

Отношение автора к персонажам тоже ни в коей мере не однозначно. В самой повествовательной манере, в суховатом, отяжеленном языке, порой нарочито бюрократизированном, приближенном к документальному стилю, проглядывает ироническая «остраненность», дистанция, отделяющая автора от его героев. Он поглядывает на них то с добрым юмором — как на Шефольда с его либерально-наивными взглядами, то с довольно колючей насмешливостью — как на майора Динклаге, которому так и не удается преодолеть замшелые кастовые представления прусского офицера.

Роман Андерша появился в период, когда снова и, пожалуй, активней, массированней, чем прежде, в ФРГ под прикрытием красивого слова «ностальгия» вызывается к жизни дух коричневого прошлого, призрак фашизма. «Климат в ФРГ я воспринимаю как антигуманный, я снова вижу там структуры фашизма,— говорит писатель.— Общеизвестно: в стране существуют явные фашистские тенденции — законы о радикалах, запреты на профессию. Это четко прослеживающаяся правая тенденция, элементы фашистского движения». Об этом Андерш написал свое известное стихотворение «Статья 3/3», за которое подвергся злобным нападкам, диффамации, угрозам. «Экс-нацисты и их приспешники

И. МЛЕЧИНА
ПРОШЛОЕ НЕ УМИРАЕТ

опять занимаются своим любимым спортом — травлей коммунистов, социалистов, гуманистов, левых, инакомыслящих»,— говорится в этом стихотворении, и еще: «Разносится запах, запах, запах газовых камер». Так, в поэтически сгущенной, заостренной форме выражает художник свое отношение к политической реальности ФРГ 70-х годов.

В стране издаются, популяризируются, восхваляются сочинения, пересматривающие итоги второй мировой войны, снимающие вину с Гитлера и его подручных, искажающие роль Советского Союза в освобождении человечества от коричиевого рабства. Огромными для этой страны тиражами выходят мемуары военных преступников, осужденных в Нюриберге, выпускаются бесчисленные «диски», на которых записаны хвастливые поджигательские речи нацистских главарей, по киноэкранам прокатилась «гитлеровская волна». Литературе, фильмам такого рода нередко придается для убедительности внешне объективированный характер, когда читателю или зрителю предлагаются «лишь» документы — ведь документ «не лжет», он показывает все «как было».

Но нет, документ не нейтрален, отбор фактов уже несет в себе оценочное, комментирующее начало: тенденциозные, демагогически смонтированные документы могут служить духовному оболваниванию масс еще целенаправленнее, фальсифицировать историю еше беззастенчивее, чем вымысел. И когда, например, в нашумевшем фильме «Карьера Гитлера» подбираются кадры, демонстрирующие главным образом «мирное величие» гитлеризма и его «популярность в немецком народе», когда кровавая история нацизма, преступления перед человечеством оказываются за пределами экрана — о какой объективности может идти речь!

«Винтерспельт» на фоне общей культурной и политической ситуации в ФРГ обретает, таким образом, внутреннюю полемичность. Он направлен против подобной фальсификации истории, ее «демонтирования». Идейным своим острием он, по существу, целится в эту якобы объективную, основанную на документах, а на самом деле отравленную ядом лжи литературу.

Андерш тоже пользуется документальными средствами, но документ в соответствии с общей идейно-эстетической концепцией романа оказывается средством придания изображаемому подлинного историзма. Документ выполняет четкую функцию — он возвращает вымышленные поступки в сферу реальности, точно обозначая и фиксируя исторический фон. Так, поведение Динклаге, оказавшегося неспособным отделиться от своей касты и порвать с сословными предрассудками, находит историческое соответствие в действиях генерала Руиштедта. В главе «Фазы превращения вымысла в документ» Андерш напоминает подлинные факты: после битвы под Фалезом летом 1944 года находившийся в отставке фельдмаршал послал верховному командованию вермахта телеграмму следующего содержания: «Заключайте мир, безумцы!» Но уже через два месяца, снова призванный Гитлером, он усерднейшим образом стал готовиться к сражению в Арденнах. Таким образом, факт и вымысел, реальность и возможиость сплетены в романе воедино, оставляя читателю широкое поле для размышлений и критических выводов.

«Все мои книги,— сказал в беседе с автором настоящих строк Альфред Андерш,— повествуют о трагедии немецкого бюргерства. Эти люди были неспособны действовать, они смотрели на фашизм, как мышь, загипнотизированная змеей. Поразительно: Рунштедт, который призывает к заключению мира, снова воюет за Гитлера. Диниклаге — не фашист, он — немецкий бюргер, полагающий, что фашизм можно пережить, оставаясь чистым, и оказывается в положении, когда уже ничего не может предпринять против фашизма. Он воплощает абсолютную неспособность осуществлять свои решения. Альтернатива этой позиции пассивности только одна — действовать, бороться против фашизма. «Винтерспельт» — роман о человеческих возможностях перед лицом истории. Книга, направленная против фашизма, который может возникнуть снова. В романе ставится проблема исторического деяния: нельзя считать судьбой роком войну и фашизм».

«История сообщает, как это было. Повествование показывает, как это могло бы быть»,— пишет в романе Андерш. Демонстрируя модели поведения вымышленных персонажей в исторически конкретных обстоятельствах, автор требует от читвтеля: выбирайте! Выбирайте линию, позицию, способ действия, твердо помня об исторических последствиях личных решений.

◆

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

ГЕННАДИЙ ГЕРАСИМОВ

СРЕДИ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

Цель настоящего обзора — рассказать, какого рода книжную продукцию, посвященную Советскому Союзу, вернее, ту ее часть, которую причисляют к беллетристике, предлагают в США наши «идеологические оппоненты». Я поставил эти два слова в кавычки, ибо в подавляющем большинстве их произведения настолько курьезны, столь явно изобличают некомпетентность авторов, что, казалось бы, вряд ли мы можем говорить, будто имеем дело с опасным противником.

И тем не менее. Романы на «русскую тему» всегда имеются в книжных магазинах, их читают в публичных библиотеках, порою зачитывают до дыр, записываются, чтобы получить их, на очередь. Как правило, подобная продукция и с точки зрения художественной — ниже всякой критики: она пронизана клеветой и недоброжелательством к нашей стране, к социалистическому образу жизни. Антикоммунистическая пропаганда становится, таким образом, не только идеологическим, но и социально-культурным фактором. В США усилилась кампания дезинформации и ложных измышлений относительно всего, что происходит в нашей стране. Старая формула о «красной опасности» сейчас, в 70-е годы, принимает новую окраску: американцы, утверждают наши недруги, должны бояться разрядки, сотрудничества с миром социализма, ибо это чревато чудовищными последствиями. Но приметы времени, самые разные и самые неожиданные, говорят и о другом — о том, что все большее число американцев понимают, как сказал в свое время Дуайт Эйзенхауэр, что «глупо притворяться, будто коммунизм не существует, или притворяться, что он не имеет большой притягательной силы для людей».

На Национальной выставке Советского Союза, открытой в конце прошлого года в Лос-Анджелесе, побывало триста двадцать тысяч человек; приходили сюда на целый день, часами расспрашивали сотрудников выставки о советских людях, городах, республиках.

В ряде крупных государственных учреждений США, в том числе и в Пентагоне, установлены машины «Логос», переводящие с русского на английский. Машинистка перепечатывает русский текст на вводе «Логоса», меняет на той же машинке шрифтовую головку, заменяющую здесь рычажковую клавиатуру, и через минуту машинка сама печатает английский перевод.

У входа в Белый дом была вывешена инструкция на русском языке о порядке его посещения (хотя, к сожалению, с немалым количеством грамматических ошибок). В ней, в частности, говорилось: «Приобретите бесплатный билет от киоск... Обратите внимание на время формирования показано на билете... Посетители белого дома принемающие по расписанным промежуткам чтобы уменьшить время ждания и тесноту...» Увы, не прост путь к познанию друг друга — порою возникают барьеры невежества, порою — искусственные преграды совсем иного характера.

Все большее число туристов влечет в СССР притягательная сила коммунизма. Известиая фирма «Фодор» выпустила специальный путеводитель по СССР на 1976—1978 годы. Его авторы пишут: «И представить невозможно, насколько удивителен сложный мир СССР... не ищите в Советском

Союзе спокойных развлечений, на которые вы рассчитываете, проводя отдых на Западе. Простая и очевидная причина вашей поездки—желание познакомиться с совершенно иным образом жизни. Большинство едущих в СССР отправляются в путь по серьезным мотивам—политическим, социальным и культурным...» Однако отнюдь не у всех в США есть деньги, время и возможности для туристических поездок. И они волей-неволей обращаются к «свидетельствам очевидцев», вроде сочинений бывшего корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс» в Москве Хедрика Смита «Русские» и его коллеги из «Вашингтон пост» Роберта Кайзера «Россия», вышедшим в 1976 году и получившим широкую рекламу.

Как отмечал еженедельник «Нью-йоркер», «во многих аспектах книги повторяют друг друга, дело доходит до анекдота». Повторы, видимо, объясняются тем, что оба корреспондента были настроены на одну волну — антисоветскую. Мне довелось провести неделю со Смитом на даче под Бостоном еще до его поездки в Советский Союз. Он был преисполнен благожелательного интереса. Но в книге его пером, очевидно, водила рука социального заказчика. И даже рецензент «Нью-Йорк таймс» Кристофер Леман-Хаупт дал такую оценку обеим книгам: «Неразоружившиеся рыцари «холодной войны» закроют их с убеждением, что пришла пора кончать с разрядкой и развернуть наступление Запада по всем фронтам».

Тот же пафос пронизывает и романы другого бывшего корреспондента «Нью-Йорк таймс» в Москве Гаррисона Солсбери — «Северная Пальмира» и «Врата ада», о которых даже пресса антисоветской ориентации писала, что персонажи Солсбери «проходят по страницам, как бледные тени», и «похожи на безжизненных чучел».

Кстати, одновременно с сочинениями Кайзера — Смита — Солсбери вышла книга Майка Дэвидова «Города без кризисов». Дэвидов тоже работал корреспондентом в нашей стране — от коммунистической газеты «Дейли уорлд». Я не видел в буржуазной печати ни одной рецензии на книгу Дэвидова. Ее замалчивают, а у выпустившего ее издательства «Интернэшнл паблишерз» просто нет средств на широкую рекламу.

Текущая информация о Советском Союзе в газетах и на телевизионном экране также в основе своей тенденциозна и враждебна. Произведения советских авторов издают пока что в США от случая к случаю. Зато издаются переводы сочинений «бывших» или «диссидентов», но читатели перебежчикам, как правило, инстинктивно не доверяют.

В книжных магазинах можно купить «покет-букс» с заманчивыми заголовками вроде «Секс-шпионаж» или «Девушка с Петровки». По жанру они весьма однотипны — это или детективы, или так называемые исторические и этнографические романы. Тематически они, безусловно, варьируются, хотя и в весьма ограниченных пределах. Одна из доминирующих тем этого чтива — «советская угроза».

В романе Роберта Смита «Проект Крамера» рассказывается, как сотрудники института кибернетики в Киеве разработали сыворотку, которая, если ее ввести человеку, превращает его в единое целое с компьютером. Оператор в шлеме с электродами дает компьютеру мысленные команды. Киевляне нашли возможность таким образом проникнуть через американскую электронную защиту и объединиться с компьютером «Аполлон», что чревато ядерной войной. Лоб американского читателя в испарине: коварные Советы хотят обезоружить и захватить беспечную Америку! Начинается борьба компьютеров, которая кончается «ничьей». Псевдонаучная фантасмагория Роберта Смита прикрывает явную тенденциозность. Министр обороны Джеймс Рили сокрушается: «Черт возьми, мы отстали от Советов на десять лет и накапливали совсем не то оружие!»

«Русские могут нанести удар где угодно и когда угодно»,— подает голос стоящий перед министром навытяжку генерал Мейиард Гордон, глава военной разведки.

А персонаж романа Джорджа Уитмена «Дело разведки», сотрудник Национального совета безопасности, задает вопрос:

«Каково ваше мнение о разрядке и перспективах длительных мирных отношений с Советским Союзом?» И получает уклончивый ответ: «Я считаю, что ваш босс так запутался в своих собственных рассуждениях, что фактически превратился в советского агента».

Другая абсурдная идея — политика разрядки на руку разве что только советским агентам — получила развитие в романе Рея Маунта Роджерса «Участник переговоров».

Сотрудник государственного департамента Стюарт Леланд чудом спасается от подстроенной автомобильной катастрофы. Он подозревает, что его хочет убрать босс, Мнтчел Ховак, поскольку Леланд кое-что о нем знает. К примеру, то, что босс, будучи еще юношей, читал Маркса и Энгельса, отзывался о Ленине как о «человеке могучего предвидения» и верил тогда в объективный ход истории.

Леланд начинает собирать компрометирующий материал на начальника, находит запись беседы, где тот выражает стремление создать «климат дружбы в американо-советских отношениях и перейти к укреплению длительного мира между всеми народами». Об этой «ереси» докладывают самому президенту. Он ошеломлен: «Соглашение об ограничении стратегических вооружений было предупредительным подземным толчком, а теперь последовало настоящее землетрясение в американской политической жизни». Обсуждаются различные способы устранения Ховака. Решают заставить его покончить жизнь самоубийством.

Какие чувства вызовет подобная галиматья в читательской голове? Страх, что разрядка — ловушка, в которую предатели и враги американского народа хотят заманить страну.

Еще более далеко идущим вариантом на тему о советском «проникновении» можно считать роман Констанс Кэри «Предложение Чехова».

Действие происходит в год президентских выборов. На финишную прямую выходит кандидат Ти Хоффман, газетный магнат. Журналист Роберт Риверс наталкивается на таинственные убийства друзей и знакомых кандидата. Он идет по следам, и после трехсот страниц всевозможных перипетий, включая визит в монастырь в Ирландии, Риверс решает, что Хоффман — советский агент, затаившийся в стране с конца войны.

В финале книги журналист с помощью трех красивых женщин раскрывает шифр, записанный на микрофильм, который спрятан на корабле, затонувшем близ Лонг-Айленда. Шифр основывается на тексте «Чайки» Чехова (отсюда и название книги). Обнаруживается, что Хоффман все-таки не «советский агент». «Риверс, — замечает автор на одной из последних страниц,— не мог не содрогнуться при мысли о вражеском агенте на посту президента. Эта мысль не покидала его».

Конечная цель подобной книжной макулатуры — посеять в американском обывателе страх, состояние истерии, неверия в возможность жить в мире, который не будет знать войн.

В романах Джеффри Хаусхолда «Красный гнев» и Джозефа Хоуиа «Шестой директорат» тайные агенты гоняются друг за другом по всему белу свету, а Антони Трю в «Объясиении Жукову» повествует о том, как советская подводная лодка попадает на мель и вокруг нее буквально вода вскипает от суетящихся американских, английских и китайских шпионов.

Особым «вниманием» рекламы пользуется роман модной сочинительницы детективов Элен Макинес «Агент на месте», который вошел в список бестселлеров. Открывается он встречей «советских агентов» в Центральном парке в Нью-Йорке. Конечно же, более хитрого места для рандеву они и придумать не могли! Сразу же после встречи один из агентов становится жертвой грабежа и попадает в больницу с ножевыми ранениями, что путает им все планы. Документ, вокруг которого разжигает Макинес сыр-бор,— секретный меморандум НАТО против «слепого восприятия разрядки как магического слова...»

Шпионаж в науке и на промышленных предприятиях — еще один вариант шпионских боевиков. Старая мысль о том, что талантливые ученые — лакомая приманка для иностранной разведки, стремящейся завладеть и интеллектуальным потенциалом той или иной страны, получает разнообразную аранжировку под рукой ремесленников-антисоветчиков.

В романе Лесли Эпштейна «П. Д. Кимераков» академик Павел Донатович, поехав на международный геронтологический конгресс, увлекается обворожительной Лауреттой. Вернувшись, он зачастил в московский ресторан «Третий мир» — тут он садится обычно в уголок и заказывает лапшу, составляя из нее на дне тарелки любимое имя: «Лауретта». И вот обольстительница прибывает в гости к академику! Но в постели (в номере гостиницы «Варшава») требует от него сведения о здоровье советских космонавтов.

А в книге Роберта Литтелла «Бегство А. Дж. Левинтера» американский ученый Левинтер, поехав на экологический конгресс в Токио, бежит в Советский Союз, чтобы рассказать о керамической теплозащите американских ракет. Войдя во вкус, Литтелл выпустил еще одну поделку — «Октябрьский круг», на сей раз его герои разворачивают свои способности в Болгарии...

Действие романа Дерека Ламберта «Пересадка Ермакова» происходит на транссибирской железной дороге. Шпионы перехватывают поезд на перегоне между Читой и Улан-Удэ, с тем чтобы добиться высылки из Советского Союза его специалистов-ядерников.

Вообще транссибирская магистраль стала почему-то излюбленным местом действия авторов детективов. Уильям Адлер так и назвал свой опус — «Транссибирский экспресс», о котором журнал «Паблиперз уикли» писал: «Несуразицы настолько велики и их так много, что они мешают наслаждаться фабулой, до отказа напичканной интригами, насилием и неожиданностями».

Как правило, непременным фоном этих романов служат почти патологическая ненависть автора ко всему советскому, смакование всякого рода слухов и сплетен, болезненное внимание к частностям.

Некоторое время назад на киноэкранах демонстрировался боевик, поставленный по повести Джорджа Фейфера «Девушка с Петровки» с Гольди Хон в главной роли. Воодушевившись успехом, он продолжил разработку доходной жилы антисоветизма, выпустив пухлый роман «Прощание с Москвой». Написан он в форме воспоминаний американского аспиранта в МГУ, каковым автор когда-то и был,— только время действия перенесено в наши дни. Фейфер величает себя в книге «отважным исследователем московских закоулков». Газета «Нью-Йорк таймс» отмечала, что в центре внимания Фейфера — «сточные канавы» и что герои г-на Фейфера чувствуют себя в этих канавах «как дома». Отношение автора к нашей стране весьма четкое. Он пишет, что ненавидит все вокруг и мечтает когда-нибудь взять фонарь и просигналить бомбардировщикам, направляющимся на

ГЕННАДИЙ ГЕРАСИМОВ
СРЕДИ КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

Москву... Подобная ненависть пронизывает и роман Артура Козна «Герои своего времени».

Но чтобы завлечь читателя, приходится прибегать к стародавним рецептам кухни «бульварного чтива», требующим не только хлеба, но любви и фантазии. И разлетаются по детективам крутобедрые красавицы с вмонтированными в верхнюю пуговицу кофточки магнитофонами и радиопередатчиками.

Дэвид Льюис снабдил свой опус «Секс-шпионаж» заманчивым подзаголовком «Использование секса советской разведкой». Разведывательное дело, пишет автор, как и всякое другое, переживает научно-техническую революцию: 80 процентов информации добывается обработкой открытых источников, а 15 процентов — техническими средствами, так что на долю агентов остались всего лишь 5 процентов. Но каких! Даже в наш электронный век, заявляет автор, ничто не может заменить «теплого и податливого человеческого тела». Вот он и придумал неологизм, поставив его в заголовок своего сочинения.

Оказывается, «операции секс-шпионажа проводятся во всемирном масштабе и на них ежегодно расходуются миллионы долларов». Так что, дружески советует Льюис американцам, будьте начеку не только в Киеве, но и в Акапулько, не только в Баку, но и в Бангкоке. Причем наряду с уже отмеченными «телами» тут и технические новинки: зеркала и обои, сквозь которые можно смотреть, радиопередатчики, видеомагнитофоны, работающие во тьме кромешной, наркотические препараты...

«Советы создали на базе извечной сексуальной привлекательности» разведывательную индустрию, утверждает автор и далее дает описание «электронной спальни»: «Ее пронизывает невидимая сеть ультразвуковых лучей. Они связаны с небольшим компьютером, анализирующим частоту и форму нарушения сети лучей.. Камеры упрятаны в стены и снимают через специальное стекло, внешняя поверхность которого сливается с цветом обоев».

Поскольку фактического материала, подтверждающего использование этой технической галиматьи, у автора, естественно, нет, он дает волю воображению или заимствует несуразицы из ранее публиковавшейся дезинформации, состряпанной соответствующими западными службами.

До сих пор американцы, подшучивая над ярыми антикоммунистами, говорили: «Они ищут красного под каждой кроватью». Льюису красные мерещатся уже в каждой кровати. По его подсчету на Западе подвизается около десяти тысяч красных соблазнительниц! И соблазнителей...

Уолтер Узйджер судя по всему пользовался книгой Льюиса как пособием. Герой его романа «Телефон», некий Грэгг Таббот, прыгает с авиалайнера в Атлантику, там его подхватывает подводная лодка. И вот «советский агент» уже появляется из волн морских среди отдыхающих на пляже Лонг-Айленда, где его, конечно же, ждет привлекательная блондинка в мини-юбке «с чудесным полным телом». Проснувшись на следующее утро в лучшем нью-йоркском отеле, он видит, что блондинка рядом; она улыбается во сне. «Он только того и ждал,— пишет автор,— опыта ему было не занимать: он обрел его в общении с женщинами тридцати стран — белыми, черными, желтыми, коричневыми и различных смесей этих цветов». Персонажей подобных книг интересуют не только блондинки, но и серьезная политика. А американский обыватель, сам того не замечая, отравляет себя ядом антикоммунизма, поданным в беллетристической облатке. В «Телефоне» Узйджера рассказывается о 136 загипнотизированных «агентах Москвы», даже не сознающих, что они «агенты». Когда они слышат переданную по телефону условную фразу, то они помимо воли приступают к выполнению заложенной при гипнозе диверсионной программы, венец которой — самоубийство агента, также запрограммированное.

Давний и неудовлетворенный интерес к нашей стране порождает в рамках устоявшейся традиции исторического романа псевдоисторические сочинения, чаще всего — о царской фамилии. Последним примером в этом жанре может служить роман Клариссы Росс «Московские туманы». Действие происходит в канун первой мировой войны и февральской революции. События переданы через восприятие Элзи Купер, американки, вышедшей замуж за графа Александра Мартынова. В атмосферу книги может ввести такой отрывок:

«— Так, значит, вы революционер?—спросила она, взглянув на Федора.

— Да,— ответил юноша

— Означает ли это, что вы также последователь Распутина?

Федор рассердился: «Нет!»

В романе, правда, появляются аморфные революционеры и дается описание разгона казаками рабочей демонстрации. Но в целом во всех бедах страны обвиняют Гришку Распутина, «сглазившего» графа Александра, которого он уговаривает присоединиться к секте скопцов. Элзи в американском посольстве в Санкт-Петербурге разъясняют, что «скопцы планируют захватить власть над миром. Их штаб-квартира здесь, в Санкт-Петербурге». Они раз шесть на протяжении романа пытаются расправиться с Элзи, и ее спасает только своевременное вмешательство авторской фантазии. В конце книги Росс замечает, что «Россия всегда была загадкой». Несомненно, Росс в своем увлечении скопцами (им оказывается в романе и английский военный атташе) только сгущает туман непонимания своими «Московскими туманами».

Бриан Гартфилд в книге «Восхождение Романова» описывает заговор с целью возвращения к власти отпрыска царской семьи. Действие происходит в годы войны; американские самолеты забрасывают диверсан-

тов, которые должны перехватить правительственный поезд.

Появился еще один «исторический» роман — «Кровь на снегу», написанный Джеймсом Эллиотом. Там есть и Кровавое воскресенье, и броненосец «Потемкин», и Цусима, нет только исторической истины.

Достойно глубокого сожаления, что книжный рынок Америки торгует недоброкачественным товаром. Но это и нетрудно понять: в идеологической схватке для капитализма все средства хороши, включая и псевдобеллетристику.

А вот несколько примеров из области курьезов, которые, впрочем, свидетельствуют о том, что в подобных «работах» политическая предвзятость авторов соседствует с эстетической глухотой и просто с незнанием предмета.

В романе Солсбери, проведшего несколько лет в нашей стране и считающегося «экспертом» по Советскому Союзу, крестьяне носят обувь модели «лапта», москвичи едят мороженое «плумберг» и пьют популярный напиток «самоган», заменяя его иногда цинандали № 3 или 21... В романе Хоуна советским служащим рангом повыше на завтрак обычно подают «водку и два серебряных самовара с булькающим чаем». Герой книги Роджерса «Советский посол Анатолий Малышеков» имеет привычку беседовать с посетителями, «играя тяжелым казачьим кинжалом».

В книге Ламберта, как только отходит поезд, жена генерала раскрывает чемодан, а в нем — бутылка водки, бутылка коньяка, краюха черного хлеба и пистолет. Генерал жует сырую луковицу и читает «Красную звезду». Генеральша предпочитает лузгать семечки, сплевывая на пол...

После этого американцы удивляются, почему до сих пор так плохо нас знают.

«Россия живет в наших фантазиях,— пишет рецензент газеты «Нью-Йорк таймс».— Россия поставляет зерно на мельницу нашего воображения». Чудесно! Но почему же литература о Советском Союзе так отрицательно одиозначна? Даже журнал «Плейбой» констатировал: «Вот уже тридцать лет, как Советский Союз постоянно и всесторонне присутствует в нашей национальной жизни... Что поразительно, так это то, как мало большинство из нас знает о русских»...

Авторы упомянутых в нашем обзоре книг стремятся выступить в роли тех, кто якобы знает нашу жизнь. Они порою для пущей убедительности подкрепляют повествование отдельными достоверными фактами. Но цель-то у них — «промыть мозги» читателю, внушить ему негативное отношение к советскому образу жизни, к нашей истории, культуре, подвести его к мысли о невозможности сотрудничества с нами.

Трудно, очень трудно найти на книжных полках американских магазинов и публичных библиотек честную и правдивую книгу о советском образе жизни. Автору этих строк не удалось это сделать. Ему пришлось погубить время на книги, о которых шла здесь речь.

ВАСИЛ КОЛЕВСКИ

ПОД ФЛАГОМ АКАДЕМИЗМА

Сегодня в условиях усиления борьбы на идеологическом фронте иные деятели науки и искусства капиталистического мира, выступая под видом «объективных академических» исследований, создают труды, в которых история и современный период литератур социалистических стран предстают в превратном, искаженном свете.

В наших заметках мы остановимся на некоторых подобных работах, посвященных истории болгарской литературы. Причем небезынтересно сравнить книги, вышедшие в начале 60-х годов, с теми, что появились в более позднее время.

В 1960 году в Нью-Йорке была издана книга Кларенса А. Мэнинга и Романа Смол-Стоцкого «История современной болгарской литературы». В предисловии к книге авторы заявили: «Мы оба чувствуем, что по отношению к Болгарии совершается несправедливость, американская славистика много теряет от того, что недостаточно внимания обращается на культурный вклад этой страны, имеющей столь большое значение для славянского мира». В книге читатель может найти ряд верных оценок староболгарской литературы и литературы периода Возрождения. Подводя итоги, авторы подчеркивают: «Мы должны заявить, что старая болгарская литература и исторические процессы, обусловившие появление этой литературы, имеют фундаментальное значение для всего славянства». Но авторы соблюдают объективность лишь до поры до времени. Давая оценку литературе Болгарии периода капитализма, авторы переходят к спекуляции фактами: они умалчивают о существенном, определяющем в литературном процессе и выдвигают на первый план второстепенное; их трактовка отдельных фактов и явлений с точки зрения исторической правды не просто неверна или ошибочна, но порой смехотворна. Когда же речь заходит о современном этапе развития нашей социалистической литературы, о торжестве идей социалистического реа-

лизма, авторы начинают говорить языком откровенного антикоммунизма: «Настоящее болгарской литературы мрачно и таковым же представляется ее будущее, пока не будет сброшено иго коммунистов и пока болгары не станут снова свободными, чтобы самим выбирать путь в будущее и развивать свои собственные традиции и государственность».

К такому неприкрытому антикоммунизму и антисоветизму сегодня буржуазные литературоведы, выступающие в академических изданиях, стараются не прибегать, ибо понимают, что незамаскированная ненависть к социалистическому строю вряд ли найдет поддержку среди демократически настроенных читателей Запада. Сегодня благодаря тем ученым, которые под влиянием объективных фактов все больше и больше убеждаются в правоте идей социализма и стремятся передать эту убежденность в своих работах, они уже имеют известное представление об исторических завоеваниях болгарского народа во всех областях жизни, в том числе и в литературе. Не потому ли те, кто остается по-прежнему по ту сторону баррикад, меняют тактику?

Вот, например, как построена система аргументации в очерке, посвященном болгарской литературе, из не так давно вышедшего в Штуттгарте сборника «Современные литературы Европы и Америки». Автор очерка — Детлев Кульман из Мюнхенского университета. И здесь древняя болгарская литература оценивается как «самая старая в славянском литературном мире». Но в противоположность «концепции» Мзинга и Смол-Стоцкого ее развитие, как и развитие страны, не кончается 1944 годом. Хотя и без особого пафоса, автор указывает, что 9 сентября произошел окончательный разрыв с прошлым, что в этом важную роль сыграл Советский Союз, который внес «большой вклад в освобождение мира от фашизма». Кульман не обходит молчанием письмо Георгия Димитрова Союзу болгарских писателей 1945 года, в котором были определены основные задачи, стоящие перед новой болгарской литературой, развивающейся по пути социалистического реализма. Он отмечает перемены в нашей литературной жизни, происшедшие после Апрельского пленума ЦК Болгарской коммунистической партии 1956 года. Результатом этих перемен автор считает такие произведения, как книгу стихов Елисаветы Багряны «От берега к берегу». Более того, Кульман дает следующую оценку творчества другого выдающегося поэта Болгарии: «Самый значительный певец строительства социализма вышел из рядов более молодого поколения: Пенью Пенев (1930—1959), который продолжил дело поэта Н. Вапцарова». В области прозы Кульман указывает на заслуги многих болгарских писателей разных поколений: Георгия Караславова, Димитра Талева, Димитра Димова, Эмилиана Станева Стояна Ц. Даскалова, Николая Хайтова, Йордана Радичкова. Оценивая творчество Димитра Димова, автор считает (правда, может быть, потому, что роман его «Табак», как он замечает, «содержит допустимую меру партийности»), что благодаря ему «болгарская проза превзошла самое себя и получила всеобщее признание». Отмечая большой успех Димитра Талева, Кульман говорит о влиянии русской и советской литературы на его творчество: «Повествовательная форма широкого полотна в творчестве писателя опирается на образцы прозы Толстого и Шолохова».

Как можно увидеть, в этих оценках нет и в помине нигилизма и откровенного антикоммунизма Мзинга и Смол-Стоцкого по отношению к современной литературе Болгарии. Однако в очерке Кульмана есть ряд оценок и обобщений конкретных фактов и явлений, о которых трудно сказать, что они отражают суть реальных историко-литературных процессов. Конечно, тон и способ «доказательств» здесь совсем другие. Но эта завуалированная форма проведения в жизнь буржуазных концепций весьма опасна, потому что не бросается в глаза и может ввести в заблуждение немало людей.

Так, Кульман считает, что до появления декадентских течений начала века литература Болгарии была фактически неизвестна за пределами страны. «Только развитие символизма,— пишет он,— в первые два десятилетия XX века, благодаря усилению западноевропейскому влиянию, связало болгарскую литературу с Европой, окончательно ее европеизировало». Следуя в русле современного буржуазного литературоведения, автор проводит мысль о том, что «европеизирование» болгарской литературы является решающим фактором ее современного развития, обусловившим ее выход на международную арену.

Но тот, кто знает историю болгарской литературы, вправе спросить: почему обойдено молчанием творчество Ботева, Вазова, Захария Стоянова и Алеко Константинова, целой плеяды творцов, основателей реалистических традиций болгарской литературы? Да, литература этого времени черпает из богатой сокровищницы европейских литератур, но этот вопрос очень сложен и противоречив. Если иметь в виду под «европеизированием» влияние лучших традиций классической литературы других стран на литературу Болгарии, то в тот период оно шло прежде всего по линии влияния русской словесности, влияния творчества Максима Горького, великого новатора, открывшего в русской и мировой литературе новую страницу.

Между двумя мировыми войнами, пишет Кульман, в литературе преобладал метод критического реализма, причем в этом направлении «дебютируют первые пролетарские и социалистические писатели». Случайна ли эта неточность о дебюте пролетарских писателей? Вряд ли! Общеизвестны научные и библиографические труды, в которых отмечается роль Благоева, Киркова, Поляиова как основоположников пролетарской литературы, возникшей еще в конце XIX века. Но, «передвигая» границы литературного процесса, Кульман пытается убе-

дить читателя, что социалистическая литература, метод социалистического реализма не вытекают органически из общественного и литературного развития Болгарии, а «привнесены» извне...

А вот и образец того, как трактуются некоторые тенденции в современной болгарской литературе. Говоря о том оживлении, о том качественном сдвиге, который наблюдается в болгарской поэзии после Апрельского пленума ЦК БКП 1956 года, авторы пишут: «Со второй половины 50-х годов расширились горизонты лирики, поэзия становилась все более и более далекой от политики, интеллектуальной, независимой от каждодневности, интернациональной». Как видим, верная констатация факта — расширение горизонтов нашей лирики — соседствует с придуманным выводом о том, что она стала аполитичной. Таким образом то, что является самым сильным в нашей лирике — ее связи с жизнью, отражение ею идей новой социалистической действительности, чувств и мыслей нового человека,— все это под названием «каждодневность» получает негативную оценку и противопоставляется некой абстрактной интернациональности. Нужно ли напоминать произведения тех лет таких поэтов, как Младен Исаев и Веселин Ханчев, Никола Фурнаджиев и Дора Габе, Димитр Методиев и Георгий Джагаров, Павел Матев и Лиляна Стефанова, Любомир Левчев и Слав Хр. Караславов, Дамян Дамянов и Евтим Евтимов? Пришлось бы перечислить всех наших поэтов, чтобы доказать господину Кульману, что не аполитичность, а настоящая коммунистическая партийность, художественная идейность утверждаются в национальной болгарской поэзии — в частности, лирической — того периода.

Все это говорит не о знании или незнании фактов (хотя, конечно, и этот момент нельзя сбрасывать со счетов), а о мировоззрении, идеологических и методологических позициях автора книги, с которых он их исследует и оценивает.

Подобные труды, предлагаемые широкому читателю под видом научных исследований, объективной научной информации, и создают превратное впечатление о нашей жизни, о нашей литературе и искусстве. Мы же, думается, со своей стороны делаем недостаточно для прогрессивного западного читателя, чтобы сказать ему правду о настоящих достижениях нашей жизни, нашей литературы и искусства. А природа, как известно, не терпит пустоты...

Приведу другой пример. Монографию «История болгарской литературы», принадлежащую перу американского ученого Чарльза Мозера. Для написания своего труда Мозер приезжал в научную командировку в Болгарию. В рукописи книги, которая хранится в Литературном институте Болгарской академии наук, читаем следующее объяснение того факта, почему важнейшие политические события в Болгарии происходили осенью,— такие, как вооруженные восстания в сентябре 1923-го и в сентябре 1944 годов: «Производит впечатление значимость сентябрьских дат в болгарской истории. Одна из возможных причин того, что так много событий имело место в сентябре,— в том, что в этом месяце население ищет развлечений после августовской скуки». Вы поняли, дорогие читатели, почему болгарские рабочие и крестьяне брались за оружие именно в сентябре? Как говорится, комментарии излишни.

Конечно, в книге Мозера есть немало наблюдений над историей болгарской литературы, с которыми мы можем согласиться. Но мы говорим не об этом. Повторяем, речь идет о методологической и идеологической позиций автора и о решении с этих позиций конкретных задач, стоящих также и перед болгарским литературоведением. И когда Мозер, подобно Кульману, обобщает весь период с 1896 до 1917 года, называя его «эпохой модернизма и индивидуализма», вряд ли можно допустить, что он не знает о зарождении именно в это время пролетарского направления, являющегося гордостью болгарской литературы, о том, что именно в это время были созданы лучшие достижения критического реализма, который и становится ведущим направлением в нашей национальной литературе. А что можно сказать о намеках Мозера в адрес нашего прославленного земляка Елина Пелина, который будто бы «не стал бесспорным сторонником нового порядка» после победы народа 9 сентября 1944 года? Это, мягко говоря, весьма далеко от истины.

Трудно, разумеется, ожидать от буржуазных литературоведов, что они напишут подлинно научную историю болгарской литературы. И хотя бы по приведенным в данных заметках примерам можно судить о том, как буржуазные ученые пытаются под флагом академизма навязывать читателю оценки нашего общественного и культурного развития, которые расходятся с объективной истиной. По ним в известной мере можно судить об изменении тактики, приемов и средств идеологической борьбы в современных условиях, об отражении этой борьбы в литературоведческой науке.

Перевод с болгарского А. ЛЕВИ

◆

Критика

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

РОДЖЕР МАК-ХЬЮ

ШОН О'КЕЙСИ — ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИДЕЙНОСТЬ?

Помню, подростком, когда у меня иачал ломаться голос, я стал говорить не так, как говорил прежде. Однажды в тихий скверик, где мы играли детьми в обществе двух друживших с нами собак — рыжего сеттера с замечательно красивыми иогами и дворняжки, которой, точио как псам в киигах Джойса, везде и всюду было хорошо,— забрался какой-то молодой человек. Собаки гоиялись друг за другом, катались по земле, рычали, сцепившись, и тут же разбегались. Молодой человек долго иа них смотрел, а потом сказал с восторгом: «Да нет, ты глянь, будто крикет гоняют, а жулят-то, жулят, ну чисто на бегах». И мы отлично поняли, о чем речь, хотя мне с братом было бы непросто согласовать эту сентенцию с иашими познаниями из области школьной грамматики и стилистики.

А когда мы впервые соприкоснулись с творчеством О'Кейси, ощущение было примерно такое же. Мы еще и не слыхали о ием когда взрослые в нашей семье принялись говоритъ как-то чудно. Ни с того ни с сего вдруг кто-нибудь скажет: «Что такое звезды, Джоксер, что такое звезды?» Или: «Да помереть-то и лучше бы». И вот еще: «Я же говорил, с этого дельца может кой-чего нагореть» Мы с братом не понимали, почему это от нас стали требовать: «Давай, давай, жуй сосиску, Джоксер». Во-первых, иа столе стояла яичница, а потом — почему Джоксер, ведь иас звали ие так. Удивительное дело! Но у взрослых все удивительно. Так вот О'Кейси вошел в иашу жизнь, таинствеино в ней присутствуя — иеиазваиный, безликий — до того дия, когда иас потащили в «Эббей-тиэтр» смотреть «Юиону и павлииа». Наверно, родители опасались, что скоро им придется без конца иам все растолковывать, и решили избавиться от этой нудной обязанности.

Из театра мы вернулись, ие помня себя от восторга, пожалуй что чрезмерного,— Сара Олгуд, Ф. Дж. Маккормик и Барри Фицджеральд, игравшие в спектакле, произвели на иас такое впечатление, что мы уже едва ли смогли бы оцеиить персонажей пьесы в любом другом исполнеиии. Могло получиться, что мы бы потом всю жизиь с грустью вспоминали, как единствеиный раз нам довелось побывать в настоящем театре. Но была здесь и своя хорошая сторона: ие отдавая себе в этом отчета, мы усвоили, что спектакль — это обязательио четкость дикции и точно рассчитаиная длительность сцеи. Другая причина, по которой нас так привлекли «Теиь стрелка», «Юнона и павлин», «Плут и звезды», заключалась в том, что все эти пьесы непосредствеино говорили о той жизни, которой мы жили сами. Мы помиили, как однажды иас самих, когда мы гуляли в воскресеиье с дедом, остановил на мосту Портобелло краснощекий тип в фуражке, кричавший: «Шиииеры[1] на Главпочтамте». Ведь и мы выглядывали из-за прикрытых ставен, когда отряды Чернопегих[2] катили иа своих громоздких грузовиках по залитой лунным светом Ратмайис-роуд. И это мы сами кидались на пол в вагоне идущего в Тереиури

[1] Искажеиное от «шинфейнеров» — членов радикальиой организации «Шин-фейн» («Мы сами»).

[2] Прозвище членов оргаиизации содействия английской полиции.

трамвая, заслышав перестрелку на Хзркоурт-стрит, где засада республиканцев обстреливала машину, иа которой ехали сторонники Свободного государства[1]. Кажется, мы в этот день как раз отправились смотреть «Тень стрелка», а может быть, «Юнону», и в то время нам еще было не по силам разобраться в сложностях этой войны, которая разразилась в эпоху Смуты. На чьей стороне дрался Кухулин? И что впоследствии сталось с Черноногими?

Смута теперь стала далекой историей, но судьба дублинских драм О'Кейси заставляет вспомнить строку Йитса «О камни разбивается поток» — ведь в потоке времени (а прошло полвека) не исчезла их притягательность, и их ставят снова и снова. В последнее время я особенно часто думаю об одной из них — о «Плуге и звездах», причем не столько о пьесе, сколько о постановках. Последияя — в «Эббей-тиэтр» в 1976 году — вызвала некоторое недоумение. Спектакль показался мне приглушенным, вполне профессиональным, но каким-то унылым. Даже Флутер в исполнении Кьюсака выглядит тускло, словно бы этот персонаж, такой сильный, так прочно стоящий на земле, сам не до конца верит тому, что говорит, да и вообще настоящее воодушевление и страстность будто бы вообще невозможны сегодня, и их надо изгоиять в угоду вкусам разочарованного общества. Позднее я увидел этот же спектакль по телевидению и подумал, что такая постановка лучше смотрится с телеэкраиа. Не знаю, может быть, режиссер и ставил пьесу в расчете на телевизионный показ, но ведь на сцене спектакль О'Кейси выглядит совсем не так.

Мне кажется, это различие существенно, во всяком случае, когда ставят О'Кейси, у которого и персонажи, и стиль — это вовсе не простое копироваиие жизни. Нельзя, чтобы актер, выходя на сцену играть Флутера, игнорировал выразительность его речей — вроде: «Мы ж не натворим ничего этакого-разэтакого», или: «Можете до второго пришествия меия упрашивать: «Выпей, Флутер. стаканчик пива, выпей, пожалуйста», а на меня это нисколечно не подействует, все равно что глухому или мертвому свистеть иад ухом» — так, словно он просто хочет сказать: «Нет, спасибо, я не пью». Ведь сам язык Флутера создает характер, а значит, и действие. И если найти верную манеру исполнения, эрители ощутят жизненность персонажа столь же отчетливо, как в пьесах Шекспира или Синга. Тогда и создастся тот живой ток, соединяющий автора, актера и зрителя в нечто магическое, которое иазывается театром. Бесстрастный глаз камеры не может включиться в этот процесс: может быть, на телевидении от актера требуется другой стиль игры, но ведь нельзя из-за этого поступаться спецификой театральной постаиовки. Телеспектакль заставил задуматься и о другом. Как правило, любовная сцена в первом акте «Плуга и звезд» выглядит искусственной, а актеры стараются сыграть ее искренне и вдохновенно, отчего она только кажется еще сентиментальнее, хотя О'Кейси пояснял в ремарках, что такой она и задумана. Никуда не денешься, это сентиментально, и очень хорошо, что на телевидении эту сцену играют лишь наполовину всерьез, сильно приправляя ее иронией, а от этого выигрывает вся пьеса. Может быть, найдется режиссер, который сумеет сходным образом скорректировать любовную сцену между Мэри и Джеррв в третьем акте «Юноны». Здесь впервые у О'Кейсн ощутнма та искусственность построения, которая заметно скажется на некоторых его поздних пьесах.

В Европе интерес к поздним пьесам начал расти с 1966 года, после брехтовской постановкн «Пурпурного праха» в театре «Берлинер ансамбль». Обоснован ли этот интерес? На мой взгляд, две из этих пьес его не оправдывают — «Звезда становится красной» и «Листья дуба и лаванда». Если подойти к ним достаточно строго, окажется, что это слабые пьесы Они любопытны только идеями, которые вызвали их к жизни, но не выдерживают серьезной критики как явления лнтературы и театра. «Звезда» была закончена в 1939 году, почти двадцать лет О'Кейси размышлял над главной идеей этого произведения. Оиа состояла в том, чтобы показать «коммуниста, идущего по стопам Христа». Коммуиизм — та новая вера, которая сменит христианство, но при этом сохранит самую важную идею христианской социальной доктрины о равеистве человека. В пьесе эта идея воплощена через постоянные столкновения реакционно мыслящего Священника в пурпуре и рабочего лидера Красного Джима, между фашистами и рабочими, между рабочими и чиновниками из тред-юнионов. Священник же в коричневой рясе, пытающийся всех их примирнть,— это рупор О'Кейси, в его уста и вложена мечта о синтезе христианства и коммунизма. Письма О'Кейси редактору московского журиала «Интернациональная литература» Тимофею Рокотову свидетельствуют, что и в канун второй мировой войны драматург полагал, будто Англия способиа ее предотвратить, открытс заключив военный и политический союз с Россией и с Францией, ибо в противном случае нападение Германии и Италии становилось неизбежностью. «Звезда» должна была стать предостережением, а вместе с тем — вдохнуть новую веру в души католиков, разуверившихся в церкви после того, как она оказывала поддержку Франко в годы гражданской войны в Испании.

О'Кейси писал «Листья дуба и лаванду», когда Англия уже вступила в войну и ему стало ясно, что пацифизм — пройденный этап. Изображенный в этой пьесе Паци-

[1] Сторонники Свободного государства защищали статус доминиона, который получила Ирландия в 1922 г. и который отказывалнсь признать республиканцы.

РОДЖЕР МАК-ХЬЮ
ШОН О'КЕЙСИ — ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИДЕЙНОСТЬ?

фист труслив и бездеятелен, а юный ирландец Дрипог, военный летчик, воспринимает войну как отмщение за Гернику. Пахнущие лавандой призраки, которые летают в залах особняка георгианских времен, где разворачивается действие, своими речами будоражат воспоминания о военной славе старой Англии. Эти речи сентиментальны, как патриотическая болтовня газеты «Дублин опинион». Сам особияк превращен в военное предприятие, и атмосфера действия мрачна, будто в корабельном трюме в «Косматой обезьяне» О'Нила. Все это производит впечатление вымученности, особенно когда вспоминаешь об антигероике ранних пьес и об их ярком антивоенном пафосе. Но «Листья дуба и лаванда» явились на свет вполне логично, как следствие непоколебимой веры О'Кейси в коммунизм и его симпатий к Советской России. Рокотову он писал: «Из всех держав в мире только СССР является для меня несокрушимой. То, что вы сумели сделать в 1917 году с полуголодной, оборванной, необученной армией, дает понять, насколько же велика мощь СССР сегодня. Союз с СССР — это гарантия мира, а ведь только в дни мира способны расцветать искусства и науки». Можно по-разному относиться к этой мысли О'Кейси, но беда в том, что пьеса настолько подчинена ее доказательству, что стаповится не менее скучной, чем «Кавалькада» Ноэла Коуарда, которая проповедует прямо противоположное. Как тут не процитировать великолепное замечание рецензента Джеймса Этейта: «Пьеса дала нам ощутить, что при всех наших сложностях это все-таки замечательно — быть англичанином».

Но пусть эти две пьесы и не удались, интерес к другим вполне оправдан — от «Серебряного кубка» до «Барабанов отца Неда». О'Кейси прибегает здесь к разным сценическим формам: «Серебряный кубок» и «Красные розы для меня» — пьесы наполовину условные, «За оградой» — чистый экспрессионизм, а в последних его вещах есть и жизненная достоверность, и символика, и фантазия. Мне больше всего нравятся «Серебряный кубок», «За оградой» и «Петух-денди»; правда, во всех этих случаях остаются в памяти две-три сцены и не создается ощущения цельной вещи. В «Серебряном кубке» сильно написаны два первых акта, но впечатление ослаблено растянутой комедийной интригой двух следующих. «За оградой» — вещь в художественном отношении более удачная, и ее воздействие на зрителя глубже, чем в «Серебряном кубке». «Петух-денди», которого О'Кейси считал лучшей из своих поздних пьес,— превосходная фантастическая комедия, и жаль, что ее не так часто ставят. Мне кажется, молодые ирландские драматурги могли бы многому научиться из этих пьес, в которых переплетаются различные театральные жанры, используются пение, приемы карнавальной игры и мотивы фольклора.

Они лучше поняли бы из этих пьес и природу театрального художественного языка. Стиль О'Кейси неизменно отмечен живостью и правдой, что вознаграждает зрителя за многие слабости драматургии. Благодаря этому символика его экспрессионистских пьес обретает плоть и кровь. И все же особое речевое чутье О'Кейси и его пристрастие к романтическому вступают в конфликт с рационалистическим построением пьес, вообще отличающим искусство экспрессионизма. Стараясь, чтобы их произведения были понятны, независимо от языковых барьеров, экспрессионисты намеренно обедняли стиль. Последующие их попытки создать «дистанцию» между актером и зрительным залом — особенно далеко пошел по этому пути Брехт — основывались на теории драмы с ярко выраженным рациональным, интеллектуальным началом. На практике такая теория не всегда приносит добрые плоды. Зритель всего мира переживает вместе с мамашей Кураж, вместо того чтобы, как того добивался Брехт, видеть в ней отвратительную старуху. Мне кажется, живой, ритмичный язык О'Кейси нередко ломает избранную драматургом жесткую экспрессионистскую схему, и тогда ситуации, требующие рассудочного анализа, начинают восприниматься эмоционально. Яркая окрашенность языка усиливается у О'Кейси его любовью к пролетарскому жаргону. Порой он слишком откровенен.

Здесь хочется напомнить об экспрессионистском творчестве Эрнста Толлера — писателя, оказавшего очень сильное воздействие на О'Кейси, для которого «Семь пьес» Толлера были «священной книгой». В годы первой мировой войны Толлер написал «Превращение», где «сцены сна» перемежаются грубо натуралистическими сценами в военном госпитале, призванными показать, что художник полностью растворен в окружающем его мире, который он намерен изменить. Впоследствии Толлер находил свою пьесу слишком субъективной и слишком лиричной для того, чтобы удовлетворить требованиям драматургии как искусства. Он писал, что нужно уметь противостоять двум тенденциям, дающим о себе знать в современной драме: «тенденции изображать жизнь в черно-белой гамме, когда персонажи выходят либо дьяволами, либо ангелами во плоти», а также «тенденции преклонения перед пролетарием, когда создается нечто вроде извращенного христианского культа». Поэтому толлеровский «Человек-масса» выглядит пьесой более объективной, более стройной по форме и производит более сильное впечатление. Я не думаю, что такую строгую дисциплину можно найти в пьесах О'Кейси, который остается во власти своих личных впечатлений. Но их достоинства станут очевиднее, если вспомнить еще одно замечание Толлера, который говорил, что пропаганда всегда будет уступать литературе, «ибо пропаганда не достигает тех глубин, которые открываются литературе, стремящейся передать читателю ощущение той трагикомедии, какой по сути является жизнь». А такое ощущение — самое главное в пьесах О'Кей-

си, даже в «Листьях дуба и лаванде», где он всего ближе к пропаганде.

Думается, по-настоящему он нашел себя в послевоенных пьесах, где речь снова идет об Ирландии и господствует стихия комедии и фантазии. Еще до войны, в 1939 году, он написал Бруксу Аткинсону: «Одно я знаю твердо. Мне доставляет огромную радость фантазировать, когда я пишу, такую радость, как ничто другое... Прочитайте у меня главку, называющуюся «Мальчишка-протестант размышляет о Реформации...» Я был просто в восторге, когда писал ее... Мне кажется, в ней есть что-то от жизнелюбия елизаветинцев».

Фантазия занимает большое место и во многих его ранних пьесах, а в «Петухе-деди» (1949), «Костре епископа» (1955) и «Барабанах отца Неда» (1958) она становится важнейшим элементом пьесы. Все это, как и «Пурпурный прах» (1940),— сатирические картины ирландского общества, в котором стремления молодежи к настоящей жизни наталкиваются на противодействие консервативных сил. Может быть, их конфликты слишком ирландские, и это ослабит производимое ими впечатление, но в пьесах есть и нечто подлинно общезначимое, ибо это чистой воды сатира, «изобличение порока и заблуждений с целью их исправить», а такая цель не утратит смысла до той поры, пока остаются сам порок и сами заблуждения. И когда О'Кейси весело и зло осмеивает устаревшие, омертвелые нормы отношений, он расчищает путь дерзанию, изменению, живой жизни. О'Кейси здесь важно даже не столько осмеять ирландские понятия и обычаи, сколько выразить свою веру в молодежь и в молодых душой — в их энергию, в их творческий дух. Действительно, нужно хорошо знать Ирландию, чтобы воспринять эти пьесы, так что они многое утрачивают для зарубежной аудитории, да и Ирландия менялась быстрее, чем полагал О'Кейси, и о ней не следует судить по его картинам. Но и сейчас в избытке отыщется ханжей, лицемеров, реакционеров, чтобы созданным О'Кейси типам не грозила опасность превратиться в марионеток былой эпохи,— эти типы будут узнаны и зрителями, живущими в странах, совсем не похожих на Ирландию.

Перебирая в памяти пьесы О'Кейси сейчас, когда минуло полвека с первой постановки «Плуга и звезд», вспоминаешь и о том, с каким восхищением он относился к Джойсу, чье трагикомическое восприятие действительности отвечало его собственному. Эти два дублинца почти не были знакомы друг с другом. В номере от 6 мая 1939 года «Айриш таймс», печатая сообщение о полученных редакцией книгах, назвала среди них «Поминки по Финнегану» Шона О'Кейси, и Джойс тут же написал ему, что он считает эту ошибку пророческой и надеется на личное знакомство. «Мы собираемся посмотреть Вашу пьесу («Юнону») здесь, в Париже, в театре «Творчество»,— писал он,— и если на программке будет напечатано, что пьесу сочинил я, программка будет Вам немедленно выслана». О'Кейси ответил письмом, полным преклонения перед Джойсом и особенно перед «Поминками по Финнегану» — книгой, по его словам, которая «много раз смешила его и уводила в страну чудес». Через несколько месяцев началась война, они так и не встретились. В 1940 году О'Кейси записал в дневнике: «Поминки по Финнегану» — какое это сокровище, сон ночного кошмара, в который погружен мир, внезапный удар грома, поразивший нас еще раз». Еще раз — потому что он был отзвуком грома первой мировой войны, которая вызвала и гром войны на дублинских улицах, тот, что он слышал уже взрослым, а я — в свои школьные годы.

Перевод с английского А. ЗВЕРЕВА

АЛЛА САРУХАНЯН

ШОН О'КЕЙСИ — ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ

Творчество О'Кейси еще при его жизни вызывало противоборство идеологических сил. Сам драматург активно вмешивался в критические баталии, становился участником разгоравшейся полемики, парируя враждебные выпады, отстаивая свои взгляды, защищая право на художественные поиски. «Проклятия и благословения» — название посмертно изданного сборника его статей — с успехом можно отнести ко многим выступлениям писателя.

И по сей день, почти полтора десятилетия после смерти О'Кейси и в преддверии столетнего юбилея со дня рождения, его наследие остается предметом неумолкающих споров среди литературоведов Запада, в ходе которых высказываются разные идейно-эстетические концепции, мнения, точки зрения. В них немало личного, идущего от симпатий или антипатий как эстетических, так и идеологических, немало страстности, а порой и пристрастности, приводящей к взаимоисключающим оценкам произведений ирландского драматурга. Но, быть может, как раз эта личная заинтересованность оппонентов говорит о том, что наследие О'Кейси живо, оно волнует

АЛЛА САРУХАНЯН
ШОН О'КЕЙСИ —
ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ

современников последней четверти века, как волновало в первую его четверть, оно еще ждет оптимальных режиссерских решений и непредвзятых, всесторонне продуманных критических суждений.

Не претендуя на сколько-нибудь полную характеристику творчества О'Кейси, что было бы и невозможно для журнальной заметки, остановлюсь на некоторых моментах, к размышлению над которыми приглашает известный специалист ирландской литературы, профессор Ирландского национального университета Роджер Мак-Хью.

В перспективе XX века О'Кейси стоит в ряду таких реформаторов драмы, как Шоу, Лорка, Брехт, О'Нил, Чехов, Горький, каждый из которых создал собственную, отличную от других драму, а все вместе напитали живительными соками реалистическую драму XX века.

Уже первые пьесы О'Кейси поразили самобытностью и вызвали бурную реакцию современников.

Вразрез с мифо-поэтической интерпретацией национально-освободительной борьбы ирландского народа, получившей наиболее яркое воплощение в творчестве писателей ирландского Возрождения, О'Кейси прямо заявлял, что его интересуют не боги и герои, а простые люди. Как подтверждает Р. Мак-Хью своим личным свидетельством, «пьесы О'Кейси привлекли современников прежде всего тем, что непосредственно говорили о той жизни, которой мы жили сами». Они запечатлели реальный Дублин, пеструю городскую толпу, из которой вышли борцы за независимость. В том и состояло величие освободительной борьбы, что она захватила всех, определила судьбы многих людей. Восстание 1916 года, освободительная война 1919—1921 годов, гражданская 1922—1923-х составляют не только фон, на котором развиваются личные драмы. События пьес непосредственно соотносятся и даже вызываются общественными потрясениями. И то, что в этих пьесах нет героя-борца, отнюдь не делает их антигероическими.

За блестящим дебютом этих пьес в дублинском «Эббей-гиэтр» последовали поиски драматургом новых художественных решений. О'Кейси искал непроторенные дороги и всегда защищал свой путь в искусстве. «Драматурги не должны повторять себя или, утомившись от этого однообразного занятия, повторять других»,— отвечал он своим критикам, которые ждали от него еще одну «Юнону», а получили пьесу «Звезда становится красной».

В чем суть новаторских поисков О'Кейси, зачеркнули они или развили то, что было им сделано раньше, как соотносятся они с традицией и с художественными течениями XX века? Эти вопросы неизбежно возникают при сопоставлении «раннего» и «позднего» О'Кейси, между которыми принято выделять еще и «переходного».

На первый взгляд разница велика, она захватывает идейную и художественную сферу. Особенно большой она казалась в конце 20-х, в 30-е годы, когда в критике имя О'Кейси соотносили с натурализмом и потом вдруг он оказался зачисленным в экспрессионисты.

Более широкий взгляд на действительность, при котором в поле зрения художника попадали не только индивидуальности, но и ход развития жизни, требовал включения обобщающих образов-символов. И потому, начиная с пьесы «Серебряный кубок», они занимают все большее место в творчестве О'Кейси. Однако зависимость О'Кейси от экспрессионизма представляется мне проблематичной. И здесь я не могу согласиться с Р. Мак-Хью, когда он столь многое связывает с влиянием экспрессионизма, определяя его границами путь Брехта и отрицая тем самым значение условных форм для реалистического искусства.

Было бы несправедливо относить такие интенсивно развитые драмой XX века черты, как введение в драматическое действие музыки, танца, живописи, поэтического языка, лишь к влиянию экспрессионизма. О'Кейси прекрасно отдавал себе отчет в этом — когда его сравнивали с немецкими экспрессионистами, он напоминал оппонентам о театре елизаветинцев.

Интересно, как О'Кейси определял задачу своей пьесы «За оградой», самой экспрессионистской по единодушному мнению критиков: «Вернуть драме музыку, песню и танец елизаветинских времен и строгий ритуал греческой драмы, подсмотренный и растворенный в окружающей нас жизни. Пьеса эта написана не сторонним наблюдателем, заглянувшим в гущу жизни, но человеком, выглянувшим наружу из самой этой гущи».

Я не думаю, что и крупнейший немецкий экспрессионист Эрнст Толлер оказал сильное воздействие на О'Кейси. Правда, в литературном обзоре 1935 года, останавливаясь на сборнике Толлера «Семь пьес», О'Кейси высоко оценил выраженный в них «мощный протест против несчастья мира». В последующие годы драматург многократно заявлял, что не понимает экспрессионизма и никогда не пытался использовать его в своих пьесах. Пьесы немецких экспрессионистов он находил «слишком схематичными, лишенными полноты жизни, юмора», противопоставлял им гуманизм Возрождения. Если и можно говорить об отдельных чертах экспрессионистского стиля по отношению к пьесам О'Кейси переходного периода («Серебряный кубок», 1928; «За оградой», 1933; «Звезда становится красной», 1939), то лишь с учетом иного, отличного от экспрессионизма принципа художественного осмысления действительности. Грандиозные субъективные обобщения экспрессионизма, рожденные непосредственным впечатлением от еще во многом непонятных событий эпохи, в произведениях О'Кейси, познавшего суть произошедших потрясений, наполняются конкретным содержанием, приобретают кровь и плоть реальных образов. Принцип абстрагирования, отвлечения от многообразия жизни, от ее индивидуальных черт в пользу общих был неприемлем для О'Кейси как

художника. Его способом обобщения были воображение, фантазия, что порой реализовывалось в символическом образе (как, например, Петух в одноименной пьесе) и всегда составляло второй, поэтический, план в его пьесах.

Важным вкладом О'Кейси в развитие мировой драматургии, думается, еще не оценеиным в полной мере, было создание оригинальной поэтической драмы; она стала драмой социального действня, трибуной, с которой он обличал пороки общественного строя, отжившую мораль.

Р. Мак-Хью обращает виимание на то, что пьесы О'Кейси, хотя и специфически ирландские, создавая «сатирические картины ирландского общества», содержат и «нечто подлинно общезначимое, ибо это чистой воды сатира, «изобличение порока и заблуждений с целью их исправить», а такая цель не утратит смысла до той поры, пока остается сам порок и сами заблуждения. И когда О'Кейси весело и зло осмеивает устаревшие, омертвелые иормы отношений, он расчищает путь дерзанию, изменеиию, живой жизни». Продолжая эту последнюю мысль, хочу подчеркнуть, что не только в сатирическом осмеянии порока, но и в ощущении красоты и радости изменяющейся жизни поэтическая драма Шона О'Кейси несет в себе сочетанне иационально особенного и человечески общезначимого. Ему был созвучеи опыт знаменитого ирландского поэта и драматурга У. Б. Йитса, который шел к созданию поэтической драмы из «мира фаитазии», и его соратиика по театральиому движению Дж. М. Синга, защищавшего поэзию, рожденную прозой жизни. По ощущению поэзии жизни, в магическом кристалле которой перемежаются отсветы трагедии и комедии, О'Кейси близок елизаветиискому театру. Шекспир был самой большой любовью ирландского драматурга с детских лет, когда он участвовал в любительских спектаклях, и до конца жизни, когда за иесколько месяцев до смерти он выразил ее в замечательной статье, написанной к четырехсотлетнему юбилею Шекспира. Шекспир был в гуще жизни — это качество, такое близкое ему самому, О'Кейси ставит на первое место: «Шекспнр брал материал для своих удивительных созданий нз разговоров, манер, особенностей тех людей, среди которых вращался». Если другие драматурги его времени «не поднимали головы от книг» и «большую часть иаписанного плели из своих собственных нитей, точно пауки, что вытягивают нити из собственного брюха», то «он ходил, раэговаривал, жил полной жизнью».

Реальная жизнь и поэзия, их соотношение, возможность их синтеза в нскусстве — эти вопросы находят оригинальиое решение в произведениях О'Кейси. В поэтической драме, наполненной революционным содержанием, он выразил величие жизни и надежду. В частностях жизни он умел видеть целое. Мысль о «символическом изображении» действительиости, при котором обобщающий образ-символ способствует углубленному освоению действительности, реализуется в последних произведениях О'Кейси.

Произведения О'Кейси противостоят и бытовому натуралистическому театру, и зашифрованной авангардистской драме. Как замечает Р. Мак-Хью, и ранние его пьесы, такие близкие обыденной жизни,— «вовсе не простое копирование жизни». Натуралистическому театру О'Кейси противопоставил театр больших поэтических обобщений. Но он ие уходит от реальности, подчеркивая, что «пищей для творческого воображения могут служить только окружающая жизнь и весь тот опыт, который мы из нее черпаем».

Обыденное и поэтическое — два плаиа театра О'Кейсн. Сочетание их определяет структуру пьес. В повседневном драматург различает черты иового и тогда переходит с языка обыденной жизни на язык поэтических символов. Речь персонажей то проста, грубовата, то приближается к ритмическому стиху. Ощущение масштабности достигается в пьесах О'Кейси не столько значительиостью событий или действующих лиц, сколько вторым, поэтическим планом.

Эти два плана наиболее гармонично, на мой взгляд, сочетаются в «Красных розах для меня». Обыденность и поэтичность соединились в самом образе центрального героя, рабочего и художника, мечтателя и борца Айамона, в образе его матери. С тем, что это одна из лучших пьес О'Кейси, согласны многие критики разных ориентаций, хотя, кстати сказать, взгляды автора здесь выражены гораздо более открыто, чем в любом другом его произведении. Устами героя он высказывает и свои заветные мысли.

В сцене на мосту он пользуется тем же прнемом, что во фронтовой сцене в «Серебряном кубке», в преображенном свете которой передавалась обезличивающая, подавляющая сила войны. Несколько символических деталей и световые эффекты, речитатив в одиом случае и веселая песня и танец — в другом создают как бы отстраненную, приподнятую над реальностью и вместе с тем доступную реальному объяснеиию картину. В лучах заходящего солнца мрачная панорама города и унылые лица людей в серых одеждах сказочно преображаются. Все переливается золотыми и пурпурными красками. Фигуры людей распрямляются и напоминают теперь величественные бронзовые статуи. В этой символнческой сцене изображение современной действительности дополняется мечтой о грядущем пробуждении народа.

При всем различии ранних и поздних пьес творчество О'Кейси представляет собой целостное явление как в идейном, так и в художественном смысле. Их общность видиа в гуманистическом пафосе, в осознанин автором своей причастности к борьбе за лучшее

АЛЛА САРУХАНЯН

ШОН О'КЕЙСИ — ИДЕЙНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ

будущее. Второй поэтический план ощутим и в ранних произведениях; с другой стороны, герои поздних пьес говорят тем же сочным языком, а сами пьесы с той же страстью защищают одни иден и развенчивают другие.

Обращая внимание на внутреннее единство всего творчества О'Кейси, я не хочу этим сказать, что между его ранними и поздними пьесами нет различия. Оно, конечно же, есть. Важно лишь учесть, что различие это проходит не на уровне «реализм — нереализм», но отражает пути развития самого реализма, живой процесс изменения его форм в условиях изменяющейся действительности.

Р. Мак-Хью с известной легкостью расставляет «оценки» пьесам О'Кейси: одни считает слабыми, другие хвалит, но тут же оговаривается, что и от них «остаются в памяти две-три сцены и не создается ощущения цельной вещи». Возможно, иа это ему дается право соотечественника великого драматурга и преимущество зрителя постановок пьес О'Кейси, каковым ему удается быть гораздо чаще, чем нам. Я не считаю себя вправе «оценивать» пьесы О'Кейси даже по самой многобалльной системе. То было делом «текущей критики» 40—50-х годов. Нам, младшим современникам О'Кейси, еще предстоит разобраться в оставленном им наследии, прежде чем отдавать предпочтение той или иной пьесе. И сделать это также без помощи режиссеров и актеров, без целой серии удачных и даже иеудачных попыток сценического воплощения вряд ли возможно.

Думаю, что сказать — произведение плохо, потому что открыто выражает взгляды автора, и хорошо, потому что не выражает их, будет таким же упрощением, как и сказать прямо противоположное, лишь перевернув эту формулу. Вопрос о мировоззрении и художественном творчестве — один из важных в марксистской эстетике, и разработке его посвящены многие фундаментальные труды советских ученых. Здесь не место излагать его. Напомню лишь, что сопоставительная, в основе своей дуалистическая характеристика мировоззрения и творчества, рождавшая многочисленные «вопреки» и «благодаря», теперь уже в далеком прошлом.

И все же признаюсь, я тоже не считаю, что «Звезда становится красной» — лучшая пьеса О'Кейси. Но не потому, что в ней слишком обнажена идея. Разве она не также отчетлива в «Серебряном кубке», «За оградой» или в «Петухе-денди»? Ведь не случайно же именно в связи с «Серебряным кубком» возникла полемика между О'Кейси и Йитсом о том, вправе ли драматург выражать свои политические взгляды в художественных произведениях. «Взгляды автора должны сгореть в огне драматургического действия»,— писал Йитс. «Лучшая и единственная возможность для этого — сжечь самого автора»,— отвечал О'Кейси. Не менее известны слова О'Кейси, сказанные им в полемике с английским театральным критиком Джеймсом Эгейтом, о том, что каждое произведение является своего рода пропагандой, выражающей взгляды автора. Ссылался он и на пример русской литературы: «Величайшие писатели мира не только высказывали свои взгляды, они их буквально извергали. В России есть смелый, мужественный Толстой, смеющийся Гоголь, милый великан Горький, поющий Пушкин, иежный, с мягким голосом Чехов, буриый и музыкальный Маяковский; все они страстно хотели схватить все, что вызывает грусть или отвращение, смять в руке, как кусок глины, и вылепить новые формы в соответствии со своими желаниями».

Чтобы определить эстетические качества «Звезды», важно увидеть ее в историческом контексте. Обратившись к теме будущего, драматург искал монументальные формы его изображения. Он решал художественную задачу, сходную с той, которая стояла в 20-е годы перед Маяковским. Как и «Мистерия-буфф» Маяковского, «Звезда становится красной» — пьеса для массового агитационного театра. Это подтверждается и постановкой в «Юнити» в 1940 году (режиссер Джон Аллен, музыка Алана Буша), об огромном успехе которой свидетельствует жена писателя Эйлин О'Кейси. Нельзя не обратить внимания на музыкальность риторических оборотов. Подчеркнутая театральность спасает их от «ходульности». Гордые слова Красиого Джима контрастны житейским разговорам Старика и Старухи, но именно в непосредственном соседстве каждый из этих пластов обретает свой смысл.

Искать среди действующих лиц «рупор автора», как это делает профессор Мак-Хью, не вполне оправданно, так как героям О'Кейси, даже самому автобиографическому Айамону в «Красных розах для меня», не свойственно быть рупором его собственных идей. Если тем не менее попытаться определить, кто же наиболее полно выражает кредо драматурга, то, думаю, это — Красный Джим, а не Священник в коричневой рясе.

Вся пьеса строится на контрастных противопоставлениях. Два портрета — Ленина и епископа, две звезды — красная и серебряная, рождественская, две песни — «Интернационал» и гимн во славу Христа символизируют борьбу антагонистических сил и выбор, который предстоит сделать народу. Победу революционных сил знаменует известие о том, что солдаты братаются с рабочими.

Драматург предпринял попытку показать Ирландию в макрокосме. Он создает монументальный образ Красного Джима, а столкновению рабочих с фашистами придает масштаб всемирной победоносной революции. Та же масштабность присутствует в «причудливой комедии» «Пурпурный прах», в финале которой бурный поток разлившейся реки возвещает о грядущей буре, разрушающей, уничтожающей то, что отжило свой век.

В исторической перспективе яснее видны достоинства и недостатки пьесы «Листья

дуба и лаванда», на которой также специально останавливается Р. Мак-Хью. Подобно ранним пьесам, она была вызвана общественным потрясением, на этот раз таким глобальным и страшным для всего человечества, как вторая мировая война. Нам памятны страстные выступления О'Кейси в защиту мира, публиковавшиеся в те годы в советской печати и составившие славную страницу в мировой антифашистской публицистике. Голос человеколюбца, гуманиста звучит и в пьесе. И если говорить о слабых сторонах пьесы, то мне представляется, что они связаны с рыхлостью композиции, расплывчатостью некоторых образов.

В последующих пьесах О'Кейси не пользуется «крупномасштабными» средствами обобщения. Его «Ирландия в миниатюре» — это миниатюра мира, вставшего на путь решительных перемен. В основе концепции человека и действительности, как она предстает в произведениях О'Кейси 40—50-х годов,— проблема становления человека, действенное отношение к миру, который следует изменить.

Наследие Шона О'Кейси огромно и далеко не освоено. Можно только сожалеть, что пьесы ирландского драматурга все еще не нашли своего режиссера. И, как справедливо было замечено, страдает от этого в первую очередь не драматург, а театр. Пока же мы читаем его пьесы и открываем в них не меньше того, что может открыться зрителю. А подробнейшие ремарки, поражающие чувством пластики и цвета, обращены не только к режиссеру, который, к сожалению, не всегда расположен им следовать, но и к внимательному читателю, готовому настроить свое воображение на поэтическую ноту. И можно только пожелать, чтобы те немногие еще не переведенные на русский язык пьесы и последние книги автобиографической эпопеи как можно скорее стали доступны русскому читателю.

◆

ТАПИО ТАПИОВААРА.

Смертная казнь. Линогравюра

Культура и современность

Заметки на полях

«СИМВОЛ НОВОЙ ЭРЫ»

«Октябрьская революция, естественно, решала прежде всего проблемы нашей страны, проблемы, поставленные ее историей, ее конкретными условиями,— сказал Л. И. Брежнев на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции.— Однако в своей основе это были проблемы не локальные, а общие, выдвинутые ходом общественного развития перед всем человечеством. И всемирно-историческое значение Октябрьской революции как раз в том и состоит, что она открыла путь к решению этих проблем и тем самым — к созданию на земле нового типа цивилизации».

60-летие первой в мире социалистической революции широко отмечалось всеми людьми доброй воли на земном шаре. Но совершенно по-особому, как собственный великий праздник, встретила светлый юбилей общественность братских стран социализма, которые вслед за Страной Советов пошли по пути, проложенному Октябрем. Вот как объясняет причины этого польский публицист Збигнев Залуский:

> «По сути дела каждое поколение поляков с тех пор жило в отблеске луны над Зимним дворцом, время от времени слышало усиленный эхом памятный залп «Авроры», росло и формировалось под могучим воздействием идей Ленина и деяний Революции. Потому что Революция всегда давала ответ на наши собственные, польские, постоянно возникавшие вопросы».

Слова З. Залуского взяты нами из вступления к вышедшей в Варшаве антологии «Красные цветы Октября», где собраны произведения польских и советских поэтов и прозаиков, посвященные Октябрьской революции и ее вождю — Ленину. Одновременно в соседней Чехословакии на прилавках книжных магазинов появился поэтический альманах «Созвездие «Авроры». Замысел и содержание этой книги раскрывает в своем предисловии ее составитель Милан Погорский:

> «Поэты попытались выразить свое отношение к Октябрьской революции, без завоеваний которой и наша современность была бы совершенно иной. И совершенно иной была бы динамика нашего XX века. Революция слила в единый поток борьбу людей за мир, против насилия, за высшую гуманность. И эта борьба усиливается с каждым днем».

Глубокое осознание своей кровной причастности к идеям и свершениям Октября, органическое чувство общности исторической судьбы с Советским Союзом — лейтмотив всех материалов, появившихся в книжных изданиях и периодической печати социалистических стран к 60-летнему юбилею нашей революции.

Осенью минувшего года в ГДР прошел IX съезд деятелей культуры. На нем был принят «Манифест интеллигенции ГДР к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции», опубликованный в еженедельнике «Зонтаг». Там говорится:

«Русский пролетариат под руководством партии большевиков открыл новую главу мировой истории. Идеалы, волновавшие людей во все века: права человека и человеческое достоинство, мир и социальная справедливость, гуманистические идеалы — стали реальностью».

В Софии к знаменательной дате был приурочен объединенный пленум творческих союзов Болгарии. Выдающийся болгарский поэт, дважды Герой Социалистического Труда Младен Исаев в своей речи на этом пленуме нашел весьма образное — в духе нашего века освоения космоса — сравнение для того, чтобы выразить свое понимание роли Великого Октября в мировом масштабе:

«Маркс назвал революции локомотивами истории. А Октябрьская революция, современниками которой мы имеем счастье быть,— гигантский космический корабль, выводящий измученное человечество из темного царства эксплуатации и гнета к звездным высотам свободы и человеческого счастья».

В других выражениях, но та же мысль о непреходящем интернациональном значении Октября и всей последующей истории Советского государства содержится в статье монгольского поэта Л. Тудэва «Величайшая из революций — тема всех песен», помещенной в газете «Утга зохиол урлаг»:

«В богатой истории человечества немало страниц занимают различного рода перевороты и революции, но главная революция, ставшая величайшим событием всей истории, произошла в России в начале XX века. Победный залп этой революции отозвался в сердцах всех народов мира, а слово «Октябрь» перестало быть обычным словом, обозначающим месяц года,— оно сделалось символом новой эры в истории человеческого общества. Из года в год растет число людей нового мира, рожденного Октябрьской революцией, и весь земной шар прекрасно понимает, что это им принадлежит будущее. В новом мире, рожденном Октябрем, наивысшего расцвета достигает человеческая личность, сбываются все людские мечты и чаяния, и это не может не находить отклика в сердцах людей всей планеты. Монгольский народ гордится тем, что и он вошел в новую семью народов, которых сплотил Октябрь. Благодаря братской дружбе с созданной гениальным Лениным Коммунистической партией, с коммунистами Советской страны, со всем ее великим народом монголы обрели счастье и успешно строят социалистическое общество... Великий Ленин говорил, что страна Октября протянет руку интернациональной помощи любому народу, борющемуся за справедливое дело, этот его завет претворяется в жизнь в мудрой политике КПСС».

От имени тех стран, которые на деле испытали действенную поддержку Советского Союза в борьбе за национальную независимость и социальную справедливость, писал в юбилейные дни в газете «Гранма» министр культуры Республики Кубы Армандо Харт:

«Те победы, которые одержали в последние десятилетия находившиеся в кабале неоколониализма народы трех континентов, стали возможными благодаря существованию и активной борьбе Советского Союза».

Огромны расстояния между Софией, Улан-Батором и Гаваной. Но они не в силах помешать постоянно растущему всестороннему сближению государств, образующих социалистическое содружество. Отношения между ними строятся на принципиально новой основе, обусловленной однотипностью социально-экономического устройства, крепнущей политической сплоченностью на базе общности марксистско-ленинской идеологии, единством конечной цели каковой является построение коммунизма. Монолитность мировой системы социализма как нельзя более наглядно проявилась в совпадении основных теоретических положений и оценок, высказываемых в братских странах в связи с празднованием 60-й годовщины Октября, который единодушно рассматривается как начало новой, социалистической эры. Так, чешский прозаик Богумил Ржига в журнале «Литерарни месичник» назвал Великую Октябрьскую революцию «водоразделом в истории человечества». Схожесть взглядов на революционные события, в результате которых произошло рождение нового мира,— не только свидетельство сегодняшней прочной спаянности стран, идущих по пути строительства коммунизма, но и залог завтрашних новых побед на этом пути. Соотечественник Богумила Ржиги поэт Иван Скала отмечает:

«Шестидесятилетний юбилей Октября для нас — не только повод к воспоминаниям. Октябрь — это наша современность, он присутствует в истории нашего времени, во всем, что мы делаем. И эти 60 лет, которые прошли с момента выстрела «Авроры»,— это 60 лет нового человеческого летосчисления».

О непреходящем значении идей Октября пишет и обозреватель венгерского книжного бюллетеня «Кёнывилаг» Миклош Вида:

«Венгерский народ празднует 60-летие Октября под знаком все более активного претворения в жизнь идей революции, творческого подхода к современным вопросам строительства социализма, он непреклонно идет по пути, начертанному Октябрем,— к социализму. Революция Октября — это реальность, которую мы постоянно сознаем, в которую верим, это желанная реальность».

60-летняя годовщина Октября закономерно стала поводом для того, чтобы оглянуться на весь путь, пройденный за это время первой страной победившего социализма. Председатель Союза чешских писателей Йозеф Рыбак свидетельствует в этой связи на страницах журнала «Литерарни месичник»:

«Я был в числе тех, кто радовался, когда массы революционных рабочих и крестьян освобождали просторы Страны Советов от интервентов и банд контрреволюционеров: я был в числе тех, кто радовался рождению славной Красной Армии, первой в мире армии, стоящей на страже интересов народа. Я был свидетелем грандиозных событий, когда начала претворяться в жизнь ленинская идея электрификации России и свет пришел в самые отдаленные уголки страны, в тундру и тайгу, когда вставал знаменитый Днепрогэс, когда росли Донбасс и Магнитогорск, когда челюскинцы покоряли Арктику, а Чкалов перелетел через океан... Невозможно забыть о величии подвига советских людей в Великую Отечественную войну, о том, что Советский Союз, разгромив фашизм, спас человечество. Нельзя забыть и о том, какую роль сыграл Советский Союз в нашем освобождении и что значила для нас его помощь в ходе строительства нашего социалистического государства и социалистической культуры. Величественной была и эпоха после окончания второй мировой войны, когда советские люди залечивали раны, нанесенные врагом. И эта эпоха породила своих героев, своих Стахановых, творцов социалистической науки и техники, своих Гагариных, создала свои новые, социалистические формы творческого труда. Шестьдесят лет, прошедших со времени Великой Октябрьской революции, это шестьдесят лет целенаправленной борьбы за будущее человечества, за подлинный гуманизм, за настоящую свободу человека, шестьдесят лет неослабевающих усилий по сохранению мира на земле...»

Главное событие нашего века стало и основополагающей вехой для судеб мирового искусства. В интервью газете «Нойес Дойчланд» по поводу организованного Центральным институтом истории литературы Академии наук ГДР международного коллоквиума «Литература в мировом революционном процессе» профессор Герхард Цигенгайст заявил, что «Октябрьская революция знаменует собой также новый этап в культурном развитии человечества». С этим тезисом прямо перекликается суждение народного художника ЧССР поэта Иржи Тауфера, высказанное им в эссе «Начало новой эпохи человечества» (еженедельник «Творба»):

«Ни литература, ни какие-либо другие виды искусства не могли остаться не затронутыми этим всемирно-историческим событием. Октябрьская революция стала великим предметом всего искусства и не могла им не стать. Однако гораздо важнее то, что она является для искусства не только предметом, не только новой темой, а его духом...»

Новая, социалистическая действительность вызвала к жизни и новое искусство. В передовой статье румынского журнала «Лучафэрул» говорится:

«Социализм шагнул на арену истории шестьдесят лет тому назад, обратившись ко всему миру с призывом о человечности, о сплочении всех угнетенных, он мобилизовал неисчислимые силы народов во имя торжества правды и прекрасного. И с самого начала писатели были рядом с тружениками заводов и полей, солдатами революции, борцами передовой линии истории. Их искусство служит прогрессу, оно развивается под знаком постоянного обновления — каждый художник выполняет революционную миссию».

Общественность братских стран подчеркивает, что советская творческая интеллигенция, воспитанная на идеях Октября, внесла весомый вклад в строительство социалистического общества в нашей стране.

«В стране, где шестьдесят лет назад победила Октябрьская революция, перед писателями и поэтами открыты горизонты беспредельных творческих дерзаний,— пишет молодой вьетнамский поэт Банг Вьет.— Бурлящая и непрерывно развивающаяся действительность создает для литературы возможность уверенно и успешно идти вперед. Такие кардинальные вопросы, как взаимоотношения между людьми, связь человека с жизнью и обществом, плодотворно решаются в политической и духовной жизни, в литературе. Именно поэтому советская литература дышит в едином ритме с жизнью....»

Об этом говорила на торжественном пленуме, посвященном 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции, председатель Комитета по культуре Народной Республики Болгарии Людмила Живкова:

«Советская социалистическая культура создала плеяду замечательных творцов искусства и культуры, которые претворили в литературных произведениях, в художественных фильмах, в картинах, в музыке и танцах идеи общечеловеческого социального равенства, отразили создание и развитие материальной и духовной культуры советских народов, ежедневный трудовой героизм советских людей, трудности и успехи борьбы на пути, пройденном Коммунистической партией Советского Союза и Советским государством».

Идейно-эстетическое новаторство советского искусства, его открытия способствовали изменению облика всемирной литературы. Художественный опыт первой социалистической державы, связанный прежде всего с достижениями социалистического реализма, оказал и продолжает оказывать существеннейшее воздействие на мировой литературный процесс.

«Социалистический реализм, начиная с Маяковского, Шолохова, Бабеля и вплоть до его нынешних представителей, раскрылся как объективное литературное явление, как новаторский и плодотворный метод, возникший в результате глубоких исторических преобразований».

К такому выводу приходит председатель Союза болгарских писателей академик Пантелей Зарев в докладе, прочитанном на конференции «Октябрь и болгарская художественная литература». П. Зарев подробно остановился на вопросе о творческом характере восприятия опыта советской культуры в Болгарии:

«Все созданное в Советском Союзе оказывало на нас влияние, пробуждало творческую мысль и вело к поискам новых форм и новых художественных возможностей. И в то же время нисколько не мешало проявлению национального и народного в творчестве болгарских деятелей искусства — живописцев, писателей, артистов и т. д. Разве не примечателен тот факт, что именно в эти годы у нас проявился исключительно глубокий и сильный интерес ко всему, связанному с Родиной...

Скажу определенно, что, рассматривая вопрос о воздействии Октября и советского искусства, мы делаем принципиальный вывод: в развитии болгарского реалистического искусства, как и в личной творческой биографии многих прогрессивных художников Октябрь пришел как спасение. Он позволил осмыслить направление идейных и эстетических поисков, а порой избавиться от мучительных колебаний, раскрыл в новом свете связь с народом и его борьбой».

Слова П. Зарева перекликаются с мыслями многих литераторов братских стран социализма. Тенденция к более тесному сближению государств социалистического содружества охватывает, естественно, все стороны жизни. Но в сфере культуры такая тенденция отнюдь не ведет к нивелированию специфических черт — национальных и вызванных конкретно-историческими условиями той или иной страны,— ибо взаимодействие здесь осуществляется на основе диалектики общего и особенного.

Общность главных параметров, коренных мировоззренческих и эстетических принципов ни в коей мере не означает установки на однообразие форм и стилей в социалистическом искусстве, унификацию творческих индивидуальностей. Неуклонное укрепление связей между братскими литературами происходит в согласии с сохранением каждой из них собственного, не общего выражения лица, с развитием самобытных художественных традиций, что способствует непрерывному и интенсивному взаимному обогащению. Поэтому вполне прав П. Зарев, когда заключает:

«Без проявления нашего национального характера, своего собственного душевного склада, без опоры на наши духовные ценности мы не сможем обогатить культуру большой интернациональной семьи и уменьшим вклад социалистических стран в мировую литературу и мировой исторический процесс. Этому учит нас развитие национальных культур в Советском Союзе — их единый в своей основе и неповторимо оригинальный национальный взгляд на мир...»

Юбилей Великого Октября послужил в братских странах импульсом для еще более широкого знакомства читателей с советской многонациональной литературой. Обильный поток переводов сопровождался открытием для публики новых писательских имен. В ряде стран появились целые издательские серии книг советских авторов — к примеру, «Коллекция советской литературы» в Польше, «Библиотека русской и советской литературы» в Югославии. Многие газеты и журналы социалистических стран провели среди деятелей культуры анкеты об их отношении к Великому Октябрю и советской литературе. Вот выдержки только из двух ответов:

«Причиной нашего перерождения была и советская литература — особенно Максим Горький, Маяковский, Есенин, Блок,— потому что она была новаторской, революционной и несла нам картины борьбы за новую жизнь, за нового человека» (Ян Поничан, ЧССР).

«Моими постоянными учителями в нелегком литературном труде были и остаются буревестники современной советской литературы М. Горький, В. Маяковский, Н. Островский, А. Фадеев, мои настольные книги — произведения известных советских писателей» (Ч. Лхамсурэн, МНР).

Невозможно без волнения и гордости за нашу литературу читать признание, сделанное в редакционной статье, которой открывается посвященный 60-летию Октябрьской революции номер вьетнамского журнала «Ван хаук»:

«Советская литература близка поистине каждому из нас. И в годы войны против французских колонизаторов, и позже — против американских агрессоров, когда мы отстаивали свободу родины, и в годы напряженного строительства социализма произведения Горького, Маяковского, Фадеева, Шолохова, Симонова и других сыграли мобилизующую роль в созидательном и ратном труде народа и армии. Советские писатели и публицисты как бы стояли рядом с нами в окопах в те годы, когда наша земля была охвачена пламенем войны, и вдохновляли нас своими многочисленными произведениями, написаными кровью сердца».

Октябрьская революция, дав толчок всеохватывающим переменам в исторических судьбах человечества, утвердила новую, неразрывно связанную с идеями социализма концепцию художественной культуры, получающую все более широкое распространение на земном шаре. Эта подлинно гуманистическая концепция лежит в основе крупнейших достижений литературы XX века. Отдаляясь от нас во времени, заря Октября не тускнеет, а разгорается ярче и ярче, освещая миллионам людей путь в грядущее. Непоколебимой веры в будущее социализма исполнено высказывание прославленной писательницы ГДР Анны Зегерс:

«Ничто не может потрясти силу, возникшую в результате десяти дней, которые потрясли мир».

С. Б.

◆

ТАПИО ТАПИОВААРА.
Забастовка. Гравюра на дереве

Публицистика

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ

ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

Литература ГДР: портрет в диалогах

I. ПИСАТЕЛЬ ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ

1. ДОРОГА К СЕБЕ

Происхождение жанра

Гельмут Байерль

Чем заняты мои мысли в данный момент? Многочастным телероманом. А вообще-то главная моя страсть — театр. Около десяти лет я как автор-драматург работал в «Берлинер ансамбль». Драматург в нашем понимании, в немецком,— это еще и редактор. Другой моей функцией в этом театре было секретарство в парторганизации. Брехта тогда уже не было в живых, но с Еленой Вайгель мы сотрудничали очень близко. В 1961 году я даже написал для нее пьесу — «Фрау Флинц», у вас ее знают. Пьесу играли больше четырех лет, она имела большой успех и позднее вошла в репертуар многих театров ГДР. Потом я написал для «Берлинер ансамбль» еще одну вещь — «Иоганну фон Дёбельн». Зрители увидели ее в 1968 году, но, должен вам признаться, приняли ее весьма прохладно. Такова уж наша писательская доля: не все и не всегда идет гладко. Правда, неудача заставляет задуматься над своими позициями, а успех может сделать автора, скажем, более бездумным, что ли. Стало быть... если постараться, и в том и в другом случае можно извлечь для себя какую-то пользу... Сейчас эта самая пьеса идет в новой редакции в другом берлинском театре и принята хорошо. И я особенно рад этому. Почему? Пытаюсь помочь нашим молодым найти ответы на острые вопросы, на вопросы их жизни. И еще одну мою пьесу поставили в этом году в «Берлинер ансамбль». Писал я ее, что называется, кровью сердца, но того отклика, какого ожидал, не получилось. Сейчас, пожалуй, легче легкого свалить все на режиссуру — так я до поры до времени и сделаю. Впрочем, один кинорежиссер собирается ее экранизировать, так что вскоре, возможно, начнется новый этап работы. Но я еще не вполне ответил на первый ваш вопрос...

Так вот — телероман. Кстати, история его замысла не совсем обычна. Связана она со старинной моей дружбой с известным вашим сценаристом Евгением Габриловичем. Познакомились мы с ним в 1970 году, когда

ДЕФА задумала отметить ленинский юбилей немецким фильмом о Ленине. Мы тогда решили обратиться к книге воспоминаний Альфреда Куреллы; вы знаете его историю, конечно; в 1919 году он пробрался в Москву к Ленину с двумя письмами от КПГ, путь этот — сам по себе приключенческий роман: в ту пору попасть из Германии в Россию было отнюдь не легко. Правда, эта книга — только отправной момент, воспоминание; мы как бы придумали всю историю еще раз, заново. Поначалу я работал над сценарием один, но потом ДЕФА и Мосфильм объединились, из Москвы приехал советский соавтор Евгений Габрилович. Должен сказать, дружба наша с ним выдержала испытание врвменем — ведь несколько лет мы не виделись и вместе не работали. Знаете, как это бывает иногда — дружба живет, пока люди работают вместе, а потом распадается. А наша осталась. Так вот, нам с Габриловичем вручали тут награды за фильм о Ленине, и мы на пару дней выбрались вместе на Балтику.

Представьте: осень, пустынный пляж, погода, правда, стояла еще хорошая... шагали мы с ним вдоль берега, любовались природой и немножко скучали. Ну, как вы думаете, чем займутся, заскучев, два писателя? Сочинят рассказ. Вот и мы — сочинили рассказ о любви немца и русской, историю любви... только не хотелось рассказывать п р о с т о любовную историю, нам нужны были два героя — типичный немец и типичная русская. Причем оба не из... какой-то особенной среды, а из обыкновенной. Совсем «простые люди», как у вас говорят, да? Два рядовых представителя двух народов... Что, если двое таких людей полюбят друг друга? И если любовь эта начнется в 1918 году? То есть в бурное, что и говорить, время, всего-то спустя год после Великой Октябрьской революции. Местом действия мы выбрали Укрвину — там в ту пору правил гетман Скоропадский и стояли кайзеровские германские войска. Дальше — больше: что, если молоденький немецкий солдат и совсем-совсем юная русская девушка, если в это бурное, суровое, жестокое, сумбурное и полное надежд время, если они полюбят друг друга, поклянутся в верности навеки и расстанутся, сохранив на всю жизнь память об этом дне? Тут-то и начинается мой роман: парень возвращается в Германию, все его попытки повидаться с любимой безрезультатны, жизнь его не балует, революция в Германии подавлена, он остается без работы — словом, прослеживается вся его жизнь до... до пятидесятых годов, если хотите. Меня идея настолько увлекла, что Габрилович потом передал мне весь материал и сказал: «Пиши ты!» Когда он побывал здесь летом в год тридцатилетия Победы с группой операторов, я поделился с ним своими планами — написать на этот сюжет для телевидения сценарий многосерийного фильма. Вначале задуман был обычный полуторачасовой фильм, и Габрилович согласился; а нынче летом он снова приезжал сюда на десять дней, и я смог прочитать ему все четыреста готовых страниц — ведь тогда, как вы понимаете... мы придумали только канву сюжета. Габрилович к моему тексту отнесся весьма критически, но вместе с тем и одобрил... и для меня это уже много, сами понимаете...

Да... вот над этой вещью я до сих пор и работаю. Теперь, конечно, уже на том этапе, когда повествование видела не одна — уже не одна — пара глаз критиков. Писал, работал я с огромным увлечением. Ведь это... то, что я старался написать — история моя, моего народа, история нашего столетия. Причем писал я в том ключе, который мне близок. Я сочиняю комедии, но не на пустяковых проблемах; наоборот... берусь за самые сложные — в том числе актуальнейшие политически — и стараюсь раскрыть их в этом как будто не подходящем для них жанре. Здесь я, кажется, нашел свое особое место в литературе. Тешу себя надеждой — я не раз размышлял обо всем этом,— что все-таки кое-что мне тут удалось, пусть даже иногда вроде бы причиной оказывалось стечение счастливых обстоятельств... Вы хотите, однако, чтобы я вернулся к своей неудаче.

Знаете, осознание неудач для автора — этап, конечно, далеко не самый приятный: с одной стороны, первый импульс — защитить свое детище, с другой, понимаешь — нельзя не прислушаться к критике, е с л и она на пользу делу. Правда, решить, справедлива ли критика или же первый вариант был лучше,— это для художника самый мучительный процесс. По крайней мере, для меня. В театре проще: автор может оставаться рядом с режиссером и, по сути дела, до самого поднятия занавеса сохраняет право голоса; в кино уже сложнее. Там происходит нечто вроде передачи эстафеты, что ли: сначала ты готовил ее в одиночку, потом немножко еще с кем-нибудь и вот — передаешь третьему, режиссеру... Да... Вот, пожалуй, в общих чертах пока все о том, чем я занят сейчас и чем занимался в п о с л е д н е е время. Может быть, потом мы с вами успеем прибавить к этому еще немного.

Теперь послушайте об удаче. Принципиальной. Несколько лет назад — кажется, году в семьдесят втором, я вместе с несколькими друзьями посмотрел в Москве «Сталеваров». Спектакль шел тогда то ли в третий, то ли в четвертый раз — стало быть, премьера, и публика реагировала соответственно, не говорю уж об авторе и постановщиках, они тоже были еще «в угаре» — еще бы! Сразу после премьеры! На меня пьеса произвела очень большое впечатление. Сейчас я нахожу в ней и спорные моменты, спорные в драматургическом смысле, которые... о которых стоило бы поговорить, о которых я сейчас поговорил бы с автором, с Бокаревым, и даже с удовольствием, может быть, такой разговор оказался бы полезен для обоих. А тогда у

меня возникла мысль самому сочинить что-нибудь в таком духе. Вскоре «Дойчес театер» обратился ко мне с предложением написать для них пьесу. Я, можно сказать не задумываясь, согласился. На вопрос о проблеме, теме ответил: «Хочу проверить, правду ли пишут в газетах, что рабочий класс при социализме — ведущая сила». Короче, решил отправиться на завод и взглянуть своими глазами.

Выбрал я сталеваров — наверняка отчасти под впечатлением пьесы Бокарева, ну, и еще потому, что труд сталевара — конечно, тяжкий, грязный, требующий большой физической силы, и все же, когда из гигантского ковша льется сталь, есть в этом что-то грандиозное, особенное — верно? Видишь плоды своего труда, для рабочего человека это всегда важно. Сперва я хотел просто оказаться в этой среде, в самой ее гуще, понимаете? У нас многие обращались к этому опыту, хотя далеко не всегда успешно, иные вообще сомневались — нужно ли это... Были и такие, кто... посмеивался, когда я вдруг собрался на завод. Я решил поработать там с полгода, а это... тому, кто будет говорить, что это легко, я отвечу, что он лжет. Отнюдь не столь уж просто интеллигенту, как говорится, писателю, который, правда, был когда-то знаком с крестьянским трудом, но только давно очень — не просто это — встать к печи и добиться понимания со стороны рабочих, а потом еще и завоевать их доверие.

Прежде, когда я попадал на завод, то всегда полагал, что переодеваться — значит как бы подлаживаться. Так и ходил в своем костюме: вот он я, и принимайте меня таким, каков я есть. Но здесь, у сталеваров, получилось иначе, здесь я очень быстро перешел на робу, иначе попросту невозможно было бы и шагу ступить — сами понимаете, грязища. И произошло нечто странное: я вроде как замаскировался... и рабочие... я перестал бросаться в глаза. Ну, думаю, время еще есть, и попробовал исподволь, как бы по «четырехколейке» — я про себя все время так и повторял: «по четырехколейке»,— подобраться поближе. Если хотите, можно деревню вспомнить — четырехлемешный плуг, представляете?

Так вот, изучал я людей, старался узнать побольше о них или от них. Прислушивался к речи, обращал внимание на их идиомы, обороты, которыми они пользовались,— профессиональный жаргон; именно в Саксонии он чрезвычайно любопытен, и наконец — на технологию. Я сознательно называл вам все в таком порядке: правду сказать, технология поначалу интересовала меня почти что больше всего — надо было понять, что, собственно, происходит. Но ей пришлось отойти на задний план, ведь главное-то — люди... Для меня — честно признаюсь — это было колоссальное событие. Ну, а дальше получилось уж совсем интересно. У меня был магнитофон — вот как у вас,— я собирался подходить с ним к рабочим и так же вот задавать им вопросы, как вы это делаете сейчас. У нас с вами все получается как надо, правда? (Смеется.) Но там этот номер не прошел бы. Либо они послали бы меня, что называется, «подальше», либо не ответили бы вообще. Поэтому я сразу же оставил магнитофон дома. Еще у меня была маленькая записная книжка, ее я тоже на первых порах не доставал из кармана. Заставил работать только свое восприятие, свою память. Все вокруг удивлялись — ишь ты, ничего не записывает! — потом стали спрашивать: «Что ты, собственно, собираешься писать, а?» «Сам пока не знаю»,— говорю... На субботу я ездил домой в Берлин, возвращаясь, привозил им обычно то, что они «заказывали»: пластинки, авторучки и прочее, самые разные вещи, мелочи всякие, на меня можно было положиться. Постепенно я осваивался, стал чувствовать, что меня признают. А потом заметил, что рабочие — думаю, эта черта вообще присуща международному рабочему классу,— рабочие очень быстро соображают, что ты за птица, что ты за человек. При этом оценивают тебя по самым простым человеческим критериям: умеешь ли ты отстаивать свое мнение, трус ты или нет... коварный или нет, говоришь ли правду... очень-очень быстро раскусят, что ты за птица. После работы, конечно же, заходили выпить по кружечке пивка, от этой работы страшно хочется пить. Прежде была такая традиция — баловаться пивком на работе. Но сейчас шла суровая борьба за социализм, рабочие в стороне не стояли и потому эту традицию поломали. Но пить-то хочется, у них там была маленькая столовая рядом с литейной, туда мы и заходили после работы. Женатые, конечно, не так часто, они не всегда могли, спешили домой. Но были и неженатые, молодые парни, с ними я познакомился поближе...

Короче, оказался не просто наблюдателем, а включился в их жизнь как действующее лицо. Они мне стали рассказывать о себе, звать к себе домой, не сразу, конечно, шло все это очень медленно. В общем, написал я пьесу, а они говорят: «Знаем мы писателей! У нас как-то раз был один. Прочитаю вам, говорит, всем, а сам прочел только дирекции и министру, а нам нет». Я дал обещание прочитать им пьесу. Была ночная смена, и они сказали: «после смены соберемся, пойдем в столовую, там сзади комната есть, вот там и прочтешь». Отлично помню, было это в феврале (в первую среду великого поста), то есть во время карнавала. По столовой, как и полагается на карнавале, сновал народ в носатых картонных масках, мы удалились в заднюю комнату, и я прочитал пьесу вслух. Вы даже не поверите, до какой степени я дрожал перед своими слушателями тогда. Заслужить их одобрение — значило много, очень много. Был у меня в процессе

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

работы такой момент, когда нить повествования я уже нашел, но не очень-то представлял, как писать. Как раз тогда на завод приехал из Берлина художник-декоратор, он собирался делать рабочие эскизы декораций для спектакля. Пробыл всего один день. Тоже, стало быть, облачился в робу, надел шлем и защитные очки, то есть выглядел совсем как я, но отличался от меня: у него с собой был блокнот, он сел и начал рисовать. Вокруг собрались сталевары, с удивлением заглядывали в блокнот, отпускали замечания: «Здорово! Блеск! Во сечет!» Он набросал портрет одного сталевара, продолжалось все минут десять, и я совсем расстроился: вот ведь, за каких-то десять минут сумел завоевать целую аудиторию, а я тут три месяца торчу и ничего путного не добился. И вдруг подумал: а что, если и мне так же вот построить повествование — чтобы получились зарисовки — портреты рабочих, с которыми познакомился, с которыми вместе жил дни, ночи, вечера напролет и вообще... трехсменная работа... Так написать, чтобы рабочие узнали «кто есть кто». Вот это и был т о т момент. Я, конечно, описал их со всеми недостатками и... невероятной речью, и вдруг... они вдруг изумились: неужели это мы? Ужасно интересно было, знаете,— они все приняли, и я считаю, это очень великодушно с их стороны. Потому что... от высокого руководства, например партийного секретаря, или — еще выше — директора завода, или — еще выше — министра, от него не легко добиться, чтоб он сразу сказал: да, это я! Когда стараешься вот так же подойти со всей жесткостью, показать со всеми «за» и «против», реалистически, достоверно. Должен сказать, великодушие рабочих меня поразило...

Можно было бы остановиться на этом и подробнее, но, по-моему, мы тогда больше ничего с вами уж обсудить не успеем. Короче говоря, когда пьесу уже репетировали, рабочие из бригады пришли в театр, высказали свои оценки, и — что было особенно интересно, для меня это было самое важное — ничего не пришлось организовывать, пришли сами. Мне не раз в жизни довелось убеждаться в том, что организация в каком-то смысле подразумевает принуждение. Конечно, в общественной жизни без организации не обойтись, равно как и без принуждения — в философском смысле, правда? Но разве не награда это — сознавать, что люди пришли в десять утра на репетицию, смотрят, думают, радуются или ругаются, а ведь они до шести утра работали и спали всего три часа... Это был благодарный труд... я долго жил им и... у меня... в сущности, это стало моим творческим методом. Пожалуй, единственным; правда, далеко не все писатели здесь у нас — из тех, кого я высоко ценю,— бывают на заводах, интересуются жизнью рабочих. Не хочу быть догматиком и утверждать, что без этого совсем нельзя писать, но о себе могу сказать, что мне это необходимо...

Нынешним летом — оно у нас выдалось очень жаркое, не такое, как у вас, да? — я работал в бригаде комбайнеров: подумываю над сельской проблемой. В общем, пока моя позиция не подводила меня, понимаете? Нужно, нужно ездить больше, обязательно... Правда, у нас в ГДР нет таких больших расстояний, раз-раз — и граница, верно? Не как в СССР, с вашей огромной Сибирью, или там Средней Азией, или еще чем-нибудь... И все же результат, в сущности, тот же: берешь рюкзак, или, скажем, котомку и едешь куда глаза глядят, в приключение. И живешь интенсивнее. И воспринимается все по-иному, чем в будничной пробежке от... ну, например... (может, я преувеличиваю?) от дома до академии и обратно, верно? Хотя, с другой стороны, писателю вроде бы нужно уметь наблюдать везде, если он не находит материала, наблюдая своих ближайших родственников, наверно не найдет его и в иной среде, я так считаю, а вы? И все-таки... вспомните спор Ленина с Максимом Горьким...— все-таки, некоторые обстоятельства не столь чреваты проблемами и не столь общественно важны, как другие, я уверен. Возьмите, например, производство. Ведь все мы живем благодаря ему, оно позволяет нам делать то, что мы делаем, верно? И... и страшно трудно — повторяю: страшно трудно — охватить эту гигантскую область художественной мыслью, хотя, повторяю, попыток были сотни. И у публики не сразу встретишь понимание, если ей объявить: я написал пьесу о сталелитейном заводе или о сталеварах,— сама эта формулировка может отпугнуть. Секрет в том, чтобы преодолеть это предубеждение, сделать так, чтобы люди не говорили: «Целый день мы работали, и вечером хотим отдохнуть, и н и ч е г о не желаем видеть и слышать о работе». Я был так счастлив, что именно с пьесой «Смешливый голубь» этого не произошло, что премьера шла под гром аплодисментов. Успех был настоящий, большой, люди смеялись и... и чувствовали, что их поняли, и открывали вещи, которых еще не видели, и... На самом деле благодарная работа.

Повторяю, так бывает не всегда, даже в одном и том же театре не всегда. С «Фрау Флинц» было так же. Я бы сказал, это тоже был благодарный труд. И как это много — вновь пережить свою пьесу вместе с публикой... Тем не менее, как я вам говорил уже, в том же самом театре, с теми же самыми партнерами второй мой замысел не привел к желаемому успеху, стало быть, неколебимых правил тут нет. А когда считают, что они есть, да еще, что называется, «железные»,— дело кончается неважно. По-моему, при всем коллективизме, который требуется от театрального автора,— верно? — драматург просто гораздо больше, чем романист (тот в процессе написания произведения, по сути, имеет дело только с редак-

тором и ответственным редактором) — драматург должен гораздо больше работать над собой, над своей личностью — обычно мы повторяем все это как некое заклинание, но ведь именно таким вещам — из-за частых повторений и из-за того, что это, так сказать, само собой разумеется,— грозит опасность, опасность стереться, исчезнуть из сознания... Потому что истина конкретна, и каждый день, каждый день конкретен, и если закрыть на это глаза, увильнуть, то... уже не сумеешь как следует осмыслить его. Когда я пишу, стараюсь не сдерживать себя, потому что считаю, что ответственность перед машинкой или листом бумаги, где бы ты ни сидел, пусть даже один — всегда при тебе: ведь и в одиночестве ты не один, а наедине со всем обществом. Только такой ответственностью надо пользоваться, так сказать, с полной откровенностью, непосредственностью, без скованности, без излишних оглядок на «внутреннего цензора» — немало они портили дело нам и мне, в частности. Я так считаю. Да. Но, вероятно, я чересчур далеко ушел от вашего вопроса?..

«Ключевые» эпизоды моей жизни... Начну, пожалуй, с восьмого мая сорок пятого года... Помню, шагал я вдоль шоссе. Рубаха была на мне, старые штаны, спортивные тапочки на босу ногу, куртки не было. В ту сторону шагал я один. Навстречу двигалась Красная Армия. Я бы солгал, если бы сказал, что не боялся тогда. Боялся, и именно страх заставлял меня приветливо кивать солдатам. Может, и для того, чтобы они меня не тронули. Но совесть у меня была чиста. За несколько дней до этого я, молокосос, солдат фашистского вермахта, дезертировал вместе со стариком обер-ефрейтором, он говорил, что был когда-то членом КПГ. До прихода Красной Армии он прятал меня у себя в доме. Потом меня отвели к какому-то командиру, а тот меня отпустил. И даже разозлился, когда я его спросил, как мне идти: через лес или по шоссе. Ответил он мне что-то вроде: «Ты через лес — бум-бум. Ты через шоссе — бум-бум». Я выбрал шоссе. И пошел домой. Родители мои жили в Румбург-Шлукенау, это такое местечко под Румбургом[1] в Северной Богемии возле границы. Тогда, при фашистах, там была Германия — Судетская область. В тот же день добрался до дому.

За всю свою жизнь я не однажды размышлял о том самом, что мы сейчас обсуждаем с вами. Должно быть, мне очень-очень повезло тогда. Благодаря этому везению я, так сказать, вообще восьмого мая по-настоящему ощутил свободу. Во всей многослойной полноте этого слова, а то сейчас оно временами воспринимается как общее понятие. А у меня было самое что ни на есть ясное чувство освобождения от чего-то, а именно: от всего прежнего времени. От него и мой отец страдал — по службе тоже. Он не был антифашистом, но именно его спокойные замечания насчет нацистов заставили меня, мальчишку, взглянуть на них критически, что впоследствии и вылилось в этот поступок. Затем пришло трудное время выселения из Чехословакии. Для нас это значило погрузить в тачку барахлишко — и мы в Саксонии, рукой подать, всего-то километра три-четыре. Устроились мы у одного... как бы это сказать... у одного бобыля, он владел домишком и крохотным участком земли. В наших местах такого не назовут «мелким крестьянином» — да он им и не был,— а именно бобылем. Как говорят в народе: у него за домом три морга ветра — это вроде как поговорка. И еще он был поэт, писал стихи о родине. Приютил он нас на одну ночь, а прожили мы там целых шесть недель. И надо сказать, это опять-таки было удивительное везение.

То, что он писал, трудно, конечно, назвать литературой — диалектальные вещицы, не более того. И тем не менее все это на меня повлияло, и отголоски того влияния определенно сохранились по сей день. Потом родители попали вместе с эшелоном переселенцев в Кётен, небольшой такой городок в Ангальте, не пострадавший от войны. А я остался в деревне, батрачил у одного середняка. Батрачил — значит обихаживал двух быков, доил пару коз, махал косой. Оставался я там полгода, после жатвы крестьянин меня выпроводил, так как надобность во мне отпала. Я поехал к родителям в Кётен, стал работать там по демонтажу.

Как-то раз в парикмахерской мне попалось на глаза объявление: университет в Галле набирает слушателей на курсы учителей русского языка. Отправился я туда— и представьте, приняли меня; вот уж и курсы позади. Конечно, через три месяца по-русски мы не заговорили, хотя кое-чему, пожалуй, научились. Познания мои в ту пору были таковы: должно быть, я опережал учеников урока на два, на три. Туго приходилось, когда дети спрашивали слова, мне неизвестные, знал я тогда совсем мало. И все-таки занятия шли. Ах, какое было время — новые идеи так и носились в воздухе! Вот. Есть было нечего или почти нечего, бывала картошка, иногда сахар... были, конечно, и карточки, продовольственные. А еды не хватало. Мой отец — старик, но любил поесть — очень мучился от голода. Мать ходила в поле собирать колоски — тоже примета времени. И все равно мы устраивали диспуты и дискуссии — по самым невероятным вопросам, и все выступали. Тогда все начиналось заново. Я очень остро ощущал это, позднее пришли будни и мимо таких вещей как-то проходили.

Ну, а следующим событием в моей

---

[1] Ныне Румбурк (ЧССР).

жизни явилось основание в 1948 году Общества германо-советской дружбы — оно тогда называлось по-другому, гораздо длиннее: Общество по изучению культуры Советского Союза. А поскольку я был учителем русского языка (никто ведь не догадывался, что я плохо говорю по-русски), меня сразу... я сразу вступил с ними в контакт, и мне поручили вести кружок русского языка для взрослых. Я вел кружок, занимался и разными другими вещами, приходилось, например, читать лекции о — господи, о чем я только не читал! Например, о живописи Репина... Понятия не имел, что она такое! И тамошний секретарь тоже не очень-то разбирался, но у него был отпечатанный на машинке текст лекции (две-три страницы) и диапозитивы к нему: картины Репина. И все! Посмотрели мы с ним диапозитивы — понравилось, ну, я накропал кое-что. Собрать людей в клуб Общества германо-советской дружбы было в ту пору совсем не просто, прийти в клуб было делом далеко не само собой разумеющимся... Клуб размещался в Кётене, в бывшем доме миллионера, на улице... названия не помню. Иду как-то мимо, а из окошка по соседству выглядывает пожилая женщина и говорит мне: «Дальше не ходите, там русские!» Вот так. Трудно было вообще заполучить народ в н у т р ь дома. И вот секретарь — он по должности, по основной работе был секретарь: бывший металлург, вернувшийся из советского плена, но по-русски не говорил,— знаете, что этот секретарь придумал — я тогда просто им восхищался, кстати, звали его Фриц Вайлер, он главный мужской персонаж в моей пьесе «Фрау Флинц». Он отправился к городскому коновалу — не знаю, поймут ли меня ваши советские читатели...— тогда во многих местечках были коновалы, конина стоила недорого, и, откровенно говоря, многие пролетарии питались этим дешевым мясом, вы понимаете? И в то время, когда мяса вообще не было, коновал был значительным лицом, денег у него — куры не клюют. Стало быть, секретарь Вайлер отправился к этому человеку и спросил, друг он Советскому Союзу или нет. Необдуманное «да» обошлось коновалу в полконской туши. С этой половиной туши секретарь пришел в клуб, нарубил вместе со своей семьей гуляша из конины, потом вызвал меня к себе и сказал: «Ты долго собираешься говорить?» «Рассчитываю часа на полтора»,— отвечаю. «С ума сошел! Сколько времени нужно, чтобы съесть гуляш?» — спрашивает он. «Десять минут».— «Вот десять минут и будешь говорить. А как только кто-нибудь положит вилку, я открою... нет, я велю подать пиво, а ты откроешь дискуссию!» — объявил секретарь.

Напечатали пригласительные билеты: «Приглашаем на большой гуляш из конины». Люди собрались, но не из-за темы, а ради гуляша. И я говорил, говорил, как мы решили. Люди слушали и ели. Насытились. И получилось нечто странное: после... наелась — люди чувствовали себя хорошо — дискуссия. На меня это произвело жутковатое впечатление: ведь тот человек исходил из реальных потребностей населения! Он трезво смотрел на вещи: голод соберет людей, а духовные потребности можно развивать, только утолив голод. И это взаимосвязано. Вот так я всегда и понимал понятие «воспитание». Вы знаете, в противоположность русскому, немецкое слово «erziehen» несет какой-то неприятный оттенок. «Erziehen» значит «заставлять кого-то что-то делать», потому что «ziehen» означает «тащить», вы понимаете? Заставлять делать то, чего не хочется. В ироническом плане можно истолковать и слово «Erziehung» — «воспитание», да так часто и бывает. Но вот русское «воспитывать» звучит прекрасно; ведь это значит «напитать», напитать кого-то так, чтобы он понял, верно? Не знаю, откуда он взял тогда эту премудрость, мой старший товарищ Вайлер, но это очень показательно... Вот, думал я, как нужно знать людей. Не исходить абстрактно из того, что нужно тебе и чего они не хотят, а потом заставлять их захотеть того же, что и ты, наоборот, надо исходить из их потребностей. В конце концов мы тогда приняли этот метод на вооружение, а поскольку жизнь постепенно улучшалась, от трапез можно было и отказаться. Тем временем рождалась вторая потребность — потребность спорить, разбираться, обращаться к новым проблемам...

Так это было — почти тридцать лет назад... Должно быть, все это вместе взятое формировало нас. В то время в нашем городе появился Маифред Векверт и предложил возглавить драмкружок. Тут и скрыта причина, почему я, собственно, с одной стороны, явно по воле случая, но, с другой стороны, и благодаря собственным усилиям, впоследствии оказался у Брехта. Мы организовали драмкружок Общества германо-советской дружбы, играли Горького и Чехова, потом — Брехта. Мы привезли сюда, в Берлин, на репетиционную сцену пьесу «Винтовки Тересы Каррар» Брехта — это было в 1951 году,— с успехом показали ее зрителям. Векверт и Эрих Франц сразу стали очень популярны, чуть ли не как народные артисты, только Франц — в прошлом он был токарь из Кётена — вскоре умер. Вот тогда завязались внутренние связи, непосредственные, яичные, соединившие меня именно с этим театром, с «Берлинер ансамбль». Позднее я тоже приехал в Берлин и первым делом заглянул как раз к Эриху Францу и Мвнфреду Векверту. Благодаря им попал на репетиции; так я познакомился с Брехтом и Вайгель, я ведь торчал в театре, репетиции шли открыто — так и начался, как говорится, второй этап. Но если вы позволите, я опять вернусь на несколько лет назад, в Кётен.

После Кётена я изучал в Галле славистику и потом, конечно, заговорил по-русски чуть

получше. Мы экзамены сдавали по русскому языку, все было хорошо, а потом я попал на работу в школу для взрослых и начал писать. Первую пьесу написал для драмкружка, я просто писал для самодеятельности, понимаете? Пьеса была о демилитаризации Западной Германии. Идея заключалась вот в чем: рабочие отказываются поддерживать власти. Пьесе была о ч е и ь плохая, но мы ее поставили и играли в ту пору со всей увлеченностью, как... Ну, ведь мы тоже были молоды... это... об этом вообще речи не было! Играли на заводах и так далее. Я вступил в ребочую группу молодых авторов в Галле, завел новые связи. Взгляды у нас были примерно одинаковые, ну и к тому же в смысле профессионального литературного опыта мы находились тоже примерно на одном уровне. Прекрасное было время! Потом меня послали в литературный институт. Годом позже туда пришел Макс Вальтер Шульц. Я был одним из первых... из первого выпуска института. Ребята мы были довольно разболтанные, учиться поначалу не желали, так как были уверены, что искусству научиться невозможно, а уж научиться писать тем более. Но добряк Альфред Курелла тем не менее придерживался другой позиции и оказался прав, в известном смысле. Писать научиться нельзя, но можно научиться многим другим полезным вещам и чуточку научиться организовывать свой талант. Позже, как правило, и сам к этому приходишь, но можно и подучиться. Общение с коллегами стимулирует, узнаешь, как они работают, что у них за идеи. Для меня школа оказалась хороша, для кого-то нет. Тут опять-таки ясно видно, насколько все это индивидуально и что начало и конец всего заключены — скажем так — в определенной политической позиции...

Знаете, в моей жизни этот путь не был простым, я не из рабочих, мне пришлось пробивать путь к рабочему классу ценой тяжелых духовных и физических усилий, ценой успехов и неудач. Но меня никогда не покидало чувство, что я шел праавильным путем и что борьба, которую я вел тогда, обогатила меня как личность. Я, конечно, знаю: это были политические решения. А политическне решения тогда приходилось приннмать совершенно независимо от темперамента, от прежних взглядов, от прежнего опыта... Да, повторю еще раз — от темперамента, то есть особенностей характера. Помню схватки, разгоревшиеся вокруг вашего XX съезда, для многих из нас это означало переосмысление ипи... новоосмысление, споры. Потом пятьдесят шестой год, Венгрия — тут для нас уже кое-что прояснилось; в наших кругах позиции заметно укрепились, но по мере развития событий, до начала мятежа, очень многие мои коллеги колебались и искали иных решений. Вы понимаете? Так ведь всегда бывает. Искали и третьего пути — или как его еще там называют,— которого в действительности не существует, хотя и поискам тоже конца не будет, верно? Мы можем и впредь сталкиваться с ситуациями, требующими выбора, и об этом надо помнить. Потому что... политическое решение должно быть выстрадано собственным опытом, отключаться от жизни нельзя ни на час. Мне, например, буквально о т в о е в ы в а т ь для себя истинный смысл квтегории «дисциплина» довелось. Но коллизии возникают вновь — и вновь решение дается «с бою». Полная недисциплиннрованность, по-моему, ужасна... хотя у слова «дисциплина» в немецком весьма скверное прошлое — вспомните хотя бы пруссачество и все с ним связанное, эти вещи застревают в головах так, что разбираться приходится подчас и в наши дни — в эпоху, когда мы, занятые построением социализма, уж было думали, что сии национальные качества забылись или утратились, лучше сказать — забылись...

Ну и две проигранные войны тоже—верно? — предыстория ведет в глубь веков... А теперь о н о вновь поднимает голову, нужно обращать на него внимание, так как — буде уж существует — о н о становится, таким образом, реальным фактором,— я имею в виду реваншистские идеи в ФРГ... Никак нельзя упустить все это из виду...

После литературного института работал редактором в издательстве литературы для художественной самодеятельности, и это было вполне логично. Лишь один момент заставлял меня задуматься: когда я увидел, что напечатанные мною пьесы не продаются, а в огромных количествах скапливаются в подвале. Вот тогда-то я и написал первое серьезное произведение. Нвзывалась эта пьеса «Констатация», была невелика по объему и, собственно, задумана как агитка, а получилось, по-моему, что-то более серьезное. В ней было настоящее, врывающееся в современность действие. Чуть подробнее? Один крестьянин, «драпанувший» с женой на Запад — да, так мы и говорили, и еще говорили: «смылся», «дал дёру», тогда бежали многие,— вернулся назад в ГДР, в свою деревню. Теперь нужно получить назад землю, а в дерввне ее тем временем слили воедино, и для крестьяниив остался лишь участок с краю. Деревенские начали у него допытываться, по какой, мол, причине удирал. Он сначала мялся и, только когда кое-кто начал насмехаться, сказал, что может и не скрывать правды: председатель его шантажировал, потому он и удрал. Председатель, конечно, против такого обвинения протестует. Начинается ссора, и тогда крестьяне говорят: «Ну-ка, покажите, как все было». И они играют сцену, где участвуют сам крестьянин, его жена и председатель. Оказывается, крестьянин покупал на черном рынке удобрения, а председатель агитировал его вступить в кооператив. Крестьянин отказывался. Когда председатель подслушал под окошком, что крестьянин покупал удобрения на

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

черном рынке, он и «взял его за горло»: «Ежели ты не вступишь, я на тебя сообщу куда следует». Каково? «Потому как ты совершил противозаконный акт». После этого они подрались, крестьянин решил, что его шантажируют, и уехал на Запад.

Тут уж рассорились соседи: положено ему было возомнить, что его шантажируют, или нет, или у самого рыльце в пушку. Кто-то и говорит: «Так мы правды не найдем, ведь каждый изображал самого себя», и вот что придумали: пусть они поменяются ролями. Крестьянин стал играть председателя, а председатель — крестьянина. Вот тут-то на сцене и возникает ситуация, на самом деле комическая. Пьесу мы играли, то есть в ГДР она тогда прошла почти во всех театрах, почти во всех самодеятельных коллективах и драмкружках и была самым настоящим оружием агитации среди крестьян. Мы ездили по деревням, как принято в Тюрингии, звонили в большой колокол и шли по деревенской улице, крестьяне выходили из домов, а мы им кричали, чтобы вечером они приходили на спектакль. В одной деревне все билеты раскупили, а в зале ни души. Мы удивились, стали выяснять. Оказалось, деревенский кулак — у них еще был такой — прослышал о пьесе, скупил билеты и сжег в печке. Мы, конечно, этим воспользовались; стали говорить: ваш, мол, односельчанин, купил билеты и приглашает всех на бесплатное представление. Здорово было, весело. Все время действовали, и, знаете, вы меня спросили о современной молодежи, так я к ней еще вернусь. А сейчас скажу, на нас это тоже влияло, формировало нас. Борьба — прятаться нельзя, борьба один на один, причем с полной отдачей,— и в таких условиях мы д о л ж н ы были выступать, а с этим нынешняя молодежь сталкивается у нас далеко не всегда. Потому и не всегда проявляет зрелость. Такова диалектика...

Вайгель посмотрела пьесу и тут же пригласила меня: «Напиши для меня роль». Я сразу согласился — не представлял себе всех трудностей. Но писать для Вайгель — редчайший шанс, попасть в театр Брехта — все равно что попасть на небо! Брехта я боготворил. Моя позиция — о ней я как раз писал в своей книжке о театре. В ней — вся моя великая любовь, принадлежащая ему И еще я подвожу итог тому, во что пытались превратить его наследие эпигоны... Свести счеты с «эпигонством» было для меня вопросом жизни. Вопросом творческой жизни. И для многих моих сверстников тоже, ибо для большинства из нас— я говорю о сорокатрех-, пяти-, пятидесятилетних — Брехт после сорок пятого года явился огромным художественным событием. Он тот, кто — не знаю, прувеличение это сегодня или нет,— принес нам понятие марксизма и диалектики в искусстве. И о существовании ГДР мысли его необычайно важны были. Он показывал это замечатвльно, невероятно доходчивым способом, так что люди перенимали не только уроки, но и все дело. Конечно, попав к нвму в театр, я первым делом коротко постригся: Брехт носил короткую стрижку. Первым делом. Черт возьми, почему-то всегда кажется, внешнее сходство сблизит с учителем больше, чем внутреннее, чем развитие внутренних качеств. Психологическая проблема, да?

Но что же было после «Фрау Флинц», после замечательных дней в «Берлинер ансамбль»? Было еще и время, когда мне пришлось ощутить некоторый упадок этого театра — тяжело, так тяжело для меня. словами не выразишь... Не могу сформулировать четче, никакой мысли не хватало выразить это, потому что все вставало на дыбы первд соэнанием: именно упадок. Потом я ушел на ДЕФА, впоследствии — после нескольких небольших работ — сотрудничал с Габриловичем и, наконец, оказался здесь, в Академии искусств.

Я... собственно, всегда был на политической работе. В «Берлинер ансамбль» довольно быстро оказался перед огромной ответственностью — как партийный секретарь. Пвртгруппа была сравнительно невелика — тридцать человек, а в театре работало триста. Стало быть, всего десять процентов. Но руководить ими было очень сложно. Вайгель — великая актриса, мы все ее почитали — не была членом нашей партии. Брехт умер. Я был комиссар-одиночка, как говорится. Я очень ценил Вайгвль. В принципе мы с ней всегда понимали друг друга, потому что в решающие моменты она мыслила, как политик, и вообще была личностью политической. Конечно, для театра она была вроде матери и так себя и вела...

А положение складывалось трудное, из-за открытой границы. У нас некоторые актеры жили тогда в Западном Берлине, а работали в Восточном и были убежденными антифашистами. А надо вам сказать, курс обмена валюты в то время был неустойчив — то пять к четырем, пять к шести и даже к восьми. А западноберлинский сенат менял актерам, проживавшим в Западном секторе, гонорар из расчета 1 к 1 (актеры получали гонорар нашей валютой). То есть практически они зарабатывали раз в пять больше. Это только один показатель экономической несправедливости, которую нам тогда через открытую грвницу навязывал противник. Непросто было, а мы то и дело ездили за рубеж, на Запад. В Париж на месяц. В ФРГ. Собственно, квждая поездка была политической схваткой, но при всей суровости мы вели их, и с удовольствием. Я уже писал о том, как «Берлинер ансамбль» гастролировал в ФРГ. Как раз в то время скончался наш первый президент Вильгельм Пик, известие это застало нас за границей. Не знаю, советским коллективам, гастролировавшим за рубежом, вероятно, знакомо такое чувство: будто сидишь на острове и связи с родиной почти нет, правда? Там мы тоже сражались, решения приходилось принимать самим — на свой страх и риск, причем хитро: где твердостью, где дружелюбием — и все для того, чтобы честь честью завершить турне...

Помню, выступали мы во Франкфурте, на юге страны. Как известно, большинство во Франкфурте до сих пор имеет СДПГ, а тогда, в 1961 году, большинство ее было еще весомее, помните? Так вот, стою я перед театром вместе с одним западногерманским коммунистом, по профессии кинооператором. Вдруг он говорит: «Гляди, вон фоторепортеры из крупных газет. Что-то сейчас будет». «А что именно?»— спрашиваю. «Не зря же они тут торчат»,—говорит. И действительно, перед самым началом спектакля — публика валом валит — вдруг какие-то люди начинают раздавать листовки. А в листовках написано — честное слово! — «Казаки идут!». (Смеется.) Надо же — театр Брехта и казаки — это ведь дореволюционное понятие, да? Печально знаменитые царские каратели. Мы, конечно, постарались заполучить листовки, даже заявили, что тоже хотим их распространять,— и набрали целые пачки. (Смеется.) Потом побежали в артистические уборные и прочитали актерам. Кое-кто засомневался. Исполнители начали нервничать. Но в таких ситуациях полная правда всегда самое лучшее. Именно сознание того, что самое главное теперь добиться, чтобы зрительный зал принял свое, классовое решение, что речь пойдет именно об этом,— все это зажгло спектакль. Это было потрясающе. Помню, как Эккерхард Шаль (он играл Улла), как Хильмар Тате (Генерал), как они заставили зрителей аплодировать, и на другой день пресса забила отбой. Вот это была схватка! При таком многому учишься... А потом мы возвратились домой...

Так подробно я рассказываю об этом потому, что вскоре пришло 13 августа, помните? Когда мы возвели в Берлине стену. В ту же ночь я обратился к военному командованию и сказал, что хочу выступить в печати и ищу человека, который вместе со мной обошел бы весь фронт. Такой человек нашелся: это был один из сотрудников армейской газеты, я его чуточку знал, но недостаточно. Мы отправились той же ночью, а потом изо дня в день, из ночи в ночь ходили к границе и расспрашивали солдат, есть ли происшествия, что они видели, просили рассказать и т. д. Я тогда собрал массу материала, представляете? И много существенного повидал. У нас был один чвловек, мастер говорить речи и петь, очень хороший; его снабдили машиной с радиостанцией и здоровенным громкоговорителем. А в Западном Берлине курсировал «фольксваген», громыхал через границу сектора — или государства — всякими провокационными лозунгами. Мы грохотали в ответ. Его и не слышно было. Это было настоящее классовое сражение. Перед населением мы потом извинились за поднятый шум, ведь начали-то не мы, верно? И это был аргумент, и аргумент справедливый. Когда сейчас мысленно возвращаешься к тем годам, они предстают как годы учения, вы понимаете? Поколение, которое в ГДР до 1961 года умело думать или начинало задумываться, собственно, принимало решение «за» или «против» этого государства. Я уверен: такое решение для себя и по-своему принял каждый. В сущности, возможны три ответа: один сказал «да», другой — я утрирую — купил себе за 20 пфеннигов билет на городскую надземку и очутился по ту сторону. Третий... третий, вероятно, колебался. Нерешительных наверняка было достаточно, и такие будут всегда. Я считаю, возможность принять решение очень важна — несмотря на тяжелое время, правда? Но все это дорого нам стоило и строительству ГДР мешало ужасно...

Мы обратили внимание, что после 13 августа здесь все вдруг заработало. Саботаж почти прекратился, прогулы на предприятиях пошли на убыль. Дело вот в чем: в Берлине многие рабочие раз в неделю ездили на западноберлинский плодовый рынок; на разгрузке фруктов они зарабатывали 50 западных марок, обменивали их и получали, таким образом, дополнительно к зарплате 200 марок. Этот-то день они и прогуливали на заводах, понимаете? Вот... работа была трудная, причем над аргументами нам пришлось попотеть. Партийные работники на предприятиях должны были в дискуссиях высказывать четкую точку зрения... Речь шла о безопасности не только для мира и Европы, но — как я теперь считаю — и о дальнейшем строительстве нашего государства...

Чтобы было понятнее, приведу еще пример. Мы тогда объявили производственную вахту, призвали рабочих отказаться от старых норм и принять новые. Политическую необходимость такого шага признают сначала лишь передовые рабочие, которые затем увлекают своим примером других. Так было всегда и в известном смысле всегда будет — это и понятно, правда?

В момент кризиса, классовых столкновений все получается почти как при стихийном бедствии: многие люди проявляют себя с наилучшей стороны: подъезжают машины, помогают, откуда-то появляются добровольные помощники и т. д. Но когда будни спокойны, когда социалистические будни спокойны... иной раз подстерегает опасность, что этот опыт как-то выветрится из сознания... оттого и трудно...

Борьба за сознание — не кратковременная кампания. Я постоянно стремлюсь сказать людям что-то то, что им, по-моему, никто другой не скажет — ни передовая статья, ни учебник. Я еще хорошо помню: в 1961 году вышла «Фрау Флинц» и в том же шестьдесят первом было 13 августа. Премьера «Фрау Флинц» состоялась 8 мая, в День освобождения от фашизма. Восьмое мая для меня — большой праздник, и я действительно думал о нем. А насчет пьесы мне и самому было неясно, не совсем ясно, почему я задумал ее так, а не иначе. И понял я это вдруг очень-очень отчетливо, когда до этого, до 13 августа, побывал в ФРГ, в Эрлангене, на Неделе

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

студенческой молодежи. Читаю у киоска газету и вижу заголовок: «Снова 1 000 беженцев из Восточной зоны». Быть может, цифру завысили, но, что ни говори, много было таких, кто переходил к ним. И я подумал: своей пьесой ты должен крикнуть людям, неуверенным, собирающимся туда: не уходите! Вот государство, где вы можете предвидеть и планировать будущее свое и своих детей, у вас есть социализм, а социализм — не шуточное предприятие. Со временем все люди поймут, какое, в сущности, великое дело тут делают, я уверен, зачастую д е л о — это гораздо больше того, чем люди заняты в данный момент. Факт известный, верно?

Мне кажется, опытом нельзя поделиться, опыт, в конечном счете, приобретается. Каждым самостоятельно, и необходимо создать возможности, чтобы каждый мог приобрести его. Ну, например, случается, и не так уж редко, что в нашем обществе — ведь, собственно, оно должно бы искоренять лицемерие — лицемерие прорывается и живет себе припеваючи; или безответственность — а ведь наше общество должно бы ее искоренять. Я мог бы привести не один пример из жизни школы, из области молодежного воспитания, из жизни двадцати-, тридцати-, сорокалетних... стало быть, из жизни всего нашего народа... Кое-кто у нас опасается лозунга: «Воспитывайте молодежь на противоречиях!» Я это опасение разделяю, если видеть о д н и противоречия... По-моему, молодежь нужно еще в школе знакомить с противоречиями, в противном случае существующие в жизни противоречия по ней же и ударят дубиной после окончания школы. Нужно учить молодежь мыслить исторически, а это далеко не так просто...

Нельзя позволять нашему делу работать вхолостую, верно?.. Надо в новых ситуациях искать новые возможности, новую тактику, нужно видеть новые сцепления политических причин и следствий, имея в виду единственную цель — повышать социалистическую сознательность, причем не как фразу из учебника, а закономерный итог жизненных наблюдений и анализа. Вы спрашиваете о средствах массовой информации, которыми идейный противник проникает к нам в ГДР. Они очень мощны. У них в Берлине три программы, у нас — две. Их в Берлине можно принимать даже с комнатной антенной. Ну, хорошо. Влияние Запада на наших граждан посредством телевидения, западногерманского телевидения — это явление знакомо нам с тех самых пор, как мы начали продавать телевизоры. Там всегда было минимум две программы, а теперь вот стало четыре, а то и пять. Я убедился, что население ГДР так или иначе с этим справилось. Приходится жить с этим. А раз приходится с этим жить, нужно выработать особую тактику. Я бы сказал, западное телевидение смотрят очень дифференцированно. Из собственного опыта (он, конечно, справедлив не для всего населения) знаю, что многие интеллигенты, да и другие тоже, каждый четверг смотрят многосерийные «детективы», передаваемые с Запада. Смотрят, разумеется, также вечерние политические передачи, последние известия и уж, разумеется, сравнивают — мне кажется, благодаря этому у наших людей выработался определенный критический подход, своего рода иммунитет. Хотя и не всегда осознанный. Раньше рабочие и буржуазную прессу на улицах читали и с ней тоже «справлялись». Так что нам не нужно, мне кажется, этого особенно бояться.

Но вот чего нельзя делать ни в коем случае, это плестись в хвосте. А в хвосте мы оказываемся не так уж редко. ФРГ в последнее время буквально ополчилась на нас идеологически. При этом вредно было бы недооценивать противника, правда? Он свое дело знает, а мы пока еще не всегда так умеем. Печально, например, когда в дни памятных событий — Испания, например, или что-нибудь еще — западные студии намеренно передают в эфир насыщенные программы. А у нас в эти дни иной раз вообще ничего особенного не показывают. Гибкость противника пока не так уж часто перекрывается ответной гибкостью с нашей стороны, хотя у нас, по-моему, масса превосходных журналистов, которые могли бы этим заняться. Есть прекрасные журналисты, не хуже западных. Такие вот дела, и нам нужно подумать над этим в целом. Думаю, в области идеологии от обороны мы должны решительно переходить к нападению. Мы не имеем права здесь отставать, проигрывать сражения...

Что же касается вашей просьбы высказаться насчет идей Хельсинки, мирного сосуществования, то должен заметить, что этим выдающимся завоеванием мы обязаны прежде всего Советскому Союзу. Противники разрядки реагируют на него весьма однозначно, правда? Реагируют и на решения наших партийных съездов создать базу для построения коммунизма. Им приходится реагировать так же, как реагировали тогда, когда мы строили социализм. Только время против них. С помощью военной силы они нам ничего не сделают, я твердо уверен. Мне кажется, наши политики ставят вопрос правильно. В области же идеологии они не успокоятся. К тому же вспоминаются разные обиды — ареал немецкого языка и все, что с этим связано. Мы в Европе надеемся — обоснованно надеемся — до конца дней своих жить в мире, а может, и до конца жизни всех других поколений...

Вот в этом круге проблем — о противоречивости явлений, о воспитании диалектического мышления, передаче ответственности... о передаче эстафеты — мои мысли творческие, общественные. Без ясности во всем этом сегодня художнику трудно видеть и осмыслять наши новые задачи, нашу главную цель — создание основ коммунизма,— которая подвергается таким ожесточенным нападкам, без ясности будет трудно понимать пружины этой борьбы и участвовать в ней. Битву не выиграть, если не понимаешь ее механизма. Рассказы тех,

кто при фашистах сидел в концлагерях, зачастую звучат так: ...мы, коммунисты, по сравнению с буржуазными радикалами или просто антифашистами имели одно преимущество — с помощью учения Маркса и Ленина мы могли проникнуть в суть вещей, бороться с открытыми глазами. И это, как и прежде, справедливо — и сейчас, и для всех времен. Если мы будем осознавать свои задачи только тогда, когда они дойдут до нас в форме вражеской идеологии, мы останемся перед ними безоружными. Поэтому нужно сделать все, чтобы видеть на годы вперед, и уже сегодня завести свои часы так, чтобы выиграть спор с буржуазной идеологией в сосуществовании, в мирном сосуществовании на Земле, где это идеологическое сражение является самым острым и самым напряженным из всех, что ей были известны...

Теперь на историю мы смотрим новыми глазами. И строим историю тоже по-новому. В моем телеромане, с которого мы начали разговор, я делаю попытку на свой лад взглянуть на историю Германии нашего столетия, проследить ее вплоть до пятидесятых годов, вплоть до основания ГДР и развития сотрудничества с СССР. Там есть обрамляющее повествование, я веду его с позиций сегодняшнего дня. Именно такое обрамляющее повествование обеспечивает тут исторический подход с самых что ни на есть современнейших позиций: с позиций интеграции социалистических государств и, прежде всего, с позиций дружбы с Советским Союзом...

Вот в таком плане я стараюсь осмыслить диалектику нашей истории, по-моему, именно с этих позиций можно воспроизвести ее со всеми противоречиями, т о л ь к о т а к и можно повествовать. Иначе непременно собьешься. Ну, кажется, мы подходим к концу наших рассуждений... если вам, Евгения, не захочется спросить меня о чем-нибудь еще. Надеюсь, хоть немного я прояснил важные вопросы, которые вы поставили передо мной...

В синем свете рефлексии

Франц Фюман

Занятие наше? Легким, я надеюсь, оно никогда не станет, думаю, что, как только оно кому-то покажется легким, литературе придет конец. Оно и должно быть трудным... Над чем тружусь сейчас? Написал несколько очерков о романтике Гофмане и заканчиваю еще одну работу — это будет маленькая книжечка. А потом я намерен написать нечто вроде продолжения этих вот самых «Двадцати двух дней», которые у вас в руках... Чувствую необходимость вернуться к тому, что поднято в этой книге, совсем по-другому, конечно...

Вот уже довольно долгое время, точнее, в течение трех лет я посещаю в Австрии медные рудники... Однажды меня пригласили в эти рудники что-нибудь почитать, а я в таких случаях всегда прошу — вроде бы это составляло часть гонорара,— чтобы мне показали все предприятие: меня это интересует. До того, как я впервые очутился под землей, впервые попал в ее недра, я даже не представлял себе, что, перевалив за пятьдесят, могу испытать еще такое сильное, такое первобытное впечатление как человек и как писатель. Но именно так было со мной — мне открылся какой-то фантастический ландшафт: медная жила, которую там разрабатывают, имеет в ширину восемнадцать сантиметров, а коридоры, по которым продвигаются горняки, высотою не более восьмидесяти, так что приходится ползти на коленях... Невероятно тяжелая работа, но самое захватывающее в этом диком ландшафте — запечатленная здесь история. Есть свидетельства, что еще три тысячи лет тому назад здесь искали золото. Медь выходит на поверхность земли, получается, что еще в каменном веке, то есть за много тысяч лет до нас, люди начали ее плавить, верно? И потом в этом руднике по сей день используется для отвода воды из штолен приспособление, возведенное еще во времена Венского конгресса, где-то около 1817 года. И еще: из рудника можно выйти наверх через отверстие, пробитое во времена чуть ли не доисторические... Все это произвело на меня огромное впечатление, в голову пришло множество сравнений с литературой, с нашей работой. Литература — это ведь тоже своего рода рудник, сейчас мы проходим дальше штрек, в котором орудовали еще романтики, а когда начали в него врубаться?.. Восемь тысяч лет назад здесь оставили люди свой след, и сегодня мы продолжаем двигаться по уже известному нам ходу, утверждая свое существование в истории. И подобно тому как богатство этого рудника составляет медная руда, образовавшаяся здесь за 50 миллионов лет до нас, так и каждый писатель носит в себе такой вот глубинный пласт. Это опыт, впечатления, которые в нем отложились, их он добывает из недр души, к ним то и дело возвращается... Вот почему и выдает на-гора писатель только нечто соответствующее своему опыту и склонностям, другого он дать не может...

Видимо, нынешним летом я приступлю к этой работе. По форме это будет нечто иное, чем венгерский дневник, нельзя же его повторить. Может быть, в виде писем — так, мне думается,— писем к какому-то человеку... Главная проблема?.. Собственно, там будут две главные проблемы — одну из них составляет все, что происходит подспудно, например, подспудные течения в истории, ведь что-то неуклонно

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

все время продолжает зреть, развиваться, верно? В то время как на поверхности, можно сказать, бушуют волны, в недрах истории действуют ее ведущие законы. Или, скажем, вопрос о сознании и подсознании, то есть подсознательные области человеческой души, и так далее. Это все вещи, которые меня очень интересуют. А второй комплекс проблем, к которым в последнее время чаще всего обращаюсь: позиция писателя, его функция в социалистическом обществе — многое еще тут предстоит прояснить, как мне кажется. Да, я хотел бы во всем этом разобраться, для того я и пишу свою книгу, чтобы уяснить эту проблему самому себе, понимаете?

Во всем, что я писал раньше, во всех моих книгах до «Двадцати двух дней» я в основном делился с читателем тем, что уже знал. Например, в молодости я приобрел печальный опыт: познал войну, прусскую военную машину, национал-социализм, так? А находясь в плену в Советском Союзе, имел возможность этот свой опыт продумать и «обработать». И вот по возвращении в Германию — а надо вам сказать, что я писателем быть не собирался, хотел изучать математику, да, математику... Но тут я начал писать, именно потому, что хотел поделиться с людьми тем, что знал. А с «Двадцати двух дней»... в моей работе, по сути дела, начался новый этап: я впервые написал книгу для того, чтобы уяснить что-то самому себе. И чтобы в процессе писания самому прийти к определенным результатам.

И вот оказалось, что это может быть интересно и для других, и то, что я хотел разведать для себя, я одновременно раскрывал и для людей, так? Вопрос о положении писателя в обществе сводится, по-моему, к назначению искусства и литературы: занимают ли они в обществе самостоятельное место или же выполняют только идеологические, пропагандистские функции... Конечно, искусство, литература, несомненно, имеют идеологическую сторону. Но, на мой взгляд, они не исчерпываются идеологией, художник, писатель создает нечто такое, что не поддается выражению в исчерпывающей идеологической формуле. Отсюда, разумеется, вытекают сложные проблемы, на этой почве возникает немало спорных представлений о том, что может и чего не может писатель... Над этими проблемами я и многие мои коллеги упорно думаем... От них я и хочу оттолкнуться в своей книге... Мой собственный опыт просто принуждает меня этим заняться.

Как родились «Двадцать два дня»?[1]... Когда я путешествую, то всегда делаю небольшие зарисовки, наброски в рабочем дневнике. Скажем, вижу определенный пейзаж и пытаюсь описать его совершенно точно. Облако, или дерево, или, допустим, какую-нибудь сценку... Таких этюдов у меня целый ящик. И вот моему издателю однажды вздумалось слегка порыться в моих ящиках, и он нашел эти заметки, которые я не публикую,— рассматриваю их вроде как упражнения «для беглости пальцев». Издатель счел их интересными и забавными и заключил со мной договор на небольшую книжку: он хотел, чтобы я привез ему из моей ближайшей поездки в Венгрию — я часто бываю в Венгрии — этакий занятный, легкий, непринужденный путевой дневник. Я должен был делать ежедневные дневниковые записи, и он представлял себе, что таким образом наберется страниц 50—60 свежих и непосредственных впечатлений. Потом он собирался снабдить книжку очень свободными иллюстрациями.

С этими замыслами и договором в кармане я и отправился в путь... Было это действительно незадолго до моего пятидесятилетия. И все более мучительной становилась мысль, которую я потом выразил в этой книге, что больше половины жизни, большая ее часть уже миновала. Знаете, у Луизы Конрад, которую я очень почитаю, есть такой рассказ — он называется «Теневая линия» — про то, что в жизни каждого из нас есть смутно обозначенная линия, и как только человек ее переступит, ему становится ясно, что большая часть сроке, отпущенного ему на земле, прошла и каждый день неуклонно приближает его к концу. И тогда задаешься вопросом: что получилось из твоей жизни, каковы были твои возможности, как ты их использовал — верно? — что из всего этого вышло. Эта мысль волновала меня все больше и больше и до такой степени вытеснила прежде поставленную задачу, первоначальный замысел, что получилось нечто совершенно другое.

Или еще пример, в связи с рудником... Дело обстояло так: я спустился на тысячу метров в глубь земли, это было захватывающе интересно, пахло приключением и так далее. Вначале там, под землей, оказываешься будто на вокзале — цементированные галереи, можно идти во весь рост или ехать в вагоне. И я все шел и шел, мне было очень интересно, и, наконец, очутился там, где вперед уже можно было продвигаться только ползком,—там отбивают медную руду, и тут я увидел совершенно фантастический ландшафт. Там работали шахтеры, у них на касках горят маленькие лампочки, иначе ни зги не видно, только их лампочки бросают во тьму снопы света... А когда бурят породу, то брызгают водой, чтобы улеглась пыль, и эти брызги сверкают в лучах света. Тогда я просто взялся рукой за каменную стену, там, внизу... ощущение, что ты первый прикасаешься к чему-то, что существует уже 50 миллионов лет, что ты первый человек, очутившийся в таком уголке природы, где до тебя еще не бывал никто...

В общем, все это вместе настолько захватило, что я понял: из этого надо что-то сделать. Это моя тема, мой «ландшафт», я уже затратил большие и напряженные усилия, «врубаясь» в него, — ведь забраться

[1] Книга-дневник «Двадцать два дня, или Полоанна жизни» вышла на русском языке в 1976 году в издательстве «Прогресс».

на такую глубину не так-то просто, верно? И я выговорил для себя такой статус, что мне разрешают добираться туда без сопровождающего; не одну неделю проработал там вместе с горняками — на равных, — а ведь это тоже совсем не просто, в моем возрасте, верно? И чем больше я вживался в обстановку, тем более значительной и многоплановой становилась моя тема. Это уже что-то такое, от чего, можно сказать, нельзя уклониться. Совершенно ясное и побуждающее к действию сознание: ты д о л ж е н теперь это сделать — вот, собственно с чего все начинается...

Или же возьмем проблемы сознания и подсознания, которыми, как я уже говорил, я очень интересуюсь. Я получил доступ в психиатрическую лечебницу и пошел туда, где помещаются самые тяжелые больные, — в палату, где лечат тяжелейшие случаи идиотизма — совершенно взрослых людей, по своему умственному развитию стоящих на уровне годовалого или полугодовалого ребенка. Помню, в тот день шел дождь, и все больные находились в палате, врач, который меня сопровождал, вошел первым. Дождь был сильный, я стряхнул воду с зонтика и, чуть замешкавшись, вошел следом. Меня мгновенно — я еще никогда не бывал в подобном заведении — окружили те самые люди, которых называют сумасшедшими, обитатели психиатрической лечебницы. Первое, что я обнаружил у них, — очень высокая потребность в общении, некоторые даже пытались меня обнять, один все время колотил кулаками воздух, у другого изо рта текла слюна... А я стоял посередине, и на секунду у меня в буквальном смысле слова потемнело в глазах, все пошло кругом. И тут я прямо-таки испытал потрясение... Я понял, что каждый из этих людей вместе с тем, по-своему как-то счастлив и на это счастье имеет право...

В нашем национальном прошлом есть ужасная глава, я имею в виду уничтожение так называемых «малоценных существ» при национал-социализме, — таких людей тогда убивали. И надо было однажды побывать в этом заведении, чтобы понять, что каждый человек имеет право жить и что эти люди тоже живут, что они могут быть по-своему счастливы и среди них может царить подобие братства. Эти люди очень, очень примитивны, но своего рода всевластное чувство братства у них существует. Вот, например, одному понадобилось сходить по нужде, он пытается расстегнуть штаны, но сам не может, тогда другой, поняв, что ему нужно, подходит и расстегивает. И первый помочился прямо тут же, в палате, лужу потом вытерли... А что касается того, кто помог, то было видно, что он счастлив, счастлив оттого, что смог помочь другому, понимаете? Это было огромное впечатление. И я совершенно точно знаю, что из этого получится рассказ, новелла. Вот, значит, что ей предшествовало...

Да, и здесь я опять-таки хочу сравнить, как обстояло дело раньше, когда я писал, чтобы поведать людям, то, что з н а ю, и как оно обстоит теперь. Раньше я, случалось, придумывал какую-то историю, потом бродил по городу или по лесу до тех пор, пока вся она целиком не складывалась у меня в голове — развитие действия и все остальное, вплоть до отдельных абзацев. Тогда я садился за стол и в один присест записывал весь рассказ. Я пишу очень... писание дается мне очень трудно. Я пишу очень беспомощно, первый вариант у меня совсем примитивный... Так, значит, я в один присест записывал рассказ, а потом принимался его править...

А теперь дело обстоит иначе: у меня есть только определенная отправная точка, и я вообще не знаю, что будет дальше. Определенная постановка проблемы и определенные представления о возможных вариантах — вот все, что у меня есть. И тогда я пишу первую фразу. Пишу от руки, потом переписываю на машинке, правлю, шлифую, переписываю снова, наклеиваю на первый вариант, снова правлю, снова наклеиваю — до тех пор, пока не возникнет ощущение, что первая фраза стоит как надо. Потом я таким же образом пишу вторую фразу. Потом читаю подряд первую и вторую фразы. Потом пишу третью и начинаю опять с первой — читаю первую, вторую и третью. И так далее. И вот, скажем на 28-й фразе я вдруг замечаю, что затронул тему, которая ничем не подготовлена. Значит, надо опять начинать сначала, с первой фразы. Невероятно трудный, мучительный процесс. Я работаю за письменным столом примерно по 12—13 часов в день, по воскресеньям — шесть часов, и если сложить вместе страницы всех моих книг и разделить на истекшие дни, то есть мои рабочие дни, то получится примерно по пол-, три четверти страницы в день. И я работаю над каждой вещью, над каждым рассказом или книгой до тех пор, пока у меня не появится ощущение, что своими поправками я уже не улучшаю, а только порчу. Вот тогда я перестаю править. Тогда я перестаю... и должен сказать, что из каждой работы выносишь впечатление, что она тебе не удалась. Цель лежит на такой высоте, на такой высокой вершине, что все чего удается добиться, всегда оказывается значительно ниже... Но это все-таки уже тот уровень, которого тебе дано достичь в пределах твоих возможностей... На этом этапе работа готова, и я ее сдаю...

И тогда, надо вам сказать, я почти теряю к ней интерес. Некоторые вещи потом читаю, когда приходится выступать в разных городах, ну а остальные — бывает, что когда книга выйдет, я ее и в руки не беру. И вот что плохо: я всегда завидую моим друзьям живописцам скульпторам, потому что у них есть о с я з а е м о е ощущение успеха... Ну вот, скажем, у моего друга-ваятеля готова скульптура, над которой он работал, допустим, год, в мастерскую к себе никого не пускал, жену даже не пускал, но тут он приглашает группу друзей. И вот они видят занавес, стоят пе-

---

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

ред этим занавесом, вдруг скульптор отдергивает занавес, и им открывается законченное произведение, и все восклицают: ах! А когда я заканчиваю книгу, то вижу перед собой, ну, скажем, как в случае с «Двадцатью двумя днями», 300 листов исписанной бумаги. Первое, что слышишь затем от людей: ах, боже мой, ну когда я буду все это читать? Это говорит моя редакторша, это говорит моя жена, и проходят недели, месяцы проходят, пока редактор берется за рукопись, и опять проходят недели и месяцы, прежде чем мы начинаем о ней говорить. А потом проходит, в лучшем случае, год, а если книгу иллюстрируют, то и два или три года, пока она выйдет в свет. К тому времени ты занят уже совершенно другим делом. И тебе это, по существу, уже довольно-таки безразлично. А так как у нас, к сожалению, практически не существует, на мой взгляд, критики, которую можно было бы принимать всерьез, то у меня даже тогда не возникает любопытства: что же напишут о моей книге? По сути дела, в тот момент, когда я завершил работу, я с ней покончил... Случаются ли все же «праздничные» ощущения в процессе или итоге творчества? Да, это, конечно, бывает. Бывает, но очень редко — редко возникает такое чувство, что работа тебе удалась. Кроме того, бывают счастливые или сулящие успех встречи с людьми, для которых написанное тобой что-то значит, и они тебе об этом сообщают.

Я много пишу и для детей, так что получаю от ребят чудесные письма. Или вот, например: когда-то я пересказал для детей пьесы Шекспира. Пересказал шекспировские комедии-сказки — «Бурю», «Сон в летнюю ночь», «Зимнюю сказку»... Спустя много лет получил приглашение в один маленький театр в нашей республике от заведующей литературной частью, которая поставила там шекспировскую «Зимнюю сказку», и она, кроме того, еще писала, что благодаря мне нашла свое призвание: она прочла эти сказки, и у нее возникло настойчивое желание посмотреть в театре какую-нибудь пьесу Шекспира, к чему она без предварительного знакомства со сказками, быть может, и не стремилась бы. Стала интересоваться театром, не пропускала ни одного спектакля и твердо решила, что театр — ее призвание. Конечно, такие письма делают писателя счастливым. Так что это бывает тоже. Но такие моменты отмеряются скупо, счастье — состояние преходящее, да иным оно, наверно, и не может быть... Наблюдения о восприятии читателей? Об этом я мало что могу сказать вам — ведь социологическими исследованиями я не занимаюсь... Вообще, я бы сказал, что у меня, у того, что я пишу, круг читателей сравнительно небольшой. «Двадцать два дня» — исключение. Здесь у меня 20 000 экземпляров, это очень, очень много, у других моих книг число читателей меньше. У меня сравнительно небольшая читательская аудитория, правда, очень верная мне и довольно постоянная. О каких-то более значительных своих наблюдениях, пожалуй, ничего сказать не могу... Разве что — опять же — о наблюдениях на руднике... У меня там есть договоренность, что пока я нахожусь у них, я безвозмездно занимаюсь культурной работой, ведь дирекции предприятия мое содержание стоит и денег, и забот, и так далее. За это я могу там делать, что хочу. Я знаю, что, конечно, не у каждого человека можно обнаружить эстетические интересы. По-моему, вряд ли разумно ставить себе цель воспитать в каждом человеке читателя Толстого. Это невозможно, у многих людей интересы ограничиваются футболом, телевизором, пивной, детьми и так далее. Правда, и с этой стороны можно найти подход, можно...

Хочу сказать другое: с нашей читающей публикой возникают известные трудности, потому что для нее понятие реалистической литературы в значительной мере совпадает с представлением о литературе натуралистической. Вот, например, у меня есть рассказ про человека, который ставил себя выше народа; рассказ кончается тем, что он едет по улице в машине, и машина вдруг отделяется от мостовой, летит по воздуху и через открытое окно влетает в административное здание... Так что с ним дело происходит не как с другими смертными, он возносится в высшие сферы — существует такое выражение. И тут мне пришлось открыть для себя, что для нашей публики воспринять это невероятно трудно, она этого не понимает и задает вопросы типа: «Но ведь автомобиль не может летать по воздуху, как это возможно технически?» — и тому подобное. То есть происходят элементарнейшие недоразумения, вызванные тем, что эти читатели воспитаны в совершенно определенном, очень узком представлении о реализме. Думаю, что публика, для которой Гоголь является массовым чтением, вряд ли стала бы задавать подобные вопросы. Но у нашей публики, надо сказать, Гофман не входит пока в обязательный обиход культуры...

Мои пристрастия в советской литературе? К сожалению, я не имею возможности пристально следить за ней. Во-первых, потому, что не говорю по-русски, это я воспринимаю как очень большой недостаток, в основном я вынужден обходиться немецким, кое-как, через пятое на десятое, говорю по-чешски и немножко понимаю по-французски, но в основном заключен в тюрьму немецкого языка, что, как я уже говорил, для меня очень тягостно. Так что я вынужден довольствоваться переводами, а я не думаю, что мы получаем в переводах все важное и важнейшее из того, что создается советской литературой, и что мы получаем это быстро. Например, скоро выйдет книга Бакланова, которую я очень жду. Да мне просто неудобно повторять общие места, — потому что это вам скажет любой гражданин ГДР, — как у нас любят и много читают Чингиза Айтматова, верно? Да, это вам, наверное, скажет любой... Я очень люблю Быкова, одна из моих любимых книг — это вам тоже ска-

жут многие — «Мастер и Маргарита» Булгакова. Но вообще чтение — ужасная проблема для писателя... Когда я пишу рассказ или что-либо еще, я не могу держать в голове чужие образы, я так вживаюсь в то, что делаю сам, что ничего чужого мне не нужно, я едва справляюсь со своим... К этому еще надо прибавить, что важнейшая часть моей жизни прошла при фашизме, и рос я в состоянии ужасающего невежества и варварства. В юные годы я не получил очень многого из того, что входит в обычный образовательный минимум. Вместо этого поглощал чудовищное количество всевозможной дряни, бульварщины — антиобразования, антикультуры и антилитературы, так что у меня есть большая потребность наверстать упущенное. И я делаю так: закончив какую-нибудь работу, устраиваю себе перерыв, скажем, недели на две, и в это время ничем не занимаюсь, а только стараюсь прочесть произведения какого-либо одного писателя, по возможности, все...

Ну и, наконец, «как роет землю крот истории»... Размежевание с фашизмом продолжается до сих пор, верно? Это мое прошлое, это размежевание с самим собой, это единство перемены, которое можно представить себе мысленно, но невозможно постичь до конца... Я действительно переменился, это несомненно. Но и в самом изменении есть момент непрерывности. Ведь я и тот самый человек, который когда-то появился на свет, лежал в колыбели, не так ли? Тот, кто позже стал нацистом и солдатом гитлеровского вермахта. И этого из моей жизни не вытравишь и не вычеркнешь — ведь это не какой-то другой человек, а все-таки тоже я, верно?

Ну, конечно, человек меняется, говорят, что каждые семь лет все клетки человеческого тела заменяются новыми, и тем не менее я — это все-таки я, тот самый человек, который существовал и семь лет назад, а не какой-то другой, пусть у меня даже все клетки новые, все же я — это я. В процессе развития и перемен тоже есть непрерывность и преемственность, человек все время оглядывается на свое прошлое, все время оглядывается на свое детство и вместе с тем все время видит у себя и новые черты. И периоды жизни, которые миновали совсем недавно, с более далекого расстояния тоже кажутся совсем иными и совсем по-иному связанными с предыдущим. Так что этот процесс никогда не кончается, а события, происходящие в мире, события эти каждый раз снова пробуждают воспоминания. Должен признаться, не очень я верю, что человек радикально меняется в основной своей сущности. Я верю, что возможен такой общественный строй, который позволит человеку развиться, и надеюсь, что социализм станет таким общественным строем, при котором человек сможет развиваться свободно. Я верю, что существует и такой общественный строй, где человек чувствует себя подавленным и ущемленным.

Но ведь вот сегодня мы читаем Эсхила и в его героях узнаем себя, читаем Софокла и обнаруживаем у него наши собственные проблемы... Думаю, что во все времена человеку достается примерно одна и та же мера счастья и страдания, что, если присмотреться, ему присущи черты, способные сделать его счастливым и сильным, но что у него есть и другие стороны — темные, мрачные, варварские, и эти разные стороны всегда, при всяком общественном строе будут находиться в противоречии...

А дети, дети, которые играют, они, я полагаю, везде примерно одни и те же. Если им, конечно, не причиняют слишком больших страданий, не ставят их в такие условия, когда им приходится бороться за существование, приходится рыться в помойках, чтобы не умереть с голоду, — тогда они, конечно, будут страдать от истощения, и такое истощение возможно также в сфере духовной и нравственной. Но я все же думаю, что дети всего мира схожи в одном — жизнь у них еще впереди, они ее только начинают, и потому они во многом гораздо более наивные, цельные, жизнерадостные, непосредственные, естественные, если хотите, и более человечные, чем люди старших поколений, уже испытавшие в своей жизни много тяжелого и сурового, а от сурового и тяжелого в жизни никто не избавлен — не будут избавлены, как я полагаю, и сегодняшние дети... Вот видите, чисто оптимистической перспективы вроде бы не получается у меня, должен признаться откровенно, безудержный оптимизм — не моя стихия...

Из моего окошка

Юрий Брезан

О моих зарубежных поездках и их, как вы говорите, «последствиях»? За последние три-четыре года я дважды побывал в Советском Союзе, несколько раз в ЧССР, был в Югославии и в капиталистических странах — Австрии и ФРГ. Когда я говорю, что поездки в Москву были для меня истинной радостью, — это не просто вежливая фраза, потому что у меня там хорошие друзья, которых я, к сожалению, редко вижу, а когда хороших друзей видишь редко, всегда радуешься встрече. Но об этом мы еще поговорим. Прочие поездки, собственно, имели мало общего с моей профессией и моими коллегами по профессии; только в Западной Германии я прочел несколько лекций в Гёттингене — они были для меня весьма

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ БРЕМЯ...

интересными, но не принесли особых неожиданностей. Своих соседей, Польшу и Чехословакию, я знаю так хорошо, что во время такой поездки обычно не происходит особенных событий. Югославию я посетил впервые после того, как тридцать лет назад, в 1947 году, принимал там участие в строительстве Шоссе Молодежи Мира; конечно, Югославия очень изменилась, но я был там летом, когда большинство писателей разъехалось, университеты были закрыты, так что повидаться с литераторами почти не удалось.

Мне кажется, когда достигаешь определенного возраста и имеешь определенный опыт, вообще больше не происходит уже чего-либо особенно неожиданного... И образ Австрии — ни в позитивном, ни в негативном смысле — не раскрыл для меня каких-то новых вещей, которые долгое время занимали бы... Чаще всего такие поездки оставляют — как бы это назвать — некий «крюк», что ли, который продолжает висеть в сознании, — или в подсознании? — но так, что до поры его вроде бы никак не ощущаешь... Спустя много лет он вдруг даст о себе знать в какой-нибудь работе: какой-то эпизод, какой-нибудь человек, которого видел... Характерная для этой страны небольшая история... это все так, это верно. Хотя вообще, повторяю, с опытом лет все меньше оставляешь места эмоциям... Скорее побеждает ratio. Когда ты молод, многое делаешь одновременно, переживания оцениваешь не по их «пригодности», а по тому, как они приходят. Позже, потом — я во всяком случае — научился так с ними обращаться, что просто их не воспринимаю или, может быть, где-то запираю — то, что меня в данный момент не интересует, что не затрагивает моей теперешней работы, каким-то образом поглощается, где-то записывается на пленку, на внутреннюю пленку. Теперь я, так сказать, не позволяю входящим сигналам, прямо меня не занимающим в данный момент, отвлекать себя...

Конечно, все это застревает в сознании, но действительную ценность их определяешь только потом. Случается, память удерживает какие-то совершенно неважные вещи, а очень важные упускает, — это странно, но это так... И кроме того, человеческая память имеет еще одно преимущество перед возможным компьютером — она постепенно стирает плохое и сохраняет только хорошее, что человеку помогает в жизни, что доставляет ему удовольствие.

Но вот когда я думаю, например, о моей первой поездке в Советский Союз — это было в 1953 году в мае, мы тогда пробыли там шесть недель, — это были эмоции совсем другого масштаба.

Вспоминаю, например, два эпизода своей первой поездки в СССР. Два небольших эпизода... Мы ехали тогда от Сталинграда через канал Волго-Дон в Ростов. Была прекрасная погода, середина мая, и мы сидели на палубе, и среди нас был один фанатичный шахматист — наш поэт Пауль Винс. И фанатичный шахматист учуял другого фанатичного шахматиста. И очень быстро оказалось, что Пауль Винс и один лейтенант Советской Армии, я помню, он был танкист, сидели за столиком и играли в шахматы. Мы все смотрели, в том числе руководитель нашей делегации Куба. Пауль Винс выиграл первую партию, и Куба был этим недоволен. Он тихо ворчал. Лейтенант предложил реванш. Тогда Куба отвел Винса в сторону и сказал, что он не может здесь ставить на карту немецко-советскую дружбу, если Винс, например, выиграет. Пауль Винс был согласен с этим и обещал больше не выигрывать, но в ходе игры он забыл о своем благом намерении и снова поставил лейтенанту мат. И когда они в азарте игры стали в третий раз расставлять фигуры и играть, и когда спустя некоторое время Куба, который не очень разбирался в шахматах, все-таки заметил, что фигур у лейтенанта становится все меньше и меньше, он как мог незаметно толкнул стол, чтобы не получилось третьей победы немецкого писателя над советским лейтенантом-танкистом. Потом он очень ругал Пауля Винса...

Другое воспоминание связано со Сталинградом. Мы были на заводе «Красный Октябрь» и оставались там весь обеденный перерыв. Незадолго до этого, за день до этого, мы подымались на Мамаев курган. Тогда этот холм еще был полон осколков, осколков гранат разного калибра, и на нем росла только полынь. Этот холм остался у меня в памяти как... собственно, как образ Сталинграда, непобежденного Сталинграда... И я взял себе с Мамаева кургана один из этих осколков, храню его и по сей день, многое связывает меня с ним и главное, вероятно, сознание, что в борьбе за этот холм, кроме всего прочего, судьба мира, судьба мира решалась... Во всяком случае, этот осколок был у меня в кармане, когда я на следующий день со своими друзьями и товарищами пришел на завод и во время перерыва мы вышли из цеха, а там между двумя цехами была устроена маленькая волейбольная площадка — молодые рабочие играли в волейбол. Кто-то предложил сыграть — команда немецких писателей против команды рабочих завода. Мы играли, мы были в среднем на десять лет старше, чем они, и все — нетренированные волейболисты, у нас тогда почти не играли в волейбол. Разумеется, команда сталелитейного была много сильнее нас. И когда мы меняли поля — я ведь хорошо понимаю по-русски, — один старый рабочий сказал молодому, проходя мимо: «Не надо играть на выигрыш, в конце концов это наши гости»... Сентенций я произносить не буду, но в моей памяти эта история сцеплена скорее почему-то с осколком Мамаева кургана, чем с шахматным поединком...

И вообще, я думаю, что из моих книг, из моей литературы, из моей литературной продукции легко понять, что я не люблю сентенций, просто стараюсь нарисовать эпизод насколько возможно точно, чтобы читатель сам извлек из этого поучение на

тему, которую мы обсуждаем с вами сегодня с разных сторон, — движение времени...

Вы спрашиваете, в чем ощущаю я его наиболее отчетливо... Я принадлежу к очень малому народу, который до 1945 года подвергался национальному и, в сильной степени, социальному угнетению... Столетиями моим землякам прививали комплекс неполноценности. Есть... есть две вещи, которые кажутся мне самыми важными в этом смысле, — они связаны одна с другой, зависят одна от другой, это прежде всего перемены в сознании наших немецких сограждан. Они были не только Гитлером, но и предшествующими, может быть, двумя столетиями, пожалуй, со времен Пруссии и Фридриха Великого, воспитаны в чувстве превосходства над всеми славянами. И это сидело очень глубоко — и я считаю это одним из самых крупных достижений нашей республики — то, что удалось в немыслимо короткий срок в значительной степени удалить этот националистический образ мыслей из голов и из сердец людей.

В чем это проявляется? Прежде всего, в том, как просто, оказывается, питать дружеские чувства, например, к русскому — это тот, кто за нас, это большой друг. И, конечно, братские отношения между немцами, которые живут здесь рядом с нами, и сорбами — это очень большое, очень большое достижение, на мой взгляд. И этому соответствует то, что в наших деревнях можно видеть каждый день, а именно: чувство неполноценности полностью ушло, люди освобождены, они совершенно иные, совершенно свободны в мыслях, в своем труде, в отношениях с другими людьми. Я был свидетелем того, как крестьяне и рабочие говорили с представителями нашего государства или нашей партии, с самыми высокими представителями, говорили, так сказать, не снимая шапки... не сгибаясь в три погибели, а на равных, даже уверенно — да, этот человек занимает высокий пост и делает важное дело, но он — человек, и я — человек. И это, конечно, не ограничивается только этой областью, но, как мне кажется, так обстоит дело во всей республике. Это «я — человек» и «ты — человек», «у тебя — более высокая ответственность, но я пытаюсь справиться с моей, меньшей ответственностью» — это кажется мне самым замечательным свидетельством рождения совершенно нового сознания. Это чувство ответственности за весь мир, может быть, и есть то, что мы называем интернациональной солидарностью, это — сознание, что если где-нибудь на свете что-нибудь произошло, то это касается и нас — это тоже нечто совсем новое, это совсем не так, как бывало некогда во время пасхальной прогулки: встретятся на пасху два обывателя, и один говорит другому: «Турки — какое нам до них дело, они там друг с другом передрались, в нам-то что?» Это тогда никого не касалось, а сегодня все касается каждого — где бы что ни случилось...

Как это все происходило со мной лично? Видите ли, мир изменяется, все вокруг изменяется; конечно, со времен детства до сегодняшнего дня очень многое изменилось и в моих собственных ощущениях — или в видах ощущений,— и в рациональных оценках. Я был, вероятно, тем, кого называют мечтателем, моя любимая игра была —с самодельными корабликами на пруду, видимо, как-то заявляла о себе тяга заглянуть в неведомое... Я был очень мягким. Я тогда, собственно, таким и оставался, скажем, лет в 18—19 я был еще сравнительно мягок, хотя уже имел опыт жестких столкновений с фашизмом. Крушение первой большой любви, например, погрузило меня в смертельную меланхолию. Потом меня арестовали, а когда выпустили из тюрьмы — я стал другим человеком: научился подавлять эмоции и, пока шли годы, учился этому все больше и больше — не поддаваться эмоциям, не выпускать их из-под контроля. Думаю, я научился этому в какой-то степени в те годы, до 1945-го... Это был наверняка определенный взрыв с моим первоначальным характером. Другой пример... может быть, лежит в похожей плоскости: в молодости я очень любил Рильке. И вот в 1949 году появилось в первый раз у нас издание его стихов. Мне удалось его достать, и я совершенно счастливый пришел домой и сказал жене: сегодня вечером состоится лекция о Рильке. Начал листать книгу и вдруг... увидел, что я утратил свою страсть — не трогал меня больше почему-то Рильке... Восхищает по сей день его талант стилиста, я нахожу его сонеты великолепными, только... не трогают они меня, и все. Это была потеря вообще — не только к поэзии Рильке, но, возможно, я тогда вообще, в известной мере, утратил свою любовь к поэзии или, по меньшей мере, запер ее в сейф, откуда время от времени извлекаю... Очень немного осталось стихов, которые по-настоящему волнуют... Назвать хоть одно? Ну вот, «В последний час» и «Родина, небо, о голубое небо» Бехера, «Прометей» Гёте, молитва Гретхен «Neige, o, Schmerzensreiche»[1] и несколько совсем коротких... Вспомнил еще, Вапцарова! — «Перед смертью», оно тоже относится сюда. Возможно, следовательно, все это одно с другим связано. Прежде я совершенно иначе относился к поэзии. Правда, должен сказать, что сам редко писал стихи, начал я не со стихов. Я писал стихи только, так сказать, в начале и в конце каждой большой любви. По одному стихотворению.

Возможно, вот еще что: прежде моя родина, земля сорбов, казалась мне страшно маленькой и страшно узкой, и я все хотел вырваться из этой тесноты в широкий мир.

[1] «Скорбя, страдая, о мать святая...» *(нем.)*.

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

Возможно, что после конца войны, то есть со времени возвращения на родину, это переменилось и все больше изменялось за прошедшие годы. И произошло прямо противоположное, обратное развитие — моя тесная родина все больше приобретала широту, кажется, весь мир смог бы быть помещен, привнесен в это тесное пространство. Не знаю, понятно ли, ясно ли это вам, но это очень, очень важный процесс, который длился, вероятно, долго и, возможно, еще продолжается... Но выплеском этого развития совершенно наверняка является «Крабат» — последняя моя книга... «Крабат, или Изменение мира» только недавно вышел в свет. Как его приняли? Мне было очень интересно, как его примут читатели, а также критика... Пожалуй, надежды меня не обманули, критика приняла его очень хорошо, и читатели, кажется, тоже. Насколько мне известно. Конечно, я заметил и то, что критика не поняла кое-чего, как мне бы хотелось. Есть недоразумения, непонимание. Конечно, эти недоразумения не такие уж страшные. Следовательно, нет причин быть недовольным критикой, из-за «Крабата» я не затеял бы с ней «холодной войны»...

Что пишут в ФРГ? Весь мой опыт подтверждает, что в ФРГ обращают внимание прежде всего на книги или почти исключительно на наши книги, в которых... в которых надеются обнаружить «инакомыслие», на книги, которые что-то критикуют. Я, например, получил маленькую, совсем маленькую рецензию на «Крабата», которая не называет книгу плохой, но заинтересовал их лишь пассаж, который, по мнению рецензента, является критикой наших условий. Они, следовательно, рассматривают нашу литературу почти исключительно или вообще исключительно с точки зрения того, насколько ее можно использовать против нас. Этот момент — предмет особых наших забот, постоянно и меня занимающих...

Какое из моих произведений мне дороже всего? Мне кажется, что любишь те книги, которые дались тебе труднее, а может быть, те, которые написал только что. Для меня и то, и другое соединилось в «Крабате». Эту книгу... я люблю еще и за то, что она не печальная и не веселая, а печальная и веселая и... по-моему, такая пестрая, как пестра жизнь. В «Крабете» много юмора, вообще юмор — близкая мне стихия...

Какие из моих вещей особенно отмечают читатели? Читатели любят — это я замечаю прежде всего, когда читаю свои вещи в аудитории, — довольно ранний мой рассказ «Сотворение мира», говорят, он доставляет людям удовольствие. Чуть-чуть расскажу вам о нем, это связано с нашей беседой. Значит, так: происходит сотворение мира. Господь раздает богатства мира. И Крабат при сем присутствует, и его вечный враг Вольф Райссенберг, и Крабет оказывается бедным, он получает только корову и кошку, а Вольф получает лошадь, и собаку, и все поля, леса и луга... Сорбы — когда мой отец еще был жив и у него был скот, или мой дед, когда я был ребенком, — мы обычно пахали на коровах. Но иногда отец или дед одалживали еще и лошадь. И в те времена я воспринимал как само собой разумеющееся, что лошади имели немецкие клички, к ним всегда обращались по-немецки. Зато коровы имели сорбские клички, и с коровами говорили по-сорбски. И точно так же я считал само собою разумеющимся, что у всех собак были немецкие клички и к ним обращались исключительно по-немецки. Такое положение вещей я всегда считал нормальным, пока несколько лет назад не начал задумываться над тем, почему, собственно, это так. А дело тут очень простое: лошадь и собака, это были господские животные, они принадлежали господам. А господин, граф, помещик всегда был немец, и поэтому с его животными надо было всегда говорить по-немецки. А сорбы не имели права держать собаку, они были крестьяне. Но кошку и корову они держали, и кошка и корова были их животными. И это различие между господином и крепостным уже в отношении к животным заставило меня написать этот рассказ, эту историю сотворения мира. Вот в чем была причина...

Что же касается особенностей работы в жанре юмора, очевидно, первая заповедь: не смейся сам, когда пишешь, — иначе юмора не получится. Точно так же, как нельзя написать хорошую трагическую историю, если сам при этом проливаешь слезы. В обоих случаях нужно сохранять трезвый контроль разума в процессе творчества. К примеру: говорят, что «Девочка Трикс и вол Эсау», у вас ее знают, из всех моих книг — самая веселая, могу добавить, что написал я ее в очень, очень тяжелое для меня время: в то самое время, когда я написал примерно треть книги, умерла моя сестра, которую я очень любил. А я должен был закончить книгу и закончил ее, хотя я тогда очень сильно горевал. Это был личный мой траур, мое личное горе из-за личного события, и это лежит в другой плоскости, я думаю, чем оптимизм в отношении... в отношении жизни вообще. Можно носить траур... личный траур, испытывать печаль и при этом не стать пессимистом. Быть печальным всю жизнь... и при этом не считать всю жизнь печальной. Похоже, что это так и есть, поэтому, хотя свою жизнь я менее всего, конечно, мог бы назвать легкой, я всегда был оптимистом. Я думаю, я был даже неисправимым оптимистом.

Проблемы в «Крабате»? Одна — специальная — о возможностях и границах пользы научных исследований в области биогенетики. Многих читателей комплекс этот задел за живое, судя по их реакции, по беседам со мной. Но для сорбской интеллигенции, пожалуй, другой вопрос играет еще большую роль — тот самый, который занимал меня, можно сказать, всегда — задолго до того, как я вообще начал думать о книге. Я имею в виду сам статус су-

ществования малого народа, его языка, культуры, его потенций в будущем.

В прошлом, вероятно, малые народы были склонны с недоверием воспринимать декларации по поводу того, что каждая, даже самая маленькая, культура в состоянии обогатить общую культуру человечества. Считать, что чаще всего их произносят представители других народов, у которых на самом деле нет таких забот. Однако сегодня, я думаю, никто в этом больше не сомневается. Но практическая сторона того, как мы будем устраивать мир, где живут друг с другом столько различных народов, чтобы никакие народы не стремились извлечь выгоду за счет других, — остается чрезвычайно важной проблемой для будущего, это сегодня вопрос жизни и смерти в развитии африканских государств, вообще национальных государств, вопрос, который в отношениях между социалистическими странами играет все большую роль. Естественно, он оказывается в моей книге главным предметом интереса для сорбских читателей...

И это при том, что «Крабат» — книга, которая не очень легко читается, многие признавались мне, что им пришлось перечитать ее несколько раз, по меньшей мере два, чтобы потом суметь высказать суждение о ней. Помню, когда «Крабат» вышел из печати, швейцар берлинской гостиницы, где я останавливаюсь обычно, сказал мне: вы должны мне эту книгу подарить. Я ответил, что это трудная книга, и в ответ на его «тогда лучше не надо» заявил ему: «Нет уж, теперь вам придется ее получить. Я писал ее шесть лет, так что у вас есть шесть месяцев, чтобы ее прочесть». И я подарил ему ее, а через некоторое время, когда я снова приехал, он издалека заметил меня, подошел и говорит: «Я уже прочел первую главу, но это и в самом деле трудная книга». И тогда я ему опять говорю: «Ну, хорошо. Но я же сделал ее ровно столько легкой, насколько это было возможным. Легче ее сделать я не мог. Можете себе представить, если вам трудно ее читать, как трудно мне было ее писать».

Конечно, «Крабат» — самая трудная из появившихся до сих пор книг на сорбском языке. Мне в самом деле было невероятно сложно в каждом пассаже выразить то, что я хотел. Передать тот язык, который ведь, собственно, был чисто крестьянским языком. А крестьянские языки ограничены конкретным словарем, он дает мало возможностей для передачи реалий, так сказать, внутренней, духовной сферы. И тонкие человеческие отношения — для них в крестьянском языке мало слов, как и для философских размышлений, например. Наша прежняя старая проза почти исключительно ограничивалась ощутимо конкретными сферами крестьянского или деревенского обихода, мои первые рассказы тоже были написаны в этой традиции.

Еще о том, как преобразовало время мою родину. Я хочу ответить на этот вопрос, собственно, только одним образом, одной картинкой. Школа, куда я ходил ребенком, еще стоит. В этой школе тогда было... восемь окон. Четыре окна для детей, и четыре окна для квартиры учителя. Сегодня в той же самой школе 50 или 60 окон, и все окна — для детей. Их интересуют новые реалии в такой сфере жизни, как любовь, например... У нас это чувство всегда размещалось на орбите забот о хлебе насущном. А сегодня этой заботы больше не существует...

Правда, я вовсе не думаю, что мы имеем право нынешние проблемы любви молодых, скажем, считать менее серьезными или менее трудными, чем проблемы прежних поколений. Потому что каждый раз... везде и для всех годится смешная поговорка: если где болит, всегда болит, больше всего там, где болит... И трудности — старые и новые трудности — нельзя взвешивать, сравнивая друг с другом. Любовь сегодня имеет другие интонации, не такие, как раньше. И это одна из сторон, которые важно видеть. Я сам во всех своих книгах большое место отвожу любви. И потому, что это — одна из самых прекрасных вещей в человеческой жизни вообще, и потому, во-вторых, что человека нельзя так четко изобразить ни в какой другой коллизии, как, скажем, смертельной опасности или любви. Здесь он честнее всего — перед партнером и перед самим собой...

Проблема родины... Для меня, собственно, все годы она была одной из центральных. Еще юношей я осознал, что у меня нет... нет родины. И это было страшное, угнетавшее меня чувство. Я жил в государстве, о котором точно знал, что оно никаким образом не является моим государством, моей родиной. В социальном и в национальном отношении. И поэтому для меня с самого начала поиски родины... так сказать, передвинулись в центр мироздания. Если бы эта родина нашлась, тогда можно было бы строить осмысленную жизнь для самого себя. Есть у меня одно стихотворение, которое так и называется «Как я нашел мою родину». Его, кстати, Лее Гинзбург перевел на русский язык... Да, пожалуй, и в «Крабате» она центральная проблема, только ставится в ином масштабе, на философском уровне.

А что касается моих нынешних ощущений на этот счет, то, во-первых, совершенно однозначно можно констатировать, что государство, в котором я сейчас живу, — мое государство. Совершенно безусловно это, и в этом смысле здесь нет больше проблемы. Это уже вошедшее в плоть ощущение, такое же естественное, как когда кто-нибудь говорит: у меня есть отец, — и здесь совершенно то же самое. Следовательно, это стало простым, естественным фактом. Это — с одной стороны. А с другой — Родина остается понятием... может быть, вообще лежащим в сфере, которую нельзя просто так понять или выразить при помощи слов. Пространство «Родина» ох-

---

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

ватывает не только территориально определенную область, но и во времени... во временах, которые ты сам не пережил... К Родине относятся рассказы, которые я слышал от моего деда, от моего прадеда, об их борьбе и конфликтах... об их борьбе за жизнь, за жизнь вообще. Сюда относятся предания моего народа, его старые песни, его сказки. Сюда относится сознание, что вот в этом самом месте я иду и знаю — я здесь сидел однажды 16- или 17-летним парнем и рыдал из-за первой любви. Сюда относится и то, что, проходя мимо какого-то обрыва, я сознаю, что 80 или 100 лет назад здесь стоял мой дед с косой в руке перед графом, который целился в него из ружья. Мой дед сказал графу: «Либо ваше брюхо — либо моя трава»...

И сюда относится... также один пахотный луг, где в апреле 45 года погибли несколько тысяч польских и советских солдат... Сюда относится бесконечно многое... Сюда относится изменение моей родной деревни, постепенное, постепенное «стать-совсем-другим»... Бедная деревня становится такой, где люди живут как в городе, в общем-то. Только в лучших жилищных условиях... У них больше пространства и чище воздух. К «моей Родине» относится и то, что люди раньше уходили из деревни в город, чтобы жить лучше, а сегодня работают в городе и живут в деревне, как в городе. К Родине относится и то, что я встречаю девушку, которую ясно помню одиннадцатилетней девчушкой с косичкой, а сегодня она... доктор физики. Все это... все это относится сюда.

Но это... было бы еще «малая Родина». Есть и нечто иное, что, кажется, еще труднее уловить и что только образуется, формируется... У меня есть вполне определенные чувства к вполне определенным местам вне моей Родины. Например, я не испытываю чувства отчуждения, когда я,— повторяю, говорю это не из вежливости,— приезжаю, например, в Москву. Дело не только в том, что у меня там добрые друзья, речь идет о чем-то намного более существенном, чем посещение друзей, хотя надо обязательно зайти к друзьям. Но и в какой-то совсем другой сфере... это не чужое. Это чувство «не чужого», оно относится, например, и к Варшаве и к Праге. Я уверен, что писатели и издатели наших стран должны чаще встречаться, не только для запрограммированных бесед, но и... но и, я думаю, есть какой-то другой способ, которого еще не нашли; какая-то другая форма очень свободного общения, например, такого, как сейчас у нас с вами... когда мы говорим обо всем на свете, пошла бы на благо этому процессу. Такого рода встречи я считаю необычайно важными.

Чувство Родины растет. Формируется нечто новое. Что есть, с одной стороны, расширение, постепенное и едва ощутимое, и углубление в малом. И... и если я правильно вижу, этот процесс происходит не только для меня, но и, вероятно, для миллионов людей. И наблюдать этот процесс и способствовать ему, это могло бы ствть, как мне кажется... частью миссии литературы...

Чем занят непосредственно сейчас? Вот уже несколько недель пишу книгу, которую для себя пока называю «Юлианский календарь». Это будут истории для одного года жизни: каждый сможет сам выбрать себе свою календарную историю к определенной дате. Конечно, там есть и истории не к вполне определенным датам, а именно — пасхальная история, история к Троице, рождественская история и, конечно же, новогодняя. Но еще и история ко дню рождения, первой любви, и история ко дню разводв... И есть история о моем отце и моем друге. Собственно... это разные новеллы, и одна, уже написанная, называется... новеллой ко дню справедливости.

Как возник замысел этих миниатюр? Во-первых, во время долгой работы над «Крабатом» у меня не было времени записывать короткие истории, которые я придумывал или же которые я слышал, находил, а во-вторых, после книги, которая все-таки довольно трудна для восприятия, я хотел написать для читателя нечто более доступное... Я представлял себе — и сначала казалось, что так оно и есть, — что написать эти истории я смогу легко и быстро, между тем на опыте убедился, что история, которая уместится на половине печатной страницы, требует не меньше усилий, чем соответствующие полстраницы романа — например, такого, как «Крабат». Каждая такая история на полстраницы, которые я написал, имеет пять или шесть вариантов. Эти варианты очень мало отличаются друг от другв, но для меня отличия весьма существенны... В общем-то я не стремлюсь при этом под каждую из историй положить, так сказать, зерно высокой философии или привязать некую, пусть отсутствующую в ней, мораль. Эти истории должны вызывать смех или заставить задуматься. Есть истории, которые можно прочесть раз и забыть, и, я надеюсь, там есть и такие, которые останутся в памяти благодаря их, быть может, необычному содержанию, которое при первом чтении кажется совсем обычным, будничным. Может, это вообще ключ к этим зарисовкам — таким же пестрым, как будни. Надеюсь закончить эту работу за лето, чтобы потом, осенью, снова взяться за важную и трудную книгу, для себя я ее нвзываю «Старик и смерть» — это рабочее казвание...

Это история старого человека, который фигурирует в «Крабате» как Хандриас Сербин — последние десять дней его жизни... Этот старый человек — мой отец. Конечно, эти последние десять дней я был рядом с ним. И никогда в жизни я не видал, чтобы человек с бóльшим достоинством проживал какой-то кусок своей жизни, чем этот старик свои последние десять дней. Врач, который опекал его, сказал, что он умер как старый индвец. И достоинство такого человека, совсем простого человека — вот что я хочу описать. Это будет, я

знаю, это будет для меня трудная книга, потому что я хочу описывать не хронологический ход событий и не историю физического умирания. Там не было болезни... ничего, но я хочу описать это прощание с жизнью. И это прощание с жизнью включает не только то, что происходит в настоящий момент, но и воспоминания о восьми десятилетиях жизни, мой отец прожил 87 лет, и написать об этом будет тяжело потому, что эти его воспоминания невозможно написать просто как отступления. Это не получится; по возможности, это должно быть одно целое, это... ну, скажем, девятый день перед смертью — я считаю главы,— я знаю, как это будет, значит, — я считаю как при старте космонавтов — десять, девять, восемь... до одного, то есть последнего дня жизни. И это мне уже ясно. Но если, например, в девятый день будет какая-то определенная перебивка, скажем, воспоминание о 1945 годе, то этот день в 1945 году должен был бы постоянно входить, вписываться в этот девятый день. Это должно быть одно целое, а не просто какое-то простое воспоминание — так книга не получится. Так не получится итог всей жизни. Самым сложным для меня будет, я думаю, сделать это «зримым» для читателя... Вот этой-то книгой, я полагаю, я буду заниматься весь следующий год, примерно с октября.

Кроме того, скажу еще между прочим, что 27-го, кажется, один пионерский театр здесь, в Бауцене, покажет мою нвбольшую пьесу. Я написал для детей... Это тожв одна из миниатюр, которые я не смог написать во врвмя работы над «Крабатом»... Кажется, вышла довольно симпатичная вещь, и мне очень интересно, как ее поставили. Детям, которые ее прочли, она нравится, насколько я знаю... Посмотрим, может быть, маленьким зрителям она тоже придется по душе...

2. «ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ— ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ ВЧЕРАШНЕГО...»

(Г. Гейне)

Wozu Literatur?[1]

Вильгельм Гирнус

Здесь, за этим самым столом, где мы с вами сейчас беседуем, четыре часа подряд мы проговорили с Чингизом Айтматовым... Он просил меня рвссказать о гитлеровских временах: ведь я одиннадцать лет просидел за колючей проволокой, работал в подполье. Однв из историй, которой я поделился с ним, имеет прямое отношение к вашему вопросу о том, что сейчас больше всего волнует меня в моей личной литературной работе. Году в двадцать четвертом—двадцать пятом в одной школе со мной, но двумя классами младше учился очень умный, очень воспитанный и очень приятный внешне мальчик, любимец нашего оберштудиенрата. И старшая сестра этого мальчика тоже была очень милая и прекресно воспитанная девица. Потом целых тридцать лет я ничего о нем не слышвл, в в 1954 году вдруг наткнулся в западной прессе нв сообщение о том, что он арестован; он был директором земельного суда — это очень высокий пост в Западной Германии. Выяснилось, что в нацистское время, будучи высшим офицером СС, он прочесывал со своей частью в последние дни войны местность в Тевтобургском лесу и, обнаружив группу женщин с маленькими детьми — это были русские, украинки, польки, угнанные в Германию на работу, — лично отдал прикяз уничтожить их: маленьких детей хватали за ноги и на глазах матерей (потом их тоже расстреляли) разбивали им головы о стволы деревьев.

Я спрашиваю: как жил, о чем думал этот чвловек в твчение минувших тридцати лет? Как случилось, что умный, приятный, воспитанный юноша превратился в растленное чудовище? Чингиз Айтматов сказал мие тогда: «Почему же в немецкой литературе по сей день нет еще эпического повествования, исследующего изнутри историю «становления» фашистского зверя? Об этом написаны романы в Советском Союзе, во Франции, в Польше, но для этих стран фвшизм был врагом их родины, вторгшимся извне. А вырос он все же в недрах немецкого народа...» Да, у нас в самом деле до сих пор нет вще отображения этого внутреннего процесса — извращения, разрушения человеческой морали, человеческой этики, человеческой личности. А такое отображение насущно — в первую очередь — для нас самих. Почему? По двум причинам. Во-первых, нынешние дети ничего этого не пережили и, когда им про это рассказывают, чаще всего лишь недоверчиво покачивают головами. Правда, когда показываешь фотоснимки того времени — тогда доходит. Я говорю о молодых, совсем молодых людях — студенческого, школьного возраств,— видишь, что они искренне и

[1] Для чего литература? *(нем.)* — так называется сборник речей, эссе и интервью В. Гирнуса, вышедшей в Лейпциге в 1976 г.

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ БРЕМЯ...

глубоко взволнованы. Нужна такая широкая картина в нашей литературе, картина мук и сопротивления в Германии. Я об этом всё время думаю, чувствую, что должен и сам написать об этом... А если совсем честно — пишу уже: собственно, мысль об этой работе зародилась, еще когда я сидел за решеткой при нацистах, когда работал в каменоломне в команде смертников и вовсе не был уверен, что выживу... Еще тогда я сказал себе, что пережитое мной и тысячами таких, как я, непременно когда-либо нужно будет запечатлеть. В какой-либо форме. Тогда я думал, что это будет фильм...

Человечество не должно забыть об этом. Помните, что сказал французский поэт Поль Элюар в связи с выходом в свет документов, обличающих преступления нацистского режима против народов Европы, против французского народа? Если бы это предали забвению, человечество погибло бы... То, что мы пережили, должно стать известно людям — с этой мыслью я жил в лагере, она не отпускала меня и после войны. Но тогда не было времени, нужно было строить, расчищать руины — не только в буквальном, но и в переносном смысле,— руины в душах и в умах людей... Слова Чингиза Айтматова словно кольнули меня в самое сердце. Почему мы, немцы, не создали эпического повествования об этом... Правда, недавно — об этом у вас в журнале писали — у Кристы Вольф вышла книга «На примере одного детства», можно считать это ее вкладом в такую эпопею. «Местопребывание» Германа Кантв — тоже, как вы знаете, очень важный роман на ту же тему, так что начало положено...

Необходимо объяснить, выяснить, исследовать — писатель в этом случае имеет право на амплуа прокурора, допрашивающего душу собственного народа, — искать ответ на вопрос: как стало возможным, что большинство народа активно участвовало в преступлениях нацистов, как стало возможным, что столько миллионов последовали за ними, ведь, в сущности, девяносто процентов немцев либо молча сносили все эти преступления, либо приветствовали третий рейх — надо же найти этому какое-то объяснение; это и есть та первая причина, которая заставляет и меня взяться за перо, ведь нацизм начался не тридцатого января тридцать третьего года, когда к Гитлеру перешла власть, всё это началось за двадцать лет до этого и даже еще раньше, сразу после окончания первой мировой войны, не так ли?

Я бы мог рассказать вам бесконечное множество историй, но я не стану этого делать, я расскажу их в моей книге. С какой точки во времени она начнется? В тот момент, когда я еду в поезде — еду впервые свободным человеком после двенадцати лет лагерей и тюрем — и вижу других людей, вижу детей — детей я за эти двенадцать лет ни разу не видел. И тут мои мысли обращаются к прошлому... То есть действие начинается в 1945 году, но потом перебивается наплывами воспоминаний — тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать восьмой, сорковой, — затем вновь возвращается в 1945-й и опять отскакивает назад, в 1914 год, к началу первой мировой войны на русской границе. Этот эпизод начинается, собственно, еще в 1913 году, когда мы с отцом и матерью были в царской России, там, где теперь Литовская Советская Республика. Впечатления эти все еще живы, стоят перед глазами: и первая мировая война, и революция 1918 года, — я пережил все это ребенком...

Значит, действие начинается в 1945 году, но при виде детей, от которых я совсем отвык за двенадцать лет, мне приходит на память сон, приснившийся мне в ту пору, когда я ждал смертного приговора — со мной ведь произошло примерно то же, что с Достоевским, который был приговорен к смертной казни и лишь в последнюю минуту узнал, что помилован. В такой же ситуации побывал и я в 1942 году. И вот мне снится сон, будто мой сын (не самом деле у меня тогда не было сына) живет у моей матери, и я хочу пожать его руку, но он боится меня, прижимается к моей матери, глядит на меня в испуге и не решается протянуть мне руку. Тогда мать говорит ему: смотри-ка, ведь это твой отец, дай ему руку, его сегодня утром расстреляют, ты его больше не увидишь. И в тот момент, когда сон дошел до этого места, в камере вдруг зажегся свет, и я проснулся. Этот сон приснился мне на самом деле. И вот в 1945 году я еду в поезде и смотрю на мальчиков, сидящего на коленях у матери. И сразу вспоминаю и этот сон, и ту ситуацию, в которой он мне приснился... Все это я описываю не от первого, а от третьего лица, как будто это случилось не со мной, а с кем-то другим. Описываю, как его, моего героя, пытали в 1934 году; хочу сразу показать, почему он теперь начинает жить как бы заново. Кто это пережил, тот смотрит совсем другими глазами на горы, на деревья, на людей, все это значит для него гораздо больше, чем для других людей, вы понимаете, что я хочу сказать?

Есть в книге и антипод моего героя — тот самый, о котором я говорил, — эсэсовец, расстреливавший женщин и детей. Я хочу показать путь их обоих — начиная с детских и школьных лет вплоть до моментв их встречи. Вот в общих чертах как развивается действие. Потом я вновь возвращаюсь к концу, когда мой герой сидит и перед его мысленным взором проходят картины прошлого, и тут начинается новая фаза развития. В общем и целом такова структура книги — своего рода — «Одиссея». Только там Одиссей р а с с к а з ы в а е т слушателям обо всем, что ему довелось пережить, а у моего героя это — внутренний монолог. Ведь «Одиссея» тоже начинается с конца: певец повествует о Троянской войне, а когда он заканчивает свой рассказ, Одиссей плачет, и его спрашивают: отчего ты плачешь? И тогда он открывает, кто он такой, и ему приходится рассказывать о своих приключениях. И только потом, закончив повествование о прошлом, Гомер описывает события, происходящие с Одиссеем в настоящем, ко-

где он вернулся на свою родину, на остров Итаку, и расправился с женихами...

Я тоже произведу расправу с «женихами». Постараюсь сказать в этой книге то, чего до меня еще никто не сказал, ведь иначе не стоило бы ее и писать, правда? Мне кажется, если и написано об этом, то только на других языках, например, на французском — на немецком языке об этом еще никто не писал. Анна Зегерс сама этого не пережила, она жила в эмиграции. Единственным из писавших, кому действительно выпал на долю весь этот ужас, был Бруно Апиц, но его знаменитая книга «Голый среди волков» посвящена только жизни в лагере...

Вторая причина: я вижу, что в Западной Германии опять появляются ростки старого, например, премьер-министр земли Нижняя Саксония Альбрехт не так давно опубликовал книгу под названием «Государство. Идея и действительность». Знаете, что он там предлагает? Узаконить пытки. Да таких примеров множество! Значит, опасность возврата к прошлому жива. И человечество вправе знать, как случилось, что немецкий народ породил чудовищ. И что за люди были те, кто осмелился противостоять всеобщему озверению...

Основная идея моей недавно вышедшей теоретической книги?..

Она некоторым образом — плод многолетнего труда... Если совсем коротко — ответ на вопрос: зачем людям, зачем социалистическому обществу нужна поэзия? Под поэзией я понимаю не стихи, а то — в музыкальной ли пьесе, в живописном ли полотне или в романе,— что зажигает в душе человека восторг и преклонение перед прекрасным. Зачем нужна людям поэзия... Путь от прозы жизни в мир поэзии—вот что я рассматриваю в своей книге. Можно выразить это и по-другому: почему человечество, почему социалистическое общество не может жить без поэзии? У нас теперь есть компьютеры, мы можем с большой точностью решать сложнейшие задачи, эти компьютеры люди уже носят с собой в кармане пиджака и могут за несколько секунд произвести такие сложные расчеты, на которые раньше тридцать математиков потратили бы пять лет. Мы все глубже познаем законы мироздания, все быстрее и всестороннее проникаем взглядом в глубь вещей, можем все рассчитать и сделать практические выводы. На основе современного уровня знаний законов природы и общества строим мощную индустрию...

Но как ни начиняй человека физикой, математикой, техникой, экономикой, как ни пичкай его жарким из косули или рябчика, как ни пичкай апельсинами и бананами, он все равно превращается в животное, если нет у него способности к поэтическому видению мира. Без красоты, без чувства прекрасного человек превращается в животное. Я бывал в Соединенных Штатах, хорошо знаю Нью-Йорк, видел, с какой скоростью там строят небоскребы,— у нас еще нет такой техники. Но там же я встречался с людьми, которые считали правильным, что во Вьетнаме сжигают деревья, леса, детей, целые деревни. Значит, что-то тут не так! Что-то не в порядке! А что именно не в порядке? Я отвечу словами Гёте из его драмы «Торквато Тассо»: «И кто не внемлет голосу поэтов, тот только варвар, кем бы ни был он». А почему? Почему людям нужна поэзия — в живописи, в музыке, в литературе? Это и есть тот вопрос, который я исследую в своей книге. Искусство не тождественно науке или какой-либо иной форме духовной деятельности общества — публицистике, технике. Если искусство, если поэзия, как считал Лукач, всего лишь иная, отличная от науки, форма познания, то сразу возникает вопрос: почему две формы, две совершенно различные формы для одного и того же процесса?

Я считаю, что наука и искусство различаются самим объектом, самим предметом исследования. Поэзия — да и вообще искусство — исследует личное, субъективное отношение человеческой личности к объективной реальности. Главный вопрос здесь — как я отношусь к этому миру, в котором я рожден, к природе, к обществу? Какую позицию я занимаю? Поэзия стремится в динамике общественного развития увидеть заключенные в нем возможности выбора — для того, чтобы человек смог осуществить свое человеческое предназначение. Поэзия вглядывается в действительность и ищет в ней эти возможности, ищет пути, на которых человек мог бы стать человеком. Поэзия в отличие от этики не учит: вот как должно поступать! Она говорит: тут имеется три возможности, выбирай! Выбирая и принимая решение, ты станешь человеком. То есть поэзия подводит к альтернативам, но принятие решения, выбор пути остается за самим человеком, и искусство, поэзия готовят человека к принятию решения...

Вот в каком смысле я считаю поэзию, вообще искусство специфическим и уникальным проявлением человеческого сознания, выражающим то, что научными средствами, языком науки или философии выразить просто невозможно, вот почему человечеству нужна поэзия: оно ищет идеал, путеводную звезду, помогающую осуществиться человеческой индивидуальности в той исторически сложившейся реальности, в которой мы, люди, находимся. Мы ведь ее не выбираем при рождении, мы вынуждены входить в жизнь — такую, какая есть, эта жизнь — определенная историческая реальность, она — то поле, то пространство, в котором должна осуществиться социалистическая личность. Вот поэзия и ищет возможности для этого осуществления. В этом и состоит главная мысль моей книги. Я работал над ней десять лет, в год писал по одной главе — примерно пятьдесят — шестьдесят страниц. А всего в книге шесть-

---

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ БРЕМЯ...

сот страниц, и хотя я назвал ее «Линии будущего», я рассматриваю там, конечно, и все аспекты нашего отношения к прошлому, ведь линию будущего можно увидеть, лишь поняв линию прошлого...

История, мое отношение к истории... Видите ли, я родился в 1906 году, и, когда разразилась первая мировая война, мне было восемь лет. Я жил тогда с родителями в Литве, правда, Литва еще не была самостоятельным государством. Теперь это местечко стало городом и называется Шилите. Мои предки родом из Литвы — дед еще говорил по-литовски.

Первое августа 1914 года... удивительно, как ясно хранит память подробности минувшего — ясный летний день, голубое небо, великолепная погода... Ударом молнии ворвалась война в мою жизнь — через несколько лет я лишился отца, которого безмерно любил, восхищался им, мой отец был очень мужественным человеком, позднее, в 1918 году, он был председателем Совета рабочих и солдатских депутатов в том литовском городке, в Шилите. Он был храбрый человек, социалист,— вдруг его не стало...

Другой рубеж — второе ноября 1918 года. Тоже отчетливо помню: была суббота, мы жили тогда в Тильзите, нынешнем Советске, на той самой улице, где родился Иоганнес Бобровский. Второго ноября должен был отправиться на фронт батальон кайзеровской армии. Батальон отказался! Солдаты восстали. На следующий день, в воскресенье, восстание было подавлено, и прусско-немецкие войска кайзера с примкнутыми штыками прошли по улицам — они словно вымерли все... Помню, как скрипели под сапогами солдат осколки стекол от разбитых витрин... Потом, девятого ноября, в день, когда произошла революция в Германии, один знакомый взял меня с собой, мы прошли с ним по главной улице от вокзала к центру; было сыро, пасмурно, только отдельные газовые фонари горели... И вдруг рядом с нами — строй солдат! В кайзеровской форме, но с красным знаменем! Они пели «Интернационал»! Это потрясло меня до глубины души... Тогда не было ни радио, ни телевидения, и мы пошли туда, где вывешивались на видном месте последние известия; мы прочли, что кайзер и кронпринц покинули пределы Германии и что в Берлине провозглашена республика. Я был в полном восторге. Мне было всего двенадцать лет, и я решил, что теперь начнется новая жизнь — свобода, республика, социализм. Я ошибся. Не знаю, не с того ли именно дня для меня начался поиск пути в новую жизнь?

Я был совсем еще юнец, ни о каких теориях и понятия не имел, и тут в мою жизнь вошел один молодой учитель. Он и теперь еще жив, живет в Западной Германии, в Висбадене. В октябре я виделся с ним — раз в год, когда я еэжу на книжную ярмарку во Франкфурт-на-Майне, я всегда навещаю его. Этот молодой учитель служил волонтером в одном полку с моим отцом, воевал в России, попал в плен, находился в лагере для военнопленных на Дальнем Востоке, там он услышал об Октябрьской революции, вступил в Красную Армию, воевал против японских интервентов, а потом через Америку вернулся в Германию и стал моим учителем. Он рассказал мне о Ленине.

Это было для меня... Я был в своем классе единственным, кто тянулся к социализму, к событиям в Советской России. Но знал я мало и решил изучать Ленина. В то время нельзя было купить книг Ленина, их не было в магазинах, и я по почте заказал в одном маленьком издательстве биографию Ленина, написанную французом, но по-немецки. Прочел — очень сильно повернула эта книга строй моих мыслей. Я стал восторженным поклонником поначалу самой личности Ленина, его несгибаемой воли, его нравственной цельности — так, ничего еще и не прочитав из его книг, я восторгался Лениным как личностью истинного революционера; очень сильно волновало и то, что его старший брат погиб в революционной борьбе...

Потом поступил в университет, а немецкие университеты во время Веймарской республики были реакционными по духу, крайне реакционными, точнее говоря, это были рассадники национал-социализма, большинство студентов симпатизировали Гитлеру и его идеям — расовой теории и всем прочим. Но я пошел своей дорогой. Вскоре начал читать Толстого — позже он стал в моей духовной жизни событием едва ли не главным, особенно сильно я зачитывался им в тюрьме... В 1927 году наткнулся на книгу, которую вы держите сейчас в руках, — первое издание «Цемента» Федора Гладкова. Видите, 1927 год, первое издание! Эта книга меня потрясла... Почему? Потому что в ней я увидел такую культурно-политико-социальную динамику, какой у нас к тому времени уже давно не было. Был мощный подъем, было восстание девятого ноября, а потом все постепенно пошло на убыль, жизнь затянуло ряской мещанства, промышленники и помещики заправляли всем, а простые люди радовались, если удавалось свести концы с концами, отсиживались в своих четырех стенах и знать ни о чем не желали. А тут, в этой книжке, открывался для меня новый мир, в котором исторические события захватывают, втягивают в свой водоворот, заставляют бурлить миллионы людей, видишь, как возникают новые движущие силы, как они крепнут, набирают мощь...

Я решил уйти из университета — он ничего не давал ни уму, ни сердцу. Но куда? Хотел поехать в Советский Союз, хотел учиться там. Но вы представляете — в то время получить разрешение на такую поездку? Стал искать других путей, написал в Парижский университет, в те времена ученье там стоило очень немного — 16 марок в год, у нас — 500 марок в год. Итак, отправился во Францию, жадно впитывал новые веяния — в то время французские студенты и французский народ были намного демократичнее, чем наши, немец-

кие. Когда вернулся в Германию, впечатление было такое, будто меня ударили молотом по голове. Атмосфера — как в парилке: темно, душно. Как раз когда я вернулся, началась свистопляска: через несколько дней после моего приезда, Первого мая 1929 года, полиция расстреляла 33 рабочих во время демонстрации, после этого расправы фашистов стали следовать одна за другой, недели не проходило без очередного кровопролития, только за 1932 год были убиты триста рабочих... В 1929 году я занялся изучением трудов Ленина... А седьмого ноября 1929 года — да, в день Октябрьской революции — вступил в Коммунистическую партию. Ну вот, а потом пришел фашизм...

День освобождения. Для меня он наступил несколько раньше... Я освободился двадцать второго апреля 1945 года — бежал из лагеря вместе со своим другом. Я думал тогда, что немцы с восторгом воспримут свое освобождение от фашизма, но увидеть пришлось обратное — это было дня меня мучительным открытием. Восторг по поводу освобождения от Гитлера — ну, может быть, незначительное меньшинство выражало. Основная масса настолько прониклась фашистским духом, что считала девятое мая днем поражения. У многих совесть была нечиста: либо молча терпели Гитлера, либо превозносили его до небес, пока он одерживал победы. Я испытал тогда горькое разочарование в собственном народе: каково чувствовать себя в оппозиции к большей его части? Для нас, вышедших из концлагерей, ситуация тогда складывалась именно таким образом, трудное у нас было положение, вы понимаете, конечно, — очень трудное. Но что было делать? Жизнь должна продолжаться. И продолжать ее нужно было с людьми, находившимися и прежде в стане наших врагов, да и к тому времени все еще настроенными враждебно. Они, конечно, поняли, что иного пути нет, что им придется как-то к нам приспособиться. В то время не было настоящего диалога с этими людьми, разве что с небольшой частью их. Это были те, кто дал себе труд задуматься над происходящим, но очень большая часть все еще находилась под влиянием фашистской идеологии, относилась скептически ко всему новому, многие рассуждали по принципу — будь что будет... меня это не касается. А у нас, боровшихся с фашизмом, сопротивлявшихся ему, сидевших за колючей проволокой, не хватало сил, чтобы добиться перелома. Только благодаря помощи офицеров советских оккупационных войск, с которыми мы очень тесно сотрудничали, перелом в мышлении людей постепенно совершался. Но на это ушло в общей сложности двадцать лет, целых двадцать лет!..

Проблемы интернационализма... Видите ли, я вырос среди людей, говоривших на своем, не моем родном языке. В моем родном городе — это теперь он стал городом, а раньше это было маленькое селение Шилите в Литве — жили литовцы и немцы. 75 процентов литовцев, 25 — немцев; литовцы были бедняки, а немцы — не то чтобы богачи, но по сравнению с литовцами они могли считать себя богатыми людьми. Литовцы были угнетенным народом, их язык, их культуру никто не принимал всерьез. Есть немецкий писатель, который писал об этом, собственно говоря, даже два немецких писетеля — Герман Зудерман и Иоганнес Бобровский. Герман Зудерман опубликовал в 1917 году сборник «Литовские рассказы», где описал жизнь этих бедных литовцев, у меня есть первое издание этой книги, я вам потом покажу. Мальчишкой я прочел рассказ из этого сборника, и он произвел на меня чрезвычайно сильное впечатление: это был первый настоящий хороший рассказ в моей жизни, до этого я читал лишь сказки и прочее в том же роде, а тут к тому же еще и действие рассказа развертывается именно в той местности, где я жил тогда. Сразу все, что меня окружало: улица, мост, люди вокруг, весь городишко, — предстало как бы в ином свете, как бы приобрело политический облик... Этот рассказ стал для меня поворотным пунктом, благодаря ему я впервые увидел поэзию в этом мире... Дома у нас говорили по-немецки, мы принадлежали к германизированной части местного населения, но дед говорил еще по-литовски... Я внезапно понял, что необходимо научиться жить в дружбе с людьми, говорящими на другом языке. В дружбе и взаимопонимании. Я, можно сказать, вырос с правильным пониманием проблемы мирного сосуществования различных наций, которая потом стала у вас в Советском Союзе после Октябрьской революции программой. Так что интернационализм, собственно, стал плотью, когда я и понятия не имел ни о каких теориях на этот счет. Для меня столкновение национализма, буржуазного национализма — и интернационализма уже в тот период стало практическим, реальным явлением. И я еще ребенком стал на сторону угнетенных, в данном случае — литовцев. Думаю, это случилось потому, что отец воспитывал меня в социалистическом духе. С тех пор я всегда ощущал потребность понять, поближе узнать другие народы, другие нации, испытывал тягу к общению с людьми другой национальности...

В теории это все просто. А на практике? Часто очень и очень не просто. Например, в фашистских концлагерях мы столкнулись и с этой проблемой. Австрийцы, чехи и словаки, поляки, французы, голландцы — с расширением фашистской экспансии увеличивался в ходе войны реестр наций в лагерях. Под конец стали поступать советские люди. В самом начале мы, немцы, были единственными их обитателями. И почти поголовно одни коммунисты — 90 процентов коммунистов, 10 про-

центов социал-демократов. И вот потом появились люди других наций. Можете себе представить — и нам, коммунистам, тоже было совсем не просто найти общий язык и взаимопонимание с этими людьми, установить с ними контакт. Например, французы. Большей частью это были горняки с севера Франции, которые попали в концлагерь за то, что в 1940 году объявили политическую забастовку против оккупационного режима нацистов; большинство из них были коммунисты. Но у них было иное представление о порядке, чем у немецких коммунистов. У нас в партии всегда была строгая дисциплина, так? Французы имели куда более вольное представление об этих вопросах, в концлагере сразу все пошло кувырком...

Потом появились советские люди — жизнь в лагере переменилась, у них мы учились сплоченности. Это тоже была борьба, борьба за пролетарский интернационализм. Она окончилась после разгрома Гитлера клятвой всех узников концлагерей не допустить того, чтобы народы Европы были вновь втянуты в братоубийственную войну. Этот союз, эта клятва пролетарского интернационализма стали жизненным принципом коммунистов всех европейских стран, насильно согнанных в концлагеря... Между прочим, я и теперь еще переписываюсь с советскими офицерами, с которыми подружился в лагере, с моими соратниками по подпольной борьбе — правда, многие уже поумирали, — пишут и французские коммунисты, мы остались друзьями и товарищами по борьбе. Я думаю, любить свою родину — значит бороться, чтобы она стала достойной той части человечества, которая стремится освободить все человечество от эксплуатации и войн. Истинное и честное служение своей родине в том и состоит, я полагаю, чтобы бороться за то, чтобы эта родина стала частью интернационального сообщества народов, разве не так?

Должен сказать вам — не вполне удовлетворяет меня то, что пишется у нас и об этом. Наша литература обращается к этой теме не часто и рассматривает связанные с ней проблемы чаще поверхностно. У Бобровского были попытки рассмотреть глубже эту тему — например, в романе «Литовские клавиры» есть мысль о том, что разные народы — немцы и литовцы в данном случае — должны уметь жить вместе. Но ведь сейчас речь идет не о том, чтобы просто жить вместе, а о том, чтобы вместе бороться, строить. И в этом отношении нашей литературе еще многое предстоит осмыслить... Я писал об этом в своем журнале «Зинн унд форм» — о том, какое отражение идеи пролетарского интернационализма и социалистического патриотизма и связанные с ними важнейшие социальные явления нашей эпохи получают в зеркале литературы.

Вы хорошо знаете —«Зинн унд форм»— орган Немецкой академии искусств Германской Демократической Республики, ее литературный журнал. Около 40 процентов тиража этого журнала идет за границу: большое количество — в Советский Союз, но также и в Японию, США, Францию и Западную Германию — так что мы имеем возможность знакомить читателей в этих капиталистических странах с нашей молодой социалистической литературой. Но журнал имеет и еще одну важную функцию: в западных странах по-венгерски, по-чешски, по-польски, по-румынски, по-болгарски и в известной степени и по-русски мало кто читает, поэтому мы регулярно публикуем на немецком языке новейшие значительные произведения писателей стран, входящих в социалистическое содружество, мы таким образом знакомим Запад с этими произведениями. Не раз мы первыми печатали на немецком языке новейшие — для нас новейшие — произведения советских писателей, отдельные номера журнала целиком посвящались болгарской, венгерской, грузинской, армянской литературе, сейчас готовится украинский выпуск. Таким образом, читатели — например, Западной Германии — имеют возможность быть в курсе литературных явлений и процессов, происходящих в странах социалистического содружества. Другая задача нашего журнала — знакомить читателей в нашей стране с важными прогрессивными течениями и тенденциями в мировой литературе — аналогично тому, что делает ваш журнал.

И, наконец, третья — предоставлять страницы нашего журнала дискуссиям по проблемам теории литературы и литературной критики. Например, у нас много раз публиковались материалы о состоянии нашей лирики, причем высказывались часто прямо противоположные точки зрения. Много статей в журнале посвящено вопросу о том, какое значение для социалистического общества может иметь литература, возникшая во время господства эксплуататорских классов и часто — так или иначе — служившая интересам этого эксплуататорского общества. Каким образом такая литература может содействовать развитию человеческой личности в социалистическом, в коммунистическом обществе? В этом вопросе мы ведем борьбу со схематичными и крайне сектантскими взглядами, бытующими как раз в Западной Германии и, хоть и менее явно, во Франции. Сущность этих взглядов сводится к тому, что Гёте, Гёльдерлин, Шиллер, Толстой и все прочие великие мастера прошлого служили буржуазии, и их произведения не имеют никакого значения для революционной борьбы рабочего класса, поскольку выражают буржуазные идеи,— это позиция крайне левых радикалов на Западе, впрочем, об этом я писал для вашего журнала статью. С этим течением мы ведем резкую полемику. Это одно направление нашей борьбы. Другое направление — механистическая интерпретация теории отражения применительно к литературе, представителем которой был, например, Лукач. Мы много лет воюем против низведения литературы до роли меха-

нического рефлекса. Ведь Ленин в своих «Философских тетрадях» и вообще в работах по философии тоже очень резко высказывался против механистической интерпретации понятия отражения. Такого рода дискуссии постоянно ведутся на страницах нашего журнала, и советские теоретики литературы часто участвовали в них. Мы и впредь собираемся предоставлять наш журнал для обсуждения всевозможных спорных проблем теории. Вот, например, одна из таких проблем: что такое социалистическая личность? В чем ее сущность? И в какой степени разные виды искусства, в особенности литература, способны оказать на развитие социалистической личности стимулирующее, преобразующее, побуждающее и пробуждающее воздействие?

Почему мы за нее взялись? Да потому, что существует очень много точек зрения на то, что такое социалистическая личность. Я лично склонен считать, что сущность социалистической личности состоит в раскрытии всех творческих потенций, заложенных в каждом индивидууме. Мы убеждены, что для успешного решения всех этих проблем необходимо обсуждение их на международном уровне, то есть при участии советских, чешских, болгарских и так далее друзей, а также в постоянном творческом продуктивном обсуждении теорий, создаваемых коммунистами капиталистических стран, которые, естественно, работают в совершенно иных условиях и, вполне вероятно, имеют в виду совершенно иные аспекты.

И, конечно, одна из главных проблем — борьба с враждебными нам теориями. Это задача для нас здесь, в Германской Демократической Республике, является первоочередной, поскольку Западная Германия — центр возникновения и распространения таких теорий, легко проникающих в нашу страну через телевидение, радио и другие средства массовой информации. Эти задачи тоже можно успешно решать только на международном уровне, и у нас тут налажено тесное сотрудничество с ведущими журналами Советского Союза, в том числе и с «Иностранной литературой». Мне кажется, это сотрудничество следовало бы укрепить путем обмена критическими статьями по этой проблематике. Такой обмен расширил бы рамки дискуссии, мы могли бы взаимно обогатить наших читателей, познакомив их с творческими идеями авторов из другой страны. И в этом смысле я рассматриваю, к примеру, вашу личную миссию здесь у нас и недавнюю — в Венгерской Народной Республике как составную часть такого сотрудничества...

Вас интересует, так сказать, динамика авторитета журнала... Ответ — в данных о тираже, по-моему; за последние два года число наших подписчиков только за границей увеличилось на 20 процентов нашего общего тиража. А здесь, в ГДР, мы могли бы вообще удвоить число подписчиков, если бы не были ограничены бумагой. Это сложный вопрос, в нем духовные и материальные соображения очень тесно связаны друг с другом. Я уже говорил, что мы познакомили наших читателей с литературой многих социалистических стран и в первую очередь — Советского Союза. Теперь хочу лишь добавить, что мы предоставляли страницы нашего журнала и литературе многих западных стран. Так, мы посвящали отдельные номера литературе латиноамериканских стран, Индии, арабских стран, Африки, Франции. Недавно вышел номер, посвященный югославской литературе... Я мог бы показать вам многие письма наших читателей, выражающих нам благодарность за то, что мы делаем.

Проблема молодежи... Как относится она к жизни? Какую позицию занимают в нашем революционном развитии? Как сама себя воспринимает и как это отражается в литературе? В 1972 году мы опубликовали повесть Пленцдорфа «Новые страдания юного В.», вышедшую затем также и в вашем журнале. Эта вещь вызвала целую бурю. Да, бурю... Возникла ситуация, схожая с той, какую описывает Тендряков в повести «Ночь после выпуска». С той поры голос молодежи в нашей литературе заметно окреп, особенно в лирике.

Всегда ли разумно мы строим свои отношения с молодыми? Всегда ли мы находим к ним верный подход? Об этом надо обязательно думать. Молодежь все чаще и все решительнее заявляет: мир, который грядет, мир в ближайшие пятьдесят лет будет принадлежать нам, в будущем именно мы будем нести за него ответственность. Мы, конечно, живем в мире, построенном вами, и пользуемся достижениями, вами добытыми, но для нас этот мир — лишь отправной пункт. Вот какие мысли высказываются сейчас в нашей лирике молодых... Для молодежи сейчас важно прежде всего определить свою позицию в революционном развитии нашей эпохи. А ведь золото не сразу найдешь! И я думаю, что молодежи надо предоставить широкое поле для поисков, — это мое личное убеждение. Но не следует ожидать, что при этих поисках каждый удар заступом вывернет золотой самородок, не так ли? Молодежь наверняка неделает много ошибок, это неизбежно. В каком-то смысле нам следует запастись терпением. Когда я был молод и тоже искал свой путь, мы все были страшно нетерпимы и догматичны. Вот и наша молодежь — борется против догматизма, правда, сама в высшей степени склонна к нему — на свой новый лад. Опять-таки и за это не следует ее слишком уж осуждать, это необходимая фаза ее развития. Мне кажется, наша молодежь — если посмотреть в целом — прежде всего стремится к тому, чтобы раскрыть свои потенциальные творческие силы и применить их в нашей жизни.

Что касается потока грязи и нечистот, который ежедневно изливается с Запада—

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ БРЕМЯ...

в частности, и в связи с проблемой молодежи — нв нвс, на Советский Союз, вообще нв социвлистический мир... Извините, может быть, это прозвучит немножко дважде вызывающе, что ли, но я считвю твкое положение вещей вполне закономерным. Им там с каждым днем ствновится все хуже — в политике, в экономике, в культуре, их трудности рвстут день ото дня. Помните, 10—15 лет тому нвзад, квк они изобрвжвли свое положение: у нвс нв Звпаде делв неуклонно идут в гору, наш жизненный уровень растет, то, что Ленин и Маркс говорили о кризисах, совершеннейшвя чепуха, кризисов у нвс нет и не будет. А у вас, наоборот, непрерывные трудности, ввш уровень жизни ниже нашего, и ввм никогда нас не обогнвть... А что оказвлось нв самом деле? Нвступил 1968 год, когдв молодежь в квпитвлистических стрвнвх вдруг начала бунтоввть, протестуя против той квртины мира, которую отцы пытвлись ей нввязать. А потом нвчались кризисные явления в западном мире — спервв это был долларовый кризис, теперь — безрвботице, неуверенность в зввтрашнем дне. Ну, разве не логично, что они хотят отвлечь внимание от всего этого. Точно твк же обстояли дела в Гермвнии в 29, 30, 31, 32, 33 годвх, когдв фашизм пошел в гору, квквя поднялвсь волнв внтикоммунизмa... Это — результвт страха перед коммунизмом, если бы коммунизм не представлял опасности для их общественного строя, не пришлось бы забрасывать нвс грязью, вы не согласны?

Помню, в сорок девятом году — еще не было стены, рвзделяющей город нв две части, — меня пригласили на коктейль для журналистов вместе с вмериквнскими, английскими, французскими и другими гвзетчиками. Мой сосед зе столиком — один французский журналист, оказавшийся очень неглупым человеком, но убежденным антикоммунистом, — твкое сочетвние тоже встречвется — спросил меня, какую газету или журнал я представляю. Я ответил, что я из «Нойес Дойчлвнд». Ах, вот что, звметил тот, но разве это газетв? Вопрос был задан, конечно, иронически. Потом он объяснил, что, в сущности, ничего не имел бы против коммунизма, если бы только не нвходил его столь безнвдежно скучным. А я ответил: «Не понимвю, звчем же ввш пресса каждый день отводит ему столько меств, если он твк скучен?..» Пугвет, видимо, тот огромный интерес, который испытывают массы молодых людей нв Запвде к коммунизму, к социвлизму, к мврксизму, к ленинизму... Знвчит, надо забросвть его грязью; можно предсквзвть, что и в дальнейшем ее будет не меньше, в больше — это вполне логично: зв эту грязь там плвтят деньги, квк зв рвботу... Знвете, один известный западногермвнский журналист, Пвуль Зетте, ныне покойный, сквзвл еще в 1965 году: «Свобода печвти у нвс в Звпадной Германии состоит в том, чтобы повторять мнение двухсот человек, которым принадлежат гвзеты». Это ведь не мнение народа, это мнение богатых людей, бвнкиров, которым принадлежат гезеты, и правителей, которым принвдлежвт рвдиоствнции, но не нврода. Короче говоря, они стоят по грудь в воде, и, чем ближе к горлу подступвет водв, тем громче кричвт. Из-зв этого крикв нам не стоит волноввться — я уверен, кудв уместнее ирония и нвсмешка. Квждый божий день три телепрогрвммы и множество рвдиопрогрвмм изливвют нв ГДР эту ложь и грязь... Ну, что тут можно сделвть? Мои сыновья, к примеру, не раз смотрели и слушали эти прогрвммы, но смотрели и слушвли критически, без особого труда рвспознвввли демвгогию дважде самого языкв, словвря зaпвдной пропаганды, свм отбор вырвжений, нацеленных нв то, чтобы вызввть ложные представления. Человек с ясным умом и критическим взглядом нв вещи не попадется нв удочку такой пропвгвнды...

Не знвю уж, как мне ответить на последний вопрос ввш — совсем личный: в чем вижу я счвстье? Особенно не раздумывввть? Высшее счастье для меня, счвстье номер один — заниматься творчеством, претворять в литературное произведение то, что «ворочвется» у меня в груди, в этом для меня величвйшее счвстье. Величайшим моим счастьем было то, что я встретил в своей жизни самую милую женщину, мою жену, с которой вы знвкомы, которвя быввла со мной в гостях и в ввшей редвкции в Москве. Это уже нечто совсем другое, твк? Но для меня это все взвимосвязано, ведь моя женв учвствует в моей рвботе, онв мне помогвет, онв и мой первый критик, она и свма пишет. Величайшим счастьем я считвю наслвждение, которое я получвю от соприкосновения с плодвми творчества других людей,— тоже вполне субъективная и эгоистическая точкв зрения. Это может быть что угодно, ну, нвпример, прекрвснвя книга, ну хотя бы «Аннв Квренинв» Толстого или скрипичный концерт Моцврта... Еще Брехт сквзвл квк-то, что сопереживание творческого вктв достввляет величвйшее эстетическое наслаждение, знвчит, и большое счастье.

Все это очень индивидувльно и субъективно, у других людей, вероятно, совсем другое предствление о счвстье. Для человекв, который месяц голодвл, счвстьем покввжется, нвверно, возможность нвесться досытв. Я полвгвю, что на земле миллиарды людей в несоциалистических стрвнвх все еще нвходятся в таком положении, когда им приходится просто бороться зв твкое счвстье,— я был в Индии, видел, квково им приходится, как это стрвшно, когдв дети голодвют, и квк они сияют от счвстья, когдв получвют еду. Для нвс, людей, для которых возможность есть досытв сталв самв собой разумеющейся, зрелище этих несчвстных просто непереносимо. Я думвю, величвйшим счвстьем для людей нв земле былв бы возможность обеспечить всем элементврные условия жизни,— чтобы никому не пришлось больше голодвть, мерзнуть и звмирвть от страхв в ожидании ужвсов новой войны. Это было бы величвйшим счвстьем для всех, и для меня тоже. Когдв я пишу, то есть переживаю радость творчествв, рв-

дость раскрытия моих творческих потенций, радость созидания и чувствую себя счастливым, в этот самый момент меня вдруг пронзает мысль, что миллиардам других людей такие радости еще недоступны...

Мне кажется, что я ощущаю примерно то, что Гёте в конце жизни, незадолго до смерти, вложил в уста своему Фаусту. Помните, Фауст говорит:

...Ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!

И поскольку я живу в таком обществе, в котором все имеют возможность бороться за человеческое существование — в высшем смысле этого слова,— то и я мог бы сказать:

...Мгновенье! Прекрасно ты, продлись,
постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!

И если мне удастся столько сделать для людей, что след мой не затеряется, то я сочту, что достиг бессмертия.

В предчувствии минуты дивной той
Я высший миг теперь вкушаю свой...[1]

Это, конечно, высшая форма счастья, я думаю, есть много ступеней и видов счастья, доступного людям, и у каждого оно свое, и все же все люди могли бы быть счастливы... Не знаю, может быть, кому-то «формулы» мои покажутся слишком торжественными, высокопарными, но так я чувствую и думаю в самом деле...

[1] Перевод Н. Холодковского.

(Вторая половина очерка, куда войдут беседы с Анной Зегерс, Бруно Апицем, Германом Кантом, Максом Вальтером Шульцем, Петером Хаксом, Иоахимом Новотным, Ирмтрауд Моргнер, Паулем Винсом, Манфредом Ендришеком, будет опубликована в одном из последующих номеров журнала.)

■

ТАПИО ТАПИОВААРА.
Анри Барбюс. Линогравюра

Антирубрика

ВУДИ АЛЛЕН

Смерть стучится в дверь

Перевод с английского ЮРИЯ ЗАРАХОВИЧА

Место действия — спальня Нэта Аккермана в его двухэтажном особняке где-то в районе Кью-Гарденз. Пол от стены до стены застлан ковром. В спальне стоят огромная двуспальная кровать и большое трюмо. Комната изысканно обставлена и драпирована, на стенах висят картины и не очень красивый барометр. Занавес поднимается под звуки мягкой музыки.

Нэт Аккерман — пятидесятисемилетний фабрикант готового платья, с лысиной и брюшком, в халате и шлепанцах — лежит на кровати, читая завтрашний номер «Дейли ньюс». Время около полуночи, газетный лист ему освещает маленькая лампочка, прикрепленная зажимом к белому изголовью кровати. Неожиданно слышится какой-то шум. Нэт садится и смотрит в окно.

Нэт. Что еще за чертовщина?

В окно неуклюже взбирается мрачная фигура, закутанная в накидку с черным капюшоном. Из-под накидки виден черный костюм в обтяжку. Капюшон, однако, не закрывает лица — пожилого и мертвенно-бледного, чем-то похожего на лицо Нэта. Фигура громко пыхтит и переваливается через подоконник в комнату.

Смерть *(ибо это именно она, и никто другой).* Господи ты боже мой, чуть шею себе не сверну.

Нэт *(в крайнем недоумении).* Ты кто?

Смерть. Смерть.

Нэт. Кто-кто?

Смерть. Смерть, тебе говорят. Слушай, я присяду, а? Шею ведь чуть не свернула, аж трясет всю как лист на ветру.

Нэт. Да кто ты?

Смерть. Смерть я. Дашь стакан воды?

Нэт. Смерть? Какая еще такая смерть?

Смерть. Ты что, не в себе? Черный костюм, белое лицо видишь?

Нэт. Ага.

Смерть. Что, сейчас святки по-твоему? Маскарад?

Нэт. Нет.

Смерть. Стало быть, я Смерть. Дашь, наконец, воды или у тебя «Фреска»[1] найдется?

[1] «Фреска» — прохладительный напиток для диетиков и диабетиков *(прим. перев.)*.

Нэт. Ну, если это розыгрыш...

Смерть. Какой там розыгрыш! Тебе пятьдесят семь? Звать Нэт Аккерман? Живешь на Пасифик-стрит, сто восемнадцать? Вроде я не напутала — и где это у меня наряд на сегодня завалялся? *(Шарит в кармане, достает карточку с адресом, проверяет.)*

Нэт. Что тебе от меня надо?

Смерть. Чего надо? А как по-твоему, чего мне надо?

Нэт. Шутить изволишь. Я абсолютно здоров.

Смерть *(на которую его слова никакого впечатления не произвели)*. Ох-хо-хо. *(Оглядывается по сторонам.)* Славный интерьерчик. Сами делали?

Нэт. В основном декоратор, но мы тоже помогали.

Смерть *(увидев фото на стене)*. Люблю вот таких большеглазых детишек.

Нэт. Я еще не хочу уходить.

Смерть. Он не хочет, скажите пожалуйста! Не заводись. Меня от одного подъема сюда мутит.

Нэт. Какого подъема?

Смерть. Я вскарабкалась по водосточной трубе. Пыталась как можно эффектней обставить свой приход. Вижу — окна большие, а ты лежишь читаешь. Решила, что стоит овчинка выделки. Залезу, думаю, и войду, чтоб так получилось, ну, знаешь... *(Щелкает пальцами.)* Лезу, значит, каблук в каких-то ветках застрял, водосток сломался, я и повисла на волоске. Потом плащ разодрала. Ну ладно, пошли. Ночь была трудная.

Нэт. Ты мне водосточную трубу сломала?

Смерть. Нет, вы слышали! Я ему трубу сломала! Да не сломалась она, погнулась слегка, и все дела. А ты ничего не слышал? Я же здорово об землю шлепнулась.

Нэт. Я читал.

Смерть. Сильно зачитался, должно быть. *(Берет газету Нэта.)* «Студентки-наркоманки пойманы с поличным во время оргии с марихуаной». Дай почитать.

Нэт. Я еще не кончил.

Смерть. Э-э, не знаю даже, как и сказать тебе, приятель...

Нэт. А почему ты просто не позвонила в дверь?

Смерть. Говорят же тебе, могла бы и позвонить, но кто же так делает? Вот если через окно, то хоть какой-то эффект получается. Лучше все-таки, чем ничего. «Фауста» читал?

Нэт. Что?

Смерть. А если бы у тебя гости были? Представь себе: сидишь ты здесь с важными людьми, а я, Смерть, должна, по-твоему, звонить в парадное и идти через дверь? Где твоя голова?

Нэт. Послушайте, сударыня, уже поздно, между прочим.

Смерть. Ага, и я про то же. Пошли, что ли?

Нэт. Куда пошли?

Смерть. На смерть. В этом-то и вся штука. На Луга Счастливой Охоты. *(Осматривает свое колено.)* Здорово рассадила. Первое мое дежурство, и надо же — угораздило. Так и гангрену схватить недолго.

Нэт. Да погоди же минутку. Я еще не готов, мне время нужно.

Смерть. Извини, но помочь ничем не могу. И рада бы, но уже пора.

Нэт. Как может быть «пора»? Мы же только что слились с «Модист ориджинал»!

Смерть. Долларом больше, долларом меньше, какая тебе разница?

Нэт. Тебе-то уж точно никакой. Вам небось и представительские оплачивают.

Смерть. Идешь ты или нет?

Нэт. Извини, но никак не могу поверить, что ты — Смерть.

Смерть. Кто же я, по-твоему? Элизабет Тейлор?

Нэт. Да нет, я о другом совсем.

Смерть. Сожалею, если обманула твои ожидания.

Нэт. Ты не бери в голову. Просто я как-то тебя всегда по-другому представлял. Выше, что ли...

Смерть. Пять футов, семь дюймов — нормальный средний рост при моем весе.

Нэт. И чем-то ты на меня похожа.

Смерть. А на кого же еще мне быть похожей? Я же твоя смерть.

Нэт. Дала бы хоть еще один день.

Смерть. Не могу. Не положено.

Нэт. Один день. Двадцать четыре часа.

Смерть. И зачем он тебе? Все равно по радио передавали, что завтра будет дождь.

Нэт. Что ж, так ничего и придумать нельзя?

Смерть. А что придумать?

Нэт. В шахматы играешь?

Смерть. Не умею.

Нэт. А я один раз видел картину, на которой ты играла.

Смерть. Не, это не я. Вот если бы Смерть на картине играла в карты, в джин-рамми например, тогда другое дело.
Нэт. Ты играешь в джин-рамми?
Смерть. Он меня спрашивает! Ты еще спроси, город ли Паряж.
Нэт. И хорошо играешь?
Смерть. Еще как!
Нэт. Тогда вот что...
Смерть. Никаких сделок.
Нэт. Я с тобой сыграю в джин-рамми. Если ты выиграешь, я иду с тобой без проволочек. Если проиграешь, с тебя один день.
Смерть. Ты что думаешь, у нас с тобой есть время играть в джин-рамми?
Нэт. Давай, давай, коль ты и впрямь такой мастер.
Смерть. Оно, конечно, настроение у меня есть...
Нэт. Ну давай подвигаем фишки с полчасика.
Смерть. Да нельзя мне.
Нэт. У меня и карты под рукой. Не ломайся.
Смерть. Ладно, давай понграем чуток. Расслаблюсь хоть.
Нэт *(доставая карты, бумагу и карандаш)*. Не пожалеешь.
Смерть. Кончай рекламу. Сдавай и дай мне стакан «Фрески», наконец, да вытащи что-нибудь на стол. Ничего себе — к нему гости, а у него ни хрустящей картошки, ни печенья!
Нэт. Внизу есть тарелка шоколадок «М. М.».
Смерть. «М. М.», скажешь тоже! А если к тебе президент придет, ты ему тоже «М. М.» предложишь?
Нэт. Ты не президент.
Смерть. Сдавай.
Нэт. Как насчет сыграть по полцента за очко, чтобы было интересней?
Смерть. А то тебе так интереса мало?
Нэт. Просто я на деньги играю лучше.
Смерть. Как скажешь, Ньют.
Нэт. Нэт. Нэт Аккерман. Не знаешь, как меня зовут?
Смерть. Ньют, Нэт — голова у меня болит.
Нэт. Ходи.
Смерть. И хода-то нет.
Нэт. Как все это происходит?
Смерть. Что «это»?
Нэт. Смерть.
Смерть. А как должно происходить? Будешь лежать вон там.
Нэт. А потом что-нибудь есть?
Смерть. Ага, двойки-то бережешь.
Нэт. Я тебе вопрос задал. Потом что-нибудь есть?
Смерть *(рассеянно)*. Там увидишь.
Нэт. Значит, увижу все-таки?
Смерть. Как тебе сказать, может, я и неправильно выразилась. Ходи.
Нэт. От тебя ответа дождешься.
Смерть. Я, между прочим, в карты играю.
Нэт. Ладно, ладно, играй, только в отбой не подсматривай.
Смерть. Я и не думаю подсматривать. Поправила просто. Играй.
Нэт. Ты хоть можешь мне сказать, куда мы идем?
Смерть. Мы? Сказать тебе по правде, так ты просто рухнешь на пол.
Нэт. Прямо жду не дождусь. Больно будет?
Смерть. Секундное дело.
Нэт. Здорово! Только этого мне и не хватало. Человек сливает свое дело с «Модист ориджинал»... Сдавай.

Смерть сдает.

Значит, я должен на пол падать? А у дивана мне в этот момент стоять никак нельзя?
Смерть. Нельзя. Играй.
Нэт. А, собственно, почему нельзя?
Смерть. Потому, что тебе положено на пол! И отвяжись, не даешь сосредоточиться.
Нэт. С какой это стати обязательно на пол? Я ведь ни о чем другом не толкую! Почему мне нельзя стоять в это время у дивана?
Смерть. Сделаю все что могу. Играем мы или нет?
Нэт. Я же ни о чем больше не прошу. Ни о чем. А ты мне напоминаешь Моу Лефковица! Он такой же упрямый.
Смерть. Я ему напоминаю Моу Лефковица! Я один из самых страшных образов, доступных воображению, и я ему напоминаю Моу Лефковица. Он что, скорняк?

Нэт. Была бы ты таким скорняком. Он стоит восемьдесят тысяч в год. Басон, бисер, галуны, отделка. Своя фабрика. Ходи.

Смерть. Болтал бы ты поменьше.

Нэт. Что ты имела в виду, когда сказала, что это твое первое дежурство?

Смерть. А ты что подумал?

Нэт. Ты что, хочешь сказать, что до меня никто не уходил?

Смерть. Уходили, конечно, но не со мной.

Нэт. А с кем же?

Смерть. С другими.

Нэт. Есть, стало быть, другие?

Смерть. Конечно. Каждый уходит своим путем.

Нэт. Вот уж не знал.

Смерть. Откуда тебе знать? Ты кто такой?

Нэт. То есть как это «кто я такой»? Что я, по-твоему, ничего собой не представляю?

Смерть. Ну почему же ничего. Ты — фабрикант готового платья. Откуда тебе разбираться в вечных тайнах.

Нэт. Нет, вы послушайте только! Я зашибаю приличную деньгу, у меня двое ребятишек колледж кончили. Один пристроен в рекламном деле, другая замужем. Езжу на собственном «крайслере». Жене ни в чем отказа нет. Служанки, норка, курорты — пожалуйста. Сейчас в Иден-Рок укатила. Пятьдесят долларов в день просто потому, что ей охота повидаться с сестрой. Я к ней должен подъехать на следующей неделе. Ты за кого меня принимаешь, за какого-то прощелыгу с улицы?

Смерть. Ладно, ладно, не заводись.

Нэт. И не думаю заводиться.

Смерть. Тебе ведь не понравилось бы, если бы я сразу на все обижалась?

Нэт. А я тебя обижал?

Смерть. Кто говорил, что я тебе не нравлюсь?

Нэт. Вот те на. Что мне, прием в твою честь устраивать?

Смерть. Да нет, я о другом совсем. Ты ко мне придирался, лично ко мне. Ростом я, мол, не вышла, то у меня не так, это у меня не так.

Нэт. Я сказал, что ты похожа на меня. Это ведь как отражение.

Смерть. Ладно, сдавай.

Тихо звучит музыка, огни гаснут, наступает кромешный мрак. Потом огни медленно загораются вновь. Видно, что времени прошло много и игра окончена.

Нэт. Проиграла, голубушка.

Смерть *(подавленно перебирая карты)*. Знала же, что нельзя было ходить с девятки, чтоб ее...

Нэт. До завтра, значит?

Смерть. То есть как это до завтра?

Нэт. Я выиграл себе день. Выкатывайся.

Смерть. Ты это всерьез?

Нэт. Уговор есть уговор.

Смерть. Да, но...

Нэт. Никаких «но». Двадцать четыре часа мои. Приходи завтра.

Смерть. Я как-то и не сообразила, что мы играли на время.

Нэт. Это твои забота. Слушать надо было.

Смерть. А куда я денусь на двадцать четыре часа?

Нэт. Мне-то до тебя что? Главное, что я себе день выиграл.

Смерть. Прикажешь мне по улицам шататься?

Нэт. Сними номер в гостинице или посиди в кино, только не устраивай из своих дел национальную проблему.

Смерть. Подсчитал?

Нэт. Двадцать восемь долларов с тебя.

Смерть. Что?!

Нэт. Вот именно, подруга. Проверь.

Смерть *(роясь по карманам)*. У меня есть несколько долларовых бумажек, но двадцать восемь я не наскребу.

Нэт. Пиши чек.

Смерть. На какой банк, интересно знать?

Нэт. И с кем я только связался!

Смерть. Можешь предъявить иск через суд. В каком, по-твоему, банке мне счет откроют?

Нэт. Ладно, гони, что у тебя есть, и будем в расчете.

Смерть. Слушай, мне нужны эти деньги.

Нэт. На что они тебе?

Смерть. То есть как «на что»? Ты же отправляешься в загробную.

Нэт. И что с того?
Смерть. А ты знаешь, как это далеко?
Нэт. Ну?
Смерть. А бензин? А дорожные пошлины?
Нэт. А мы что, на машине поедем?
Смерть. Увидишь. *(Оживленно.)* Слушай, я завтра вернусь, а ты дашь мне шанс отыграться. Иначе я влипну в историю.
Нэт. Как знаешь. Играть будем двойную. Я себе еще недельку отыграю, а то и месячишко. А то и несколько лет, судя по тому, как ты играешь. До завтра.
Смерть *(подталкиваемая к выходу)*. Где здесь приличная гостиница? Хотя, какая там гостиница, денежки-то тю-тю! Пойду пристроюсь где-нибудь. *(Берет газету.)*
Нэт. Катись, катись. А мою газету не тронь. *(Вырывает газету.)*
Смерть *(выходя из комнаты)*. Нет, утащить его просто так я, конечно, не могла! Обязательно надо было в игру ввязаться.
Нэт *(вдогонку ей)*. Осторожно на лестнице! На одной ступеньке ковер сбился.

Его реплика сопровождается страшным грохотом на лестнице. Нет вздыхает, подходит к столику у кровати и снимает трубку телефона.

Алло, Моу? Это я. Слушай, то ли кто-то меня разыгрывает, то ли что, но ко мне приходила Смерть. Мы с ней сыграли немного в джин-рамми... Да нет, *Смерть!* Собственной персоной. Или кто-то, кто под нее работает. Моу, ну и недотепа же она!

Занавес

Если бы импрессионисты были стоматологами...

Фантазия на тему транспортировки темперамента

Дорогой Тео!
Неужто жизнь так и не улыбнется мне? Я разбит, я в отчаянье! Голова просто раскалывается! Миссис Сол Шаиммер подает на меня в суд: я сработал ей мост таким, каким увидел, вместо того чтобы втискивать его в странные формы ее рта. Да! Я не могу работать на заказ, подобно ремесленнику! Я задумал мост этакой огромной волной, из которой во все стороны взрываются протуберанцами зубы! А она — она возмущена тем, что он не лезет ей в рот! Она так по-мещански глупа, что хочется разорвать ее на куски! Я пытался вставить ей искусственную челюсть, но протез выпирает, как канделябр. И все же, по-моему, очень красиво. Она заявляет, что не может жевать. Да какое мне дело, может она жевать или нет! Тео, я больше так не выдержу! Я предложил Сезанну снять кабинет на двоих, но он стар и дряхл, он не может держать инструмент, все приходится привязывать к рукам. Из-за этого он не способен работать аккуратно и, проникнув к клиенту в рот, больше зубов калечит, чем лечит. Как мне быть?

Винсент

Дорогой Тео!
На этой неделе я сделал несколько челюстных рентгеноснимков. По-моему, удались. Дега их смотрел и раскритиковал. Ему не понравилась композиция. Говорит, что я свалил все дупла в нижний левый угол. Я пытался объяснить, что у натурщицы — миссис Слоткин — просто такой рот, но он ведь и слушать не хочет! Придрался к рамкам — считает, что красное дерево слишком тяжелит. После его ухода я изорвал все в клочья. И будто всего этого мне было мало, я начал рассверливать каналы к корням миссис Вильме Зардис, но на полдороге пришел в отчаянье. Я вдруг понял, что каналы — вовсе не то, к чему я стремлюсь! Меня охватил жар, голова пошла кругом, и я стремглав ринулся из кабинета глотнуть воздуха! Несколько дней я провел в забытьи и очнулся на морском берегу. Вернувшись, я обнаружил, что она все еще сидит в кресле. Чувство долга заставило меня доделать ей рот, но подписать его я так и не смог.

Винсент

Дорогой Тео!
И опять мне нужны деньги. Я знаю, как обременяю тебя, но к кому же еще мне обратиться за помощью? Почти все протезы делаю сейчас из пряжи — импровизирую

по ходу дела, результаты просто потрясающие! Но, боже мой, на новокаин у меня не осталось ни пенса. Сегодня, удаляя зуб, пришлось давать клиенту наркоз отрывком из Драйзера. Помоги!

Винсент

Дорогой Тео!

Решил открыть кабинет на паях с Гогеном. Он — отличный стоматолог, специалист по мостам, и, похоже, питает ко мне симпатию. Очень хвалит протез, сделанный мной для мистера Джея Грингласса. Если помнишь, я ему подпилил нижний седьмой, но потом вдруг воспылал презрением к пломбе и решил ее удалить. Гринглосс взбеленился и подал в суд. Возник юридический казус о правах собственности. Адвокат дал мне умный совет: я предъявил иск на весь зуб, но удовлетворился одной только пломбой. И знаешь, кто-то увидел ее потом валяющейся на полу в углу кабинета и хочет ее выставлять. Уже поговаривают даже о ретроспективной выставке!

Винсент

Дорогой Тео!

Теперь мне кажется, что партнерство с Гогеном было ошибкой. У него не все дома, и он здорово пьет. Когда я указал ему на это, он вошел в раж. Потом, улучив минутку поспокойнее, я убедил его попробовать пломбировать зубы на натуре, и мы работали на лужайке, под сенью золотой листвы. Он поставил коронки мисс Анджеле Тоннато, а я — временную пломбу мистеру Луи Кауфману. Представляешь, мы так хорошо работали вместе на свежем воздухе! Ряды белоснежных зубов, блестящих в лучах солнца! Но внезапный порыв ветра сдул с головы мистера Кауфмана парик. Ринувшись за ним в кусты, он сшиб инструменты Гогена. Гоген решил, что виноват я, и хотел меня ударить, но по ошибке стукнул мистера Кауфмана, да так, что тот сел на бур скоростной бормашины. Мистер Кауфман пролетел мимо меня пулей, увлекая за собой мисс Тоннато. В результате, дорогой Тео, юридическая фирма «Ривкин, Ривкин, Ривкин и Мельтцер» выкачала из меня последние сбережения. Вышли сколько сможешь.

Винсент

Дорогой Тео!

Нет в мире зрелища печальней, чем Тулуз-Лотрек за работой. Больше всего на свете он жаждет быть великим стоматологом, и у него истинное дарование, но из-за непомерно маленького роста он не достает клиентам до рта, а вставать на табурет ему не позволяет гордость. Вытянув вверх руки, он шарит ими на ощупь, ища губы клиента, и вчера, пытаясь поставить коронки на зубы миссис Фигельсон, поставил их ей на подбородок. Что же до моего старинного друга Моне, то он теперь ни на чем, кроме ртов поистине гигантского размера, работать не желает, а Сёра — человек настроений — разработал технику очистки каждого зуба по очереди, пока не образуется то, что он назвал «рот, полный сахарных зубов». Есть в его методе какая-то архитектурная монументальность, но стоматология ли это?

Винсент

Дорогой Тео!

Я влюблен. На прошлой неделе на профилактический осмотр пришла Клер Мемлинг. (Хотя с последнего осмотра прошло лишь четыре дня, я послал ей открытку, в которой написал, что она не была на профилактике уже полгода.) Тео, она сводит меня с ума! Я весь горю! Прикус! Какой у нее божественный прикус! В жизни не встречал такого! И идеально ровные плотные зубы, не то что у миссис Иткин, у которой нижняя челюсть выпирает на дюйм вперед как у питекантропа! Но когда видишь ровные, плотные зубы Клер, начинаешь верить в бога! И вместе с тем в них есть та доля несовершенства, которая и делает ее такой привлекательной,— дырка между нижними девятым и одиннадцатым. Десятый она потеряла в отрочестве. Неожиданно образовалось дупло. Клер удалила зуб абсолютно безболезненно (по правде — он выпал сам, когда она с кем-то заболталась), а новый так и не вставила. Говорит, что нижний десятый ничем не заменить. С возрастом она вообще испытывает все меньше и меньше желания упоминать о нем, а со мной разоткровенничалась, наверно, потому, что доверяет мне. О, Тео, как я люблю ее! Сегодня я смотрел ей в рот и снова чувствовал себя молодым студентом-стоматологом. Разволновался так, что уронил туда зеркало и тампон. Потом ухитрился обнять ее, показывая преимущества движения для чистки зубов. До сих пор эта милая чудачка чистила зубы, неподвижно зажав в руке щетку и мотая из стороны в сторону головой. В следующий четверг дам ей наркоз и сделаю предложение.

Винсент

Дорогой Тео!

Гоген и я снова поссорились, и он уехал на Таити. Я побеспокоил его, когда он рвал зуб мистеру Нэту Фельдману, упершись ему в грудь коленом и уже наложив щипцы. Дернул же меня черт зайти в кабинет как раз во время его обычной драки

с клиентом и спросить, не видел ли он мою фетровую шляпу. От неожиданности Гоген отпустил щипцы, а мистер Фельдман, воспользовавшись заминкой, вырвался из кресла и удрал. Гоген рассвирепел! Сунул меня головой в рентгеновский аппарат и держал там минут десять. Я потом несколько часов не мог моргнуть обоими глазами одновременно. Я так теперь одинок.

Винсент

Дорогой Тео!

Все пропало! Поскольку сегодня настал день делать предложение Клер, с утра я был несколько нервен. Выглядела она очаровательно — белое кисейное платье и соломенная шляпка затмевали даже ее десны. Сердце мое трепетало, когда я усадил ее в кресло и вставил в рот дренаж. Я пытался создать романтичную обстановку — опустил лампу и попробовал перевести разговор на что-нибудь веселое. Мы оба нюхнули немного газовой смеси. Улучив подходящий момент, я заглянул ей прямо в глаза и сказал:

— Полощите, пожалуйста.

А она!.. Она рассмеялась! Да, Тео, рассмеялась и рассвирепела.

— И вы надеялись, что я стану полоскать для такого мужчины, как вы? Ничего себе шуточки!

— Простите, вы не так меня поняли,— ответил я.

— Я все поняла как надо! Подумать только, что за наглость! Прочь от меня!

И с этими словами она выбежала за дверь, вся в слезах. Тео, я не хочу больше жить! Я вижу в зеркале свое лицо и хочу разбить его, разбить на куски! Надеюсь, что ты здоров.

Винсент

Дорогой Тео!

Да, это правда. Ухо, выставленное на продажу в сувенирной лавке братьев Флейшмен, действительно мое. Пожалуй, я поступил неумно, но мне хотелось послать Клер подарок ко дню рождения в прошлое воскресенье, а все магазины были закрыты. А, ладно... Временами я жалею, что ослушался отца и не пошел в художники. Профессия, конечно, не ахти, зато жизнь спокойная.

Винсент

УМБЕРТО ВАЛЬДАС ДИАС. Куба. Нас больше

АЛЬФОНС АЛЛЕ

РАССКАЗЫ

Перевод с французского ЕЛЕНЫ БАБАЙЦЕВОЙ

Достоверный исторический момент

Вы слишком молоды, чтобы помнить об этом, но в конце XV века довольно скверный малый по имени Ричард III, правивший Англией и по уши погрузивший ее во всевозможные ужасы, встретился в Босворте с вражеской армией, большую часть которой — о Франция, узнаю тебя — составляли наши соотечественники. Предвидеть исход битвы было, как вы сами понимаете, нетрудно, и перед коронованным проходимцем уже маячил призрак смерти, который положил бы конец всем его злодеяниям.

Говорят, пришла беда — открывай ворота. Поняв, что сражение проиграно, Ричард III, как и положено достойному полководцу, думал лишь об одном — дать дёру.

К несчастью, его боевой конь пал, придя таким образом в негодность. Вот в таких ситуациях минуты становятся вечностью.

Дрожа от страха, мечтая лишь о том, как бы поскорее покинуть Босворт с его нездоровым климатом, Ричард III хриплым воплем выразил живейшее желание заполучить, пусть даже на самых жестких условиях, хоть какую-нибудь лошаденку.

Слова, которые он произнес в эту минуту, дошли до нас, но в разноречивых вариантах.

Вильям Шекспир, мясник из Стратфорда-он-Эйвона, занявшийся впоследствии, подобно достойному Альфонсу Лемопьеру, сочинительством и написавший неплохую мелодраму о Ричарде III, вложил в его уста следующие слова: «A horse! A horse! My Kingdom for a horse!» Что по-нашему: «Коня! Коня! Королевство за коня!»

Часть, и притом значительная, английских историков так изменяет королевский текст: «A horse! A horse! My crown for a horse!» Это значит: «Коня! Коня! Корону за коня!»

(Так как по-английски «crown» это «корона», штука, которой и в наше время — а еще говорим о цивилизации — узкий круг лиц без колебаний готов украсить свою голову, причем никто из окружения этих полупомешанных даже и не подумает улыбнуться.)

Какое слово произнес Ричард III в столь критический для него момент: «Королевство» или «Корона»? В этом вся соль.

Документ, который мы заполучили, проливает свет на эту проблему. Ричард произнес слово «корона», но не в том значении, в котором истолковывает его часть, и притом значительная, английских историков.

Документ, о котором я говорил выше, не что иное, как письмо уэльского солдата домой, написанное вечером после Босвортовской битвы.

Вот отрывок:

«...Даже к самым серьезным событиям, дорогие родители, смешное предъявляет свои права. Преследуемые ожесточенным врагом, мы в полном смятении спасались бегством. А впереди всех — король Ричард. И вдруг, вот потеха, видим, как его Величество взлетает в воздух всеми четырьмя копытами вверх. Но государь сумел вскоре подняться, чего не скажешь о его скакуне. И когда мы поравнялись с ним, венценосный беглец без зазрения совести посулил нам корону [1] за одну из наших лошадей. Нас это возмутило, и чтобы удостовериться, что не ослышался, я спросил у короля: «Сколько, вы сказали?» И он ответил: «Одну, одну корону за коня!»

От такой скаредности короля нам стало противно, и мы бросили проклятого монарха на произвол судьбы!»

Вот вам еще один достоверный исторический момент.

[1] Старинная английская монета, соответствующая примерно шести франкам *(прим. автора)*.

Чудо-камера

Страховая компания на случай тюремного заключения

Мэтр Казимир, известный юрисконсульт, направил мне следующее сообщение, в самых трогательных выражениях умоляя предать его гласности в «Сурир».

Итак, дорогой Мэтр, вам слово:

ЧУДО-КАМЕРА

Прошло два года со дня основания в Париже «Страховой компании на случай ограбления», растущее благосостояние которой как нельзя лучше свидетельствует о том, что воровство прочно вошло в наши обычаи и стало даже одним из распространенных видов спорта.

Идея, вдохновляющая это учреждение, великолепна, и мы неустанно радовались бы ее воплощению в жизнь, если бы нам не пришлось сожалеть о том, что Компанию, показавшую себя столь заботливой по отношению к интересам ограбленного, нисколько не беспокоят интересы самого грабителя. Но ведь если и есть ограбленные, то лишь потому, что существуют грабители, и непонятно, почему первые пользуются покровительством, тогда как вторым в нем отказано.

На фоне всеобщей свободы и равенства, кои знаменуют нашу эпоху, такое отношение, умышленное или нет, являет собою вопиющую несправедливость. Добавлю, что это в высшей степени безнравственно, ведь кого, как не грабителя, и чествовать за его смелые и не всегда безопасные поступки?

Один из моих друзей, следователь, почерпнувший из досье преступников чрезвычайно глубокие знания по части грабежа — что сделало его человеком вдвойне опасным,— поведал мне как-то о подвигах одного из своих лучших клиентов. Великолепно — доблесть, чудеса храбрости, перед которыми меркнут высшие достижения рыцарей былых времен. А когда подумаешь, сколько терпения, кропотливого изучения предмета надо, чтобы постичь науку грабежа в обществе, пожалуй, враждебном к такого рода упражнениям, просто невозможно не выразить своего восхищения перед этими скромными тружениками фомки и отмычки.

А само ремесло — неблагодарнее не придумаешь. В то время, как ограбляемый мирно дремлет, погруженный в сладостное безделье, уповая на страховой полис и на полицию, нисколько не облегчая вору его труд, а даже пытаясь помешать ему, у того нет ни минуты покоя. День и ночь бродит он по нашим деревням и городским улицам. Порой он вынужден пристукнуть упрямых буржуа, стремящихся навязать ему непредвиденные трудности. Подхлестываемые жестокосердными судьями, жандармы затевают неистовую атаку на вора. Теперь он добыча для закона, объект беспощадной травли. На карту поставлена его свобода и даже жизнь.

И что, вы думаете, в итоге, после стольких превратностей, автору крепко задуманного и элегантно воспроизведенного грабежа воздается, наконец, по заслугам? Не тут-то было: все симпатии окажутся на стороне обворованного, «жертвы», так сказать. Что же до вора, то о нем промолчат, а если кто-то и вспомнит про него, то лишь затем, чтобы высказать в его адрес вещи отнюдь не приятные. Взять хотя бы речи прокуроров на заседаниях.

Перед лицом подобной несправедливости я не без страха задумываюсь над тем, что будет, если, разочаровавшись в ремесле, которое не может прокормить, взломщики, карманники и прочие мошенники возьмут и забастуют? Забастовка воров, да ведь это конец всему! Во-первых, «собственность — это кража». Значит, не будет краж, не будет и собственности, далее: не будет собственности — не будет и ее блюстителей. Не говоря уж о судах, распущенных на вынужденные каникулы, судья порвет свою тогу.

От последней перипетии бросает в дрожь.

Угроза вполне реальна. Надо устранить ее. Позаботиться о судьбах тех храбрецов, без которых институт правосудия немыслим. Мы предлагаем учредить «Страховую компанию на случай тюремного заключения», которая будет призвана возмещать убытки тем несчастным, кого бессердечное общество посылает страдать на сырую солому тюрьмы.

«Чудо-камера» по моему проекту станет торговой фирмой новой Компании; сосредоточив основную работу в Париже, она учредит свои агентства в провинции, особенно в тех районах, где опасность попасть за решетку особенно велика.

Компания представляет страховку от любого тюремного заключения, в том числе и по политическим мотивам. Однако в последнем случае платежи будут повышены, так как подобные бедствия слишком участились за последнее время. Кроме того, «Чудо-камера» не дает гарантий на случай ответа перед Верховным Судом.

При небольшой надбавке к платежам можно застраховаться от таких опасностей, как облава, избиение и другие несчастные случаи, которыми грозит улица. За обыски

и дознания следствия будут установлены специальные расценки, при составлении которых учитываются умственные способности судьи и политическая принадлежность застрахованного.

Мы советуем обзавестись страховым полисом на случай тюремного заключения не только профессиональным мошенникам, но и всем прочим гражданам, коим может быть предъявлен ордер на арест. В этом смысле наша страховка так же незаменима для депутате, сенатора, министра, как и для заурядного езломщика и мазурика. К тому же, если принять во внимание все учащающиеся случаи юридических ошибок, страховой полис нашей Компании станет для невинно осужденного единственной возможностью избежать полного разорения.

Вот что за учреждение хотелось бы основать во Франции; будучи уверен в мощной моральной и финансовой поддержке наших читателей, я обращаю на него их внимание. Речь идет о гуманности и патриотизме. Да будет услышан наш призыв!

Мэтр Казимир.

Маловероятная история

Я только что сообщил господину директору «Журналь дю деба» свой — достаточно мотивированный — отказ покупать его газету.

Причина моего недовольства в опубликованной этим солидным изданием из ряда вон выходящей истории, изложенной так холодно, как если бы речь в ней шла о самых обычных вещах, истории, которая была бы хороша под игривым пером господина Жоржа Ориоля.

Между тем, раз уж мы с вами получаем «Деба», то для серьезного чтения. Не так ли, друзья?

Когда серьезные люди принимаются за шутки, они доводят их до конца.

Судите сами.

(Я переписал почти дословно.)

«Известный натуралист, ревностный дарвинист, господин Генрих Дал из Талезунца (Норвегия) задумал проследить эволюцию живого существа во всех ее стадиях.

Для этого он обзавелся сельдью, выловленной в близлежащем фиорде. Ученый поместил ее в аквариум с морской водой, уровень которой он ежедневно уменьшал.

Озадаченная было селедка рассудила по-философски и, за неимением возможности резвиться в воде, постепенно перешла на образ жизни амфибии: то в воде, то на воздухе.

Продолжая свой эксперимент, господин Дал вылил всю воду из аквариума.

Селедке стало не по себе. Но смирившись со своей участью, она вскоре привыкла к сухому режиму и задышала как все наземные существа, что и подняло ее на ступень эволюционной лестницы.

В награду Дал вытащил свою подопечную из ставшего ненужным сосуда и научил вести себя сообразно с ее новым саном.

Умная, нежная, проворная, она делала все, что от нее требовали.

Она привыкла к пище, не принятой среди рыб, и ела из рук гостей. Влюбленная в своего господина, она выказывала истинную печаль, когда тот покидал ее, чтобы предаться своим занятиям.

И вот, решив, что настало время перейти ко второму этапу, господин Дал научил послушное животное ползать на манер змеи.

После нескольких месяцев тренировки достойная селедка уже бодро передвигалась, и господин натуралист водил ее гулять, как водят пуделя.

Не будем многословными и перейдем к драме.

Однажды господин Генрих Дал и его верная селедка прогуливались в районе порта и проходили по мосту из неплотно сбитых досок.

Увы, бедная зверушка, проскользнув в щель, упала в воду.

...Далее «Деба» холодно отмечает:

«Есть все основания предполагать, что успевшая отвыкнуть от воды сельдь утонула».

◆

Наши гости

Вацлав Садковский

Александр Навроцкий

ПОЛЬША

Известный критик и литературовед Вацлав Садковский возглавляет редакцию издаваемого в Варшаве журнала «Литература на свете». Александр Навроцкий — поэт, автор нескольких сборников — не раз выступал на страницах этого журнала с переводами венгерской поэзии.

Разумеется, первый наш вопрос — о литературной жизни Польши. Оговорившись, что польская литература не является его «специальностью» и его представление о ней не может претендовать на полноту, Вацлав Садковский называет несколько произведений, которые, по его мнению, заслуживают внимания. Это «Высокие комнаты» Петра Войцеховского — с большим юмором написанная книга, жанр которой можно определить как некий сплав политического и футурологического романов; сборник коротких сатирических рассказов Богдана Задуры «Патриция и афганская борзая»; исторический роман Яна Добрачинского о наполеоновских войнах «Врата Лейпцига»; романы «Третье царство» Анджея Кусьневича и «Патриция, или О любви и искусстве среди ночи» Эугениуша Кабатца, посвященные жизни западной интеллигенции.

Затем Садковский передает слово Александру Навроцкому, который занимается молодой поэзией в издательстве «Искры».

— Главное в моей работе — это поиск и пропаганда новых имен. Я руководствуюсь следующим принципом: печатать не модных, а интересных поэтов, обладающих ярко выраженной индивидуальностью, даже если стихи их еще недостаточно совершенны по форме. Последние мои «находки» — молодые поэтессы Мария Борковская и Анне Яблонская. Борковской присуще сочетание иронии с трагическим гротеском. Судя по книге «Дом-песенник», можно с уверенностью сказать, что поэтесса нашла для своих стихов удачную форму. Высокой оценки заслуживает и сборник «Вместо принца» Яблонской. Любопытно, что обе поэтессы с некоторой грустью рисуют весьма схожие портреты своей сверстницы, «девушки в джинсах» — деловитой, энергичной, ультрасовременной, но... отчасти утратившей мягкость и женственность.

Интересно работает молодой силезский поэт Анджей Голец. Заслуживают внимания и стихи Богдана Задуры, одного из немногих современных поэтов, отдающих дань традиционным поэтическим формам. Задура, в частности, любит сонет. Недавно вышел и тотчас был раскуплен посмертный сборник стихов и прозы Рафала Воячека, называемого некоторыми критиками «польским Вийоном». В последнее время увлеклись прозой и критикой известные поэты, представители краковской поэтической группы «Тераз» Юлиан Корнхаузер и Адам Загаевский, но читатели не теряют надежды дождаться их новых стихов.

Другая тема нашего разговора — работа

родственного «Иностранной литературе» журнала «Литература на свете».

— «Литература на свете» существует уже пять лет,— говорит Вацлав Садковский.— За этот срок вполне отчетливо успели проявиться и достоинства, и недостатки, а стало быть, пришло время подумать о каких-то изменениях в структуре. Первым шагом на этом пути стало появление в наших книжках цветных репродукций. К сожалению, это полезное нововведение связано с типографскими сложностями, и потому очередные номера журнала нередко выходят с запозданием.

В этом номере мы знакомим польского читателя с неизвестными ему до сей поры произведениями классиков советской литературы — Леонова, Шолохова, Всеволода Иванова, Федина, со стихами поэтов первого героического поколения молодой Советской республики, а также с отрывками из книг более молодых, но хорошо у нас известных писателей. Что касается советской литературы последних лет, то у нас запланирован специальный номер.

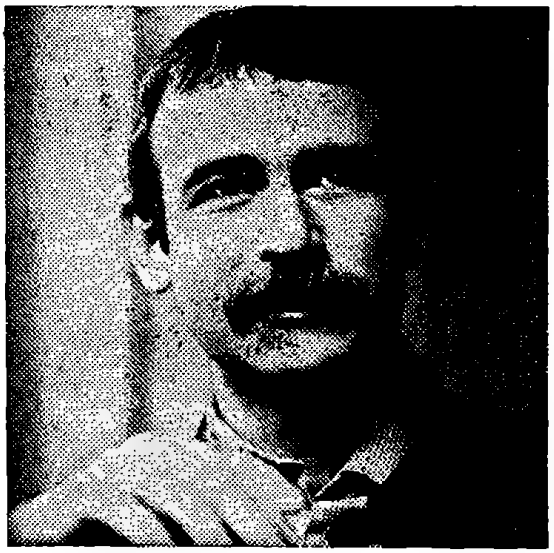
Дело в том, что мы придерживаемся монографического принципа. Каждый очередной номер посвящен литературе одной страны, отдельному писателю или какой-нибудь одной проблеме. Например, июльский номер 1977 года — нарушению прав человека в крупнейших капиталистических странах. Причем наряду с отрывками из произведений писателей Запада, мы публиковали статью советского публициста Ю. Давыдова о молодежном движении в Европе, отрывки из пьесы армянского драматурга Перча Зейтунцяна «Самый грустный человек». Очень интересен напечатанный там же фрагмент из вышедшего в США исторического романа Роберта Кувера «Публичное сожжение» о деле Юлиуса и Этель Розенберг, являющегося чрезвычайно ярким документом, который разоблачает эпоху маккартизма.

В 1978 году у нас выйдет номер, в котором читатель найдет подборку произведений, отражающих связь между литературой и другими жанрами искусства. Готовятся также номера, посвященные отдельным странам. Первыми в этом ряду будут Болгария — особое внимание мы собираемся уделить молодой болгарской литературе и США — в американском номере, видимо, будут опубликованы отрывки из документального романа Кэтрин Энн Портер о Сакко и Ванцетти.

До сих пор,— заканчивает свой рассказ Вацлав Садковский,— большие по объему произведения «Литература на свете» представляла своему читателю в отрывках. Сейчас редакция склоняется к тому, чтобы наиболее цельные и интересные из них печатать, как это делаете вы, целиком или с небольшими сокращениями. По всей вероятности, первыми из публикуемых полностью произведений окажутся романы советских прозаиков Виктора Астафьева и Валентина Распутина.

К. СТАРОСЕЛЬСКАЯ

◆



Михаэль Шаранг

АВСТРИЯ

Писатель Михаэль Шаранг впервые в Советском Союзе. Но вряд ли можно сказать, что его знакомство с нашей страной только начинается. Один из активистов общества дружбы «Австрия — СССР», Шаранг ведет среди своих соотечественников регулярную работу по пропаганде советского искусства и литературы, активно сотрудничает в культурном центре, организованном Коммунистической партией Австрии.

Наша беседа начинается с просьбы рассказать об австрийской литературе.

— Однозначно охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию в нашей литературе трудно. В свое время она пережила бурный расцвет, связанный с именами Музиля, Рота, Верфеля, Канетти. Во многом это была литература трагического мироощущения. После освобождения Австрии от фашизма ее прогрессивным писателям в первое время фактически не на что было опереться — не существовало соответствующей литературной традиции. Антифашистский роман, поднимающий тему активного «расчете с прошлым», был представлен в нашей стране, в отличие от ГДР и ФРГ, довольно слабо. Новое поколение, пришедшее в начале шестидесятых годов, точно так же не видело для себя альтернативы буржуазной действительности, как и его довоенные литературные предшественники. Вместе с тем оно уже отличалось от предыдущего. Налицо была оппозиция окружающему миру, хотя

и выражалась она, как правило, в формах мелкобуржуазного, анархического авангардизма. Наиболее талантливыми представителями этого направления являются, на мой взгляд, Петер Хандке и Томас Бернгард. В начале своей литературной работы Хандке, писатель безусловно очень одаренный, придерживался более цельного, более, я бы сказал, перспективного взгляда на мир, явно тяготел к реалистическому письму. Одной из лучших его книг я считаю биографическую повесть «Несчастье без желаний». В последних же произведениях Хандке все чаще дает о себе знать субъективистская убежденность, что собственное «я» — это наиболее интересный объект исследования для писателя. Характерно, что сейчас он все больше входит в моду. И у Бернгарда есть известное критическое начало, но, подобно Хандке, он не видит альтернативы существующему строю.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что подлинная политизация культурной и литературной жизни в Австрии началась на волне студенческого движения конца шестидесятых годов, а точнее, тогда, когда это движение стало освобождаться от иллюзий. Именно в то время к рабочему движению примкнула большая группа молодых писателей, художников, скульпторов. Все они стоят на позициях критического, боевого реализма. И сейчас я могу с полным основанием утверждать, что в австрийской литературе существует сплоченная группа писателей, отстаивающих в своих произведениях интересы рабочего класса и дающих подлинную, неискаженную картину действительности. Их произведения уже получили известность за пределами Австрии. Здесь следует назвать имена Гельмута Ценкерв, уже известного советскому читателю по повести «Кассбах», Эльфриду Елинек, пишущую о положении женщин, Гериота Вольфгрубера, главная тема которого — молодежь и не щедрый к ней буржуазный мир. К ним же я отношу и себя.

Особо хочется отметить близкого к коммунистам Франца Иннерхофера. Его ромвн «Прекрасные дни», первая книга писателя и, на мой взгляд, наиболее ему удавшаяся, произвел на меня огромное впечатление. У Иннерхофера непростая биография. Выходец из крестьянской семьи, он работал в юности кузнецом, потом переехал в Зальцбург, учился в рабочей школе, поступил в университет. Там он начал писать и теперь живет своим писательским трудом.

Кстати, с каждым годом все меньше писателей в Австрии оказываются способны существовать за счет творчества. По всей стране можно насчитать, пожалуй, лишь человек десять — пятнадцать. Как и в ФРГ, многие австрийские писатели, вставшие в последние годы на прогрессивные общественные позиции, подвергаются «запрету на профессии». Положение осложняется еще и тем, что в нашей стране очень мало издательств и часто приходится обращаться в издательства ФРГ.

Шаранг поделился и своими творческими планами. В настоящее время он заканчивает работу над сценарием «Живой человек», веселой и в то же время грустной историей любви, возникшей между сыном банкира и продавщицей. Каждый из них существует только в своем мире, и девушка при этом оказывается носительницей более высоких нравственных качеств. Единственное же, что умеет он,— это делать деньги.

— А на очереди роман, который пока условно называется «Кольхаас». Аналогия с известной новеллой Клейста не случайна. История клейстовского героя заканчивается в тюрьме, у меня же история с этого начинается. Герой попадает в тюрьму за непредумышленное убийство в драке. Тюремный психолог помогает ему разобраться в своей судьбе, понять, что многое в его жизни было предопределено социальными обстоятельствами. Под влиянием этих бесед герой начинает изучать право и со временем убеждается, что законы писаны для тех, кто наверху. Люди приходят к нему за советом, он становится опасным для властей, и в итоге его изгоняют из города.

Как видите, творческие планы большие и требуют напряженной работы. Но все же я не могу себе позволить ограничиваться только литературой.

И Михвэль Шаранг рассказывает о своей работе в обществе дружбы «Австрия — СССР», о своих партийных поручениях.

— То, чем я занимаюсь, называется довольно скучно — культурно-просветительская работа. А возможности открываются здесь очень широкие. За последние годы, я уже говорил об этом, партия сумела привлечь к себе целый ряд деятелей культуры. Организован партийный культурный центр.

Идеологическая борьба проходит сейчас очень напряженно. Правящие круги постоянно стремятся изолировать прогрессивно настроенных людей, закрыть им доступ к средствам массовой информации. Мы же стремимся работать с молодежью. Мне, писателю-коммунисту, довольно часто приходится выступать не только перед молодыми коммунистами, но и перед молодыми социал-демократами, хотя руководство их партии это не поощряет. Нередко я выступаю в школах с чтением отрывков из своих книг. Должен сказать, что интерес к деятельности коммунистов среди молодежи очень большой. Чтение отрывков — это только предлог, говорят мне обычно школьники. Мы и так читали ваши книги. Давайте лучше поговорим о политике. Часто спрашивают меня и о вашей стране, о положении писателей. Во время поездки по СССР мне доводилось беседовать по этим вопросам. Я познакомился со многими советскими писателями, с их книгами. И я рад, что по возвращении в Австрию смогу больше рассказать своим слушателям о вашей стране.

Н. ЛИТВИНЕЦ

Среди книг

Издано в СССР

РАЗДУМЬЯ О НЕИЗВЕСТНЫХ

Мирослава Томанова. Серебряная равнина. Перевод с чешского Ю. Ритчика. Предисловие Юрия Бондарева. Москва, «Прогресс», 1977.

Тема и характер этой книги очень точно определены самим автором во вступительном «Слове к советским читателям»: «Серебряная равнина» — роман о большой, прекрасной любви, история которой разворачивается на фоне подлинных событий: это боевые действия 1-й самостоятельной чехословацкой бригады совместно с частями Красной Армии, сперва в ходе сражения за Киев, а потом во время боев на правобережной Украине. Характеры и судьбы некоторых героев подсказаны судьбами участников описываемых событий. В ряде случаев имена, воинские звания и должности изменены для того, чтобы меня ничто не связывало ни в построении сюжета, ни в изображении тех трагических ситуаций, которые неминуемы на войне».

Во многом Мирослава Томанова, заслуженная писательница Чехословакии, до сих пор известная главным образом как публицист, драматург и постоянный соавтор своего мужа Йозефа Томана (1899—1977)[1], выступает здесь в роли историка Чехословацкой бригады в СССР, превратившейся затем в корпус и ставшей ядром армии народно-демократической Чехословакии. К этому ее обязывала важность и неразработанность темы. Не приходится говорить о том, какое место в советской литературе занимает боевая летопись Великой Отечественной войны. В словацкой литературе такую же роль играют произведения о Словацком национальном восстании. Но ратный путь Чехословацкой бригады до сих пор не получил в чешской прозе достойного отражения.

Мирослава Томанова не была прямой участницей описываемых событий. Несколько лет она собирала материал, беседовала с бывшими солдатами и офицерами бригады, изучала архивные документы и карты. Помог и собственный жизненный опыт. Томанова пишет: «...Во второй мировой войне не существовало водораздела между кровавым фронтом и спокойным тылом, как это бывало во время прежних войн. Прага тоже была местом сражения, где гремели выстрелы, текла кровь, пылал огонь... В самом конце войны Прага подверглась бомбардировке, во время этого налета я была ранена. А когда пришел час освобождения Праги Красной Армией, город стал ареной непосредственных военных действий. Я сжимала руку умирающему бойцу на баррикадах, которому пламя из огнемета выжгло глаза и изуродовало все лицо, я видела вдоль дорог могильные холмики павших красноармейцев... Картины конца войны, предвещавшие иные будущее, глубже всего врезались мне в память... Этот светоч вдохновлял меня в работе над романом, которым я хотела выразить свою благодарность тем, кто разгромил фашизм и обеспечил наше национальное существование».

Выбрав лишь несколько боевых эпизодов, писательница тем не менее сумела убедительно раскрыть историческую мис-

[1] При ее участии созданы пьесы «Жаба у источника» (1933), «Народный король» (1939), «Виноградник» (1941), романы «Медвежий угол» (1957) и «Сократ» (1975).

сию, выпавшую на долю бригады, сложность военно-политических задач, стоявших перед ее командованием, сумела правдиво воссоздать картины боев, запечатлеть героизм и повседневный воинский труд «мужчин и женщин в солдатских шинелях». Мы узнаем, сколько трудностей приходилось преодолевать чешским добровольцам, чтобы добраться до советской территории и получить возможность с оружием в руках отстаивать национальную свободу. «Свобода! Тот, кто не терял ее, не может представить состояние, когда в человеке воскресает надежда, что вот-вот он обретет ее снова». Эта мысль и это чувство движут героями Томановой, сплачивая их, заставляя забывать о страхе и усталости. Однако обстановка в самой бригаде отнюдь не представляется писательнице бесконфликтной. Ненависть к фашизму объединила людей разной политической ориентации, разного социального происхождения. Кое-кто из офицеров старого склада не свободен от честолюбивых планов (таков, например, начальник полковой разведки капитан Галирж). Даже искреннему и порывистому поручику Вокроуглицкому (в прошлом военный летчик, он получил боевое крещение в воздушных боях над Англией и ночных рейдах по другую сторону Ла-Манша) не сразу удается отрешиться от несколько «облегченного» представления о войне.

Главную задачу писательница видела в том, чтобы рассказать «...о людях, о все еще неизведанных до конца глубинах человеческого существа, диапазон чувств которого воистину безграничен: от нежной любви до всепоглощающей ненависти, от мучительного страха до поражающего воображение героизма и самоотверженности», она убеждена, что война «не притупляет ни чувства, ни мысли солдат, наоборот — обостряет их», и стремится показать это «во всей полноте».

Эта обостренность человеческих чувств и порождает тот конфликт, в который оказываются вовлечены основные персонажи. Состояние аффекта, любовь к сестре и ее жениху Боржеку толкают взводного Калаша на страшный шаг: опасаясь, что смертельно раненный Боржек попадет в руки врага и подвергнется зверским издевательствам, Калаш решается сам избавить его от мучений, а затем не находит в себе сил признаться в свершившемся своему командиру поручику Станеку, солдатам взвода, а главное — сестре. Безудержная ревность восстанавливает против Станека десятника Махата, человека сильного и бесстрашного, бежавшего из концлагеря под Берлином и через линию фронта пробравшегося на советскую территорию (жаль, что автор лишь мельком касается столь богатого жизненного материала). Махат настраивает товарищей против Станека, обвиняя его в гибели Боржека, а затем, когда выясняется вся необоснованность этих обвинений, готов покончить с собой. Но сознание долга в нем все же сильнее, чем жгучее чувство стыда и страх перед штрафным батальоном. «Твоя жизнь принадлежит не тебе одному,— говорит устами Махата автор, убежденный в «исключительной ценности каждой человеческой жизни».— Она принадлежит также и воинскому подразделению, в которое ты добровольно вступил. И сейчас, и потом... Сгниешь тут, а в списках бригады останешься, лишь отметят там: не выдержал, дезертировал на тот свет. Даже с этого света так просто не убежишь: смерть — не конец человека».

У главной героини романа телефонистки Яны был реальный прообраз, навсегда оставшийся в памяти бойцов бригады... Смерть дважды вырывала возлюбленных из объятий Яны. И она постоянно находится во власти страха, что и поручик Станек не избежит такой же участи. Безграничная любовь к Станеку ведет ее по раздираемой взрывами снежной серебряной равнине к смерти и бессмертию подвига. Яна как бы собственной жизнью платит судьбе выкуп за жизнь любимого человека.

«Сова, говорят, слышит стук человеческого сердца на большом расстоянии. Яна боялась, что все вокруг тоже услышат стук ее сердца, услышат, о ком оно стучит». Эти слова могли бы послужить эпиграфом к «Серебряной равнине» — не только военно-историческому роману, но и поэтической балладе о любви. Герои романа нередко размышляют о праве участников войны на любовь. Ротный Панушка, отец Яны, боится ее новой любви, которая, как ему кажется, сулит дочери одни лишь страдания. Но в романе есть такой эпизод. После гибели Боржека его невеста Эмча разговаривает с медсестрой Павлой, любимый которой погиб еще во время гражданской войны в Испании. И Павла, утешая подругу, вспоминает слова героя «Белых ночей» Достоевского: «Боже мой! Целое мгновенье счастья! Да разве этого мало, даже на всю жизнь?»

В 1974 году в журнале «Литерарни месичник» Томанова опубликовала эссе «Раздумье о неизвестном», посвященное памяти молодого чешского композитора Владимира Блажичека, друга супругов Томановых, ушедшего в партизаны и пропавшего без вести. Владимир Блажичек во многом послужил писательнице прототипом для образа поручика Станека, музыканта, ненавидящего войну и вместе с тем вынужденного отдавать ей все духовные и физические силы. Война губит и человеческие жизни, и таланты. Но если в командире одного из батальонов капитане Рабасе художник сказывается, лишь когда он рассматривает поле будущего сражения, словно бы готовясь перенести его на холст, Станек упорно стремится сохранить в душе подспудные музыкальные реки. И тема музыки усиливает характерную для романа лирико-романтическую приподнятость.

Романтическая контрастность свойственна и композиции книги (особенно явственно это ощущается в построении последней главы, где «кинематографически» перемежаются «кадры», в которых мы видим иду-

щую по серебряной равнине Яну, и «кадры», где Станек танцует на дипломатическом приеме в чехословацком посольстве в Москве). Однако в стилистике романа романтическая струя органично сочетается с реалистической бытовой конкретностью и «гашековским» юмором (добродушные юмористические перепалки солдат, образ мешковатого и медлительного ординарца Леоша, постоянно рассуждающего о «высшей справедливости»), с авторскими публицистическими раздумьями о человеке на войне.

Книга Томановой — это художественное раздумье о людях, оставшихся, в сущности, неизвестными. Одному лишь художнику под силу сделать близкими и дорогими всем нам не только вымышленных, но и подлинных безымянных и даже вошедших в историю героев.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

О ГЛАДИАТОРАХ ОТ ПОЛИТИКИ

Том Уикер. На арене со львами. Роман. Перевод с английского В. Хинкиса. Послесловие Алексея Хамадана. Москва, «Прогресс», 1976.

Американская литература о президентах подлинных и вымышленных, о кандидатах в президенты ныне столь многочисленна, что ее можно, пожалуй, выделить в отдельный, самостоятельный поджанр. Особый его раздел — политико-сатирические произведения, подобные памфлету Филипа Рота, направленному с минимальной маскировкой против президента Никсона еще до его смещения. Невозможно перечислить, скольких американских писателей вдохновило одно только уотергейтское дело, заставившее читателей забыть множество вполне добротных, в большинстве своем критических произведений о правителях Америки.

К их числу следует отнести и роман Тома Уикера, появившийся в 1973 году, то есть в доуотергейтскую эпоху. Несмотря на излишнюю усложненность композиции романа, сюжет его несложен: сенатор Хант Андерсон, используя вопрос о бесправном положении сезонных рабочих в американском сельском хозяйстве, добивается всеамериканской популярности, дерзает выдвинуть свою кандидатуру в президенты и терпит крах. Фигура сенатора — жизненная, противоречивая. Он искренне озабочен судьбой батраков Юго-Запада, доикихотствует, но и не чужд карьеризма. В нем много положительного, и в то же время он — сын «Старого зубра», покойного губернатора штата, сильно смахивающего на Хьюи Лонга, профашиста-националиста в маске социалиста, желавшего стать Гитлером Америки. В объемистой книге «Внутри США» Джон Гантер (1946) называет Лонга «любопытным чудовищем» и вполне допускает, что он мог привести Америку к фашизму. По определению Гантера, Лонг был сентиментален, как Гитлер, речист, как Муссолини, намного теплее и обаятельнее Франко, такой же эпикурей, как Геринг, религиозен, как Салазар или Дольфус, полон фальшивого блеска, как Геббельс, хвастлив, как Метаксас. Вдобавок он был расистом, антисемитом, демагогом, лихоимцем, но строил прекрасные дороги в своей Луизиане, выступал против трестов. Гитлер и Муссолини прокляты человечеством, а день рождения несостоявшегося американского фюрера Хьюи Лонга ежегодно отмечается в Луизиане как праздник штата.

«Любой будущий демагог,— писал Гантер,— который попытается проложить себе дорогу к власти в Соединенных Штатах... почти наверняка пойдет по стопам Хьюи. Иного и нет пути. Фашизм придет в маске социализма. Какой-нибудь человек наделает кучу обещаний неимущим и несомненно улучшит их долю; он будет апеллировать к либералам почти всех мастей и разновидностей... Пробуждение придет позднее — с отменой гражданских свобод, военной диктатурой... с созданием машины, подобной гитлеровской, предательством в пользу большого бизнеса — первоначального противника... и, напоследок, с лишением народа всех его завоеваний».

На память приходят Барри Голдуотер, Джордж Уоллес, да и Никсон. И Хант Андерсон. Поначалу кажется, что он всячески преодолевает в себе тяжелое наследие «Старого зубра», этого гроссмейстера коррупции, а под конец, в решающий момент, сам готов встать на путь коррупции, лишь бы занять желанное кресло в Белом доме.

Том Уикер, газетчик, публицист, стоящий во главе вашингтонского бюро газеты «Нью-Йорк таймс», автор ряда романов, досконально изучил нравы и обычаи американской столицы и ее «слонов», как называют в Вашингтоне людей Капитолия. Он человек без иллюзий, и распрощался он с иллюзиями задолго до Уотергейта. Похоже, он изобразил себя в газетчике Ричарде Моргане. «Звезда первой величины» в печати, Морган — ходячая энциклопедия американской политической жизни, знаток тайн Вашингтона, либерал. При всем при том он — представитель и служащий «истэблишмента» и носит соответствующие шоры. Либерализм его прямо пропорционален либерализму «Нью-Йорк таймс». Правда для него — понятие растяжимое, хотя он считает себя честнее рядовых «джентльменов прессы». Он пользуется властью ничуть не меньшей, чем власть председателя важной сенатской комиссии или даже советника президента. Как и все многоопытные газетчики, он — циник. Президент для него — «сукин сын в Белом доме». Он верит, что «в жизни все предают всех». Его коллега Мертл Белл — «умная и циничная стерва» Однако он искренне ненавидел сенатора Джозефа Маккарти.

Свой роман Том Уикер проецировал

в недалекое будущее, основываясь на американской действительности конца 60—начала 70-х годов. Закончил писатель роман в 1973 году. И вот ведь что любопытно: за какие-то четыре года (один президентский срок) положение американских сельскохозяйственных рабочих несколько изменилось, и роман в чем-то устарел. Разумеется, автор может только порадоваться такому обороту, так как нельзя сомневаться, что бедственное положение сезонных рабочих он принимал близко к сердцу и искренне возмущался их бессовестной эксплуатацией со стороны агробоссов.

В августе 1975 года прогрессивный Объединенный профсоюз сельскохозяйственных рабочих одержал знаменательную победу над реакционным профсоюзом водителей грузовых автомобилей, складских и подсобных рабочих — самым гигантским профсоюзом в мире капитала. Вместе с заправилами агробизнеса лидеры последнего испробовали все средства — нажим, подкуп, террор, чтобы вытеснить подлинных представителей сельскохозяйственных рабочих из штата Калифорния, но прежде бесправные батраки виноградников и салатных плантаций проголосовали за присоединение именно к своему профсоюзу, руководимому Сезаром Чавесом, кровно связанному с чиканос — американцами мексиканского происхождения, которые составляют основную часть армии сельскохозяйственных рабочих Юго-Запада. Чавес и его профсоюз добились заключения трехлетних договоров, двойного повышения заработной платы, выплаты пособий по социальному обеспечению, улучшения условий труда, а также жилищных и бытовых условий. Исчезли наглые, плутоватые подрядчики, столь ярко описанные Уикером. Их место заняли профсоюзные биржи труда [1].

Америка не была бы Америкой, если бы агробоссы и профсоюзные гангстеры сдались без боя. Временами казалось, что ожили времена ку-клукс-клана. В ответ на насилие и террор, доходивший вплоть до убийства, Чавес провел ряд забастовок и бойкотов. Его поддержали по-братски боевой Союз портовых грузчиков и склад рабочих Западного побережья и большая часть рядовых членов других американских профсоюзов как автономных, так и входящих в АФТ-КПП. Рабочая солидарность обеспечила денежную и организационную поддержку профсоюзу Чавеса в общенациональном масштабе. И тут безусловно сыграли свою роль и телевизионные передачи, и кинофильмы, и выступления журналистов, и борьба в сенате, и книги, подобные книге Уикера, взывавшие к живой совести Америки и ее рабочего класса.

В июне 1975 года под давлением трудовой Америки законодательное собрание штата Калифорния приняло Закон о трудовых отношениях в сельском хозяйстве. Самый бесправный и низкооплачиваемый отряд рабочих США, сельскохозяйственные рабочие наконец-то могут вступать в профсоюз по собственному выбору, определяя его тайным голосованием, могут сами заключать коллективные договоры, прибегать к забастовке или бойкоту. Подавляющее большинство сельскохозяйственных рабочих поддержало профсоюз Чавеса на выборах в августе 1975 года, несмотря на все ухищрения его все еще могучих врагов. Эхо этой классовой битвы будет еще долго слышаться по всей стране. Гроздья гнева дали свои плоды. Эта далеко не оконченная сага, вобравшая в себя жизнь стольких поколений, еще ждет своего певца.

Том Уикер обошел одну грань этого вопроса, занимающего важное место в жизни США. Экспорт американских сельскохозяйственных продуктов, резко возросший в последние годы, стал неотъемлемой частью внешней политики Белого дома, а это значит, что президент и конгресс США не могут пустить на самотек состояние сельскохозяйственного производства. Поэтому и условия труда и существования почти двухмиллионной армии сельскохозяйственных рабочих всех видов и впредь будут важным фактором политической жизни, отражаясь и на выборах в законодательные и исполнительные органы государства. Вся проблема сельскохозяйственных рабочих теснейшим образом увязана с расовым вопросом, еще далеким от своего разрешения, вследствие пестроты национального состава рабочих в сельском хозяйстве США. Неотделим этот вопрос и от борьбы за гражданские права, за права человека, по поводу которых официозная Америка проливает крокодиловы слезы, взирая критически на социалистические страны и не видя бревна в собственном глазу. «В настоящее время борьба чиканос за гражданские права оказывает все возрастающее влияние на политическую и экономическую жизнь страны»,— говорится в новой программе Компартии США. А что такое борьба чиканос и негров, как не борьба за основные права человека! При любом объективном расследовании, как выполняются соответствующие решения, принятые в Хельсинки, вполне можно привлечь в качестве важного свидетельства и книгу Тома Уикера, дополнив ее последними данными за 1973—1977 годы.

Отрадно, что перевод В. Хинкиса сделан мастерски. Единственное, в чем я мог бы упрекнуть переводчика, отлично справившегося с передачей реалий, это чрезмерная «русификация» американских идиом, разговорного сленга. Коробят такие выражения, как «рады-радешеньки» (стр. 15), «технарн» (стр. 42), «толкнет речугу» (стр. 67), «мать их растак» (стр. 106), «гаврики» (стр. 292), «ругаясь, как пьяный извозчик» (стр. 422) и другие. Жаль, что в книге нет примечаний переводчика или редактора, и некоторые моменты могут остаться непонятными молодому читателю.

В целом же издательство «Прогресс» можно поздравить с хорошо изданной книгой американского писателя.

ОВИДИЙ ГОРЧАКОВ

[1] См. статью С. А Червонной «Победа сельскохозяйственных рабочих Калифорнии», журнал «США экономика политика, идеология» № 4, 1976.

ЦЕНА ВЕРЫ

Дитер Форте. Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии. Перевод с немецкого Э. Венгеровой. Москва, «Искусство», 1976.

Обратившись к событиям и лицам, связанным с Реформацией и Великой крестьянской войной в Германии, западногерманский драматург Дитер Форте в пьесе «Мартин Лютер и Томас Мюнцер, или Начала бухгалтерии» подверг привычные исторические оценки радикальному переосмыслению. Главный свой удар он обрушил на авторитет Лютера — его репутация особенно пострадала. Спектакли, поставленные по пьесе Форте во всех крупнейших театрах ФРГ, а также в Западном Берлине, Швейцарии, Австрии и других странах, сопровождались нередко баталиями в зрительных залах и бурными дебатами в прессе.

С середины шестидесятых годов в Западной Германии видное место заняла политическая драматургия. Достаточно назвать здесь пьесы «Господин Кротт в сверхнатуральную величину» Мартина Вальзера, «Марат-Сад» Петера Вайса, «Наместник» Рольфа Хохгута. Широкий успех этих произведений несомненно оказал воздействие на рост оппозиционных антибуржуазных настроений. В этом же ряду стоит и драма Д. Форте «Мартин Лютер и Томас Мюнцер».

Яростные нападки вызвала пьеса Форте со стороны клерикальных кругов. Автора обвиняли в цинизме и богохульстве, в желании спровоцировать скандал, дискредитировать церковь, окарикатурить Лютера. Возражая противникам, Дитер Форте заметил: «Когда я внимательно всматриваюсь в окружающую меня действительность, то замечаю, что мрачное средневековье все еще господствует в мире. Одежды меняются, суть господства остается все такой же». Замысел пьесы он объяснил стремлением ниспровергнуть религиозные устои. Отвечая на упреки в искажении жизнеописания Мартина Лютера, Дитер Форте подчеркнул, что его пьеса создавалась на основе тщательно изученных исторических источников, а ключевые реплики и монологи Виттенбергского профессора дословно повторяют его проповеди и послания.

Но хотя автор и придерживается в драме основных фактов биографии Лютера, сама его историческая концепция в некоторых аспектах представляется спорной.

Завязкой драматического действия у Форте становится вошедший в историю поступок никому неведомого августинского монаха Мартина Лютера, прибившего к воротам Виттенбергской часовни 95 тезисов, направленных против папской власти и торговли индульгенциями. Следуя исторической истине, драматург изображает столкновение Лютера с папским легатом, учинившим дознание над немецким еретиком. Лютер, как это и было в действительности, участвует в теологических диспутах с правоверными католиками, бросает в костер папскую буллу.

Тем не менее, по концепции Дитера Форте, Лютер — ни в коей мере не борец за свободу человеческого разума и совести. Столкновение с католиками имеет у него вполне конкретную меркантильную подоплеку. Лютер — ставленник курфюрста Саксонского, он действует по его наущению, выпрашивая сначала лишь новую рясу, а затем уже и более крупные подачки. Автор отказывает своему Лютеру в свободомыслии: профессор теологии руководствуется конъюнктурным расчетом, а все крамольные идеи, например ведение службы на немецком языке, он ловко заимствует у своих более дерзких друзей.

Если верить Форте, Лютер никогда не рисковал головой. Всякий раз, когда папа пытался припугнуть строптивого еретика инквизицией, его надежно охраняли августейшие покровители. Немецкие феодалы использовали богословские распри для того, чтобы оттягать у папы солидный куш. Подводя итоги своим деяниям, Лютер не без гордости изрек: «За тысячу лет не нашлось ни одного человека, который столько бы сделал для господ, как я».

Действительно, Лютер немало потрудился, чтобы усмирить возмущенное сознание народа. Исполненные лукавой софистики и яростной патетики, его проповеди убеждали трудовой люд в благости слепой веры и смиренного подчинения светским князьям и духовным пастырям. По известной характеристике К. Маркса, «...Лютер победил рабство по набожности только тем, что поставил на его место рабство по убеждению». Документальная драма Дитера Форте убедительно раскрывает этот философский компромисс лютеранства. Когда же лютеровские заклинания не помогли и крестьяне восстали, борец против папства обрушился с бешеной бранью на повстанцев, призывая палачей безжалостно терзать и истреблять их.

Написанное в весьма современной манере (автор вводит в текст и журналистские штампы, и фамильярный сленг, и бухгалтерский жаргон, и подлинные тексты шестнадцатого столетия), историческое полотно Форте представляется достоверным и заставляет оценивать происходящее с злободневных позиций. Но прав ли Дитер Форте, ниспровергая Лютера? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Думается, что трудно сегодня вскрыть психологические побуждения и причины его поступков. Все, кто прежде писали о Лютере, как правило, выделяли в его биографии два этапа: он начинал как реформатор, а кончил как конформист. В первоначальных действиях Лютера виделось определенное величие, ибо в нем как бы персонифицировалась немецкая история начала шестнадцатого века. Каковы бы ни были причины его протеста про-

тив папства, он первым выразил требования времени. И недаром Лютер остался в памяти народа как крупная историческая личность. Сводить мотивы его поступков к меркантильным побуждениям значит впадать в вульгаризаторство.

Бюргерство жаждало дешевой религии, и оно получило ее. В конечном счете от лютеранства больше всех выиграли финансисты, которые отныне получили право распоряжаться без ватиканских посредников не только во дворцах и хижинах, но и в немецкой церкви. Форте четко формулирует вывод, что Реформация дала мощный толчок «началам бухгалтерии» — то есть буржуазному развитию германских земель, и потому оценивает лютеранство со своей сегодняшней, антибуржуазной позиции.

Идейным антагонистом Лютера выступает в драме Томас Мюнцер. Окруженный толпой взыскующих справедливости студентов, крестьян, ткачей, рудокопов, он провозглашает революционное требование всеобщего равенства. «Только истина сделает людей свободными»,— утверждает Мюнцер и во имя социальной справедливости призывает народ к мятежу. В юности он был сподвижником Мартина Лютера, но в разгар крестьянской войны они стали смертельными врагами.

Восстание Томаса Мюнцера и его сторонников трагически обречено. Автор сознательно подчеркивает, что юные длинноволосые и бородатые буитари далекого прошлого не только обликом, но и духом напоминают сегодняшнее молодое поколение Запада протестующее против дискредитировавшего себя буржуазного правопорядка. Однако по сравнению с нынешними инфантильными бунтарями, у которых «души прекрасные порывы» зачастую быстро сменяются прекраснодушием и устройством карьеры, Мюнцер и его друзья жертвуют жизнью во имя своих идеалов.

Своего рода продолжением лютеровской темы явился трагический гротеск Мартина Вальзера «Грязная игра», в котором он воспроизвел события, последовавшие за казнью Мюнцера. В 1526 году в Нюрнберге вспыхнула анабаптистская ересь. Лютер санкционировал кровавую экзекуцию над «перекрещенцами», уповавшими на всеобщую любовь. М. Вальзер изображает процветающий Нюрнберг, где живут видные гуманисты: художник Альбрехт Дюрер, врач Теофраст Парацельс, поэт Ганс Сакс и ученый-чернокнижник Иоганн Фауст. Напуганные массовыми расправами, они отказались от былого свободомыслия, отдав свой талант в распоряжение правящего сената. М. Вальзер, как и Д. Форте, начала буржуазиой бухгалтерии ставит в прямую зависимость от победы реакционных общественных сил.

Откликаясь на актуальные политические события, западногерманские драматурги нередко обращаются к историческим сюжетам. В этом сказывается стремление писателей углубиться в историю вопроса, взглянуть на сегодняшние катаклизмы в свете опыта далеких поколений.

Антиклерикальная проблематика продолжает волновать Дитера Форте. Уже после рецензируемой драмы им была написана пьеса «Белые дьяволы», в которой он, используя сюжет современника Шекспира Джона Вебстера, показал закулисные нравы итальянской церкви в эпоху Ренессанса. Несмотря на спорность некоторых идеологических построений Форте, его драматургия ярко и убедительно выражает антибуржуазные тенденции современного западногерманского театра.

В. ПРОНИН

Издано за рубежом

ПРОТИВОРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ

André Wurmser. Une fille trouvée. Paris, Gallimard, 1977.
Андре Вюрмсер. Найденная дочь. 1977.

Каждый день на первой странице газеты «Юманите» французы читают короткие, саркастические статьи Андре Вюрмсера, комментирующие событие, которое дает ему повод для разговора о нравах и философии нашего времени, о борьбе, исканиях и надеждах своих соотечественников. Вюрмсер пишет в традиции великих моралистов нашей страны, у него острое и ироничное перо, но беспощадная проницательность уживается с мягкостью и нежностью в этом по сути добром человеке, последовательном коммунисте, преданном делу мира и дружбы между народами. И все присущие ему качества: смелое воображение, насмешливый ум, жизнелюбие и выразительность стиля — нашли отражение в его романе «Найденная дочь».

Всю свою жизнь этот борец, журналист, эссеист и мастер памфлета пристально изучал роль денег в международной политике, буржуазном обществе и существовании его отдельных индивидуумов. Фундаментальная работа Вюрмсера о Бальзаке — наиболее полное и важное у нас исследование, в котором творчество великого художника впервые во Франции подвергается марксистскому анализу. На этих моментах нужно было остановиться, чтобы лучше понять своеобразие романа «Найденная дочь» и его значение для сегодняшней Франции.

Сюжет его прост, но эта простота напоминает нам сказки Вольтера. Член Французской Академии с опозданием на двадцать пять лет узнает, что у него есть незаконная дочь Жоселина Дювалье, привлекательная молодая женщина, которая вместе

с мужем, скромным служащим, живет в маленькой квартирке в Суассоне, в пятидесяти километрах к северу от Парижа.

Когда-то у академика была связь с матерью Жоселины — Женевьевой. Он познакомился с Женевьевой, когда та работала секретарем в Академии. Они вскоре расстались, и сколько-то лет спустя его любовница умерла. Дочь разыскала его только потому, что хотела выполнить последнее желание матери. До сих пор она ничего не знала о своем отце, происходившем из семьи крупных буржуа. Круг его родителей и жены составляют лишь высокопоставленные должностные лица, члены Академии, директора предприятий, послы и банкиры. Сам он богат. И поскольку активная деятельность и политика перестали его привлекать, он избирает в конце концов роль интеллектуала, служащую ему удобным алиби, и посвящает себя изящному занятию — бесконечному, длящемуся уже двадцать лет изучению Монтеня.

Однако несмотря на благополучно-приятную жизнь в добровольной отставке, академику все-таки не по себе. Как изводят иной раз комары человека, желающего насладиться спокойной послеобеденной прогулкой вдоль берега реки, точно так же беспокоят и жалят академика разные вопросы. И самый надоедливый из тех, что все время жужжит над ухом,— это вопрос о коммунистах. Кто эти непонятные люди? Он часто встречает их в газетных редакциях, у издателей, на радио и телевидении. Он читает их статьи. Он хорошо знает некоторых из них, например Жюльена Дюброка, тоже специалиста по Монтеню. И больше всего академика тревожит то, что он никак не может понять цели и движущие мотивы коммунистов. Тщеславие? Нет, они сами обрекли себя на полный отказ от личного успеха. И только если они отрекаются от своего дела, в противоположном лагере их принимают с распростертыми объятиями. Стремление изменить мир? Но ведь это такая далекая перспектива. Да и возможно ли это? И многим ли это нужно? Столько бедняков, в том числе и его прислуга, вроде бы вполне довольны своим положением.

И потом эта странная привычка коммунистов постоянно говорить о деньгах. «Итак, наш век ставит перед нами вопрос, законна ли власть денег,— записывает герой в своем дневнике.— Перед нами? Пожалуй, это слишком поспешное обобщение. В салоне моих родственников или кого-нибудь из моих приятелей этот вполне академический вопрос стал бы темой для разговора, отнюдь не порождая при этом ни ссор, ни взаимной ненависти, ни убийств. К счастью, денежный вопрос не несет в себе смертельную опасность, как религиозные проблемы в XVI веке, приводившие к расколу семей и целых наций». Ответ не очень удовлетворительный, и академик сам это сознает. Его дневниковые записи отражают все его сомнения. Здесь стоит отметить прием, использованный Вюрмсером, когда технический метод письма служит для выражения философии произведения, которое открывает новые дороги перед современным французским романом, топчущимся между чересчур прямолинейным повествованием, маниакальным интеллектуализмом и упрощенчеством.

Совершенно бесспорно, что академик — владетельный буржуа, и образ его мышления, поступки, суждения и вкусы обусловлены позицией его класса. Да и сам он не ставит вопроса о том, чтобы покинуть его. Но это и не буржуа, сделанный из иегнущейся стали или папье-маше,— как ни ясна его роль и его сущность, он все же не лишен противоречий, потому что человек противоречив по своей природе, тем более если класс, к которому он принадлежит, целиком состоит из противоречий. О всех колебаниях и сомнениях героя мы узнаем непосредственно из его дневниковых записей, навеянных тем или иным событием. Особенно раздражает его социализм, но «поразительно, что за столько лет (добавлю: за столько веков) нам не удалось изобрести что-то другое». Действительно, буржуазия не смогла ничего изобрести, чтобы противопоставить социализму. И что же? От всех этих вопросов академик чувствует смертельную усталость. И речь действительно идет о смерти, так как у него тяжелое сердечное заболевание. Его друг доктор Кнапфен делает вид, что болезнь не так уж серьезна, но если уста его утешают, глаза выдают истину.

В момент всех этих переживаний академик и находит Жоселину. История их взаимоотношений также полна сомнений, радостей и разочарований. Рассказ о встрече отца с дочерью трогателен и горек. Напрасно академик хочет передать дочери все привилегии, которыми обладает сам. Она не хочет и не может принять от него деньги. Академик добивается, чтобы муж Жоселины получил повышение. Но отношения запутываются еще больше. Нужно ли им видеться в дальнейшем? Так и текут дни жизни этого человека, в которой все перемешалось: отцовские чувства и нравы высшего общества, Академия, труд о Монтене, путешествия, размышления, мечты.

Жоселина так и не станет для академика дочерью. Не сможет ею стать. Деньги — вот что разделяет их и разделяло всегда. Несмотря на все старания, барьер этот не преодолеть, сколько его ни маскируй. Любовь к дочери оказывается невозможной, но есть и еще одна ниточка, связывающая академика с людьми: дружба с коммунистом Жюльеном Дюброком, к которому его влечет непреодолимая и затаенная симпатия. И благодаря ему этот привилегированный интеллектуал после долгих сомнений и раздумий осознает неизбежность классовой борьбы.

Роман Андре Вюрмсера — не автобиография и не исповедь. Его самого мы не узнаем ни в одном из героев. Можно лишь сказать, что роман написан человеком богатой

культуры и одним из наших самых уважаемых литературных критиков. Особую роль в книге играет незримое присутствие Монтеня. Для французов имя этого великого гуманиста эпохи Возрождения служит высоким символом интеллектуальных исканий и свободомыслия, как и имя Монтескье — владельца замка близ Бордо, изящного сооружения, расположенного посреди зыбкого зеркала вод. В романе «Найденная дочь» тоже есть что-то от мечтательной прозрачности, подвижности и одновременно вечного постоянства вод.

г. Париж

РОЖЕ ШАТОНЕ

ЖИВОЕ И ВЛАСТНОЕ ПРОШЛОЕ

David Storey. Saville. A novel. London, Jonathan Cape, 1976.
Дэвид Стори. Сэвилл, 1976.

В самом начале тридцатых годов нашего века в Сэкстоне — маленьком шахтерском поселке на юго-западе Йоркшира — родился мальчик, названный Колином — второй сын, старший из трех живых сыновей шахтера Гарри Сэвилла и его жены Эллеи; в свой срок пошел в начальную школу, позднее, выдержав отборочные экзамены, поступил в «grammar school» (классическую гимназию) в соседнем городке, два года проучился в местном колледже, еще четыре учительствовал в окрестных деревнях и, наконец, в двадцать с лишним лет оставил родительский дом и отправился в Лондон...

Вот, собственно говоря, и все, что происходит на протяжении пятисот страниц романа Дэвида Стори «Сэвилл». Впрочем, о любом отрезке жизни любого человека можно при желании поведать таким же образом — в одном сложносочиненном предложении. Совсем иное дело такой отрезок жизни *прожить*. В «Сэвилле» происходит именно это: проживается кусок жизни, и самый, быть может, важный — от первых шагов ребенка по земле до первых шагов формирующегося человека навстречу своей судьбе. История вечная, неизменная, во многих деталях повторяющаяся, но в общем всегда новая, поскольку нет на свете двух одинаковых личностей, а значит и судеб.

Повествования такого рода издавна принято называть «романами воспитания» — определение, вполне применимое к «Сэвиллу». Столь же правомерно было бы назвать его и эпическим рассказом о том, как существовал в 1920—1950-х годах Сэкстон — блеклый, насквозь пропитанный угольной пылью поселок, опоясанный мягкой линией холмов, о шахтерском быте, почти первозданном в своей скудости и суровости, о том, что принесли жителям война и победа над фашизмом, о технических новшествах и материальных переменах послевоенной поры, и, наконец, о постепенном угасании поселка, по мере того как сходило на нет значение выработавшейся шахты.

Но, пожалуй, прежде всего следовало бы назвать «Сэвилл» романом семейным, потому что сердцевина повествования, его драматический нерв связаны с историей самого семейства Сэвиллов — отца, матери и сыновей. Это и внешняя история, достаточно однообразная и ординарная, и сопровождающая ее история жизни душевной — почти всегда подспудной, потаенной, с трудом находящей слова для своего выражения. Обо всем этом Дэвид Стори рассказывает неспешно и очень подробно.

«Сэвилл» — роман чрезвычайно подробный, но это не от многословия (писателю совсем не присущего) — от напряженности, пристальности взгляда автора в прошлое, от стремления как можно более ощутимо воссоздать течение этой безвозвратно ушедшей жизни, ее вещность, устройство, облик. Пишет Стори языком скупым и жестким, совсем неукрашенным, иногда даже бедноватым. Все это могло бы стать образцом томительно-скучного, ползучего бытописательства (надо заметить, что и такие суждения о романе высказывались в критике). И все же эта горестная участь роман Стори, по моему убеждению, миновала: внешне бесформенное, «как сама жизнь», повествование по сути дела туго натянуто на внутренний каркас. Очень личное, явно автобиографическое (речь идет не о фактах, об атмосфере) звучание книги одушевляет ее, наполняет сдержанным лиризмом, сообщает поэтичность, выражающуюся не в метафорах и патетике — в самом характере авторского восприятия мира, воскрешаемого в романе.

Мир этот предстает не только в конкретных, точно описанных частностях, но и как нечто целостное, завершенное, существующее в едином ритме. И совершенно так же, ведя свой рассказ о жителях Сэкстона — и самих Сэвиллах, и соседях, два поколения которых соответственно вырастают и старятся на наших глазах, Дэвид Стори придает этим вполне реалистически исполненным фигурам особую резкость контуров, и внезапно, в какие-то моменты, они обретают выразительность почти мифологического образа.

Английский литературовед Уолтер Аллен справедливо находит в «Сэвилле» нечто близкое «Сыновьям и любовникам» Д. Г. Лоуренса [1]. Мне хотелось бы сказать еще об одной ассоциации, возникающей именно в этом плане «приближения к мифу»: с произведением художника абсолютно несхожего метода и бóльшего, нежели Д. Стори, масштаба — романом американца Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел!». В «Сэвилле» создан характер, один из центральных, который замечательно удался Дэвиду Стори: это Гарри Сэвилл, отец Колина, с него-то и начинается рассказ. Невысокий, подвижный, светловолосый и голубоглазый человек привез все свое земное достояние и жену с младенцем на угольной вагонетке, запряженной старой

[1] См. статью У. Аллена «Постскриптум к «Традиции и мечте»», «Иностранная литература» № 12, 1977.

лошадью, и не без торжественности распахнул калитку убогого коттеджа на окраине Сэкстона — первого своего собственного жилища. Натура экспансивная, взрывчатая, оптимист, знающий минуты отчаяния, неустанный работяга, домашний изобретатель — иногда комического толка,— гордец, любитель произносить едкие тирады, преданный муж, строгий и нежный отец — «перечислительную» характеристику Сэвилла-старшего можно было бы дополнять еще долго, не в качествах суть. Удача заключается в том, что в образе Гарри Сэвилла автор сумел соединить сыновнюю проникновенность с отстраненной зоркостью художника. Интересно задумана и фигура Эллен, матери Колина, во всем противоположной своему мужу. Но здесь, по-моему, произошел некий сдвиг: слишком «близко» видит писатель эту женщину, поэтому характер ее оказался несколько не в фокусе.

Красная нить повествования — как и у Томаса Вулфа—история медленного, болезненного «вышелупивания» Колина Сэвилла из скорлупы своей семьи, среды, класса. И хотя именно родители Колина, страстно желавшие, чтобы сыну их никогда не довелось работать под землей, положили начало этому процессу, результат принес им много тягот и разочарований. Все обстоит довольно сложно и в доме родителей Колина Сэвилла, и в собственном его душевном хозяйстве. Перед нами — не тривиальная история обуржуазившегося плебея, не вариация на тему «Пути наверх» Джона Брейна. И не просто — довольно типовая в английской прозе и драме 50—70-х годов — история превращения рабочего парня в интеллигента. Правда, Колин Сэвилл последних глав романа формально уже интеллигент, и притом начинающий поэт. Однако на самом деле многого ему еще недостает до звания интеллигента и просто человека в полном смысле этого слова.

Дэвид Стори смотрит на своего героя издалека, «с пригорка» (в этом его коренное отличие от авторов, которые вывели в свое время на сцену своих «сердитых», иронических, пикарескных и прочих персонажей-ровесников), смотрит с сочувствием, но без иллюзий. Видит его эгоцентричную самонадеянность, жестокий юношеский максимализм и ригоризм, обратившийся в первую очередь против людей самых близких, любящих и любимых — отца, матери, младших братьев. Недаром Элизабет, подруга Колина, женщина взрослая и наблюдательная, понимающая, что он социально и психологически пока «на ничейной полосе», аттестует его — притом несколько неожиданно — кальвинистом, средневековой личностью и даже феодалом... Каким же образом сложилась эта «средневековая личность»?

Ранняя пора жизни героя — самая органичная часть повествования. Дэвид Стори сумел, вовсе не пытаясь влезть в «шкуру» Колина, мальчика и подростка, показать его характер в действии, поступках и линии поведения: рано развившееся чувство долга и ответственности — желание и умение работать (в летние каникулы Колин еще мальчишкой по собственному почину батрачит у окрестных фермеров), глубокая привязанность к семье, где он — первый помощник тяжко болеющей матери, и, наконец, независимость, чувство собственного достоинства (особенно проявившееся в «grammar school» с ее несколько снобистским духом и суровым режимом). Все это черты, не столь уж характерные для ребенка, но писатель придает им психологическую достоверность. Вместе с тем Колин Сэвилл — совсем не хрестоматийный мальчик, в буйных играх и баталиях своих сверстников (среди них есть и вожаки местной шпаны, будущие уголовники) он принимает самое живое участие.

В последних главах романа Колин, ранее отличавшийся молчаливостью, произносит разные речи, смысл которых сводится в конечном счете к дерзкой, но нехитрой идее, что все, мол, дозволено, все можно, и человек несет ответственность только перед самим собой. Но к этому времени он уже утвердился в наших глазах как натура незаурядная и по-человечески привлекательная — поэтому читатель вслед за автором и Элизабет склонен с пониманием и снисхождением отнестись к издержкам роста героя, роста, осложненного трудными (не без фрейдистского подтекста) отношениями с матерью, бессознательной ревностью и завистью к младшим братьям, которым живется значительно легче, чем в свое время Колину.

Переход от замкнутого, внушающего невольное уважение рабочего-подростка к мятущемуся полуинтеллектуалу, домашнему деспоту и бунтарю без точного адреса обозначен в «Сэвилле» резко, без каких-либо психологических мостиков. И вся последняя часть романа существует в ином ритме, вернее, здесь уже нарушен сквозной повествовательный ритм, связанный с бытием Сэкстона, с извечным трудовым круговоротом жизни шахтерских семей. Последние главы более фрагментарны и одновременно насыщенны. Они вмещают и рассказ о долгой, мучительно оборвавшейся любви Колина к Маргарет, дочери городского врача, и перипетии его дружбы с обаятельным, непредсказуемым Стэффордом — сыном богатых землевладельцев (именно ему суждено было отнять Маргарет), и эпизоды, относящиеся к учительской службе Колина, проявившего себя в глазах школьного начальства завзятым радикалом.

Он ставит на уроках пластинки с джазовой музыкой и приобщает деревенских ребят к поэзии, вместо того чтобы ограничиться «практическим английским языком на каждый день». Столь же радикально он высказывается и в своем «программном» споре с директором школы, многоопытным прагматиком, давно познавшим всю тщету педагогических благих намерений. «Уж не

коммунист ли вы?» — спрашивает директор, и Колин вызывающе отвечает: «Да!» Впрочем, это чистой воды эпатаж, что отлично понимает и его собеседник. Весьма импульсивны и высказанные тут же «практические предложения» Колина: что, мол, неплохо было бы каждому по три месяца в году поработать под землей либо поубирать мусор на улицах, и тогда отпадет надобность готовить из местных школьников исключительно чернорабочих. (Вот как неожиданно отозвалась, чуть не сто лет спустя, полемика художника из «Дома с мезонином» с практичной Лидой Волчаниновой!) Конечно же, Колин Сэвилл не коммунист, да и радикализм его — скорее эмоционального, чем политического свойства, в основе своей — инстинктивный протест молодого индивидуалиста против регламентации любого рода. Но ясно и другое: демократические устремления этого строптивого учителя не только искренни — они естественны и органичны, ведь Сэвилл был и останется сыном шахтера, как бы ни сложилась его дальнейшая жизнь.

В воинствием, не лишением тайного оптимизма настроении, с пятьюдесятью фунтами в кармане, герой садится в поезд, направляющийся в Лондон,— выходит на классическую большую дорогу традиционного романа воспитания. Однако традиционный вопрос «Что ждет героя?» в данном случае перед нами не встает. Автобиографический аспект романа дает возможность заглянуть в будущее и убедиться, что из «сердитого молодого человека» середины 50-х годов вышел яркий драматург и серьезный прозаик — писатель со своей темой и собственной, всегда узнаваемой интонацией. Что же касается лирического героя, Колина Сэвилла, то и его будущее оказалось приоткрытым: варианты этого будущего Дэвид Стори развернул в романах, непосредственно предшествовавших «Сэвиллу»: «Пэсморе» (1972) и «Временной жизни» (1973). Надо сказать — невеселые это варианты, здесь есть все: и внутренний разлад, и эмоциональные кризисы, и главное, хроническая неспособность человека прижиться в благополучной, как будто бы интеллигентской среде, с которой он связан профессионально (в обеих книгах герой — по имени Колин — преподает в провинциальном колледже). И в том и в другом романе есть свои удачи, интересные наблюдения, но теперь, рядом с «Сэвиллом», они кажутся скорее эскизами к большой, «главной» книге.

Может быть, именно «Сэвиллу» суждено остаться главной книгой Стори-романиста, а может, стать всего лишь итогом значительного этапа в биографии этого, достаточно молодого еще, писателя. Нетрудно заметить, что этап этот связан с темой осмысленного «изживания» прошлого. Велика и действенна сила прошлого, если ищешь в нем не ностальгически окрашенный орнамент, а живой, питающий мысль источник всего, что происходило с тобой позднее. Таким вот глубинным, все еще не исчерпанным до дна источником оказались для Дэвида Стори годы детства, отрочества и юности шахтерского сына из маленького йоркширского поселка.

И. ЛЕВИДОВА

«ИНЕЕМ ПОКРЫТЫЕ РОСТКИ НАДЕЖДЫ...»

Tahar Ben Jelloun. Les amandiers sont morts de leurs blessures. Paris, Francois Maspero, 1976.
Тахар Бенджеллун. Миндальные деревья умерли от ран. 1976.

Марокко — край необычайной красоты и контрастов. Здесь день сегодняшний и день вчерашний, обычаи патриархальной старины и новая жизнь, пришедшая с установлением независимости, встречают вас на каждом шагу, поражая почти не тронутым современной цивилизацией обликом средневековых улочек и площадей Марракеша и Феса, белоснежной громадой небоскребов Касабланки, открывая взору могучие просторы Атлантики и ласковую синеву Средиземноморья, оставляя в памяти прохладную свежесть дубовых рощ на горных склонах Рифа и горячий зной сахарских песков.

Заглянуть в этот удивительный край и понять его жизнь помогают талантливые писатели Марокко. Пусть они еще немногочисленны, но они стремятся выразить мироощущение сбросившего с себя оковы колониального гнета народа, воссоздать его национальный характер, страстно и гневно разоблачить все то, что мешает еще прогрессу, держит народ в отсталости, в плену религиозных и социальных предрассудков, политического и экономического бесправия.

Новая литература Марокко — как франко-, так и арабоязычная, сформировавшаяся в основном в 50-е годы нашего столетия, в период подъема национально-освободительного движения в стране,— уже дала миру замечательные образцы реалистического творчества, с которым знакомы и советские читатели по публиковавшимся у нас произведениям Ахмеда Сефриуи, Дриса Шрайби, Мухаммеда Азиза Лахбаби и других. В середине 60-х годов в Марокко заявляет о себе плеяда молодых поэтов, старавшихся в своем творчестве «быть верными пусть жестокой, но единственной, невыносимой для лживых буржуазных умов правде» в соответствии с манифестом, опубликованным на страницах литературного журнала «Суффль» («Дыхание»), впоследствии запрещенного марокканскими властями. Постепенно вырываясь из тесных границ экспериментаторства, поэзия становилась средством протеста, зреющим внутри марокканского общества, против политической и социальной несправедливости в стране.

Тахар Бенджеллун (род. в 1944 г.) — яркий представитель молодой поэзии Марок-

ко. Сейчас Т. Бенджеллун—автор нескольких книг, в том числе романа «Харруда» (1973). Поэтический сборник «Миндальные деревья умерли от ран» вобрал в себя как ранние стихи из цикла «Люди под саваном молчания» (1971), так и недавние его произведения, среди которых — поэмы и лирические миниатюры из книг «Шрамы солнца» (1973), «Монолог верблюда» (1974) и совсем новые, ранее не публиковавшиеся. Поэтому можно сказать, что перед нами — антология поэтического творчества Бенджеллуна, в которой прослеживается и эволюция его эстетических и социальных воззрений.

Глубокий лиризм пронизывает входящие в сборник произведения: у них совершенно определенная ритмика, они метафоричны, и вместе с тем вкрапление в текст стихов небольших новелл, по форме напоминающих поэмы в прозе, не только не нарушает внутреннего единства сборника, но и придает ему известную полифоничность.

Светло-печальным вступительным аккордом, своеобразным зачином книги является открывающее ее поэтическое послание, рассказывающее о «тихом и радостном» уходе из жизни старой женщины, о ее кончине, так похожей на вознесение к заветной цели, к вечному приюту на легких крыльях мечты о счастье... «Пусть придет смерть, но лучше голубая, чем цвета пепла»,— говорится в заключительных строках этого письма. Трагическим диссонансом звучит другая весть — с обожженной и истерзанной земли Палестины, где смерть имеет цвет и запах пожарищ, где деревья «умирают от ран», где смерть — не естественное завершение всякой жизни, а насилие, где надежда, едва успев расцвести, осыпается, как листья сломленных, израненных деревьев. «Сколько же крови в этой серой земле, сколько олив умирает с холодным рассветом...»

Резкое столкновение образов и настроений характерно для поэзии Бенджеллуна. Так, в плавную, слегка окрашенную щемящей грустью мелодию «Поэм о любви» о девушках из Тетуана, неслышных, целомудренных и скромных, как «белые голубки», чья жизнь тихо «журчит, как ручей», вторгаются мотивы гнева и сострадания женщинам, удел которых —терпеть и смиряться, что придает интимной лирике черты гражданской поэзии. И строго звучит итог раздумий поэта о назначении своего ремесла: «Нет, Орфей, ты больше не можешь петь о любви. Ветры пропели тебе о горькой свободе, о жизни без грядущего дня».

Открывая читателю истоки своего мироощущения, поэт пишет:

Пусть мой народ меня простит...
Я врежусь в раны памяти твоей
И в плоть твою которая молчит
И вместе мы расскажем о весне...
Ты помнишь ли как сеяли надежду мы
в полях
И видели деревья — исполины
Проткнуть готовые вершиной небеса
И сотни тысяч рук желающих до выси
солнца
Поднять и донести свою страну
Мы верили в алмазную зарю и забывали
Что может свет зачать иную жизнь...[1]

Глубоко ощущая нерасторжимую связь с родной землей, поэт особенно остро чувствует горечь утраченных иллюзий, связанных с трудностями построения новой жизни в обретшем политическую независимость Марокко. Желанная свобода пришла, но остался груз прежней социальной несправедливости, возникли оковы нового гнета, еще нестерпимей стала нищета трудового народа.

Истоки поэзии определяют ее тематику и образную систему. Причем «поэтической почвой» не всегда служит родная страна. Это может быть и страдающая земля Палестины, и холодный приют Франции, куда ценой унижений, с трудом получив паспорт, уезжают на заработки североафриканские эмигранты. Но нельзя позволить народу забыть о прошлом, «когда была еще жива надежда и мечта». И в стихотворении «Разбитая память» возникает образ человека, подбирающего «осколки упавшей звезды». Эти угасшие в небе звезды нельзя не собрать воедино — они снова должны зажечь людей. Поэт страшится «оцепенения» народа, «заставившего в ожидании томиться свою мечту», ибо народ не имеет права себя хоронить, не имеет права молчать, ведь молчание — это «саван», укутавший заживо погребенных. Но еще страшнее молчания — одиночество человека, отсутствие солидарности.

Нельзя жить, отгородившись от мира, видя страдания других. Таков вывод, к которому приходит поэт, и он призывает к единению всех, кому дорога родина, кто верит в «ее новую весну». Вот почему, насыщая стихи картинами нужды и несчастий простого люда, Бенджеллун не превращает свою поэзию в цепь страшных видений. Он лишь стремится встряхнуть человека, «убаюкавшего свою память», обратить его в бунтаря, восстающего против несправедливости.

Даже ставшая классической в литературе Магриба тема эмиграции североафриканских рабочих в Европу обретает в творчестве Бенджеллуна особое звучание. В притче «Кожа и камень» с горькой иронией рассказано о том, как человек уехал за счастьем в Марсель, укрывшись в трюме корабля в одном из ящиков с апельсинами, увезя с собой все свое состояние — горсть родной земли да несколько монет, а вернулся обратно, изгнанный «железным презрением», в контейнере с оружием, питаясь всю дорогу пороховой пылью. В отличие от других своих собратьев по несчастью, герой Бенджеллуна не погибает в страшном лабиринте «грохочущего ада», попав в стальной капкан Европы, но словно «камень, брошенный в болото ржавого равно-

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

душия», возмущает стоячие воды человеческого безразличия.

Поэма «Планета обезьян» гневно обличает тех, кто приезжает из-за моря-океана поглазеть на диковинную страну, кто торгует независимостью Марокко, его солнцем и весной, кто не только обескровливает недра страны, но и разрушает его естественную красоту.

В цикле стихотворений под общим названием «Шрамы солнца» возникает серия портретов городов, чья древняя прекрасная архитектура и величавая слитность с природой разрушаются под грубым натиском современной цивилизации и чужеземцев. «Города-лики», «города-очи», «города-вдовы» — каждый марокканский город неповторим в своей красоте, и в поэзии Бенджеллуна они «открываются», словно откинувшие чадру с лица родной земли.

Не случайно в стихах поэта постоянной метафорой родины является образ ждущей разрешения от бремени женщины. Бремя ее — это тяжесть истории народа, «сиесенного в море волной забвения», истории «красной земли», покрытой «шрамами солнца». Смысл этих ассоциаций становится понятен, если представить в единой цепи все те разрозненные ее звенья, которые встречались постоянно в стихах поэта: солнце — надежда — надеждой опаленная земля — угасшее светило — засохшие рубцы ожогов... Но это еще и «темные холодные лучи, как зарубцевавшиеся раны», несущие оцепенение и страх разбередить старую боль. Этот страх сковывает, погружает в забвение. И тогда в поэзии Бенджеллуна возникает фантастическая картина наступающего на сушу моря, затопляющего город вместе с его набережными и площадями. Но странное дело — оно не повергает в священный ужас «оцепеневших», погрузившихся в забвение людей, не становится символом всекарающего апокалипсиса, как разбушевавшаяся стихия в романе М. Диба «Кто помнит о море». В стихах Бенджеллуна море словно будоражит людей, освежает их, стряхивает с них сон: «Морская соль разъела цепи».

Земля мстит сама за себя и побеждает. Разбитая мечта выпорхнула птицей, открыла окно в небо, остановила тучи, заставив вдов снять траур, а солнце заблестеть у них в глазах. И эта мечта, вера в будущее, «где нет места боли», становится центром поэзии Бенджеллуна, ее организующим началом, которому подчинена и его поэтическая техника.

Сталкивая высокий пафос одних образов с заземленностью и прозаичностью других, Бенджеллун всегда стремится к взаимопроникновению этих контрастирующих начал: показывая «земные» истоки своих идеалов, он в то же время поэтизирует повседневность забот простого человеческого бытия.

Насыщенные символикой стихотворения чередуются с простыми, ясными, написанными в ритме народной поэзии. Поначалу некоторая излишняя «зашифрованность» поэтических опытов диктовалась, возможно, требованием своеобразной маскировки, к которой прибегали многие марокканские поэты, чтобы быть услышанными у себя на родине в условиях жесткой цензуры. Но целью поэзии Бенджеллуна всегда оставалась именно ее коммуникативная функция, ее способность воздействия на души и сердца людей — поэт твердо верит, что когда-нибудь его стихи придут и туда, где сейчас пока еще вообще не умеют читать: на родине поэта процент неграмотности по-прежнему очень высок.

Но взрастив древо своей поэзии на полях страданий угнетенного народа, поэт не дает ему отцвести и завять в душном воздухе «охваченной грозой земли». Недаром в зеленый цвет надежды окрашивается все вокруг: летают «зеленые птицы», «зеленые камни любви летят на берег воспоминаний», и дети «идут за весной босоногие с сердцами зелеными»... И надежда озаряет обращенное в будущее послание поэта:

Мы были скалой разбивающей волны
Мы были широкой рекой полноводной
И в памяти нашей сияла весна
Как в утреннем небе пылает заря...

С. ПРОЖОГИНА

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«ДЭНИЕЛ МАРТИН» ДЖОИА ФАУЛЗА

В новом романе «Дэниел Мартин» английского прозаика Джона Фаулза, получившего известность своей книгой «Женщина французского лейтенанта», повествуется о судьбе английского писателя и сценариста Дэниела Мартина. Работая в Голливуде, он, после многочисленных творческих неудач внезапно приходит к осознанию того, что давно уже перестал ощущать себя как целостную личность. Он понимает, что причиной неудач является тот образ жизни, который он ведет: что жил и живет он ложно, «недолжно», вся жизнь его полна фальши. Эта «ложная жизнь» началась давно, тогда, когда он женился на Нелл, любя другую женщину.

Роман вызвал разноречивые отклики критиков. Рецензент английского еженедельника «Таймс литерари саплмент» Майкл Мейкон считает новый роман полной неудачей писателя. М. Мейкон не видит в нем ничего, что могло бы привлечь внимание современного читателя — ни сюжет, о котором Мейкон упоминает лишь вскользь, ни «неуклюжий язык с неправильным синтаксисом и непонятной пунктуацией», ни, наконец, «чудовищная раздробленность образной структуры романа, чересчур растянутого и скучного (в книге немногим более семисот страниц)».

Иной точки зрения придерживается известный американский романист Джон Гарднер. Он поместил в журнале «Сатердей ревью» серьезную статью, в которой подробно анализирует этот лучший, на его взгляд, роман Фаулза. «Мне кажется, что Джон Фаулз,— пишет Гарднер,— вляется сегодня единственным англоязычным романистом, которого можно назвать классиком: он обладает не меньшим талантом, не меньшей способностью глубоко постигать современность, чем Толстой или Генри Джеймс».

Многим писателям и критикам, предупреждает Гарднер, Фаулз может прийтись не по вкусу но двум причинам: во-первых, он, в отличие от многих современных писателей, остается верен подробному сюжетному повествованию в духе романов XIX столетия. Во-вторых, он не признвет распространенный сейчас экзистенциалистский взгляд на человека как на абсолютно свободного индивидуума, не зависящего от внешних обстоятельств и, в частности, от влияния своего прошлого. В «Дэниеле Мартине», продолжает Гарднер, Фаулз показывает, «что то, чем человек является в данный момент, есть как бы результат всей его прожитой жизни». Гарднер считает, что роман повествует не только о судьбе Дэннела Мартина, пытавшегося внести упорядоченность и свою жизнь; он повествует также о «стремлении самого Фаулза понять, когда, в какой момент наша западная цивилизация свернула в своем развитии на ложный путь и как можно изменить существующее положение вещей к лучшему».

АРГЕНТИНА

«СЛЕПЕЦ, КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТ ПРОЗРЕТЬ»

Под таким заголовком венесуэльская газета «Насьональ» воспронзводит интервью аргентинского инсателя Хорхе Луиса Борхеса французскому еженедельнику «Нувель обсерватер», вызвавшее в Латинской Америке немало возмущенных откликов.

Корреспонденты еженедельника были поражены невежеством Борхеса в том, что касается современной литературы Латинской Америки. В ответ на вопрос, говорят ли ему что-нибудь

имена Алехо Карпентьера, Габриэля Гарсиа Маркеса, Октавио Паса, Борхес признался: «Знаете, уже более сорока лет я не читаю никаких газет». Совсем иную меру осведомленности продемонстрировал он, когда разговор зашел о французском писателе-коллаборационисте Дриё Ла Рошеле: «Превосходный человек!.. Он стал фашистом по беспечности, непреднамеренно... дал себя увлечь и, когда в один прекрасный день опомнился, обнаружил, что оказался предателем, сообщником негодяев». «Борхес говорит о Дриё так, словно речь идет о нем самом»,— не без издевки комментирует эти слова «Насьональ».

Зато, как выяснилось, отнюдь не столь дружелюбно относился Борхес к Пабло Неруде: «Неруда приглашал меня к себе, но я не пошел — ведь он был коммунистом, а я вовсе не хотел, чтобы журналисты потом трубили, что Борхес был в гостях у коммуниста».

«И вы были столь же щепетильны, когда получили приглашение от Пиночета, этого фашиста чистейшей воды?» — язвительно спросили Борхеса французские интервьюеры. «Не думаю, что он фашист,— возразил им Борхес,— я ужинал с ним, и у нас нашлось немало тем для беседы». Когда журналисты напомнили ему, что в Чили практикуются пытки, жестокие преследования, что там публично сжигают книги, что об одном таком «аутодафе» — сожжении «Дон Кихота» — сообщала даже чилийская газета «Меркурио», Борхес, получивший «награду» от Пиночета («ИЛ» № 1, 1977), невозмутимо сказал: «Все это совершенно неправдоподобно».

«Если писатель заодно с преступной диктатурой — может ли служить ему оправданием то, что он хорошо владеет пером?» — этим гневным вопросом завершает свой комментарий к интервью Борхеса газета «Насьональ».

БОЛГАРИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЙОРДАНА РАДИЧКОВА НА КИНОЭКРАНЕ

Произведения Йордана Радичкова пользуются широкой и заслуженной популярностью у болгарского читателя — среди них сборник рассказов «Пороховой букварь» и роман «Все и никто».

Недавно к этим работам писателя обратились болгарские кинематографисты. Новый фильм «Пороховой букварь», сохранивший название сборника рассказов, уже вышел на экраны республики. В этом фильме встретились два крупных художника Народной Болгарии — писатель Йордан Радичков и кинематографист Тодор Динов — представители одного, революционного, поколения. «Когда смотришь новый болгарский фильм «Пороховой букварь», созданный сценаристом и режиссером Тодором Диновым по одноименному сборнику рассказов Йордана Радичкова,— пишет обозреватель журнала «Филмови новини» Елена Василева,— невольно приходит мысль о богатых, практически неисчерпаемых возможностях, которые открывает перед художниками революционная тема».

Это фильм о людях, пришедших в революцию. О самых простых и обычных людях, «рядовых революции». «Со своим наивным, интинктивным чувством коллективизма, со своей, словно идущей из глубины самой природы нравственностью они становятся сопричастны времени, большим историческим изменениям, революции. Это добрые и чистосердечные люди, порой лукавые и скрытные, порой восторженные до самопожертвования, но всегда прилежные ученики начальных классов революции»,— так характеризует обозреватель журнала героев нового фильма.

Зрителей ждет встреча с еще одной работой болгарских кинематографистов, основой для которой послужил роман Й. Радичкова «Все и никто». Этот фильм совсем иного плана, чем фильм «Пороховой букварь».

«Роман Й. Радичкова «Все и никто» объединяет лирико-повествовательные, криминально-загадочные и пародийно-гротескные линии,— пишет журнал «Филмови новини»,— которые создают богатый, многоликий и жизненный мир героев, обладающих своеобразной манерой мышления, характерной философией, наивным добродушием и изначальной грубой романтикой». Глубокий гуманизм и последовательная защита общечеловеческих

На снимке: кадр из фильма «Все и никто».

(Журнал «Фильмови новини»)

ценностей, широкая панорама действующих лиц, интересный подход к нравственно-этическим проблемам болгарского села 50-х годов и своеобразная структура произведения привлекли внимание к сценарию Й. Радичкова известного театрального режиссера Крикора Азаряна.

Обращение к роману «Все и никто» — вторая встреча Крикора Азаряна с прозой Й. Радичкова; до этого он поставил пьесу Й. Радичкова «Январь» в Пазарджикском драматическом театре, фильм «Все и никто» — его дебют в кинематографе.

ВЕНГРИЯ

«СТАРОМОДНАЯ ИСТОРИЯ» МАГДЫ САБО

Советским читателям не надо представлять известную венгерскую писательницу Магду Сабо, ее романы «Скажите Жофике», «Бал-маскарад», «День рождения» и рассказы выходили не только на русском языке, но и на языках народов СССР.

О последнем романе Магды Сабо «Старомодная история», вышедшем недавно в Венгрии, пишут сейчас много.

Магда Сабо обратилась к событиям, происходившим на протяжении первой половины XX столетия. В романе изображена жизнь двух провинциальных мелкобуржуазных семей, стремящихся создать видимость респектабельного образа жизни.

Главной героиней романа является некая госпожа Рикль, коммерсантка из города Дебрецена, хранительница семейного очага, оказавшаяся волею судьбы и хранительницей метрических и кадастровых книг. Вместе с дневниками и воспоминаниями реально существовавших людей, родственников Магды Сабо, эти книги составляют основу романа, рассказывающего о трагедии венгерского «среднего» сословия, сметенного ходом

«Недавно вышедший роман Магды Сабо «Старомодная история» с быстротой вихря проложил себе путь на сцену»,— пишет рецензент журнала «Фильм, синхаз, мюжика». В успешном воплощении этой драмы на сцене Театра имени Мадача большая заслуга принадлежит режиссеру Дердю Лендьелу. С большим успехом в главной роли выступила народная артистка ВНР, лауреат премии Кошута Мария Шуйок (на фото).

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

поступательного движения истории.

В большой статье на страницах газеты «Непсабадшаг», посвященной этому роману, критик Пал Бардош отмечал, что об этом сословии писали многие классики венгерской литературы и Магду Сабо ждала опасность повторить их. Но писательница, избрав совершенно новый художественный метод, сумела сказать об этом слое общества по-новому. Этот метод, по мнению критика, заключается в «сплаве документальности с художественным вымыслом».

Высокую оценку получило новое произведение Магды Сабо на страницах еженедельника «Элет эш иродалом» в статье Вильмоша Фараго и в рецензии Андраша Барта, опубликованной газетой «Мадьяр немзет».

«В наше время, когда некоторые подвергают сомнению жизненность романа как жанра, «Старомодная история» — своего рода доказательство дееспособности романа для тех, кто верит в его будущее»,— подчеркивает Пал Бардош, как бы резюмируя высказывания венгерской критики по поводу новой книги Магды Сабо.

ВЕНЕСУЭЛА

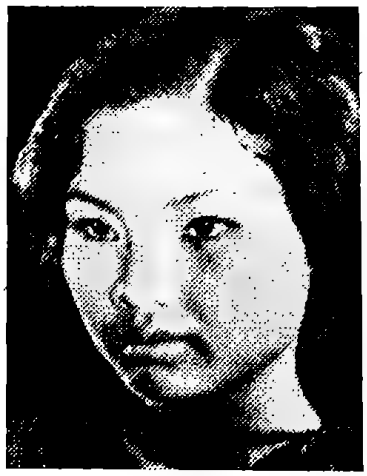
ИНИЦИАТИВА ЖУРНАЛА

Литературная общественность ряда латиноамериканских стран весьма положительно расценила инициативу группы венесуэльских деятелей культуры активно занявшихся разработкой детской тематики и вопросов воспитания в литературе и театре. В связи с этим прогрессивная печать выделяет венесуэльский журнал «Карта», издаваемый университетом в Макарибо, который в последнее время систематически публикует на своих страницах статьи и другие материалы известных авторов, посвященные воспитанию молодого поколения.

Так, в качестве хрестоматийного материала журнал «Карта» познакомил своих читателей с одной из работ советского писателя-педагога Антона Макаренко, рассказал об основных принципах его воспитательного метода.

Кубинская печать с удовлетворением отмечает публикацию на страницах «Карта» произведений для детей национального героя Кубы, революционера и писателя Хосе Марти, в частности, авторского предисловия к книге «Золотой век», которая была написана в конце прошлого века и до сих пор остается в числе лучших книг, когда-либо написанных для ребят в странах Латинской Америки. «Карта» опубликовал также статью, озаглавленную «Что мы должны рассказывать своим детям», автором которой является член Политбюро Компартии Кубы президент Национальной Ассамблеи народной власти Блас Рока.

ВЬЕТНАМ



У фильма «Девушка по имени Ним», снятого режиссером Кхыонг Мэ на студии телевидения г. Хошимина, необычная история: главную роль, то есть самое себя, сыграла двадцатидвухлетняя подпольщица — Нгуен Чунг Киен, о судьбе которой и рассказывает фильм. Работа в логове врага, постоянный риск и беспримерное мужество патриотки сделали фильм чрезвычайно популярным во Вьетнаме. Авторам фильма удалось с большим искусством воспроизвести на экране события недавнего прошлого. Этому, как отмечала вся вьетнамская критика, в немалой степени способствовала талантливая игра самой Нгуен Чунг Киен (на фото).

(Журнал «Вьетнам»)

ГДР

ГЮНТЕР ГЁРЛИХ РАССКАЗЫВАЕТ

Известному писателю и общественному деятелю Гюнтеру Гёрлиху недавно исполнилось 50 лет. (О нем см. «ИЛ» № 11, 1971; № 5, 1975; № 1, 1977.) В связи с этим пресса Германской Демократической Республики поместила ряд материалов, посвященных писателю. «Гюнтер Гёрлих — один из самых известных наших писателей, — пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг». — Его романы «На шаг ближе к облакам», «Возвращение в чужую страну» и другие романы и рассказы читаются и перечитываются читателями всех возрастов. Его книги издаются не только в нашей стране, но и за рубежом: в Советском Союзе, Болгарии, Венгрии, ФРГ». За свою литературную и общественную деятельность Гёрлих удостоен высокой награды — звания Героя Социалистического Труда».

Газета «Нойес Дойчланд» поместила интервью с писателем. Отвечая на вопросы корреспондентов о его творчестве, Гюнтер Гёрлих рассказал: «То, что пишет писатель, и то, как он пишет, всегда зависит от того, как он живет сейчас, и от того, что он пережил. 17-ти лет я попал в плен, и это отразилось на всем моем творчестве. Жизнь рано поставила передо мной серьезные политические вопросы и рано сформировала мои взгляды. Может быть, поэтому моей главной темой стала молодежь, ее проблемы.

Мне пришлось некоторое время работать воспитателем в исправительной трудовой колонии. В это время я много читал Макаренко, и это мне очень помогло в моей трудной деятельности. Первая моя книга «Черный Петер» возникла именно в результате этой работы. Все последующие произведения тоже появились на свет благодаря пережитому и передуманному».

На вопросы о его деятельности в настоящее время и о творческих планах писатель сказал: «Только что я закончил роман, название которого «Объявление в газете». Как и в других книгах, в нем речь идет о воспитании молодежи, о взаимоотношениях поколений. Есть у меня замысел и нового романа, который будет и о современности и о прошлом. Но это еще только проекты, и говорить о них рано. Много времени занимает у меня работа по подготовке к VIII съезду Союза писателей ГДР, который состоится в этом году. Берлинское отделение Союза, которое я возглавляю, организует сейчас встречи с прозаиками, поэтами, переводчиками, дискуссии, доклады...»

ПО РАССКАЗУ БРЕХТА

Телевидение Германской Демократической Республики показало новый телевизионный фильм, созданный

На снимке: кадр из телевизионного фильма «Смерть и воскресение Вильгельма Хаусмайа». В роли вдовы — Урсула Каруссайт, в роли Клары Ляйднер — Вальфрида Шмитт.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

молодым режиссером Кристой Мюль совместно со сценаристом и литературоведом Вернером Хехтом, «Смерть и воскресение Вильгельма Хаусмана». В основе фильма — ранний, малоизвестный рассказ Бертольта Брехта об истинном событии в Германии времен мирового кризиса начала 30-х годов.

Главная героиня фильма, потерявшая мужа, переодевается в мужское платье, чтобы занять должность вахтера на фабрике, которой долго добивался покойный. Только при помощи такого обмана вдове удается как-то прокормить двух своих детей. Но это длится недолго — обман обнаруживается, и семья снова остается без средств к существованию...

«Криста Мюль и Вернер Хехт сохранили все особенности стиля Бертольта Брехта, его лаконичность, его язык, яркие диалоги,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Они сумели воссоздать атмосферу тех лет: трудную борьбу за существование, нищету, безработицу. Сюжет пятидесятилетней давности не потерял своей актуальности и в наши дни. Этот сильный, интересный рассказ получил очень удачное воплощение на экране. Можно считать, что новый телевизионный фильм—значительный вклад в чествование Брехта в связи с его восьмидесятилетием, широко отмечающимся в 1978 году».

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЛОДОГО ДРАМАТУРГА

Доминиканская драматургия мало известна за пределами своей страны. Тем больший интерес, как сообщает журнал «Коикуито», представляет публикация издательством автономного университета в Санто-Доминго произведения молодого драматурга Хаффе Серулье «Дуарте». Пьеса посвящена доминиканскому патриоту, возглавившему борьбу за национальную независимость страны, основателю Доминиканской Республики Хуану Пабло Дуарте и приурочена к 100-летию со дня его смерти. В пьесе воспроизведен ряд эпизодов из жизни Дуарте, где в последовательных сценах сочетаются разные временные планы, что создает дополнительные эффекты, связывая с современностью события далекого прошлого и, напротив, оттеняя анахронизмы в гораздо более поздних событиях.

Хаффе Серулье получил высшее театральное образование в Мадриде, с 1973 года является руководителем театрального факультета автономного университета в Санто-Доминго.

Кроме пьесы «Дуарте», ранее была опубликована его «Легенда о народе, родившемся без головы», впервые поставленная в университетском театре.

ИРАК

«ЛИТЕРАТУРА МАГРИБА»

Недавно в Багдаде вышел специальный номер журнала «Аль-Аклям», издаваемого министерством информации Ирака. Он посвящен литературам стран Магриба — Ливии, Туниса, Алжира, Марокко и Мавритании. Хотя в языковом и культурном отношении эти североафриканские страны довольно тесно связаны со странами Арабского Востока, в их исторических судьбах и культуре много специфических черт.

В номере помещены рассказы и стихи писателей и поэтов стран Магриба, а также критические статьи иракских и магрибских авторов.

Несмотря на то, что литература отдельных стран представлена в номере неравномерно (литературе Мавритании, например, посвящена всего одна статья), следует приветствовать инициативу иракского журнала.

ИСПАНИЯ

НОВАЯ ПЬЕСА АНТОНИО БУЭРО ВАЛЬЕХО

Заметным событием в театральной жизни Испании стала постановка мадридским Театром изящных искусств спектакля по новой пьесе Антонио Буэро Вальехо «Взрыв». В центре ее — образ талантливого писателя-сатирика Мариано Хосе де Ларры (1809—1837), жизнь которого совпала с бурным периодом в истории страны: революционные события 1820—1823 годов, последовавший период жестокого террора и реакции, начало карлистских войн и третьей буржуазной революции.

Вскоре после премьеры драматург в интервью газете «Арриба» сказал: «Обращение к Ларре и к проблематике, которой было проникнуто его творчество, очень естественно, особенно сейчас, в переломный момент нашей истории, поскольку сам Ларра жил в подобное время. Поэтому его судьба очень назидательна».

Драматург показывает Ларру перед самой смертью, когда тот вспоминает отдельные эпизоды своей жизни. Эти воспоминания, подчас отрывочные и лишенные четкой хронологической последовательности, как будто выхваченные наугад лучом прожектора, и составляют сюжет пьесы.

А. Буэро Вальехо стремится показать ту сложную обстановку, то трагическое переплетение обстоятельств, которые привели Ларру к самоубийству. Основную причину он видит не в личной драме писателя (разрыв с любимой женщиной), а в противоречивой политической и общественной ситуации Испании, когда рушились надежды на демократические преобразования в стране.

Сценическое пространство поделено на три части: слева находится «Маленький Парнас» — литературный кружок, объединявший

передовых писателей и артистов, справа сидят цензоры, а в центре — дом Ларры. На многих из действующих лиц надеты маски, которые потом спадут под беспощадной сатирой Ларры, цитатами из статей которого насыщен текст пьесы. «Столкновение лицемерия и искренности, маски и подлинной человеческой сущности, борьба Ларры с социальными предрассудками своего времени находят в пьесе великолепное пластическое решение»,— пишет театральный критик Мигель Бильбатуа.

Хотя в пьесе немало реальных исторических персонажей — в основном это писатели: Мануэль Бретон де лос Эррерос, Эспроседа, Рамон де Месонеро и Романос,— все происходящее в ней перекликается с сегодняшним днем Испании. Образ Ларры послужил для А. Буэро Вальехо одним из поводов для размышлений об исторических закономерностях развития страны, роли художника в жизни испанского общества, значении занятой им политической и нравственной позиции. Естественно, что эти проблемы волнуют испанскую интеллигенцию и сегодня. Не случаен большой интерес к творчеству и личности Мариано Хосе де Ларры особенно в последние годы. Свидетельством тому могут служить книга известного прогрессивного критика Хосе Монлеона «Ларра и театр» и пьеса одного из авторов независимого театра Франсиско Ньевы «Тень и химера Ларры».

Острый интерес к образу Ларры, писателя-сатирика, объясняется в первую очередь очевидной исторической аналогией между временем, когда жил выдающийся писатель-сатирик, и теми сложными процессами демократизации, которые происходят в Испании после смерти Франко. И непримиримая нравственная позиция Ларры как человека и как художника во многом помогает современным художникам определить свое место в жизни общества.

На снимке: Витторио Гассман в роли иардиниала в фильме «Новые уроды».

(Газета «Паэзе сера»)

ИТАЛИЯ

«НОВЫЕ УРОДЫ»

Три крупных режиссера страны: Дино Ризи, Марио Моничелли и Эттере Скола на этот раз собрались вместе, чтобы создать своеобразный «фильм эпизодов» — коротеньких киноновелл, посвященных самым различным аспектам современной жизни. Для Дино Ризи образцом является А. П. Чехов с его короткими рассказами.

Фильм называется «Новые уроды» (несколько лет назад Дино Ризи поставил фильм под названием «Уроды»). Каждому из режиссеров предоставлено здесь по 40 минут экранного времени.

Эпизоды фильма — смешные и грустные, ироничные и трагические, философские и политически заостренные. В одном из них речь идет о суде над террористом, членом так называемых «красных бригад», в другом — о комиссаре полиции, удовлетворенном тем, что реконструируется облик преступника, и не замечающем, что это облик... его самого.

Популярный актер Уго Тоньяцци выступает в фильме в роли полубезумного бедняка, вместе со своей 80-летней матерью бродящего по Риму в поисках пищевых отбросов и чувствующего себя счастливым. В конце концов они попадают в сумасшедший дом: санитары за ними приходят в тот момент, когда они, безмятежные, громко поют в своей убогой лачуге на городской окраине.

Альберто Сорди, один из сценаристов фильма, выступает в нем и в качестве актера. В одной из новелл его герой тщетно пытается доставить раненого в больницу: его нигде не принимают — и тогда он отвозит раненого в то место, где нашел его. В другой новелле зритель увидит героя Сорди на похоронах комического актера, где он, говоря о заслугах покойника, проникается к нему таким участием и так воспроизводит его облик, что все участники траурной процессии покатываются со смеху.

В фильме снимались также известные актеры Витторио Гассман, Ориелла Мути, певица Ориетта Берти, которая играет себя.

Все герои фильма, «уроды года», как их называет Ризи, должны показать то, что случается сегодня в мире, в тонах сатирических, комических, гротескных. «Блестящее может стать жестоким, патетическое — злобным»,— пишет Аурора Сантуари на страницах газеты «Паэзе сера».

ЮБИЛЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Издательству итальянских коммунистов «Эдиторн риюнити» исполнилось двадцать пять лет.

Еще в период диктатуры Муссолини представители антифашистской эмиграции создали в Париже издательский центр «Эдицноии культура сочиале», который сыграл значительную роль в консолидации патриотических сил Сопротивления. С падением в стране фашистской диктатуры центр переводится в Италию. В 1953 году он сливается с «Эдициони рипашита». С этих пор и начинает функционировать новое крупное издательство. Первые его шаги — выпуск подлинных текстов классиков марксизма. Значительной вехой в работе «Эдиторн риюнити» стал 1973 год — начало издания (при содействии ИМЛ при ЦК КПСС и ИМЛ при ЦК СЕПГ) 50-томного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса.

С каждым годом активизируется деятельность издательства. Если за первые 16 лет его существования выпущено 7 миллионов экземпляров книг, то за следующие 4 года — 5 миллионов. Здесь выходят книги по философии и по психологии, по истории и по праву, научно-популярные и энциклопедические издания, произведения художественной и детской литературы. Активно включилось издательство в борьбу за перестройку школьного образования в стране.

«Эдитори риюнити» — пропагандист лучших произведений советской литературы. Оно выпускает книги М. Горького и В. Маяковского, М. Шолохова и А. Макаренко, М. Зощенко и И. Бабеля, К. Паустовского и И. Эренбурга, К. Симонова и Е. Евтушенко, В. Тендрикова и Ю. Трифонова и других советских поэтов, писателей, публицистов.

В условиях неустойчивой политической ситуации, в условиях противоречивой культурной жизни сегодняшней Италии издательству «Эдитори риюнити» принадлежит особая роль. В настоящее время тревогу общественности вызывает молодежь страны, вылазки неофашистов, в которых участвуют и молодые итальянцы, рост преступности среди подростков, наркомания, нигилистические настроения — ко всему этому издательство «Эдитори риюнити» не остается безучастным.

Не так давно издательство «Эдитори риюнити» начало выпускать серию «Библиотека для юных». Книги этой серии поднимают самые острые, самые жгучие проблемы жизни 13—16-летних. И впервые, замечает газета «Унита», серьезное и взволнованное обсуждение этих проблем ведется непосредственно с ними, с 13—16-летними итальянцами. Каждое художественное произведение, вышедшее в серии «Библиотека для юных», сопровождается научной статьей, анализирующей поставленные в нем серьезные проблемы.

Живой интерес вызвали уже появившиеся в печати первые две книги серии. Одна из них — «Тюрьма для малолетних преступников»— сборник документальных рассказов, созданных популярной в Италии юношеской писательницей Джулианой Больдрини, другая — повесть молодой шведской писательницы Анники Скуглунд «Жизнь Марии Л.» — смелый и правдивый рассказ о надеждах и разочарованиях молодежи сегодняшних дней, прибегающей к «целительному» действию наркотиков. Первую книгу заключает статья юриста, в которой дается анализ правовых, моральных, психологических аспектов преступности малолетних, вторую — статья врача-психиатра.

«Два первых тома серии поднимают темы наркомании и преступности малолетних, в плане беллетристическом и научном, так, как никогда их не поднимали в книгах для подростков»,— пишет рецензент «Унити».

Среди авторов, привлеченных «Эдитори риюнити» к созданию последующих томов «Библиотеки для юных»,— известный детский поэт и прозаик Джанни Родари. Теперь он обратится к читателям более старшего возраста, к читателям-подросткам.

Симптоматично, что в год юбилея коммунистическое издательство такое большое внимание уделяет подросткам — будущему страны.

КОЛУМБИЯ

ПРЕМИЯ МАРКЕСУ

Ежегодно Международная организация журналистов (МОЖ) присуждает премию «За выдающуюся деятельность на благо демократии, против фашизма, в защиту мира» отдельным журналистам или целым организациям. Премии 1977 года удостоен колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес — за его серии репортажей и статей об Анголе и Кубе. Представителям кубинской печати и радио он заявил: «Известие о присуждении премии вызвало у меня особую радость и удовлетворение, когда я узнал, за что и награжден. Борьба народов Анголы и Кубы мне особенно близка, и всегда был солидарен с ними».

О своей работе в области журналистики Габриэль Гарсиа Маркес сказал, что два года назад пришел к решению «не писать художественных произведений, пока не падет диктатура Пиночета». «До тех пор пока это не совершится, я буду целиком отдавать себи политической журналистике. Моя цель — бороться против фашизма этим оружием, куда более грозным и действенным, чем беллетристика. Думаю, что присуждение мне премии МОЖ показывает, что и принял верное решение...» Свою премию Г. Гарсиа Маркес передал в фонд XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В настоящее время писатель завершает свою книгу об Острове Свободы; он озаглавил ее «Блокадные будни Кубы». «Когда будет закончена книга, не могу сказать

точно,— признается он.— Каждый раз, как я приезжаю на Кубу, я собираю здесь столько нового материала для книги, что окончание ее опять отодвигается».

Рассказывая об этом произведении, посвященном героическому сопротивлению кубинцев блокаде США, писатель подчеркивает: «Блокада представляет собой одно из самых вопиющих нарушений прав человека, известных в истории нашего столетия, ибо это не что иное, как попытка подвергнуть геноциду целый народ, задушить его при помощи голода и лишений».

Автор «Ста лет одиночества» выразил также глубокое удовлетворение в связи с тем, что избран в Колумбии почетным председателем Национального комитета по подготовке и проведению XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов: «Юноши и девушки из подготовительного комитета буквально заражают меня своим энтузиазмом. С большим удовольствием я работаю вместе с ними. Надеюсь в июле возглавить колумбийскую делегацию на XI фестивале».

КУБА

ПЕСНИ ВИКТОРА ХАРА — НА XI ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ

В конце прошлого года на киностудии ДЕФА завершились съемки художественного фильма «Певец», поставленного по сценарию Дина Рида. Кинолента посвящена чилийскому патриоту, народному певцу и поэту Виктору Хара, героически погибшему вскоре после установления фашистской диктатуры Пиночета.

Дин Рид, известный американский актер и певец, который вынужден был покинуть свою родину и теперь живет в столице ГДР, выступил в фильме как исполнитель главной роли и режиссер.

В интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде» он сказал: «Фильм «Певец» — совместная работа кинематографистов ГДР и Болгарии. В его основе — события последних трех недель жизни Виктора Хара, который боролся и погиб во имя идеалов Народного единства. В фильме яркая незаурядная личность художника-борца раскрывается в его любви к людям, к своим детям и жене, в присущем ему поистине неуемном жизнелюбии, в непримиримой борьбе с фашизмом, особенно в трагические минуты гибели от рук фашистских палачей, и, конечно же, в его песнях, которые стали достоянием народа...

Этот фильм, посмертная дань уважения чилийскому патриоту и моему другу, мне особенно дорог. Не только потому,— подчеркнул Дин Рид,— что мне посчастливилось неоднократно выступать с Виктором Хара, с которым меня связывала личная дружба, но и потому, что он обличает бесчеловечную сущность фашизма».

...11 сентября 1973 года, в день фашистского переворота в Чили, должно было состояться выступление коммуниста Виктора Хара в Техническом университете Сантьяго на открытии выставки «Против фашизма, против гражданской войны». Но он был арестован и заключен в концентрационный лагерь на стадионе «Чили». Как свидетельствуют узники концлагеря, В. Хара в эти последние дни жизни пел свою «Венсеремос!» («Мы победим!»), которая стала боевым гимном чилийских патриотов. Народный певец и поэт, обратившийся в годы революции к жанру массовой политической песни, он сражался с фашизмом оружием песни до последнего вздоха. В декабре прошлого года в Берлине состоялась премьера фильма «Певец». Этот фильм, отмечает корреспондент газеты «Хувентуд ребельде», Дин Рид адресовал прежде всего предстоящему форуму молодежи на Кубе. Здесь летом 1978 года, во время XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, вновь зазвучат песни любимца чилийской молодежи Виктора Хара. Дин Рид, активный борец за мир (недавно награжден Советским комитетом защиты мира медалью «Борцу за мир»), намерен показать фильм также в ряде стран Латинской Америки.

ЛИВИЯ

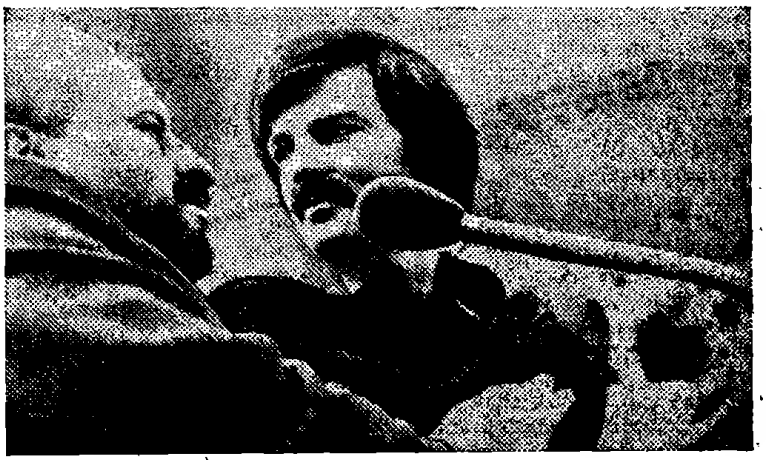
РАССКАЗЫ ХАЛИФЫ ТАКБАЛИ

В Триполи опубликовано полное собрание сочинений известного ливийского писателя-новеллиста Халифы Такбали. Как явствует из краткой рецензии, помещен-

---

На снимке: Дин Рид — исполнитель роли Виктора Хара.

(Газета «Хувентуд ребельде»)



Известная мексиканская актриса Кета Карраско выступила в печати с осуждением порядков, царящих на мексиканском телевидении и препятствующих развитию творческих возможностей актеров.
На снимке: Кета Карраско в жизни (справа) и в ролях.

(Журнал «Эль Диа»)

ной туниссим журналом «ИБЛА», полное собрание представляет собой объемистый том, который включает рассказы писателя и одноактную пьесу.

Действие большинства рассказов Такбали относится к 60-м годам. По словам рецензента, хотя книга и не представляет полной панорамы ливийского общества, в ней тем не менее нарисованы впечатляющие картины жизни различных слоев ливийского народа, особенно малоимущих и бедняков. Основные темы рассказов Такбали — положение женщин, вопросы воспитания детей, труд, жизнь ливийских эмигрантов в Европе. Автор выступает сторонником прогрессивного развития ливийского общества при условии сохранения им своей самобытности. Рассказы Такбали отличаются занимательностью сюжета, глубоким вниманием к психологии героев. Диалоги, написанные большей частью на разговорном ливийском диалекте, подчеркивают реализм повествования.

МЕКСИКА

«6×3=18»

Так называется новая книга, вышедшая в мексиканском издательстве «Экстемпораneос». В нее вошли рассказы трех молодых талантливых писателей — Альберто Уэрты, Давида Охеды и Лилии Мартинес. Каждый из авторов представлен шестью рассказами — отсюда и название книги.

Литературный критик выходящей в Мехико газеты «Эль Диа» высоко оценивает появление новых, интересных имен в национальной прозе.

Альберто Уэрта много пишет для театра, сам ставит спектакли одной из трупп города Сакатекас. Для его творчества характерно пристальное внимание к человеку, его внутреннему миру, богатство которого часто скрыто от других. В рассказах Уэрты нет внешне активного действия, но, прослеживая движения человеческой души, их столкновения с несправедливостью, обидой, непониманием, автор создает острые психологические коллизии.

Резкая критика современного буржуазного общества, устои которого постоянно вынуждают честных людей вступать с ними в конфликт, звучит в новаторских рассказах Давида Охеды.

Простые люди с их повседневными заботами, маленькими радостями и большими печалями, обыденность и бесперспективность их жизни — вот основная тема творчества Лилии Мартинес, рассказы которой полны горькой иронии и доброго юмора.

ПОЛЬША

«ПОЛЬСКИЕ ДОРОГИ»

Три с лишним года шли съемки телевизионного фильма «Польские дороги», состоящего из одиннадцати серий и занимающего шестнадцать с лишним часов демонстрационного времени. Ставил его режиссер Януш Моргенштерн, автор сценария Ежи Яницкий.

«Когда его демонстрировали,— пишет в газете «Жи-

це Варшавы» Станислав Гжелецкий,— улицы пустели», зрители с неослабным вниманием следили за судьбами героев фильма, воссоздающего самые тяжелые моменты в жизни польского народа во время второй мировой войны и гитлеровской оккупации.

Януш Моргенштери создал историческую панораму событий 1939—1943 годов. На вопрос, почему он выбрал этот период, он ответил: «О начале войны, о зверствах фашизма, о том, как учились жить люди при оккупации, сказано сравнительно немного. Пытаясь дать картину общества в ту пору, я хотел показать, как едины были люди в своем неприятии фашизма, с какой самоотверженностью все население помогало деятелям подполья».

Действие происходит в больших и маленьких городах, в деревне, в фильме представлены почти все социальные слои общества. Главный его герой Владислав Нивинский, типичный представитель интеллигенции, участвовал в сентябрьской кампании в качестве курсанта офицерского училища. Он не может примириться с поражением и продолжает борьбу с врагом уже в условиях оккупации. В фильме показан трудный, полный колебаний процесс созревания главного героя.

«Нам хотелось,— говорит Моргенштерн,— из мозаики людских судеб, событий создать огромную фреску, представляющую жизнь нашего народа во время войны.

В истории каждого народа есть свои великие вехи, такой вехой для Советского Союза явилась Октябрьская революция, для нас — вторая мировая война. Трагические события, сконцентрированные на небольшом историческом отрезке, имели огромное значение для будущего моего народа».

В фильме занято пятьсот актеров. Режиссер очень тщательно выбирал исполнителей даже для самых маленьких эпизодических ролей.

Одной из серьезных трудностей, с которыми столкнулась съемочная группа, оказалось отсутствие реальных примет военной поры. Чтобы снять кадр с разрушенным во время осады Варшавы в 1939 году домом, пришлось ждать, пока не началась разборка последнего старого особняка в центре столицы, предназначенного на слом.

Одновременно с выходом фильма на телеэкран Ежи Яницкий, автор сценария, опубликовал книгу под тем же названием. Она не является точным повторением сценария, в ней опущены некоторые сюжетные линии, существующие в фильме.

На снимке: исполнители главных ролей в фильме «Польские дороги» Кароль Страсбургер и Аиша Нехребецкая.

(Журнал «Фильм»)

РУМЫНИЯ

КНИГА-ПРОЩАНИЕ

Чтобы купить эту книгу, читатели подолгу выстаивали в очередях. Но не было при этом обычного для таких случаев нетерпеливого оживления. Изданный Бухарестским отделением Союза писателей СРР сборник «Шагнувшие в вечность 4 марта 1977» — это прощальное слово, обращенное к девяти безвременно ушедшим из жизни поэтам, критикам, прозаикам, драматургам. На задней обложке выведены слова: «Эта книга посвящается памяти девяти писателей, погибших во время землетрясения четвертого марта года тысяча девятьсот семьдесят седьмого: Анатолию Е. Бакоиски, Савину Брату, Данизле Кауре, Михаю Гафице, Вирджилу Георгиу, Александру Ивасюку, Михаилу Петровяну, Веронике Порумбаку, Николае Штефанеску».

Составить сборник было поручено двум известным поэтам Мирче Мику и Георге Томозею. «Девятеро погибших писателей,— подчеркивают они в кратком вступительном слове,— создали за свою жизнь целую библиотеку книг. Сотни томов, плод их труда и мечты, стоят на полках в наших домах, их присутствие в нашей жизни столь весомо, что было бы по меньшей мере неуместным «представлять» их любителям литературы, давно оценившим их по достоинству. Единственное, что уместно,— возжечь под каждым из этих имен слова нашей признательности и любви».

Именно с таким проникновенным словом обращаются к ушедшим собратья по

перу — сотрудники, соавторы, почитатели. Среди них — крупнейшие художники слова современной Румынии: Джео Богза, Э. Жебеляну, Н. Стэиеску, П. Джорджеску, К. Цою и много других.

Каждая главка, названная именем писателя («Анатоль», «Савин», «Даниэль»...), начинается с краткого обзора жизни и творчества погибших, написанного критиком Ал. Райку, и завершается последними произведениями, порой рукописной страничкой, выведенной за несколько часов до гибели...

Составители имели полное основание утверждать, что сборник «Шагнувшие в вечность» — нечто большее чем простая дань памяти погибших, что он займет достойное место среди книг, представляющих интерес для исследователей румынской литературы. Действительно, в нем предложена во многом более углубленная трактовка творчества поэтов А. Бакоцки, Вероники Порумбаку, Вирджила Георгиу. Много нового узнает читатель о значении трудов таких критиков, как Савин Брату, Михаил Петровяну, Михай Гвфица. В новом свете предстанет перед ним облик молодой одаренной поэтессы Даниэлы Каури и такого яркого представителя румынского «романа идей», как Ал. Ивасюк. Или видного криминалиста, автора приключенческих повестей и пьес Николае Штефанеску.

И в этом авторам сборника видится торжество жизни, созидательных сил, побеждающих смерть, и горечь невосполнимых утрат. В статье, открывающей сборник, председатель Союза писателей СРР Дж. Маковеску пишет: «Мы продолжим свой путь, построим новую страну, такую, о которой мечтали. Вершины подлинной цивилизации на нашей земле уже близки, и мы взойдем на них. У нас хватит для этого сил. Мы сами доказали себе это в часы грозного испытания. Весна все же пришла — цветы зацвели, журавли вернулись...»

США

ИНТЕРВЬЮ ГОРА ВИДАЛА

Гор Видал, автор романов «Вашингтон, округ Колумбия», «Бэрр» (опубликованы в «ИЛ» в 1968 и 1977 гг.), «Майра Брекинридж» и «Год 1876-й», в беседе с Мартином Гроссом, редактором ежемесячника «Бук дайджест», сообщил, что закончил в прошлом году новую книгу под названием «Калки». В основе книги, по словам автора,— легенда о боге Вишну, который являлся на землю девять раз (последний раз — в образе Будды) и, согласно индуизму, явится в десятый раз в образе Калки, после чего наступит конец света. Время действия книги — «следующий год», в ее главный персонаж — американский офицер, участник войны во Вьетнаме Джеймс Келли, который после окончания войны переезжает в столицу Непала, где занимается торговлей наркотиками. Впоследствии Келли объявляет себя «богом Калки» и предвещает человечеству его скорую гибель. И гибель наступает. На вопрос М. Гросса о том, как этому Келли — Калки удается «прикончить» род человеческий, автор ответил: «Узнаете, когда книга увидит свет».

Писатель ответил также на вопросы, не относящиеся к его творчеству. Он высказался весьма отрицательно о нынешней политической системе США. На рубеже прошлого и нынешнего столетий, сказал он, Соединенные Штаты «взяли агрессивный курс на создание империи», что привело к ослаблению демократических традиций. «Мы превратили страну в милитаризованную державу. Наш конгресс сильно поражен коррупцией».

На вопрос о том, не отказался ли Видал от мысли выдвинуть свою кандидатуру в конгресс, он ответил, что не видит в этом смысла. «Став сенатором, конгрессменом или президентом,— сказал он,— вы начинаете служить не тем, кто за вас голосовал, а тем, кто финансировал ваши выборы».

Свою мысль Г. Видал подтверждает таким примером: 67 процентов опрошенных американцев требуют установления контроля над продажей оружия; 67 процентов конгрессменов не желают контроля и отказываются принять соответствующий закон. Чьи интересы в таком случае представляет конгресс?

ФРАНЦИЯ

ЖОРЖУ СИМЕНОНУ — СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ

В феврале этого года знаменитому французскому романисту исполнилось 75 лет. Автор более двухсот книг, в том числе серии романов о комиссаре Мегрэ, Ж. Сименон выступает в последние годы как мемуарист и публицист. Во Франции уже вышло семь томов его надиктованных на магнитную ленту воспоминаний, эссе — размышлений о настоящем и будущем, рассказов о встречах с интересными людьми.

По случаю юбилея Сименона Союз писателей СССР направил ему следующую телеграмму: «Дорогой друг! В день Вашего семидесятипятилетия Союз писателей СССР шлет Вам, всемирно известному писателю, защитнику прав и достоинства простого человека, сердечные пожелания здоровья и неиссякаемой творческой энергии. Мы высоко ценим Вашу верность традициям великих русских писателей-реалистов, Ваше уважение к истории и культуре нашего народа и дружеские чувства к нашей стране».

В своей ответной телеграмме Жорж Сименон пишет: «Дорогие друзья! Меня глубоко взволновала ваша телеграмма, такая дружеская и сердечная. Сожалею, что уже несколько лет не имею возможности путешествовать, я очень хотел бы встретиться с вами в Москве, которую, как мне кажется, я знаю по книгам ваших романистов. С чувством глубокой дружбы — Жорж Сименон».

◆

Авторы этого номера

■

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ — TADEUSZ RÓŻEWICZ (род. в 1921 г.).

Польский поэт, прозаик, драматург. Лауреат нескольких Государственных премий. Автор 16 книг стихов, среди которых — «Разговор с принцем» («Rozmowa z księciem», 1960), «Голос анонима» («Głos Anonima», 1961) и «Третье лицо» («Twarz trzecia», 1968). Подробнее о нем и его творчестве см. статью В. Британишского.

На русском языке вышел сборник избранной лирики Т. Ружевича «Беспокойство», его стихи публиковались в «Иностранной литературе» (№ 2, 1962; № 2, 1967) и других периодических изданиях: ряд новых переводов печатался в сборнике «Современная польская поэзия» (1971). На русский язык переведены также пьесы Т. Ружевича «Картотека», «Группа Лаокоона» и несколько рассказов.

Публикуемые стихи взяты из тома «Собрание стихотворений» («Poezje zebrane», Ossolineum, 1976).

Часть переводов войдет в сборник «Польские поэты», подготовленный издательством «Художественная литература».

■

ПАУЛ ДЖОРДЖЕСКУ — PAUL GEORGESCU (род. в 1923 г.).

Румынский писатель, критик. Окончил факультет литературы и философии в Бухарестском университете. Начал выступать как литературный критик после Освобождения Румынии. Его критические статьи, публиковавшиеся в периодике, собраны в книгах «Попытки критического анализа» («Încercări critice», 1957—1958), «Литературные мнения» («Păreri literare», 1964), «Необходимая поливалентность» («Polivalenta necesară», 1967) и др. Как прозаик дебютировал книгой повестей «Возрасты молодости» («Vîrstele tinereții», 1967). Известны также его «Три повести» («3 nuvele», 1973), романы «Спускаясь вниз» («Coborînd», 1968), «Доктор Поенару» («Doctorul Poenaru», 1976), отмеченный премией Союза писателей Румынии.

Публикуемая в этом номере повесть Паула Джорджеску «Перед молчанием...» («Înainte de tăcere», București, Editura Albatros) вышла в 1975 году. Она печатается с небольшими сокращениями. Полностью будет опубликована в сборнике «Повести современных писателей Румынии», включенном в Библиотеку литературы Социалистической Республики Румынии и выходящем в издательстве «Художественная литература».

■

ОГОРОДНИКОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА

Советский переводчик с румынского и французского языков. Переводила произведения Л. Ребряну, Э. Барбу, Н. Вели, Ш. Луки, П. Сэлкудяну и др.

■

МАНУЭЛЬ ВИСЕНТЕ МАГАЛЬЯНЕС — MANUEL VICENTE MAGALLANES (род. в 1922 г.).

Венесуэльский поэт и прозаик, доктор права, профессор Центрального университета Венесуэлы. Президент Ассоциации венесуэльских писателей. Лауреат многих литературных премий.

Автор поэтических сборников «Следы молчания» («Huellas del silencio», 1958), «По компасу» («Brújula en vigilia», 1958) и др. Его перу принадлежат сборники рассказов «Пойдем на огонь» («Vamos contra el fuego», 1959), «Знамение теней» («El signo de las sombras», 1967), повести «Пути пресечены» («Cesaron los caminos», 1960) и «Гуасина» («Guasina», 1974), многие исторические труды, в том числе «Борьба и вооруженные выступления в Венесуэле колониальных времен» («Luchas e insurrecciones en la Venezuela colonia», 1972), «Политическая история Венесуэлы» («Historia politica de Venezuela», 1972), «Политические партии в исторической эволюции Венесуэлы» («Los partidos politicos en la evolución histórica venezolana», 1977).

Впервые публикуемые на русском языке стихи М. В. Магальянеса взяты из последнего издания сборника «Мечта в зените» («Los vértices del sueño», 1-е изд. 1961 г.).

■

ГОРСКАЯ НАТЭЛЛА ВСЕВОЛОДОВНА.

Советский поэт-переводчик испанской и латиноамериканской поэзии. В ее переводах публиковались стихи Х. Л. Пачеко («ИЛ» № 4, 1972), Антонио Мачадо, Х. Р.

Хименеса, Р. Альберти, Х. А. Гойтисоло («ИЛ» № 11, 1975) и др. Н. Горская занимается также переводом из венгерской и чешской поэзии, переводила В. Незвала, Ф. Галаса, И. Шимона, Л. Беньямина и др.

■

АЛЬФРЕД АНДЕРШ — ALFRED ANDERSCH (род. в 1914 г.).

Западногерманский писатель; с 1958 г. живет в Швейцарии. Автор романов «Занзибар, или Последняя причина» («Sansibar oder der letzte Grund», 1957), «Рыжеволосая» («Die Rote», 1960), «Эфраим» («Efraim», 1967), автобиографического эссе «Вишни свободы» («Die Kirschen der Freiheit», 1952), многих сборников рассказов: «Духи и люди» («Geister und Leute», 1958), «Любитель полутени» («Ein Leibhaber des Hallbschattens», 1963), «Мое исчезновение в Провиденсе» («Mein Verschwinden in Providence», 1971) и др., радиопьес и путевых очерков, литературно-критических и публицистических эссе.

А. Андерш — член Баварской Академии изящных искусств (Мюнхен) и Немецкой Академии языка и литературы (Дармштадт), лауреат нескольких литературных премий.

Мы предлагаем вниманию читателя его роман «Винтерспельт» («Winterspelt». Zürich, Diogenes Verlag, 1974).

В разделе «Критика» этого номера см. статью И. Млечиной о творчестве Андерша.

■

МЛЕЧИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.

Советский критик, литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор книги «Литература и общество потребления» (1975) и ряда работ по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ.

■

ГЕРАСИМОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1930 г.).

Советский журналист. Корреспондент Агентства печати «Новости» в США с 1972 по 1978 г. Политический обозреватель АПН. Автор ряда социологических работ, публиковавшихся в советской и зарубежной печати.

■

ВАСИЛ КОЛЕВСКИ (род. в 1925 г.).

Болгарский литературовед и критик, профессор, директор Института русского языка и литературы Болгарской Академии наук. Автор многих книг, в том числе «Красота и правда» (1967), «Литература свободы» (1969), «Идеология и литература» (1974), «Литература партийная, народная» (1975). Ему принадлежит также обширное исследование «Пафос Октября» («Патосът на Октомври», 1967), посвященное месту и роли советской литературы в болгарской пролетарской и антифашистской печати. На русский язык переведена его работа «В. И. Ленин и художественная литература».

Статья «Под флагом академизма» получена от автора в рукописи.

■

РОДЖЕР МАК-ХЬЮ— ROGER McHUGH.

Профессор английской и ирландской литератур Ирландского национального университета в Дублине. Автор работ «Письма В. Б. Йитса Катарине Тайнен» («The Letters of W. B. Yeats to Katharine Tynan»), «Дублин 1916» («Dublin 1916»), «Театр В. Б. Йитса» («The Theatre of W B. Yeats»), двух пьес, многих эссе и статей.

Читал курсы лекций в университетах Франции, Индии, Японии, СССР, Скандинавии, США.

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

■

САРУХАНЯН АЛЛА ПАВЛОВНА.

Советский литературовед и критик, кандидат филологических наук. Автор книг «Творчество Шона О'Кейси» (1965), «Современная ирландская литература» (1973) и многих статей об английской и ирландской литературах. В «Иностранной литературе» (№ 7, 1977) напечатана ее статья «Каменистое поле» ирландской поэзии».

■

СТОЯНОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА.

Советский публицист, автор статей и репортажей по вопросам современной зару-

бежной литературы и кино, составитель сборников документальной прозы писателей социалистических стран «Писатель и современность» (1974) и двухтомника «Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе» (1977). В 1976—1977 гг. в «Иностранной литературе» были напечатаны работы «Жизнь писателя — повесть об ответственности» (№ 6, 1976) и «Софийский дневник» (№ 10—12, 1977).

■

ВУДИ АЛЛЕН — WOODY ALLEN (род. в 1935 г.).

Американский писатель-сатирик, актер и режиссер. Его юмористические рассказы и пародии регулярно публикуются в журнале «Нью-йоркер»: В. Аллен поставил несколько фильмов, в которых он — автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли.

Публикуемые юморески взяты из сборников юмористических рассказов Вуди Аллена «Сводя счеты» («Getting Even», 1966) и «Без перьев» («Without Feathers», 1972).

■

АЛЬФОНС АЛЛЕ — ALPHONSE ALLAIS (1854—1905).

Французский писатель-юморист. Первое знакомство русского читателя с творчеством Альфонса Алле состоялось в 1917 г. по выходе сборника «Юмористические новеллы». Многие его рассказы печатались в советских периодических изданиях.

■

РОЖЕ ШАТОНЁ — ROGER CHATEAUNEU (род. в 1920 г.).

Французский писатель, публицист. С творчеством Р. Шатонё «Иностранная литература» познакомила читателей, напечатав его романы «Искры» (№ 11, 1967) и «Через самую высокую дверь» (№ 11, 12, 1977).

Статья «Противоречия времени» получена от автора в рукописи.

■

ТАПИО ТАПИОВААРА — TAPIO TAPIOVAARA (род. в 1908 г.).

Финский художник-график. Тапио Тапиовааре принадлежат также крупные работы в области монументально-декоративной живописи, мозаики, иллюстраций к книгам.

Т. Тапиовааре — член Центрального правления Общества «Финляндия — СССР».

Репродуцируемые нами гравюры взяты из посвященной художнику монографии: «Тапио Тапиовааре. Графика». Хельсинки, Кансанкулттуури, 1977.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

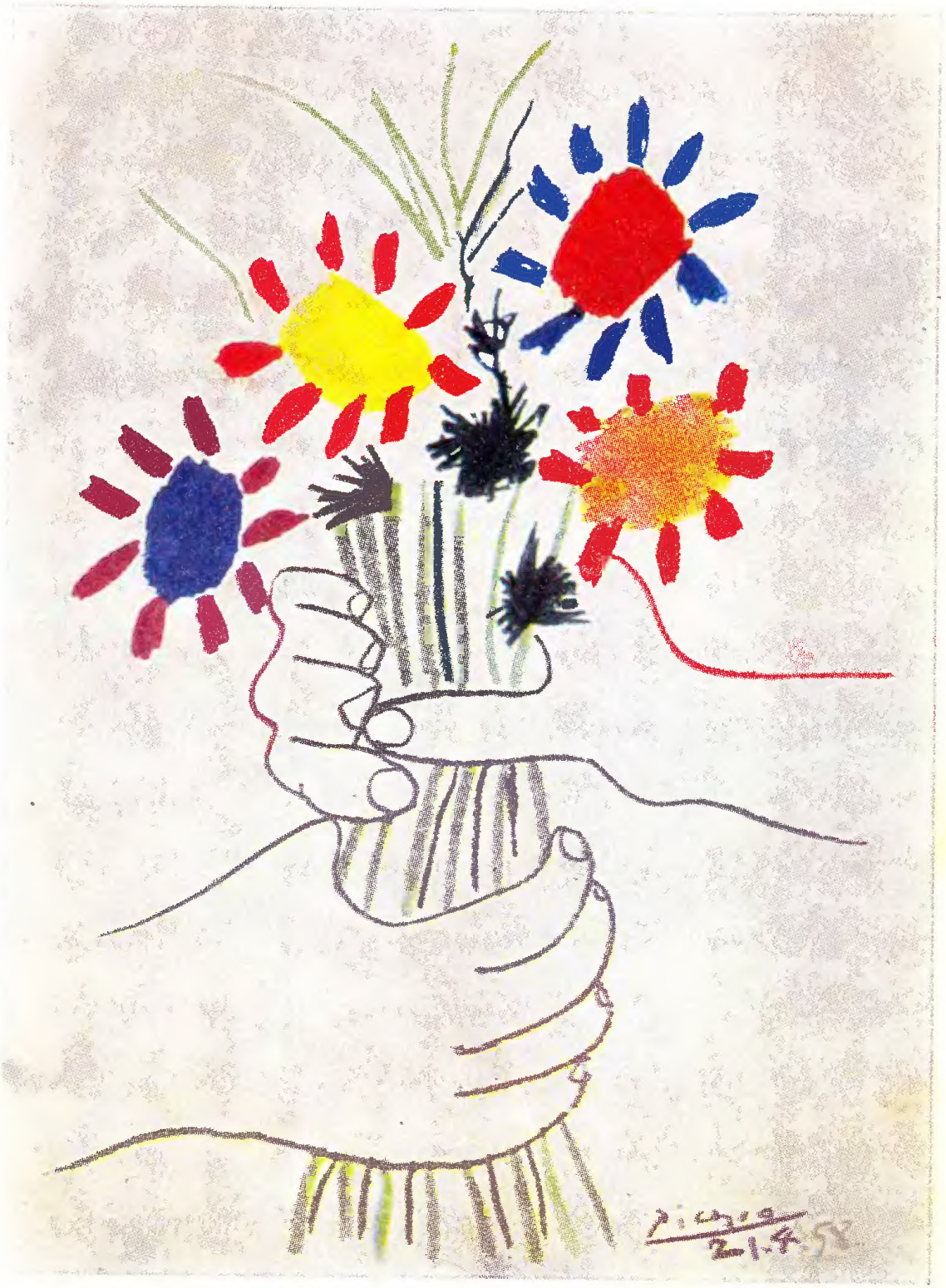
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/III 1978 г. А 00038. Подписано в печать 30/III 1978 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 27,74.
Тираж 623.000 экз. (1-й завод: 1 — 423.000 экз.) Зак. 734.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

РЕНАТО ГУТТУЗО. Италия.
Митинг

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394